

И О В Ъ І Т
М Т Р

12



1963

Н О В Ы Й М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXIX

№ 12

Декабрь, 1963 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
И З Ы К О В — В лесах Севера	3
ДАВИД КУГУЛЬТИНОВ — Слово к человеческому слову; Никто не помнит своего рожденья...; Я помню прошлое...; Приму ли ошибку за истину...; Мне нынче друг во сне явился...; Ты счастье мне пророчишь взглядом...; Скончался мой друг...; Фанерными щитами прикрываясь... Стихи. Перевели с калмыцкого Ю. Нейман и Новелла Матвеева	41
ВАС. ГРОССМАН — Несколько печальных дней, рассказ	45
НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА — Два стихотворения	60
ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВ — Рассказы археолога	63
С. МОТОВИЛОВА — Минувшее	75
ДЖОН СТЕЙНБЕК — Три рассказа. Перевели с английского Е. Короткова и Н. Темчина	128
В МИРЕ ИСКУССТВА	
Н. ЛЮБИМОВ — Игорь Ильинский	151
ПУБЛИЦИСТИКА	
ЦЕЦИЛИЯ КИН — Итальянский вариант	178
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
Ю. ЮЗОВСКИЙ — Горький и его собеседники (По страницам переписки Горького с советскими писателями)	200
А. КАРАГАНОВ — Между правдой и ложью	215
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	233
И. Питляр. Мать и сын. — Ю. Буртин. Обратный эффект. — Г. Трефилова. Подвиг любви. — М. Гуровская. Профессия — искусство. — О. Михайлов. В борении с инерцией. — С. Ларин. Певец чистого течения.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	255
Г. Батищев. Человек — труд — свобода.— С. Эпштейн. Против лженауки.— М. Нечкина, Е. Рудницкая, С. Микулинский. Лоцни архивных морей.— С. Осокин. Биография Антарктиды.— Н. Болотников. Трагедия ихалмютов.— Сергей Львов. Неряшливая книга.	
КОРОТКО О КНИГАХ	271
Письмо в редакцию	278
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	279
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1963 ГОД	281

И. ЗЫКОВ

★

В ЛЕСАХ СЕВЕРА

1. Ближняя тайга

Еду из Москвы по Северной железной дороге. Мимо окон нашего вагона с грохотом проносятся встречные поезда, и, сколько их ни промелькнуло, все они с одним грузом — досками и бревнами.

Это напоминает, что из мест, где зеленые деревья украшают нашу жизнь и существуют главным образом для любования, мы едем в край, где лес составляет предмет промысла.

За Вологодой напоминания становятся настойчивее и многообразнее. Река Сухона, над которой мы проехали по мосту, сплошь забита плотами. Здесь с давних пор работает бумажная фабрика «Сокол», перерабатывающая эти плоты.

А как въехали в пределы Архангельской области, бревна еще чаще стали попадаться на глаза. Они лежат на товарных станциях горами, и тут же идет их погрузка в вагоны.

Полстолетия езжу по этой дороге. Помню время, когда дорога от Вологды до Архангельска на протяжении шестисот километров шла по коридору в сплошном густом еловом лесу. Теперь лес мелковат и не везде растет елка, много березы с осинкой.

Срубили? Ладно бы, кабы срубили, а то сгорел.

В 1920 году стояло отчаянно сухое лето, дождь не выпадал до сентября. Изношенные паровозы работали без ремонта, ходили на дровах, разбрасывали тучи искр. Пересохший лес постоянно загорался, а тушить было некому: народ не вернулся еще с фронтов, продолжалась разруха. В июне я ехал из Москвы в Архангельск — горело, в августе ехал из Архангельска в Москву — тоже горело. Пожар длился три месяца, к его концу по обе стороны дороги протянулись черные полосы да кое-где торчали обугленные стволы без веток. Убыток большой.

Но в следующие годы природа взялась за восстановление растительности. Ветер нанес древесных семян, и они хорошо взошли на оголенной, освобожденной от толстого слоя мхов и удобренной золой почве. Сейчас пассажиру, едущему по железной дороге в Архангельск, невдомек, что тут когда-то бушевал грандиозный пожар. Стоят деревья тридцати—сорока лет. А если увидите местами помоложе, так они появились после пожаров 1927, 1932, 1936, 1956, 1960 годов. Леса-то ведь сколько раз горели снова. Возможно, вам на глаза попадется где-нибудь и свежее черное пятно. Но, разумеется, нынешние пожары полегче прежних, потому что теперь меры принимают, да и техника стала посильнее.

Шел разговор о лесах и в вагоне.

— А все-таки надо беречь леса,— настаивал один из попутчиков.— Не верю, что нельзя ничем заменить древесину. Химия должна заняться этим делом. Нужно поскорее найти заменители, а леса пусть стоят для красоты природы.

Человек в высоких сапогах громко расхохотался и потом ответил:

— Лев Толстой был, как известно, вегетарианцем, не ел мяса и по моральным соображениям не допускал убоя скота. Но он любил пить кофе со сливками. Молочные продукты вегетарианцам не возбраняются. И вот Толстой со своим другом Чертковым пытался решить вопрос: как получать от коров одно молоко, а мяса не надо и чтобы коров не убивать. И никак это не получается. Дело в том, что коровы должны рожать телят, иначе молока не будет. Половина телят — бычки; молока от них не дожدهшься. Старые коровы тоже перестают давать молоко. Если держать этот безмолочный и, следовательно, бесполезный скот — сколько же понадобится сена! В нашем климате, при наших долгих зимах, нам это не по силам. Станете вы есть мясо или не станете — все равно надо убивать. Поэтому в использовании мяса заключается хозяйственная целесообразность. Молоко без мяса не бывает.

— Вы загнули что-то уже из другой оперы,— недовольно заметил первый,— при чем тут коровы? Мы же говорим про лес.

— Нет, я не уклонился от темы. Допустим, мы придумаем заменители и откажемся от использования древесины, но ведь это не избавит нас от необходимости срубить деревья. Рубить все равно придется.

— Это почему?

— Чтобы сохранить лес!

— Сохранить уничтожением?

— Представьте, нет никакого другого способа хранить лес, кроме правильных и своевременных рубок. Пушкинский скупой рыцарь берег в сундуках свое золото, и оно действительно хранилось, потому что золото нетленно. А гоголевский Плюшкин, применив тот же метод к предметам тленным, гноил свое добришко; все у него разваливалось, и скупой хозяин, сам того не замечая, беднел от излишней бережливости. Так же вот обстоит дело, когда из-за деревьев не видят леса, хранят деревья и губят лес. Нельзя навсегда сберечь существующие деревья, рано или поздно они умрут, но на их место должны встать новые поколения деревьев, и только сменой поколений сохраняется лес. Перестанут сменяться — лесу конец. Рубка — самое важное действие человека в лесу, потому что она помогает смене древесных поколений. Рубить, выращивать, снова рубить — вот правильный метод хранения лесов.

Пассажир в сапогах оказался лесоустроителем, таксатором. Он продолжал:

— Бывают такие случаи, когда сам умирающий лес не в силах создать себе потомство без помощи человека. Возьмите в «Записках охотника» Тургенева рассказ «Смерть». Там показана типичнейшая для помещичьего, да и не только для помещичьего, но и всего русского лесного хозяйства девятнадцатого века гибель леса на корню. Сам автор не понимает причины гибели деревьев, он же не был лесоводом, но в описании природы он дает фотографически точные подробности, и по ним нетрудно определить эту причину. Стоял вековой дубовый лес с густым подлеском из орешника и рябины. Дубы роняли на землю тонны желудей, из них могли бы вырасти миллионы дубочков, но дубки не выросли. Вам известно, что деревья вырабатывают свою пищу листьями в солнечном свете? Называется это фотосинтезом. Наша лесная наука знает, что молоденькие дубочки засыхают, если солнце светит на них меньше четырех часов в сутки. Но в описанном Тургеневым лесу выключившиеся из желудей

ростки жили в густом орешнике, вовсе не видали солнышка и погибали в полутьме. Помещица, хозяйка леса, должна была задуматься: а что будет дальше? Ведь не вечно же будут стоять вековые дубы? Надо было подготовить им молодую смену. Для этого следовало в год, когда обильными гроздьями висели на ветках желуди, беспощадно удалить весь рябиновый и орешниковый подлесок и срубить половину дубов. Вот тогда и пошли бы в рост молодые дубочки. А потом следовало срубить и весь остальной древостой, лес полностью бы обновился. Но это лесное «хозяйство» стояло на плюшкинских принципах: беречь, стеречь и не рубить. В результате весь дубовый лес до единого дерева погиб в засушливый и морозный год, не оставив потомства. Описание Тургенева — точнейшее свидетельство очевидца, оно соответствует историческим фактам. Известно, что в суровый 1840 год погибло на корню множество лесов Средней России. Да что забираться в прошлое! Знаете ли вы знаменитые воронежские леса с драгоценными древостоями: Теллермановский массив, Шипов лес, Хренов бор, Усманский заповедник, Савальский лес? И, конечно, мысль срубить дерево в таком лесу казалась кощунственной. Когда Воронежский обком вскоре после войны просил разрешения взять из этих лесов полтораста тысяч кубометров древесины на восстановление разрушенных колхозных хозяйств, ему, разумеется, отказали. А в начале пятидесятых годов дошел сигнал, что деревья суховершинят. Никто этому не придавал значения, но после суховея 1954 и 1957 годов деревья стали погибать целыми кварталами. Боже ж мой, сколько погибло лесу! И можете представить, сколько червяков и всякой заразы развелось в погибших древостоях! Шелкопряд-то после залетел и в Московскую, и даже в Калининскую области. Почти все леса Европейской России заразились от усыхающих воронежских дубрав. Вот вам и заповедники!

— Да вы не шутите?

— В таких делах шутки неуместны. Прочтите последнюю книгу профессора А. А. Молчанова «Лес и климат». Там глухо сказано, что погибли главным образом шестидесятилетние, слишком густые дубняки, не пройденные рубками ухода, а если бы заранее срубить половину или треть дубов, то оставшимся деревьям, по расчетам Молчанова, могло бы хватить запаса почвенной влаги на все время суховея, и оставшиеся после рубок изреженные деревья были бы живы... Нет, нам нужен не культ леса, а высокая культура лесного хозяйства, основанная на трезвом расчете.

В Коноше, на развилке дорог, я пересел в другой поезд и сошел на станции Подюга. Как и на многих других станциях Северной дороги, тут находится леспромхоз — предприятие по заготовке древесины.

В самой Подюге лес, конечно, не рубят, как не ловят рыбу в порту и не жнут пшеницу на мельнице и элеваторе. Здесь только переработка, склад и отгрузка на железную дорогу. А рубят деревья вдалеке, в глубине тайги. Лесозаготовительные пункты и участки разбросаны в разных сторонах. Они находятся и на юге, и на севере, и на западе.

Почему так далеко раскиданы лесозаготовительные пункты?

Да потому, что любое производственное предприятие рассчитывается на длительное существование. Только в романе можно написать, как лесопромышленник нагнал тысячу мужиков с топорами и постарался скорее изничтожить лесок. В жизни так не бывает и не бывало.

Можете представить, как встревожила бы бакинских нефтяников или шахтеров Донбасса весть, что нефть и уголь кончаются? Точно так же огорчительно для лесорубов известие о том, что кончается лес.

Вкладывая большие капиталы в строительство поселков и лесовозных дорог, стараются, чтобы каждый лесопункт надолго был обеспечен сырье-

вой базой. Для этого каждому лесопункту отводят большую территорию, и оттого они расположены вдальке друг от друга.

Лес привозят оттуда в Подюгу разными путями: по автомобильным и по своим леспромхозовским железным паровозам. А главная масса древесины — больше двухсот тысяч кубометров за лето — приплывает по воде.

Вот она, река Подюга, перегороженная плавучей перемычкой из деревянных мостиков и бревен, скованных цепями. Эта преграда остановила приплывшую с верховьев древесину. Где-то там выше по течению целую зиму рубили лес и складывали на берегу, а весной после ледохода сбросили в воду, бревна поплыли, и вот здесь их остановила запань. Скопились миллионы бревен, тесно прижавшись друг к другу, и, заполнив собою всю поверхность реки, словно легла от берега до берега плотная деревянная мостовая.

Здесь бревна специальными машинами и лебедками вытаскивают из воды и сортируют, какие куда: одни — в распиловку на доски, другие — на шпалы, третьи — на рудничную стойку или бумажные балансы, и есть, к сожалению, такие — с гнилью и кривизной, что годятся только на дрова.

Поедем вдоль реки навстречу плывущим бревнам, поглядим, где и как их добывают. Дорога идет по берегу Подюги, и тут сравнительно обжитые места, есть поляны и сенокосные участки, попалась на пути деревня Вельцы, но по сторонам всегда видны темные стены елового леса — острозубые гребеночки.

Должен сказать, что дорога, по которой мы едем налегке, не годится для перевозки тяжелых бревен. Да она им и не нужна: ведь их несет текучая речная вода.

Мы ехали двадцать километров и достигли места, где бревна сбрасывают в воду. Это Пастуховский лесопункт. Тут построен поселок для лесорубов, и тут находится такой же разделочный склад, как и в самой Подюге, с эстакадами и штабелями бревен. А лес здесь не рубят, его сюда тоже привозят.

На очень высокой ноте запела флейта, послышался нарастающий стук колес, и по тоненьким рельсикам выкатился из-за елок паровозик — с дымом из трубы, паровой одышкой и всеми подобающими настоящему паровозу атрибутами, только маленький, словно молодой еще, не вырос в большого.

Крошка-паровозик, посвистывая свирельным голоском, подкатился к эстакадам. За ним, торопливо крутя колесиками, бегут платформы, нагруженные пачками целых еловых деревьев во весь их рост. Они так длинны, что каждая пачка занимает сцеп из двух платформ-тележек; концы лежат на тележках, середина висит в воздухе.

Паровозик поставил приведенный поезд к эстакаде для разгрузки, отцепился, долго бегал, с железным лязгом собрал порожние платформы, постоял, попыхтел-посопел и двинулся обратно в лес порожняком.

На пастуховской узкоколейной железной дороге есть и пассажирский вагончик для проезда рабочих на лесосеки. В нем я и устроился.

До лесоразработок поезд шел пятьдесят минут без остановок. Расстояния в гайге преодолеваются труднее, и здесь все кажется дальше, чем в Средней России. По-видимому, мы сделали километров двадцать, и тут рельсовые пути начали ветвиться; в разные стороны отделились временно проложенные «усы»; они входят в каждую делянку, где рубят лес, — иначе как же без них вывезешь деревья? Весь лес пронизан такою же густой сеткой железнодорожных путей, как Москва улицами и переулками.

Местность холмистая. Это красиво и необычно для архангельской тайги, которая по большей части плоско-равнинна.

Один из «усов» привел меня на делянку. Это предназначенный для рубки квадрат длиной и шириной по полукилометру.

Человека, который не бывал на лесозаготовках лет пять, не может не удивить та делянка, куда я попал. Прежде лесосека была наполнена бревнами, машинами и народом. В центре стояла передвижная электростанция, возвышались погрузочные краны, лежали штабеля бревен, около них происходила деятельная людская толчея, слышались выкрики: «Раз, два! Взяли!»

А здесь ничего и никого нет — ни штабелей, ни кранов, ни людей. Ничего, кроме пересекающего делянку железнодорожного пути. На нем видны порожние платформы.

Да полно! Лесосека ли это? Быть может, надо мной подшутили? Быть может, делянка только готовится для будущей работы и не все еще сюда привезено и здесь установлено?

Но нет, где-то недалеко за елками зарокотал моторчик, словно бежит мотоциклетка. Порокотал, замолк, снова рокочет. А вот и еще мотор тарыхтит, на другой голос, этот похож на трактор.

Я отправился в ту сторону по прорубленному среди елок коридору. Навстречу мне ползет трактор, волокущий десятка полтора елей. Толстые комли подняты на задок трактора, вершины с необрубленными ветками волочатся по земле.

Я иду туда, где то застучит, то замолкнет моторчик, похожий по звуку на мотоцикл. Раскрылась прогалина. На ней орудует человек с бензиномоторной пилой — наиболее современным и совершенным орудием рубки.

Прежние электрические пилы были и бесшумны и удобны, но вальщик леса таскал за собой кабель и был привязан к электростанции. Нынешняя пила имеет собственный моторчик и ни с чем не связана — иди с ней куда угодно.

К моторчику приделана тонкая узкая пластинка; по ее краям натянута замкнутая пыльная цепь, похожая на ту, что в велосипеде идет от педалей на ось колеса, но на каждом ее звене сидят острые режущие зубья.

Вальщик подходит к дереву, приставляет эту пластинку с пыльной цепью к стволу, включает мотор и делает запил сначала с той стороны, куда надо свалить дерево, потом быстро переносит пилу на другую сторону, прижимает к дереву — и начинается стрекотанье. Быстро несется пыльная цепь, перерезая своими острыми зубьями волокна древесины. Пила идет в дерево, как в масло. Она стрекочет двадцать секунд — раздается отрывистый треск надлома, дерево опрокидывается, шумя ветками, и гулко ударяется оземь. С этим деревом кончено. Можно к следующему.

Работает вальщик один. Столкнуть дерево в нужную сторону помогает клин, вставляемый в распил перед концом валки.

Вальщик Иван Федосеевич Заводенко, он же бригадир, спилил штук пятнадцать. В это время вернулся освободившийся от своего груза трактор. Заводенко положил пилу. Из кабины вышел тракторист Казимир Карчинский. Оба принялись накидывать на комли сваленных елей петли из стального тросика с крючками и кольцами. Через эти кольца пропущен основной собирающий трос. Когда вся эта операция, называемая чокеровкой, была закончена, тракторист Карчинский сел в кабину на свое водительское место и включил тракторную лебедку — трос натянулся, деревья вздрогнули, стронулись с места, собрались в плотную пачку, и вот эта пачка, влекомая тросом, медленно поползла к трактору, уткнулась в опущенный железный щит и вместе с ним поднялась комлями на трактор.

Карчинский дал ход и двинулся в очередной рейс, а Заводенко взял пилу и принялся валить деревья для новой ноши.

Мне приходится сидеть поодаль, потому что техника безопасности запрещает во время валки деревьев подходить ближе пятидесяти метров.

В лесу стоит легчайший туман, елки словно затянуты синевато-белесой кисеей, чувствуется сладко-горький запах лесной гари. Где-то вдалеке пожар.

Ретивые комары вьются надо мной гудящим облаком. Когда неотступно висит над головой черная туча, какую увидишь только в тайге, писк отдельных тварей сливается в громкий гул, и он мне с детства страшен, к нему нельзя привыкнуть, потому что сулит он укулы, зуд, волдыри, расчесы. Моя одежда посерела от густоты усевшихся стад, но на этот раз злые насекомые донимают только своим писком и, представьте, не кусают. От всей души славлю всемогущество доброй науки химии, создавшей диметилфталат — маслянистую жидкость со слабым ароматическим запахом. Она защищает от укусов часа четыре, потом надо смазаться снова.

Так я и сидел да глядел на работу. Снова пришел трактор, нагрузился, поташил.

Когда трактор пошел с ношей в четвертый раз, с ним вместе двинулся и вальщик-бригадир Заводенко, захватив с собой пилу. Я, конечно, тоже не остался на месте.

Трактор подтащил свою четвертую ношу туда, где уже лежала ровным рядом вся куча привезенных раньше деревьев, — на край выкопанной в земле выемки глубиной метра в два. По дну этой траншеи проложен рельсовый путь, и там стояли порожние платформы.

И тут началось нечто неожиданное. Трактор, пятясь задом и упиравшись своим щитом в груды деревьев, неторопливо столкнул их в траншею, прямо на стоящий внизу сцеп из двух платформ. Погрузка, отнимающая в прошлые годы уйму труда и времени, закончилась в пять минут.

В старину грузили вручную, потом на вырубку пришел автокран. Что это такое — знают и горожане: автомобиль с лебедкой и мачтой-стрелой; груз подцепляют тросом и поднимают через блок на мачте. Автокрану под силу одно дерево. Его подцепляли за середину, и оно на тросе крутилось. Чтобы положить его вдоль сцепа между стоек, за оба конца дерева привязывались веревки; во время подъема и опускания дерева люди шли по земле и тянули за веревки, куда надо. На погрузке работали три человека: один крановщик и два направляльщика. И казалось, что нельзя иначе. Погрузка каждого дерева с привязыванием и развязыванием веревок продолжалась минуты три. Один сцеп грузили полдня.

Стояла задача прекратить эту длинную канитель и найти способ нагрывать целый воз единым махом.

Подожжане решили эту проблему очень просто. Выигрыш большой, но все же рискованно рекомендовать такой способ. Деревья плюхаются с отчаянным грохотом, тележкам трудноато переносить тяжелые удары. Подвижной состав на леспромхозовских узкоколейках и без того быстро изнашивается.

Я спросил:

— Не разбиваете ли вы вагоны, когда грохаете на них деревья с высоты?

— Пока плохого не замечаем, — ответил бригадир Иван Заводенко. — Да ведь мы стараемся сыпать потихонечку, не всю грудку разом.

А есть иной, совершенно безукоризненный способ, пригодный для всех видов транспорта. Он впервые применен другим бригадиром того же Подюжского леспромхоза — Иваном Федоровичем Быкадоровым.

Не надо траншеи; рельсы идут по ровному месту. Рядом с ними соо-

ружается упрощенная наклонная горка. Даже не горка, а просто четыре наклонных бруса, подпертых столбами или городками и отлого поднимающихся от поверхности земли до высоты железнодорожных платформ. По этим брускам сотня елок накатывается тросом на сцеп.

Точно так же, как уже было описано, в бригаде работают два человека: вальщик и тракторист. Точно так же трактор приволакивает за четыре раза десятков до семи елок. Две ноши кладет вершинами вправо, две ноши — вершинами влево; этим обеспечивается цилиндрическая форма будущего веза.

Под грудой деревьев протаскивают два троса (под тот и под другой ее конец), потом перекидывают обратно поверху, затем снова пропускают понизу и снова перекидывают через верх. Оба троса дважды обертываются вокруг груды деревьев. Чтобы не возиться с длинными тросами, они состояются из коротких обрезков, снабженных на концах кольцами и крючками,— когда надо, сцепляют и расцепляют.

Концы тросов, проходящих под грудой елей, зацепили за пни, стоящие по другую сторону рельсов, а два верхних конца подхватил трактор, находящийся тоже там же, по другую сторону рельсов. Трактор заработал, тросы натянулись, вся масса деревьев всколыхнулась, зашумела, загрохотала, пересыпаясь на месте. Натянувшиеся «вожжи», дважды охватывая кучу деревьев, сжали ее в цилиндр, и вот этот цилиндр покатился по наклонным брускам к стоящим на рельсах порожним платформам. Не заскользил, а именно покатился, вращаясь вокруг своей оси. При этом сучья и ветки перемалывались, обламывались, и весь цилиндр становился все плотнее. По отлогим наклонным брускам он поднялся на сцеп и лег довольно компактной массой. Весь процесс погрузки с протаскиванием тросов и другими подготовительными операциями занял десять минут.

При таком способе два человека тоже успевают за день спилить с корня, подтащить трактором и погрузить два сцепа. Современные машины вносят большое облегчение и ускорение в работу, которая в прежние-то времена, когда человек шаркал ручной пилой да плечом наваливал на сани тяжелые бревна, была поистине каторжной. При всем том лесозаготовки и сейчас остаются труднейшим делом, потому что до сих пор не все звенья механизированы. Обрубка сучьев до сих пор велась вручную. На каждой елке в среднем двести веток — двести ударов топора точных и метких, а ежели меткость отсутствует, так промахнешь топором целый час около одной елки.

И до сих пор слабо механизированы работы на нижнем складе, где распиливают стволы на бревна. Всякая обработка и сортировка всегда связаны с перекалыванием обрабатываемого материала с места на место. На складе леспромхоза не шпильки-булавки перекалывают, а тяжелые бревна, и хотя много движется всяких транспортеров, но с транспортера на транспортер бревно само не свалится, а надо перекинуть его человеческими руками, такими слабыми по сравнению с огромностью бревна.

Научно-исследовательские институты упорно работают над созданием поточных автоматических линий, хотят добиться полной механизации...

Заготовка древесины — это вывозка миллионов тонн бревен из глубины безлюдной, бездорожной, болотистой, а зачастую и холмистой тайги. Но даже не в миллионах тонн главная тяжесть лесных перевозок, а в перемещении путей. Лесорубы постоянно переезжают с места на место, постоянно осваивают лесную целину, но не для того, чтобы осесть на покоренном пространстве, а чтобы снова двинуться дальше.

Лесовозная дорога подобна ветвистому дереву с постоянно вырастающими и постоянно опадающими ветками. Ветки растут, перемещаются,

умножаются и прекращают свое существование, как только выполняют роль.

В конце концов вырубаемый лесной массив пронизывается густой сетью путей. Иначе нельзя. Для лесозаготовок постройка дорог — то же самое, что бурение скважин при добычании нефти.

Подюжский леспромхоз строит в год шестьдесят километров железной дороги. Тех путей, которые он уложил за время своего существования, хватило бы протянуть от Москвы до Архангельска.

Но настоящие дороги прокладываются навек, по ним едут миллионы людей и проходит бесчисленное количество грузов. Большой первоначальный расход вполне оправдывается.

А километр лесовозного «уса» за краткое время своего существования перевезет тысяч до пяти кубических метров древесины, и надо, чтобы кубометр обошелся леспромхозу в пятерку вместе со всеми многообразными расходами на заготовку, обработку и перевозку, включая сюда стоимость постройки дороги, износ машин, управленческие расходы и все другое прочее.

Тут раздирающее противоречие между слишком коротким сроком службы сооружения, небольшим экономическим результатом и капитальностью, требуемой всеми обстоятельствами дела.

Автомобили на вывозке леса маневреннее узкоколеек, но постройка автомобильных дорог обходится не дешевле.

Лесозаготовки — работа передвижная.

Выберут делянку — ломают дорогу: делать тут больше нечего, надо переезжать на новое место. Так постоянно передвигаются десятки лет, а потом оказывается, что и передвигаться дальше некуда, и тогда надо закрывать леспромхоз.

В 1953 году я побывал в Красновском леспромхозе Архангельской области и напечатал его описание в очерке «В лесном краю». Просматривая этот очерк, с удовольствием вспоминаю, какой хороший был леспромхоз с красивым поселком Коковкой на высоком правом берегу Онеги и какая замечательная река эта Онега — быстрая, веселенькая, с хрустальной водой и вся в зеленых лугах да в сосновых кудряшках.

Все в леспромхозе было построено добротное: бревна вывозились по прекрасным автомобильным дорогам, люди жили в удобных лесных поселках. Работали в леспромхозе замечательные мастера своего дела и даровитые организаторы; слыл Красновский леспромхоз самым передовым лесозаготовительным предприятием Севера.

А потом лес кончился.

В том месте Северная железная дорога проходит всего в сорока километрах от реки Онеги. Два леспромхоза рубили каждый со своей стороны один и тот же кусок тайги: Шалакушский вывозил бревна к железной дороге, Красновский — к реке и сбрасывал их в воду, чтобы плыли они на онежские лесозаводы. Ну, и кончился кусок; весь лес вырублен.

Пришлось Красновскому леспромхозу перебазироваться на другое место — на левый берег Онеги и на восемнадцать километров ниже по течению. Но что значит перебазироваться? Переехали на новое место люди, а леспромхоз-то выстроен совершенно новый. Строился он пять лет, да и сейчас еще достраивается. Пустили его с недоделками, чтобы поскорее вывезти древесину, но недоделки давали о себе знать на каждом шагу и болезненно отражались на уровне производства. Туго, очень туго налаживалась работа на новом месте; блиставший прежде своими успехами Красновский леспромхоз скатился на одно из последних мест. Каждый работник любой отрасли хозяйства, вероятно, знает, что такое пусковой период.

Я был свидетелем того, с какою медленностью строились в Архангельской области новые леспромхозы: Лавельский, Сурский, Зеленниковский, Усть-Ваеньгский. Уходит лет пять, не меньше. Да потом еще лет десять достраивают.

Лесозаготовки — этот первый этап лесного дела — требуют громадных капиталовложений. Настолько они велики, что государство до сих пор не имело возможности выделять достаточных средств на последующие этапы: переработку древесины и восстановление лесов. Получалась диспропорция, и она, разумеется, досадна, но ничего нельзя было поделать.

Тайга не выполняла плана, всем потребителям давала недосыта. И так как древесины всем недоставало, сложилась такая профессия — «толкач». Занимались этим делом напористые люди, умевшие выжимать воду из камня.

Гостиницы северных городов, поставщиков леса, в пятидесятых годах на три четверти были заполнены толкачами, приехавшими из разных концов страны выколачивать свои доски и бревна по нарядам, утвержденным Госпланом. Отдавались распоряжения: «Толкачам не ездить — станем отбирать командировки!» А как же им не ездить, когда древесину не отгружают?

Запомнился мне один толкач, тихий, скромный человек, не похожий на других выколачивателей древесины, отличающихся профессиональным нахальством. Я встретил его в Петрозаводске, столице лесной Карелии, и на той же неделе в Котласе, где находился «Лесосбыт» не менее лесистой республики Коми. Переехал в Архангельск и снова увидел то же лицо. Ну, конечно, вступил с ним в разговор, как с знакомым человеком:

— Кто из нас кого преследует по пятам?

И он поведал свою грустную повесть:

— Я заместитель заведующего транспортным отделом сахаротреста. Очень крупный трест на Украине. Думаю, что в Америке нет таких. У нас тридцать восемь заводов. Должны мы были получить в этом году четыре с половиной тысячи кубических метров железнодорожных шпал. Наряды оформлены на Карелию, республику Коми и Архангельскую область. В первом квартале не получили ни одной шпалы — наряды пропали, во втором тоже. Сейчас лето кончается, ждать дальше нельзя. Слали мы сотни телеграмм — не отвечают. Пришлось ехать самому. И знаете, что они заявляют? «Мы, говорят, Министерству транспортного строительства не в состоянии полностью выполнить поставки, а давать шпалы сахаротресту — это просто баловство».

— В самом деле, зачем вам шпалы?

— Так ведь у нас на каждом заводе свои железнодорожные пути — от станций до завода. Свекла приходит в вагоне прямо на заводской двор; сахар тоже грузится в вагоны. На всех наших заводах пятьсот километров железнодорожных путей. А теперь шпалы сгнили, движение закрыто, железная дорога не подает вагонов на завод...

Тысячи гонцов, подобных этому, осаждали конторы «Лесосбыта» в таежных областях.

Удовлетворить всех потребителей в централизованном порядке было невозможно, и вот пришлось ведомствам, нуждающимся в древесине, южным республикам, исполкомам степных областей и городским Советам собственными силами заготавливать древесину в тайге. Наравне с леспромхозами Министерства лесной промышленности, позже перешедшими в ведение местных совнархозов, в тайге появились карликовые леспромхозы других министерств.

Эти предприятия, находясь за тридевять земель от своих хозяев и не подчиняясь местным властям таежных областей, работают бесконтрольно, допускают финансовые и всякие другие вольности, нарушают лесохозяйственные правила, относятся к лесу нерадиво и вообще ведут себя, как завоеватели на временно оккупированной земле.

Вот пример. На Украине лесное хозяйство ведется неплохо: за последнее десятилетие на один гектар рубок приходилось по три гектара посадок, в результате прибавился миллион гектаров новых лесов. Украинские товарищи могли бы поучить северян правильному лесному хозяйству, между тем украинский леспромхоз в Архангельской области всегда нарушал элементарнейшие лесохозяйственные требования и ни разу не выполнил нормы посева леса на вырубках, установленной для тайги в самом скромном размере. Вот какое разное отношение к своему украинскому и к чужому архангельскому лесу!

В пятидесятых годах началась форменная спекуляция древесиной. В ней особенно остро нуждались степные колхозы. Если город Ростов-на-Дону мог создать в тайге свой леспромхоз, то колхозу такая задача не по силам. Степные колхозы искали «левый лес» по «вольной цене», и нашлись предприимчивые дельцы, сумевшие удовлетворить спрос.

Спекулянту нет смысла возиться с одним колхозом, он заключал договора с десятком, двумя десятками колхозов, запасался доверенностями, ехал в качестве «колхозного уполномоченного» в тайгу. В южных районах Архангельской области, в Новгородской, Вологодской, Костромской, Кировской, Пермской областях есть колхозы, расположенные неподалеку от железных дорог, они владеют большими лесными площадями и не прочь подкрепить свой ослабевший от неудач в полеводстве и животноводстве бюджет, если предложат подходящую цену. А за ценой «уполномоченный» не стоял. Щедрую плату получали также «шабашники» и «калымщики», выполнявшие всю работу. Раз цена вольная — нет недостатка в рабочих руках.

«Колхозные уполномоченные по лесозаготовкам» запятнали лицо своей профессии чрезмерной жадностью: мало того что получали одновременно с десяти—пятнадцати колхозов суточные, разные там командировочные и премиальные за каждый отгруженный кубометр, так стали еще подсовывать фальшивые счета и многие уличены в подлогах.

Нынче южным колхозам оказывают кой-какую помощь. В степных областях созданы межколхозстройки, и они занимаются лесозаготовками. На знакомом мне участке тайги по сю сторону Урала я уже встречал леспромхозики Саратовского, Ставропольского, Тамбовского межколхозстройки, но в этих леспромхозиках тоже есть что-то от шарашкиной фабрики.

В лесозаготовительном процессе участвуют строители дорог, подготовители лесосек, вальщики, трактористы и лебедчики, обрубщики сучьев, раскряжевщики стволов на отдельные бревна, грузчики, штабелевщики, механики, слесари, ремонтирующие машины, и много всяких других вспомогательных рабочих.

Если количество древесины, добытой леспромхозом в год, разделить на число рабочих всех специальностей, получится то, что называется комплексной выработкой.

Производительность труда на лесозаготовках долгое время не повышалась. Годовая выработка на одного лесозаготовителя в среднем по Советскому Союзу была в 1940 году — 232 кубометра, в 1951 — 220, в 1952 — 223, в 1953 — 225 кубометров. Застыли на одном месте.

Новые машины и новые методы дали свой результат. В конце пятидесятых годов дела в лесах пошли значительно лучше. Лесозаготови-

гельная промышленность всего Советского Союза впервые за послевоенное время вышла из глубокого прорыва и в 1957, 1958 и 1959 годах трижды подряд выполняла план. Полегче стало с древесиной во всех отраслях народного хозяйства и в строительстве.

Потом лесная промышленность снова впала в острейший прорыв, но в 1963 году дела шли уже чуть-чуть получше. Если осенне-зимний сезон 1963/64 года закончится успешно, на что есть надежды, положение в лесу упрочится.

Главное, при всех колебаниях, какие испытала лесная промышленность за последнее десятилетие, общая тенденция идет все же на укрепление. Производительность труда по сравнению с пятидесятью годами удвоилась и перешагнула теперь четырехста кубометров в год на одного рабочего (в среднем по СССР).

Какими способами это достигнуто — мы видели в Подюге.

Впрочем, Подюга — это слишком близкая и слишком доступная тайга. Сюда мы завернули мимоездом из Москвы в Архангельск. Теперь мы направимся в более далекую тайгу. Она пока еще мало освоена, но ее обязательно надо освоить.

По данным, опубликованным в книге А. А. Молчанова и И. Ф. Преображенского «Леса и лесное хозяйство Архангельской области», при нынешнем размещении предприятий и нынешних темпах эксплуатации существующего сейчас запаса спелого леса хватит в районах, примыкающих к Северной железной дороге, всего на пятнадцать—двадцать лет, на реке Онеге — лет на сто, на Северной Двине — тоже на сто, а на реке Мезени — на шестьсот лет. Это значит, что в железнодорожных районах Архангельской области в ближайшие годы лесозаготовки должны уменьшиться или даже на некоторое время прекратиться, а в районах рек лесопользование может быть фактически непрерывным, потому что за сотню лет вырастет новый лес. А на Мезени за шестьсот-то лет успеют и вырасти и сгнить несколько поколений новых деревьев.

И не так далека эта Мезень — всего двести пятьдесят километров от Архангельска по прямой линии. Но в тайге расстояния меряются не километрами, а человеческим трудом и временем, затрачиваемым на их преодоление. Тяжелые в тайге километры...

2. В глухом углу

На Мезень можно попасть на самолете. Всего час в воздухе. Но эта легкая достижимость способна дать обманчивое представление о доступности бездорожного края. Самолеты приземляются в районных центрах, а что такое районный центр? Точка на карте. Кроме точек, есть обширные пространства с глухими углами, куда груз идет из Архангельска ровно год.

Чтобы получить более верное представление, поедем обычной дорогой, какой добирается весь рабочий люд и доставляются товары.

Главнейшим путем проникновения в тайгу исстари служили реки. Сплав леса до сих пор играет важную роль. А для мезенского леса единственный выход на рынок — река Мезень.

Она нигде не пересекается с железнодорожной сетью и впадает в северо-восточный угол Белого моря. Стало быть, ехать туда надо сначала морем.

Есть две паромные линии на Мезень: товаро-пассажирская — со многими остановками на побережье, и экспрессная — с одной только остановкой у острова Моржовца. Выбираем экспрессную.

Пароход «Воронеж», отвалив от пристани в Архангельске, километров тридцать идет мимо выстроившихся вдоль реки лесопильных заво-

дов. Белыми домиками стоят штабели напиленных досок. Пахнет водой и опилками. Того и другого тут много.

И вот наконец развернулось перед взором широкое море. Выход из речной в морскую воду всегда резко заметен для глаза: вдоль бортов парохода появились широкие полосы белой мыльной пены, и они далеко протянулись за кормой, сохраняя след прошедшего судна. Морская вода — густая, это раствор солей. Пузырьки воздуха, вбитые корпусом судна в глубину, освобождаются медленно и трудно, так же как из мыльного раствора, который, как известно, можно даже пускать через соломинку летающими шариками. В пресной речной воде таких явлений не бывает, ее в пену не собьешь.

Море встречает нас ласково. Тихо, тепло, солнечно. В сводках по радио передают: «На Кольском полуострове, в Архангельской области, Поволжье, Западном Казахстане и Туркмении сохранится жаркая погода». Вот какие бывают курьезы: Архангельская область в одной группе с Туркменией. Приятно плыть по Белому морю в такую редкостную погоду.

Но для лесов жара — бич. Уже сколько раз за последний месяц приводилось нюхать пожарный дымок. Горит тайга. Настолько сильно, что не могут погасить.

Мы идем на север. Справа все время виден берег, сплошь заросший лесом. Особенно красиво побережье в районе Зимних гор — высокие и крутые голубовато-серые обрывы в темно-зеленой раме тайги.

Стена леса будет сопровождать нас на протяжении двухсот пятидесяти километров. Она непрерывна. Изредка километров за тридцать—сорок друг от друга встречаются рыбацкие деревеньки. Они виднеются маленькими пятнышками у подножия островерхой еловой гребенки. Само собой разумеется, деревеньки есть только на морском берегу, а тайга не населена. Я когда-то жил в здешних местах и знаю, что даже охотники за белкой и куницей не уходят дальше двух-трех километров от моря. Люди в тайге всегда живут около воды.

Обогнали длиннейшую вереницу разнокалиберных речных судов — белых пассажирских лайнеров, буксиров, барж. Построенные в Сормове, Ленинграде, Германии и Венгрии, они разными путями пришли в Архангельск и все вместе направились на пополнение флота сибирских рек. Чуть ли не целая сотня судов. Растянулись так длинно, что наш «Воронеж» обгонял их четыре часа. А потом наши пути разошлись: караван отклоняется влево на выход из Белого моря в океан, а наше судно продолжает курс вдоль восточного берега ко входу в Мезенский залив.

Под шестьдесят шестым градусом широты лес кончился, началась тундра. Северная граница леса проходит по местам, где многолетняя средняя температура июля, самого теплого месяца, равна десяти градусам. При более низкой температуре не вызревают еловые семена — это доказано экспериментально. А раз не вызревают — нет условий для расселения, размножения, оставления потомства. Все другие неудобства, которые претерпевают деревья от недостатка тепла, являются уже второстепенными.

Вместе с лесом на берегу, который все время сопровождал нас справа, оборвался зеленый цвет. Видимая в бинокль тундра, заросшая ягодными кустарничками — вороникой и морошкой, имеет бурую и коричневато-оливковую окраску. Для нас, привыкших к светлой луговой зелени, это выглядит непривычно, но не спешите с выводами о безобразии тундры. Вспомните, что канны с их крупными красно-коричневыми листьями служат одним из лучших украшений московских цветников. Зеленый цвет не всегда обязателен для красоты. К тундре надо привыкнуть.

Спустилась стеклянно-прозрачная ночь. Уже прошла пора летнего солнцестояния; дневное светило глубоко и надолго уходит за море. Нет в природе прежнего буйства багряных красок, они сменились мягкими серебристыми полутонами. Блестящее море, светлое небо, далекая полоска берега — все выглядит легким и прозрачным, словно весь видимый мир сделан из стекла или из чего-то еще более прозрачного. Это прощальная улыбка уходящего летнего света; скоро ночи станут синими, а потом, как и всюду, черными.

Пересекли Полярный круг.

На повороте в Мезенский залив лежит остров Моржовец. Наш пароход подошел к нему на восходе солнца и бросил якорь. С берега прибежал моторный катерок и забрал приехавших пассажиров.

«Воронежу» делать здесь больше нечего, он мог бы продолжать свой путь; до Мезени осталось сто тридцать километров — на шесть часов хода. Но скоро начнется отливное течение. На отливе устье Мезени мелеет и становится недоступным для входа судов. Поэтому наш пароход вынужден ждать восемь часов и тронется в путь только в полдень.

Можно, конечно, отправиться и сейчас, а ждать восемь часов у входа в реку, но там небезопасно. Стоянка у Моржовца спокойнее и надежнее: здесь просторнее и глубже и здешний грунт крепче держит якоря.

Ну, а если будем стоять до полудня, то я лучше погуляю по берегу. Имея разрешение и заручившись согласием команды, я тоже спускаюсь по трапу в наполненный пассажирами катер.

Как же не побывать на острове? Через всю жизнь мы проносим большое и светлое чувство родины, а моя родина — Моржовец. Я не бывал на нем с 1914 года, но отчетливо помню каждое озерко, каждый холмик.

Прилив у Моржовца достигает высоты в шесть метров. Дважды в сутки вода отступает от берегов, обнажается тогда песчано-галечная отмель шириной до полукилометра, и дважды в сутки она заливается водой. Постоянно сдвигается линия, отделяющая сушу от воды. Нельзя построить мостки и пристань, как это делается на бесприливных морях — Черном и Балтийском. Высадка с моря на берег затруднена. У меня сохранилась открытка начала столетия «У острова Моржовца в Белом море». На снимке изображена обмелившаяся лодка, бредущие по воде матросы, и у них на плечах сидят пассажиры. Так же переносились грузы.

Так было, да и не могло быть иначе в те времена. А теперь иная техника.

Когда катер коснулся днищем песчаной отмели, у края воды его ждал трактор. Матросу в брезентовой робе и высоких сапогах пришлось все же прыгнуть в воду. Но только для того, чтобы подать трактору канат. Универсальнейшая машина, вспахивающая поля, убирающая хлеб, выволакивающая бревна с лесосек и сажающая лес, пригодилась и на морском транспорте. Влекомый трактором, наш катер, оглушительно скрежеща днищем о песок и гальку, выполз из воды на сухое место. Тут сделали остановку, пассажиры повыскакали через борта и направились дальше пешком, а трактор поволок облегченное судно выше, за линию самого высокого прилива.

Не менее удачно решена проблема доставки на остров груза. Специальные железные баржи с плоскими днищами подводятся на высшем уровне прилива к берегу и ставятся на мель. В отлив вода уходит, и автомашины подъезжают к бортам барж посуху. Надо сказать, что обнажившийся на отливе мокрый песок плотен и выдерживает автомашины с самой тяжелой нагрузкой. А если немножко и поразроют, то вскоре подейдет вода, закроет и все снова разгладит.

Разумеется, все эти новые и оригинальные технические средства при-

менимы только в тихую погоду. Штормы обрушиваются на берег разрушительным прибоем, и тогда высадка на остров немислима.

Кстати, о прибое. Вполне понятно, что, попав на остров, я первым делом направился туда, где прошло мое детство, но я знал, что уже нет ни дома, ни того места, где он некогда стоял. Я мог только показать рукой некую точку, висящую в воздухе над морем, и сказать: «Там был тот дом».

На северной стороне Моржовца береговой обрыв нещадно разрушается прибоем морских волн во время приливов. Причина заключается в чрезвычайной рыхлости грунта: под поверхностным слоем торфа залегают пылевидные пески, какие московские метростроевцы называют плывунами. Они не могут противостоять сильным ударам волн, которые гонят жестокие северные штормы. Подмываемый снизу, обрыв постоянно обваливается.

Постепенно отступая, край обрыва коснулся угла озера, откуда пил я воду в детстве и где моя рука впервые взяла весло и шкот паруса; озеро вытекло, на обсохшем дне выросла трава, образовался луг в полтора гектара.

Вытекло несколько других озер. Я, естественно, не мог пройти по всему берегу — надо было возвращаться на пароход «Воронеж», но думаю, что не сильно ошибусь, если скажу следующее: убыль берега совершенно незаметна на юго-западном фасаде острова, потому что он защищен от северных штормов, да и грунт там покрепче; на северной же половине, подверженной разрушительному действию штормов, за пятьдесят лет море съело пять с половиной квадратных километров суши. Я, признаться, ожидал более быстрого разрушения. Остров Моржовец перестанет существовать только через тысячу лет.

Точно так же разрушается и материковый берег Мезенского залива.

Не думайте, что я уклонился от темы леса и предался детским воспоминаниям. Я же ни слова не сказал о самом Моржовце, что он такое из себя представляет, и зачем я там жил, и почему уехал.

В каждом уголке природы, будь то полярная тундра или знойная пустыня, горная вершина или степная гладь, есть своя особая, неповторимая и не встречающаяся ни в каких других местах красота. Надо только ее понять.

Случалось ли вам где-нибудь в Подмосковье, проходя по лугам и перелескам, почувствовать вдруг приятный запах? Оглядываетесь и замечаете свежескошенное сено. Почему тут же рядом точно такая же живая трава, стоящая на корню, не пахнет, а срезанная косой и подсыхающая — издает приятный аромат? Я этого не знаю, но факт есть факт. Точно так же я не знаю, почему более южные места с богатой растительностью не ароматны, а покрытая низенькими кустарничками тундра — самый ароматный из всех земных ландшафтов.

В «Волшебном колобке» М. М. Пришвина есть очерк «Свидание у Канина Носа», и там в главе «Горный ветер» рассказано, как в океан залетел по ветру упоительный запах далекого и невидимого берега. Вот это и есть аромат тундры. Он очень силен, но разве его можно сравнивать с грубоватым запахом какого-то прозаческого сена? Пахнет тундра только днем в теплую солнечную погоду.

Мне хотелось бы рассказать, как чисты и прозрачны голубые озера, как красива тундра, покрасневшая под лучами полуночного солнца, как любит тундру птица — ведь нигде в другом месте нет такого великого множества птиц, — но я молчу, потому что все это не имеет никакого отношения к лесу.

Я говорил и продолжу разговор о водном режиме Мезенского залива, о приливах и отливах, о трудностях высадки на берег при постоянно из-

меняющемся уровне воды, потому что не что иное, а именно водный режим Мезенского залива определял и до сих пор определяет условия вывоза, а следовательно, и всю судьбу мезенского леса.

Хотелось бы в самых грубых чертах объяснить механизм высоких мезенских приливов.

Взгляните на карту! Белое море глубоко врезалось в сушу с севера на юг. Оно раскрывается в океан довольно широкой воронкой. На обычных географических картах воронка обозначается голубым водным пространством. Но на крупномасштабных картах, служащих мореплавателям для прокладки курсов, видно, как к северу от острова Моржовца по самой середине воронки тянутся так называемые «Северные кошки» — обширная гряда отмелей. Многие из них на отливе показывают желтые песчаные спинки. В детстве я их видал, когда на парусной лодке ходил на тюлений промысел. А с крупным судном туда не сунешься. Суда ходят в сторонке — или справа, или слева. Да и морская вода тоже. Гряда отмелей делит воронку Белого моря на две полосы: восточную, идущую вдоль Канинского берега, и западную, примыкающую к Кольскому полуострову.

Океанский прилив высотой в два-три метра входит в воронку. Та часть воды, которая движется по восточной полосе, упирается в берега Мезенского залива и, не находя выхода, накапливается, повышает свой уровень у Моржовца до шести метров, а в вершине залива еще выше и достигает у входа в реку Мезень девяти-десяти метров.

Та же полоса воды, которая движется по западной стороне, свободно вливается в горло Белого моря и проникает во внутренний бассейн, не встречая на своем пути никаких препятствий. Не так уж много океанской воды успевают притечь через узкое горло за шесть часов двенадцать минут прилива. Она растекается по широкому пространству внутреннего бассейна и постепенно снижает свой уровень. В южной части Белого моря прилив не превышает одного метра и практически незаметен, он не оказывает существенного влияния на судоходство.

Действует еще ряд обстоятельств, о которых умолчу, чтобы не запутать читателя. Думаю, что так, как объяснил, будет достаточно понятно.

Мезенский залив принадлежит к числу мест с очень высоким приливом. За шесть часов двенадцать с половиной минут перемещается на десятках тысяч квадратных километров такое огромное количество воды, какого большой реке хватило бы выливать на год.

Ведутся изыскания и разрабатывается проект постройки Мезенской приливной электростанции. Из силы приливов извлекают выгоду, а пока они причиняют одни огорчения, затрудняя судоходство. Вот же: экспресс, команда которого выгадывает минуты, стараясь выполнить свою годовую программу, стоит без дела восемь часов. Пассажиры понуро скучают, стоянка им не по нутру. Человек с проездным билетом в кармане всегда считает вынужденную остановку нарушением своего права на движение.

Вахтенному штурману излишне глядеть на часы: сама природа указала время отправления. Стоявший на якоре и обращенный к берегу Моржовца левым бортом пароход сам собой повернулся, берег оказался справа. Это сменилось течение, вода пошла на прибыль. Через шесть часов наступит высшая точка прилива, и ровно столько же времени нужно «Воронежу» для завершения рейса. Поэтому отход от Моржовца всегда приурочивается к повороту течения.

Прозвенел машинный телеграф, раздалась команда:

— Катать якорь!

Пароход погремел якорной цепью, забурлил винтами, вспенил воду и лег на курс.

Идем теперь на юго-восток. Вторично за этот рейс пересекли Полярный круг и возвращаемся в умеренные широты. Берега Мезенского залива низменны, окаймлены широкими отмелями, нет ни одной бухты, где можно укрыться от шторма.

В начале столетия мне привелось видать в этих местах остатки разбитого парохода. Корпус и надстройки были быстро разрушены штормами, но надолго уцелели котлы. На отливе они высовывались из воды, как черные камни, и волны, вливаясь и выливаясь через топки, зловеще гудели и звенели железными стенками, напоминая о том, что в устье Мезени зевать нельзя.

Когда мы вошли в узкую вершину залива, к нам подошел бот, и на борт поднялся старик лоцман. Местный помор, знакомый с мельчайшими подробностями постоянно изменяющегося русла, будет руководить дальнейшим ходом нашего судна.

Я успел перекинуться с лоцманом несколькими словами. Нет, опасные мели взорваны аммоналом еще в тридцатых годах, русло углублено, хорошо налажена лоцманская служба, движение судов строго подчиняется времени приливов, аварий не бывает, совершенно по-новому организована погрузка в порту. Несмотря на все это, пропускная способность Мезенского порта остается небольшой.

Невозможно определить, где кончается море и начинается река. Берега, видные теперь и справа и слева, постепенно и плавно сближаются, становятся ясно различимыми. Вот между берегами осталось десять километров, потом пять; местами они сходятся на три километра. Пароход идет по ленте воды между двух берегов, но можно ли назвать эту ленту рекой? Едва ли. Настоящая река течет всегда в одну сторону, и ей полагается иметь пресную воду. Вода, по которой мы идем, несется со скоростью девяти километров в час вверх, против нормального течения реки, и она соленая, морская: около бортов судна тянутся полосы мыльной пены. Но от нормальной морской она отличается желто-серым цветом; в кубометре мезенской приливной воды, размывающей берега, содержится четыре килограмма песка и глины. Можно пожалеть несчастную рыбу семгу, вынужденную идти из светлого моря на нерест в верховья реки через такую грязь...

Прилив дошел до высшей точки, течение приостановилось, пришла пора «кроткой воды».

Повстречали идущий к морю пароход под норвежским флагом — на красном полотнище синий крест с белой каемкой. Тяжело нагружен мезенским лесом, не только трюмы, даже палубы заполнены бледно-желтыми досками; видны только мачты, труба и командный мостик.

А вот и конец нашего пути. У поселка Каменка «Воронеж» подошел на полкилометра к берегу и бросил якорь. Появился катер, забрал и перевез пассажиров на берег.

Тут еще тундра. Местность плоская, равнинная. Но какая ширь! И какое могущество в быстрых спадах и разливах воды!

Полурека-полупролив, по которому поочередно в две стороны носится бешеная вода, имеет здесь ширину километра в четыре. На противоположном берегу чуть виден вдалеке маленький городок Мезень, упомянутый в грамоте, написанной в 1535 году от имени малолетнего Ивана IV Грозного.

Мезенцы издавна были отважными и умелыми мореходами, рыбаками и зверобоями. Именно они в давние годы зимовали на Шпицбер-

гене, обошли вокруг Новой Земли, плавали на сибирские реки. Но в послепетровскую эпоху, когда наступила пора крупного кораблестроения и больших экономических связей, поморский парусный флот был создан на южных побережьях Белого моря, в Онежском поморье, где нет приливов и где много удобных бухт для стоянки кораблей. Мезенское же судоходство остановилось на прежнем уровне ладьи и карбаса, который под силу руками втащить на отмельный песчаный берег.

В Мезени не было построено ни одной большой парусной шхуны, какие десятками имела любая деревушка Онежского поморья. Мезенский залив и река Мезень не годились для плавания больших парусных кораблей.

В XVIII веке английский концессионер Гом заготовил на реке Мезени много лесоматериалов, но не смог погрузить на корабли и бросил 93 539 бревен, 7040 досок, 1208 кубических сажен дров.

Вывоз мезенского леса стал возможен только через полтора года после Гома, когда вошли в обиход паровые и моторные суда, способные преодолевать встречные и боковые течения. В устье Мезени хорошо и то, что течения ходят только в две стороны, а в Мезенском заливе они постоянно меняют направление, совершают за полсуток полный круг, двигаясь попеременно от всех точек горизонта, и достигают значительной быстроты. Сунься тут без паровой машины!

И потребовался аммонал для подводных взрывов, чтобы уничтожить опасные мели при входе в реку.

В Каменке начинается речной путь на юг. Он ведет в Лешуконье — лесной край, где людей зовут лешуками, то есть лешими, лесными существами, и они на это ничуть не обижаются. Самая распространенная фамилия там — Лешуков.

А еще дальше в верховьях Мезени и ее притоков лежит не менее лесная Удора — труднодоступный район республики Коми, куда М. М. Пришвин поместил созданную творческим воображением волшебную «корабельную чашу», где стоят чудесные трехсотлетние сосны, не страдающие ни от своего преклонного возраста, ни от червяка, ни от пожара.

В Каменке встречаются два грузопотока. Здесь находится морской порт и речная пристань.

С моря приходит и переваливается на речной транспорт для доставки в глубь края продовольствие и всякий нужный человеку промтоварный ширпотреб. А по реке из глубины лесного края приходят бревна, и это — главный мезенский груз, превосходящий своим количеством все остальное, перевозимое и в ту и в другую сторону. Надо отправить древесину за море, переработав сначала в более дорогой и транспортабельный товар — доски, и для этой цели существует в Каменке лесопильный завод.

Удачно выбрано место для его постройки и вообще для перевалки речного груза на море и морского на реку. Другого такого в низовьях Мезени не сыщешь.

Выгоды местоположения ясно бросились в глаза, когда я вышел на берег через шесть часов после приезда.

Наступил отлив; широкое русло реки, залитое прежде приливной водой, обнажилось; всюду видны сплошные желтые пески. Водяная лента сохранилась только у берега Каменки. Здесь глубокая яма, и пароход «Воронеж» преспокойно стоит на якоре.

Вот эта глубокая яма, позволяющая морским судам стоять на отливе не обмелившись, и делает Каменку самым удобным и даже единственным местом, где мог быть устроен морской и одновременно речной порт.

Бревна приплывают по реке в плотах. Чтобы превратиться в доски,

они обязательно должны побывать на заводе, то есть их надо поднять на берег. А потом с берега нужно грузить на морские пароходы, бросившие якоря на рейде.

И обе эти перегрузки — на берег и с берега — затруднительны, потому что вода не стоит на одной высоте, а вместе с колебаниями уровня постоянно передвигается граница между водой и сушей. Положение такое же, как на Моржовце, где пассажирский катер перетаскивается по песку трактором, а грузовые баржи становятся на обсушку. Но Каменка — единственные ворота для целого края. Мелким кустарничеством проблему перегрузки здесь не решишь.

Высота прилива у Каменки — около пяти метров: сказывается удаленность от моря и повышение речного русла. Но и пять метров — все же много. Однако накопленные десятилетиями опыт и сноровка помогли решить трудности. Для подъема бревен из воды приспособлены цепные транспортеры, но они не могут работать непрерывно и останавливаются при определенном уровне воды. В шторм, конечно, тоже приходится прекращать работу.

А для погрузки напильных досок с берега на морские пароходы построено два сооружения, называемых здесь «дамбами». По внешнему виду они действительно похожи на дамбы, но это гигантские плавающие коробки, удерживаемые мертвыми якорями на самых глубоких местах Каменской ямы. С берега к ним по вереницам плашкоутов идут мосты. В прилив вся вереница плавает на воде, в отлив ближние плашкоуты садятся днищем на обсыхающий песок; продолжают держаться на плаву только дальние плашкоуты и сами «дамбы», и там глубина не бывает меньше десяти метров.

К каждой «дамбе» могут одновременно причалить по два морских парохода.

По плавучим мостам едут лесовозы — автомобили необычной формы на высоких колесах-ногах; у них нет платформ, груз они держат снизу, между колесами. Не надо нагружать и разгружать обычным способом. Эти стальные высоконогие жирафоподобные существа мчатся, прижимая воз досок к своему животу. Привезут на место — в одну секунду опустят наземь и возвращаются обратно. Удобный саморазгружающийся механизм.

Навигация в Мезени продолжается четыре месяца, на пять надеяться нельзя. Река очищается ото льда во второй половине и к концу мая, а морской лед в горле Белого моря держится обычно дольше.

Но Мезенский порт не способен принимать морские суда сразу же после исчезновения льда: не менее десяти дней длится установка погрузочных «дамб». А осенью приходится прекращать приемку судов до наступления заморозков, чтобы успеть вытащить на берег все громоздкие погрузочные сооружения, в том числе тридцать плашкоутов.

За навигацию Мезенский порт успеваеt вывезти до двухсот тысяч кубических метров досок. Не так много, меньше, чем дает древесины один крупный леспромхоз типа Подюжского. А по запасам спелого и перестойного леса на реке Мезени и ее притоках впору иметь пятнадцать леспромхозов и добывать пять-шесть миллионов кубометров. Ведь если стоит на корню спелый урожай да осыпается, что с ним надо делать? Убирать!

Наклонные мосты поднимаются к лесопильному цеху и через широкие ворота вбегают прямо на второй этаж. По ним непрерывными вереницами ползут бревна.

В цеху бревна подхватываются тележками. Наверху сидит в кресле рабочий и держится руками за такую же баранку, какие бывают у трак-

торов или автомобилей, а впереди торчит длинное бревно, похожее на ствол пушки. Рабочий прицеливается, крутит баранку и въезжает концом бревна точно в центр лесопильной рамы. Там прыгает вверх-вниз рамка с натянутыми вертикальными пилами, делает в минуту триста пятьдесят взлетов и падений. Стальные зубья с громким визгом вгрызаются в дерево, взвизывает маленькое облачко опилок.

Прохождение бревна сквозь раму длится с полминуты, на последних стадиях оно происходит уже автоматически, а тележка успевает отбежать назад, схватить новое бревно и опять нацелиться концом на центр рамы. От точности прицела зависит результат.

Я давно знал, что Мезенский лесозавод славится качеством своей работы. В течение ряда лет он занимает среди всех лесопильных заводов Архангельской области первое место по наибольшему выпуску высоко-сортных экспортных досок. Сейчас я разговариваю на эту тему с главным инженером Л. А. Березкиным.

— Да,— говорит Березкин,— у нас хороший распил, правильная сортировка, мало брака. А все отчего? Коллектив хорош. Местные жители, работающий мезенский народ. Многие работают по сорок лет, накопили большой опыт, стали умелыми мастерами.

В кабинете главного инженера паркетный пол. Так это для меня неожиданно, что я присел на корточки и потрогал плитки рукой. Паркет делается обычно из дуба, на Севере дуб не растет. В городе Архангельске паркет — исключительнейшая редкость, и он привезен из Белоруссии. Неужели на Мезень привезли?

— Лиственница,— прерывает мои размышления главный инженер.— Великолепная, твердая, крепкая древесина. Ее очень ценили в эпоху деревянного кораблестроения, но в девятнадцатом столетии перестали добывать, потому что корабли начали строить из железа. По техническим качествам древесины главной древесной породой на лесозаготовках долгое время была сосна; лишь в двадцатом веке появился усиленный спрос на ель — это наилучший материал для широко развивавшегося целлюлозно-бумажного производства и выработки вискозных и штапельных тканей, а в строительстве она вполне заменяет сосну. А лиственница? Это дерево будущего. В смене мод на разные древесные породы она, несомненно, скоро займет почетное место. Почему ее до сих пор не добывали? Тяжелая древесина, тонет при сплаве. Но эту трудность можно преодолеть.

Под впечатлением паркета из лиственницы, этого свидетельства лесных богатств Мезени, я говорю главному инженеру Березкину:

— Слов нет, пилите вы хорошо. Да, вероятно, и лес получаете первоклассный. Ведь ваш завод — единственный потребитель всех лесных богатств Мезени.

— Ой, не скажите! — горько усмехнулся инженер.— Коснулись вы самого больного нашего места. Имеем мы к лесозаготовителям серьезные претензии: они дают очень тонкие бревна. При распиле тонкого сырья получается много обрезков и мал выход досок — меньше шестидесяти процентов. И очень снижается производительность наших станков: бревно идет через лесопильную раму одинаковое время независимо от его толщины, вот и выходит: воздух пилим! И всего хуже, что даже такого невыгодного сырья не дают нам в досталь. Почти ежегодно стоим полтора, а то и два месяца.

— Мало заготавливают? — спросил я.

— Нет, заготавливают достаточно. На нас работают два леспромхоза: на среднем течении Мезени и ее притоке Вашке — Лешуконский леспромхоз Архангельской области, а в верховьях Мезени и Вашки — Удорский леспромхоз республики Коми. Но сплавить заготовленную древеси-

ву они не успевают; каждый год в верховьях остается пятьдесят—семьдесят тысяч кубометров. Вот и в этом году плоты исправно шли только двадцать дней после начала навигации, а потом подход плотов приостановился: реки в верховьях обмелели. Пароходы там теперь уже не ходят, а лес плавают ногами.

— А что это значит — «плавать ногами»?

— Это возврат к девятнадцатому веку. Поедете туда — сами увидите...

Старенький и маленький одноэтажный колесный пароходик «Комсомолка», каких сейчас, пожалуй, не увидишь ни на какой другой реке, кроме Мезени, шлепает плечами, направляясь в очередной рейс. «Комсомолке» минуло от роду пятьдесят лет, и в пору звать ее «Ветеранкой», но она по-прежнему исправно несет свою службу. Это единственный на Мезени пассажирский пароход, совершающий два раза в неделю регулярные рейсы от Каменки до Лешуконского.

Достоинство суденышка заключается в том, что, имея на борту пассажирские места, не какие-либо там сидячие, а спальные, на койках, оно довольствуется минимальнейшим количеством воды, и, как бы ни мелела летняя Мезень, не было, кажется, случая, чтобы «Комсомолка» прекращала рейсы.

Да, они не прекращаются, но иной раз затягиваются. На второй остановке от Каменки (у села Дорогорского) изменился ветер, подошел густой молочно-белый туман, и наш пароход не решился двинуться дальше, переждал, пока не прояснится. Вместо вчерашних двадцати семи градусов тепла сегодня только семь...

Туман пронесло, открылись берега, пароход зашумел колесами, двинулся дальше. Идем на юг, в глубь лесной зоны.

Скупой мелкий дождик сопровождал нас до конца пути и, как оказалось впоследствии, потушил все таежные пожары, но воды в реке не прибавил.

Принято скорбеть по поводу обмеления наших среднерусских рек — поглядели бы на Мезень, узнали бы, что это такое, летнее мелководье.

Редкостная река по громадной ширине — шире Волги, русло шириной в три километра, а тончайшим слоем воды заполнена незначительная часть, на остальном пространстве желтеют обсохшие пески.

Многоводной бывает Мезень только в весенний разлив. И тогда она настолько глубока, что баржи-самоходки везут тяжелые грузы из Архангельска прямо в Лешуконье, без перевалки в Каменке на речные суда.

А потом с безумной быстротой растрчивает накопленные за зиму богатства. Талые воды скатываются недели за три, и река мелеет.

Причина заключается в крутом уклоне.

Уклоном, как известно, называется отношение падения (то есть разницы в высоте над уровнем моря между истоком и устьем) к длине реки. Падение Волги — 242 метра, длина — 3700 тысяч метров. Разделите 242 на 3700 тысяч — получится 0,00007. Вот это и есть уклон.

Между прочим, в очень хорошей и умной книге Б. А. Аполлова «Учение о реках» в таблицу «Уклоны важнейших рек СССР» вкравлись досадные описки. Уклон Мезени обозначен невероятно большой, фантастической цифрой. На самом же деле он равен 0,0004. Это почти в шесть раз круче Волги. При всем том Мезень по своему характеру вполне равнинная река, нет на ней ни порогов, ни водопадов — всюду лежат пески. Разумеется, при таком крутом уклоне вода сбегает быстро; задерживают ее только перекаты, играющие полезную роль.

— Кабы не перекаты, вся вода из Мезени утекла бы, — говорит капитан «Комсомолки» А. Ф. Потапов. — Но они же и мешают нам, судоход-

цам. Есть земснаряд, он поддерживает нужную глубину от Каменки до устья Вашки. Эта часть реки остается судоходной всю навигацию.

Вообще река значительно улучшена. Бывают нынче засухи и низкие уровни воды, но нет никакого сравнения с засушливыми 1932 и 1938 годами, когда судоходство почти прекращалось и пришлось бросить в обсохших на пути плотам двести тысяч кубометров древесины.

Проделана важная работа по уничтожению так называемых «собачьих горл», которых прежде было немало, особенно в верховьях.

Между высокими лесистыми берегами пролегла полоса песков шириной в два-три километра; по ней протянулась вереница озер. Из озера в озеро через пески струятся, причудливо извиваясь, ручьи. По несколько рядом: по два, по три, а иногда и до семи. Это и есть «собачьи горла». Гакова была прежде летняя Мезень в среднем и верхнем течении.

Теперь во многих случаях удалось ликвидировать эти лишние, слишком разветвившиеся ручейки, зря расходовавшие воду. Их забросали хворостом, вскоре хворост замыло песком, и образовались вроде как бы плотины, а скопившаяся вода направилась по одному протоку, который, естественно, стал глубже и сделался более похожим на обычное речное русло и пригодным для прогона плотов.

И все же, несмотря на недостаток воды, Мезень красива. Чем дальше от моря, тем выше и лесистее становятся берега. Крутой уклон русла и бурный сток весенних вод обусловил сильное размытие берегов. Отлогие лесистые склоны чередуются со «щельями» — крутыми подмытыми обрывами, на которых из-за крутизны не растут ни деревья, ни травы — голый выглядывает мергель. Это мягкий камень, полуглина-полуизвестняк.

Чередования обрывов с отлогими лесистыми лощинами — это еще не диковина. Все дело в том, что на Мезени мергель в обрывах красный. Вспомните, как любит наш глаз сочетание красного с зеленым (ведь даже помидоры вперемешку с огурцами в авоське домашней хозяйки выглядят приятно, и недаром же тратят деньги на устройство в самых хороших московских скверах кирпично-красных дорожек), — и вы мне поверите, что Мезень с ее зелено-красными берегами очень красива. Она своеобразна, самобытна, не похожа ни на какую другую реку.

И такова же ее дочь Вашка.

Старенькая «Комсомолка», топя по воде плицами колес, дотопала наконец до устья Вашки, свернула в нее, и тут в шести километрах от слияния рек стоит конечный пункт рейса — село Лешуконское, административный центр лесного края и главная пристань мезенского речного транспорта.

Вашка вообще-то очень широкая река с обширнейшим руслом и тончайшим слоем воды на нем, достойная в этом смысле дочь Мезени, описывает здесь петлю и суживается необычайно — уже Москвы-реки в пределах столицы. Зато эта узкая промоина глубока и всегда наполнена водой, что и делает ее удобной для стоянки речного флота.

— Наши суда, — рассказывает работник пароходства Н. И. Хмельников, — обслуживают не только мезенскую тундру и лешуконскую тайгу, но и Удорский район республики Коми. Завозим туда грузы, пришедшие морем из Архангельска. Общая длина наших пароходных линий — тысяча триста тридцать четыре километра. Весной пароходы доходят вверх по Вашке до Лоптюги, а по Мезени — до селения Макар-Ыб. Туда сам «Макар телят не гонял», а наши суда поднимаются. Но в этом году быстро спала вода; навигация на Мезени выше Лешуконского продолжалась двадцать три дня, а на Вашке — восемнадцать дней. Оста-

лась теперь только одна линия от Лешуконского до Каменки в сто семьдесят пять километров. Видите, вон тринадцать буксирных пароходов стоят второй месяц на приколе с потушенными топками, а команды посланы в колхозы косить сено.

Да, я видел эти сбившиеся в кучу пароходы без признаков жизни, читал на колесных кожухах их имена: «Спартак», «Луч», «Шквал», «Ветлуга»... Стоят на приколе и леспромхозовские моторные катера-плотоводы. Одна «Комсомолка» дымит трубой.

— Удорский груз, — говорит работник пароходства, — будет лежать в Лешуконском до будущей весны. Да это почти всегда так бывает. Навигация на море начинается позже, чем на реке, груз приходит сюда, когда вода на реке уже спадает. Вот и приходится оставлять до будущего года.

В Удору идет главным образом продовольствие и промтовары. Склады — не какие-либо холодильники, а простые амбары. Бакалея может лежать в них год, другие продукты не пролежат.

В разгар летней жары из Лешуконского отправили через Каменку обратно в Архангельск сто тонн соленой рыбы — трески и сельдей; перевозка обошлась на нынешние деньги по тридцать рублей за тонну. По поводу этого «безобразия» был шум, и архангельская газета «Правда Севера» напечатала об этом заметку. Но если здраво рассудить, поступили правильно: едва ли рыба, тронутая жарой, могла пролежать год — лучше понести лишний расход по три копейки на килограмме, чем выбросить через год на свалку.

Но больше тревожит всех судьба главного здешнего груза — оставшейся в верховьях древесины. Если не удастся сплавить — пропадет годовая работа лесорубов, остановится в Каменке завод, вообще нарушится вся экономика здешних мест, а государство потерпит убытки.

Лесозаготовки распылены на большом пространстве. Ведутся они даже не на берегах Мезени и Вашки, а в глубине тайги, на впадающих в Мезень и Вашку малых реках: Сельзе, Кыме, Визеньге, Кыссе, Пышеге и многих других. Один Лешуконский леспромхоз ведет разработки на двадцати шести участках, разбросанных на сотнях километров. Не меньше раскиданы участки Удорского леспромхоза в республике Коми. Удорскую древесину тоже надо сплавить в Каменку. А сплавить-то не удалось.

Я разговариваю с начальником лесосплава Артемием Васильевичем Носыревым.

— Выгоднее всего зимняя сплотка, — разъясняет начальник. — Бревна на берегу связывают проволокой в пучки. Это очень просто и быстро. Весной подходит полая вода, пучки всплывают, — веди пароходом вслед за льдом. А в этом году получилась изрядная плесь, мал был разлив, остались плоты на сухом берегу. А потом и все судоходство прекратилось. Пришлось нам в этом году возвратиться к дедовскому способу — «паромному» сплаву. Раз пароходы остановились, приходится гнать древесину бурлацкой силой. Ногами плавим...

3. Лесной край

С высокой горки, где стоит село Лешуконское, видны зеленые луга, синие леса и три голубых реки, потому что кудесница Вашка, описывая причудливую петлю, подходит к селу дважды: сначала с юга — широченная, потом исчезает из глаз на востоке и снова прибегает с севера — на этот раз узенькая. Кажется, что с разных сторон текут две разные реки. А поодаль видна и третья — Мезень с ее высокими красными «щельями».

На излучинах рек лежат просторные зеленые луга, частично заливае-

мые половодьем. На них можно много накопить сена и разводить коров, овец, выносливых мезенских лошадок. А на более высоких, не затопляемых весной участках речной долины можно сеять местные лешуконские сорта ржи и ячменя.

И потому на слиянии Вашки с Мезенью с давних пор живут люди. Здесь поблизости друг от друга стоит несколько сел. Одно из них выросло настолько, что сделалось столицей лесного края.

Каждый, вероятно, замечал, как любая река размывает свои берега: с одной стороны возвышается крутой обрыв, тут вода течет быстро, ударяет в берег, подмывает и уносит землю, а на противоположной стороне — от течения затишье, там размываемые водой частицы грунта оседают, и там желтеет песок, пляж.

Такая уж работающая эта текущая вода, ей без дела не сидится. Перекладывает грунт с одного места на другое. Крутой, обрывистый берег, в который бьет сильное течение, становится все более и более вогнутым, а на другой стороне все длиннее и длиннее нарастает песчаный язык.

Творит река свое дело потихонечку, но за тысячелетия тихой работы успевает смыть на одной стороне полосу берега шириной в километры, а на другой стороне отложить отмель тоже в километры. Но ведь воды-то в реке течет столько же, сколько и прежде. Поэтому река не стала ни шире, ни глубже, а просто течет теперь по другому месту.

Бывшие мели, намытые рекой, становятся плоскими террасами. Весенние половодья заливают пойму и очень долго предохраняют ее от зарастания лесом, потому что большинство древесных пород не переносят затопления. На низменной пойме растут обычно луговые травы, и очень хорошо растут, потому что весенние разливы удобряют почву илом.

Вот такие свободные от леса речные поймы и служат местами первоначального поселения людей в лесных краях.

Русские поселились на Мезени в четырнадцатом и в пятнадцатом столетиях, но этот отдаленный край слабо развивался: люди живут только по берегам больших рек, способных построить значительную пойму и держать ее без зарастания лесом, потому что лес человека не кормит, а кормит свободная от леса сельскохозяйственная земля.

Мезенский край имеет пока освоенную человеком длину, и не малую длину — 1334 километра судоходных рек, но нет у него населенной ширины. На Севере люди расселились по линиям, а не по площадям; площади же бассейна двух рек (восемьдесят тысяч квадратных километров!) заняты лесом, и потому мало на Мезени и Вашке жителей. Вдоль рек живет всего пятьдесят тысяч человек в пределах трех административных районов (Мезенского, Лешуконского и Удорского). Из них четырнадцать тысяч — население по сути дела городское.

Но, конечно, пригодные для жизни человека места не тянутся сплошной полосой вдоль всей реки, а раскиданы пятнами. Случается, село от села отстоит за двадцать и за тридцать километров, а есть места с такими обширными земельными угодьями на пойме, что на десятке километров притулились две-три деревеньки.

Лешуконье составляет одну треть всего Мезенского края. Вот статистические данные. Территория Лешуконского района — 27 300 квадратных километров, население — 16 800 человек, посевная площадь — 3 тысячи гектаров, сенокосов и пастбищ — 20 тысяч гектаров. Таким образом, сельскохозяйственные земли составляют менее одного процента всей территории района. Остальная площадь под лесом и под болотами.

Держат лешуконцы восемь тысяч голов рогатого скота, пять тысяч овец и две с половиной тысячи лошадей. А сейчас, в связи с общим курсом на развитие животноводства, стараются увеличить поголовье, но не хватает кормов; недостаток сена заставляет заготавливать в лесах и

скармливать коровам белый олений лишайник — ягель. Северные коровы к нему привычны, но молоко бывает синеватое и мало в нем жира.

Почему не прибавят пашен и сенокосов, не возьмут их из-под леса? Трудно, долго и дорого освободить землю от деревьев и от пней. А еще труднее, дольше и дороже приспособить ее для сельского хозяйства. Потребуется много времени, труда, удобрений. Почва под лесом — подзолистая, неплодородная, кислая. В сухом виде она мучнистая, пылевидная, а смоченная дождем — превращается в тесто. Кормовые травы растут на ней скудно, и не всякий вырубленный в лесу участок может превратиться в луг. Самые плодородные почвы в тайге лежат на речных поймах.

И еще одна особенность: Лешуконье — край бестележный. Телега считается сейчас признаком отсталости, но Лешуконье не достигло даже такой высоты и существует в доколесную эпоху; нет там дорог для колеса. Ездят зимой на санях по льду и по снегу — тогда всюду дорога, а летом — по воде. И только теперь лесорубам предстоит, минуя телегу, разом вступить в автомобильную эру.

Хочу познакомиться с работой лесорубов, а в селе Лешуконском увидеть их так же невозможно, как в Москве. Тут райцентр, конторы; люди пишут бумаги и шелкают на счетах. Даже дрова сюда привозят в плотах по Вашке из далеких мест.

На лесоразработки единственная дорога — река. А из-за малой воды пароходы с потушенными топками сгрудились в кучку у пристани, сообщения нет. Как же попасть?

— Поедем на лодке с подвесным мотором! На четвертый день будем в Олеме, — предлагает директор Лешуконского лесхоза В. А. Трошин, хранитель двух миллионов гектаров леса и полумиллиона гектаров болот.

До Олемы считается шестьдесят один километр. Как же на четвертый день? Я говорю:

— Лучше уж пешком. Скорее дойду.

— Ну нет. Речки на пути встретятся, их трудно переходить. А на лодке поедете баринном, и багаж с собой можно взять. Не думайте, что шестьдесят километров в трое суток — мало. Пойдем против течения, да и на мель не раз сядем, опять же на ночевки придется останавливаться.

Мы привыкли считать километр величиной постоянной, всегда в нем тысяча метров, а вот, оказывается, километр километру рознь: одно дело на асфальте московских мостовых, другое дело в тайге. Пришлось сесть в лодку.

В Олему, довольно большое село, приехали в церковный праздник и увидели гулянье. Медленно и степенно двигалась по улице пестрая толпа старух, разодетых в извлеченные из сундуков старинные ярко-цветные сарафаны — красные, желтые, лиловые, зеленые. Пели протяжную песню:

Распремилые девушки,
Вы придите в гости к нам!

Потом останавливались и пускались в пляс, припевая:

Я вечер в гостях гостила,
Во компаньюшке была,
Самолучшего молодчика
Сама себе взяла.

Бегут свинцово-серые тучи, не прекращается северный ветер. Холодно. Брызжет мелкий дождик. Поля, луга, леса стоят посвежевшие, словно

умытые, оттого что на травинках и ветках светлыми бисеринками висят капельки водяной пыли.

Отправляется в путь из Олемы бригада плотогонов.

Летом лесозаготовки на Мезени затихают, рабочие переключились на сплав.

В наши дни на всех реках транзитного сплава плоты вяжутся машинами. Сплоточный станок сжимает бревна в цилиндрический пучок и стягивает железной проволокой. Из таких пучков и составляется плот. Все это делается быстро и экономно, с малой затратой труда.

Но цилиндрический пучок бревен погружен в воду на целый метр. Где же на летней Мезени взять метровую глубину? Ясно, что такой способ здесь не годится, и приходится поступать по старинке: штук тридцать—сорок плавающих на воде бревен прижимают бок к боку и вручную связывают в плоский однорядный квадрат — «плитку». Для скрепления служит стариннейший материал — длинные и гибкие ивовые ветки.

На однорядную плитку делается еще накат — бросают штук двадцать поперечных бревен. Плитка погружается в воду сантиметров на пятнадцать и только при толстых бревнах, что на Мезени бывает редко, на двадцать сантиметров. Вот при какой малой глубине способны плыть плоские плитки, не задевая речного дна.

Канатом соединяют плитки в пары. Пять или шесть пар счаливают вместе — получается плотик шириной метров в пятнадцать, длиной около сорока метров. Он содержит сто тридцать—сто пятьдесят кубометров древесины и называется «паромом». А когда десяток паромов свяжут воедино, тогда назовут «буксирным плотом» и поведет его пароход или катер.

Но сейчас паромы не счаливаются в плоты. Они идут по недоступной для пароходов реке самосплавом, силою течения. Но идут не вслепую и не становятся полностью игрушкой стихии. Плывут на пароме обычно два человека и вносят поправки в курс энергичными взмахами гребков — гигантских весел, приделанных спереди и сзади. А иногда отталкиваются шестами, чтобы течение не навалило на мель.

Одному парому плыть небезопасно: сядет на мель или еще какая приключится авария — двум человекам справиться трудно. Поэтому плотогоны работают бригадами, гонят сразу шесть паромов и в случае беды помогают друг другу.

В бригаде шесть олемских парней, четыре девушки и бригадир — опытный лесоруб и сплавщик. Бригадиру тридцать лет, все остальные в жизнерадостном восемнадцатилетнем возрасте, когда хочется совершать подвиги и ставить рекорды, а любая трудность переживается, как интересное приключение. Юношу Григория Лешукова, например, радует и приводит в спортсменский восторг то, что идет он на пароме один, а не вдвоем:

— Доплыву, доведу! Не в первый раз. Уже ходил один и нигде на мель не садился.

И верно. Григорий обладает безупречным пониманием законов текущей воды, создающей речное русло. Изложить их словами он не всегда в состоянии, но глаз его по множеству признаков безошибочно чувствует, где под однообразно гладкой поверхностью воды лежат глубины и мели.

Паромы плывут гуськом, стараясь держаться поближе друг к другу. Бригадир Николай Беляев идет в хвосте. При паромном сплаве место командира сзади. Его роль — подавать помощь застрявшим на мели, зачищать путь, чтобы никто не отстал.

Отплыли от Олемы пять километров, и тут на перекате русло разделилось в песках на два «собачьих горла». Три парома благополучно проскочили, три застряли на мели.

Благополучные паромы поставили в тихом месте «на роч», то есть привязали к вбитым в песок кольям, и вся бригада полезла в воду стаскивать обмелившиеся. Если это не сделать своевременно, река замост песком еще крепче.

Снять паромы целиком сила не взяла. Пришлось расчаливать на отдельные плитки и спихивать их на более глубокое место, работая кольями, как рычагами. Выведенные на глубину плитки ставили «на роч».

Вся команда бродила в воде, не раздеваясь — парни кто в чем, а девушки в юбках, надетых поверх лыжных костюмов. В одежде теплее. Я, выросший неподалеку отсюда и в сходных условиях тундры и тайги, знаю это с детства. Холодно только сначала, при погружении, когда сквозь одежду приливает к телу первая вода, а потом она согревается.

Дно у реки неровное. Местами вода всего до щиколотки, а рядом яма человеку по грудь. Туда и отводят освобожденные плитки.

Парни и девушки бродили всю светлую ночь и целый день. Только к вечеру все шесть паромов стояли на привязи у приглубого берега под крутой красной щельей.

Раскололи топорами бревно, запалили на берегу жаркие костры. Сушились, тоже не раздеваясь. Сидели около костров, и от людей валил густой пар.

Сварили в котле соленую треску, вскипятили чай. Попили, поели, легли на камнях около костров спать. Через два часа проснулись от холода. Температура воздуха и днем и ночью почти одинаковая, колеблется около семи градусов, но спящему человеку всегда кажется холоднее.

Из четырех девушек только одна здешняя, трое приехали по договору с Украины. Одну украинку зовут Эльвирой Витальевной.

Я говорю:

— У вас даже имя неподходящее для такой грубой работы. Эльвира — это что-то воздушное, тонкое, кисейное.

Бригадир Беляев заступился:

— Вовсе она не кисейная. На работу горазда, не отлынивает.

А Эльвира добавила:

— На второй год в Олемском лесопункте остаюсь. Зимой на лесозаготовках легче: жилье с крышей. Поворочаешься в снегу с топором, обрубая у дерева сучья, промокнешь, промерзнешь, да зато придешь в нагретую комнату, повесишь одежду к горячей печке, ляжешь на кровать под одеяло. А летом на сплаве тяжеловато: без крыши, кругом вода, снизу — речная, сверху — дождевая.

Да, вода сверху и снизу. Перемокли люди, иззябли, но ни у кого ни гриппа, ни насморка. На безлюдной широкой реке ничем не заразишься — никаких вирусов. Случись такая штука в городе — все бы слегли, а здесь подорожит человек так, что зуб на зуб не попадает, согреется — и никаких последствий.

Гриша Лешуков, идущий в одиночку, доволен: его паром не коснулся мели. Вообще парень настроен жизнерадостно:

— Не горюйте, товарищи, что холодно! Зато весь комар спрятался.

Я говорю:

— Мода пошла плавать на плотях. Норвежец Хейердал Тихий океан переплыл.

Гриша смеется.

— Прогнать плот по Тихому океану — не диковина, там глыбко. Ехали бы к нам, на Вашке народу не хватает. Дали бы им паром — гони по песку-шепичнику через «собачьи горла»!

Оттолкнулись от берега, поплыли, вытянулись в цепочку.

Прошли километров десять. Показалась деревня Решелье. Тут задул встречный ветер, трудно стало управлять паромами, тащит их ветром на меляки.

Решили остановиться. Плыть при сильном ветре не полагается по правилам, и простой из-за ветра оплачиваются. Приткнулись к берегу, вбили колы, привязали паромы, пошли в деревню проситься на постой. Девушек удалось пристроить, парней не пускают.

Я говорю решельским хозяйкам:

— Петь да плясать вы мастерицы, а нехорошо поступаете. Распремилых девиц в гости пустили, а самолучших молодчиков прочь гоните. Как же людям на холоду под дождем мокнуть?

— Где уж хорошо! Совсем нехорошо! Да боязно. У этих вербованных на лбу не написано, какой он есть человек. То ли из армии вернулся, то ли досрочно выпущен из тюрьмы.

Пробую возражать:

— Плохой человек — один из тысячи.

— А когда в двери стучит, почем знать, может, как раз тот самый, который один из тыщи...

Нашлись люди, знающие бригадира Беляева. Убедились, что и все остальные свои соседи-лешуконцы. Кое-как разместились.

Стояли сутки. Отдохнули, взбодрились. Вечером ветер затих. Двинулись вперед.

Снова застряли. Всю ночь бродили в воде, стаскивали паромы. Снялись и не сушились, мокрые сели на паромы, поплыли, потому что не вдалеке видна деревня Чулощелье и лучше сделать привал в деревне, а не на пустынном берегу.

Опять затруднения с устройством под крышу. Хозяйки говорят:

— Вы табачники, искру зароните. А то вшей напустите.

Бригадир ответил:

— Какие могут быть вши, когда беспрестанно купаемся? Все косточки перемыты. Чище нас нет людей на всем белом свете.

Разбрелись по деревне. Уж кому как удалось, так тот и устроился.

Ветер держал в Чулощелье трое суток. Потом опять двинулись, шли хорошо, на мели сидели нечасто, но по временам заставлял останавливаться сильный встречный ветер. Устраивали тогда привал, разжигали костры, грелись.

Через двенадцать суток караван миновал районный центр Лешуконское, вышел из Вашки на реку Мезень и остановился в Верхнем Березнике. Тут находится формировочный рейд, отсюда начинается низовая глубокая Мезень с не прекращающимся в течение всего лета судоходством. Все шесть паромов связали в один плот, и леспромхозовский моторный катер повел его на лесопильный завод в Каменку. А бригада может пешком возвращаться обратно в свою Олему.

Плотогонцы довольны: конец — делу венец. Правда, многовато ухлопали времени. Путь в семьдесят два километра отнял двенадцать суток, потому что плыли всего трое суток, а девять суток стояли, но хорошо и то, что достигли цели.

Отличились две бригады удорцев. Они поставили рекорд: пригнали по Мезени паромы из республики Коми, и путь от Кослана до Березника в четыреста пятьдесят километров совершили за сорок суток.

Старики удорцы не растеряли издавна накопленный опыт паромного сплава. У них на паромах сбиты шалаши и насыпана земля для раскладки костра — можно на плаву и обогреться и укрыться от дождя.

А внутри шалаша висит ситцевый полог от комаров. С комфортом плывут люди.

Однако не все так удачливы. Труднее всего приходится приедем с юга, «вербованным». У тех нет ни сноровки, ни чутья глубины под текучей водой. Бригада Антона Петровича Кутули, состоящая из полтавских, курских да харьковских, прошла по Вашке за месяц сто пять километров, приблизилась к концу пути, и тут постигла беда: три парома накрепко застряли, не доходя семи километров до Лешуконского, а остальные сели на песок под самым райцентром. Сидят две недели, а уже август на носу. Скоро потемнеют ночи, труднее станет работать.

Только подъем воды способен освободить из плена. А когда он придет?

Наконец наступил перелом погоды. Задул юго-западный ветер, потеплело. Выглянуло солнце, обогрело землю, леса и мокрых плотогонов. А потом с запада поднялась туча. Да какая! Синяя. Вот от этой будет прок!

Начался период проливных дождей. Льет по несколько часов, перестанет ненадолго и опять льет. И так несколько дней.

По телефону из Важгорта сообщили, что в верховьях Вашки вода поднялась на сто семьдесят восемь сантиметров. У Лешуконского Вашка покамест прежняя — среди желтых песков вьется неширокая лента воды, где под блестящим обманчивым зеркалом кроется весьма сомнительная глубина.

Но вскоре и на Мезени начались дожди. Ну теперь картина ясная, все дальнейшее не вызывает тревог. Из пароходства разослали гонцов отзывать с сенокоса судовые команды.

Я вышел на обрыв к Вашке и увидел, что река стала пошире, а у противоположного берега через желтые пески, бывшие недавно сплошными, протянулись три серебристые водяные ленты. Пошел взглянуть на паромы многострадального полтавчанина Кутули, а их уже нет: уплыли. В добрый час!

На следующее утро лежу и нежусь на койке в Доме крестьянина, и вдруг через окно врывается с улицы встревоженный разговор. Узнаю знакомый голос председателя райисполкома:

— Дрова надо спасать!

По стучащим доскам деревянного тротуара торопливым шагом прошли работники леспромхозовской конторы. Я пошел вслед за ними к обрыву и подивился, какою широкой стала Вашка. Вчерашние ленты соединились вместе, и от песков остался вдалеке один остров.

Внизу под горой подымавшаяся вода подтопила поленницы напиленных дров — учреждений и частновладельческих; толпа лешуконцев спасала свое добро.

Не меньшее оживление царит и на другом конце села, куда Вашка подходит вторично и где находится паромная пристань. Над судовыми трубами вьется дымок. Много людей приходит за справками; диспетчер повесил на заборе объявление: «По Мезени отправляется до Койнасы буксирный пароход «Сурянин», по Вашке до Важгорта — пароход «Советский» и пассажирский теплоход «Москвич». Это такой же водный трамвайчик, на каких по Москве-реке катаются от Киевского вокзала мимо Ленинских гор до Краснохолмского моста.

Летнее безводье кончилось благополучно, вместе с ним закончился и прадедовский паромный сплав.

Пользуюсь случаем побывать в мезенской «глубинке» и сажусь на «Сурянина». Какой могучей рекой стала Мезень, вся до краев наполнена мутной водой. Сотни рек и малых речек, собрав дожди на восьми мил-

лионах гектаров, отдали ей свою силу. А дождь все хлещет да хлещет и обещает, что даров неба хватит надолго.

Навстречу нам попадают уже не паромы, а широкие и длинные плоты на буксире у катеров и пароходов.

В сорока километрах выше устья Вашки подошли к деревне Колмогоры. Тут находится один из лесозаготовительных пунктов Лешуконского леспромхоза. Но я поеду на «Сурияние» дальше. А Колмогоры примечательны тем, что здесь проходит старинный зимний тракт на Печору. В 1664 году по нему везли в ссылку в Пустозерск знаменитого основателя русского церковного раскола протопопа Аввакума с его семьей. Протопоп не был новичком на таежных дорогах. Вместе с семьей он десять лет скитался в ссылках по Сибири, тонул на том самом пороге Падуне, где построена сейчас Братская гидроэлектростанция, переходил по льду через озеро Байкал. Он терпеливо снес заточение в темницу, избиение, пытки. Это был упрямый фанатик, высокомерный и гордый, называвший Алексея Михайловича «безумным царишкой». Но настолько трудными оказались мезенские длинные километры, что этот негибаемый человек здесь, в Колмогорах, единственный раз в жизни пал духом и запросил пощады. До нас дошла «Третья челобитная», посланная из Колмогор в Москву осенью 1664 года. Своим содержанием, характером, просительным тоном она сильно отличается от всего написанного дерзким протопопом до и после этого документа:

«Помилуй мя, равноапостольный государь-царь, робятишек ради моих умилосердися ко мне!

С великою нуждею доволокся до Колмогор; а в Пустозерский острог до Христова Рождества не возможно стало ехать, потому что путь нужной, на оленех ездят. И смущаюся, грешник, чтоб робятишка на пути не примерли с нужи.

Милосердый государь, царь и великий князь Алексей Михайловичь, вся Великия и Малыя и Белья России самодержец! Пожалуй меня, богомольца своего, хотя зде, на Колмогорах, изволь мне быть, или как твоя государева воля, потому что безответен пред царским твоим величеством».

Кстати сказать, некоторые комментаторы, не зная о существовании Печорского тракта и Колмогор на реке Мезени, смешивают их с Холмогорами на Северной Двине — родиной Ломоносова. Отсюда не понятно, почему Аввакум, подавший челобитную, по мнению комментаторов, якобы с Двины, очутился на Мезени, откуда был возвращен в Москву, но, как нераскаявшийся, в 1667 году отправлен в Пустозерск, где просидел пятнадцать лет в земляном погребе и в 1682 году был заживо сожжен. А семья его навсегда осталась на Мезени...

У меня спрашивают: Холмогоры понятно — холмы и горы, а что такое «Колмогоры»? Испорченное слово?

Нет, не испорченное. Русский язык сочетается тут с языком народа коми. Так называется большинство мезенских деревень: Кельчемгоры, Целегоры, Мелегоры, Ценогоры, Нисогоры. Все деревни стоят у реки на крутых обрывах — «щельях», или «горах», поэтому слово «гора» или «щелья» всегда входит составной частью в название деревни, соединяясь с собственным именем. А собственные географические имена русские поселенцы истари позаимствовали у ненцев и коми, кочевавших в этих местах со своими оленьими стадами.

Непрерывные темно-зеленые стены с острыми зубчиками еловых верхушек. Они тянутся по обе стороны реки. Зеленеет местами на пойме светлый луг, но сзади всегда видна темная полоска леса.

Еловые мезенские леса в послевоенные годы служили источником

резких столкновений между лесозаготовителями и лесной охраной. Нигде не было таких острых конфликтов, как на Мезени. Сколько раз произносились слова: «хищническая рубка», сколько раз лесная охрана Архангельской области настаивала на полном запрещении лесозаготовок на Мезени и сколько раз конфликт передавался на разрешение высших инстанций!

Что же это за леса? Почему такие яростные ведутся споры? Войдем под лесной полог, поглядим, что там такое творится.

Мезенские ельники разновозрастны. Как в большинстве девственных еловых лесов, процесс рождений и смертей течет здесь непрерывно. На одном гектаре стоят рядом друг с другом деревья разной величины: и подрастающий молодняк, и средневозрастные, и спелые деревья, и умирающие старики, и умерший гнилой сухостой. А много умерших лежит на земле, ошетилившись черным бурьяном веток.

Очень невыгоден для лесорубов такой состав древостоев.

И надо еще иметь в виду, что еловый лес на Мезени — не очень густой и не очень крупный. Деревья в холодном климате растут медленно и не достигают большой высоты и толщины. По быстроте роста мезенские ельники относятся к самому низшему бонитету — пятому. Да и на пятый не всегда вытягивают, пришлось применить к ним дополнительный балл — 5-а.

По существовавшим до 1962 года правилам, лесорубы на отведенных им лесосеках обязаны срубить, вывезти и использовать в дело все деревья, чтобы добро не оставалось в лесу и не пропадало. Мезенские лесорубы правило нарушают. Они спиливают стволы от двадцати сантиметров на уровне человеческого глаза и толще, а к тонким не прикасаются, и так как на Мезени здоровых толстых деревьев немного, берут две сотни стволов с гектара, а иногда приходится довольствоваться и одной сотней.

Сваленную елку очищают от сучьев, все честь честью, зимой на снегу сжигают ветки, чтобы не захламлять лесосек, затем отпиливают от комля одно толстое бревно длиной метров в семь и увозят, а тонкую длинную вершину бросают. При таком способе заготовки берут не более сорока кубометров из тех ста, которые имеются на гектаре.

Леспромхоз платит двойной штраф: за недоруб и за брошенную у пня срубленную древесину.

Со штрафами лесорубы смирились. Хуже переносят лихорадки, когда каждый новый лесничий, назначенный в Лешуконский район и не привыкший к здешним порядкам, начинает слать своему начальнику отчаянные телеграммы о варварстве и хищниках и когда под влиянием этих телеграмм снова ставится вопрос о прекращении рубок: «Или рубите все сплошь, или не рубите вовсе!»

— А что прикажете делать? — говорит инженер леспромхоза А. И. Куликов. — Эти выборочные рубки нам самим поперек горла. Вот поглядите на оставленные в лесу десятиметровые вершины. Наши сучкорубы даже очистили их от веток, на них затрачен труд, они готовы к отправке. Разве ж не выгодно для нас пустить их по реке, сдать да получить деньги? К стати сказать, по прейскуртану кубометр таких вершин стоит на два рубля сорок копеек дороже пиловочника. Это балансы для бумажных фабрик. Но единственный покупатель нашей древесины — лесопильный завод в Каменке. Он требует толстый пиловочник и постоянно конфликтует с нами: бумажный баланс заводу не нужен, не годится для распиловки — тонок.

Директор лесхоза В. А. Трошин сказал:

— Как приехал в Лешуконье, у меня волосы дыбом встали от вопиющих нарушений правил рубки. Посылал негодующие телеграммы. Теперь понял, что в наших правилах много схоластики. Лесорубы не виноваты.

Они сами хотят сплошную рубку, да им нельзя. А я их за это дело штрафую.

Я спросил:

— Как отражаются выборочные рубки на состоянии лесов?

— Большого вреда нет, а иной раз получается даже польза. При сплошной рубке ельников может остаться пустырь, при выборочных никогда пустыря не будет.

От выборочных рубок больше всего невыгод терпят сами лесорубы. При малом съеме древесины с каждого гектара быстро истощается сырьевая база, лесосеки отдаляются от рабочих поселков, становится далеко ходить на работу пешком и приходится строить новые поселки поближе к новым местам работы.

Я приехал в Койнасский лесопункт, но тут находится только контора, а заготовки леса ведутся в отдаленной глубине тайги, на притоках Мезени и притоках ее притоков: Кыссе, Кыме, Мутасье, Визеньге, Суле, Пышеге. Там построены поселки на шестьдесят — сто человек каждый. Зимой лесозаготовители рубят и возят к рекам, весной по высокой воде пускают бревна россыпью — модем, а в устьях рек вылавливают и связывают ивовыми ветками в плитки, паромы и плоты для дальнейшего сплава по Мезени.

Сула и Пышега находятся на том самом старинном Печорском тракте, куда не решился сунуться мятежный протопоп Аввакум, побоявшись, «чтоб робятишка на пути не примерли с нужи». Зачем же из таких весьма отдаленных и труднодоступных мест, как Койнас, лесорубам понадобилось забираться в места еще более далекие и недоступные?

Я спрашиваю об этом у начальника Койнасского лесопункта Земцовского.

— Гоняемся за крупным лесом, — ответил начальник, — за сосной. Вообще-то сосна растет не быстрее ели и не крупнее, но разница в том, что наши мезенские сосняки одновозрастны. Там дерево к дереву, все одной величины. Не сказать что очень крупные, но выдерживают стандарт пиловочника; можно брать все подряд, без недорубов. Это и нам выгодно, и лесная инспекция довольна.

В последние годы построены автомобильные дороги в сосновом массиве с выходом на Вашку к Большой Щелье и Чуласу. Вывозится значительное количество сосны. Споров между лесной охраной, лесозаготовителями и лесопильщиками стало словно бы меньше. Но проблема лесопользования на Мезени в целом далека от разрешения, и сколько бы ни конфликтовали друг с другом лесохозяйственники, лесорубы и деревообработчики, сами они не в состоянии найти выход без помощи извне.

Вывозят же с Мезени на морских пароходах доски. Зачем бросать на лесосеках тонкие бревна? Почему бы не вывозить их на балансы для целлюлозно-бумажных заводов и на рудничную стойку для угольных шахт?

В Архангельске лесные начальники много лет спорили: вывозить мезенский баланс или не вывозить, как вывозить, где грузить на морские суда? Одни говорили — «нельзя», другие — «можно».

В 1954 году сделали первую попытку. В низовья Мезени приплатили тысячу кубометров тонких еловых бревен — балансов; плоты поставили на якорь в Коршакове, там есть довольно глубокая яма, а с севера она защищена перекатом Белый Нос, и этот перекат играет роль волнолома, не пропускает крупную морскую волну. Другого такого же спокойного места в низовьях Мезени не сыщешь. Судно может подойти к плоту, встать на якорь и грузить бревна на борт прямо с воды.

Из Архангельска на Мезень пригнали лихтер — морскую баржу,

хотели вести в Коршаково и начинать там погрузку с плотов посреди рейда, но капитан Мезенского порта Евстафий Филатов, ответственный за безопасность судоходства, запротестовал:

— Умные вы мужики, а недокумекали! Лихтер у вас громадный, буксиришко дрянной и слабосильный. Ну, допустим, порожний лихтер в Коршаково заведете, а как обратно нагруженный вытащите? Через пережат у Белого Носа надо проходить на высшей точке прилива — значит, нагруженный лихтер должен выйти из Коршакова за полтора часа до полной воды и идти против встречного приливного течения. А справится ваш дрянной буксир? Не с тем ключом к замку подходите! Вам надо взять лихтер вдвое меньше, а буксир втрое сильнее. Не могу дать согласие на рискованную операцию. Да и вообще нельзя без подготовки. Надо весь фарватер на перекате протралить: может, там камни есть.

Пришлось поставить лихтер в Каменке к лесопильному заводу, на погрузку досок, а плоты в Коршакове остались, и хотя от «крупной» волны пережат защищает, но и «некрупная» на Мезени настолько разбойна, что вскоре плоты исчезли бесследно.

В 1958 году лешуконцы по распоряжению Архангельского совнархоза заготовили и приплавляли в Коршаково двадцать тысяч кубометров еловых балансов, но случилась неувязка — лихтеры не пришли. Плоты на Коршаковском рейде стояли до поздней осени, а потом жестокий шторм их разбил, и течение вынесло бревна в море.

В 1962 году вывезли через Коршаково двенадцать тысяч кубометров елового и соснового тонкомера. Еловый отправили через Беломорско-Балтийский канал в Ленинград, там перегрузили и отправили на калининградские целлюлозно-бумажные комбинаты. Сосновую рудстойку увезли в Архангельск, потом по Северной Двине навстречу плывущим плотам отправили до Котласа, там перегрузили на железную дорогу, и пошла рудстойка в Донбасс.

Везут и в 1963 году. Мезенский еловый баланс плывет мимо Архбумкомбината, мимо Кондопоги, Сегежи и других архангельских и карельских целлюлозно-бумажных заводов. Эти заводы перерабатывают местную дешевую древесину, и мезенский баланс им просто не по карману. Калининградские бумажники работают на привезенном издалека сырье, но и для них мезенский баланс не радость. Он со всеми перегрузками в пути обходится дороже тридцати рублей за кубометр. Для получения одной тонны целлюлозы тратится пять кубов балансов на полтора ста рублей, а отпускная цена тонны целлюлозы тоже полтора ста рублей. Да не одна же древесина расходуется, нужны еще химикаты, пар, электроэнергия, труд.

Когда мезенская древесина распиливается в Каменке на доски, она настолько вырастает в цене, что с лихвой окупает и дороговизну сплава по неудобной реке, и устройство плавучих причалов для погрузки на морские пароходы при постоянно меняющемся уровне воды, и стоимость последующей морской перевозки.

Непереработанные круглые бревна такой прибавки к своей цене не получают, им не по силам нести большие транспортные расходы.

Да и вообще вывоз мезенского леса через море не решает вопроса. Ну много ли его вывезешь через такую мелеющую реку и такой неспокойный порт? Ведь даже не весь пиловочник успевают сплавить по реке паромами в те годы, когда долго продолжается летнее безводье. Вон сколько бревен остается в верховьях до будущей навигации! Зимой выкалывают из льда вмерзшие плоты да поднимают бревна в гору.

Исправить положение может только железная дорога.

Еще в начале тридцатых годов обсуждался проект постройки дороги

от Архангельска до Лешуконского, но он не был в свое время осуществлен.

Позже предлагалось много других вариантов. Поскольку они отпали, я излагать их не стану. Восторжествовал и осуществляется самый первый и самый верный вариант — постройка дороги из Архангельска. Экономическое значение ее огромно. Ведь не по пустым она пройдет местам, а по богатым лесным массивам. Непосредственно на железной дороге будут построены лесозаготовительные предприятия с общей годовой заготовкой трех миллионов кубометров древесины. Этот лес будет грузиться прямо на железную дорогу без всякого сплава.

И, кроме того, оживут Пинега, Мезень, Вашка. Там тоже будут построены новые леспромпхозы общей мощностью в шесть миллионов кубометров.

Для улучшения сплава на Мезени и Вашке построят водорегулирующие плотины.

Все конфликты разом ликвидируются. Перестанут оставлять на лесосеках не только тонкомерные еловые да сосновые бревна, но заберут даже гнилые старые деревья, годные на дрова, чтобы они не захламляли и не заражали лес. Деловая древесина пойдет по железной дороге в Архангельск, а дрова возить дорого, и потому в Лешуконском сооружается мощный комбинат, который станет перерабатывать дрова в картон...

Нет изолированных отраслей производства, есть единое народное хозяйство, и только общее развитие его уровня способно разом ликвидировать все споры. На известном уровне становится возможным изменить судьбу целого края. Но нужны для этого большие капиталовложения.

Почему не построили железную дорогу раньше? Так ведь не сидели же мы сложа руки. Вон как много повсюду строим! И еще больше надо строить. Не без счета лежат у государства деньги, не из бездонного льются колодца. Не хватает средств и рабочих рук на все нужные дела — и сюда надо и туда. Приходится управляться по очереди: сначала там, где нужнее.

4. Острая проблема

Поездка на Мезень вводит нас в понимание одной важной проблемы, давно волнующей работников леса и широкую общественность. Речь идет о наиболее полном использовании леса, о получении с вырубаемых площадей максимального количества древесины.

При рубке леса где-нибудь в Курской области или на Украине все деревья и все их части до последней веточки идут впрок. Крупная древесина используется в строительстве, а из всякой мелочи в лесничествах стругают рукоятки для молотков, палки для щеток, вяжут метлы, плетут корзины и делают прочий ширпотреб. Суковатые остатки, хворост и валежник подбирают на топливо. Словом, не пропадает ни синь-пороха.

В тайге так не получается.

Мы видели, как в мезенских ельниках берут всего сорок процентов запаса древесины, а шестьдесят оставляют на корню.

В амурской тайге рубят только кедр и оставляют дуб, ясень и другие ценные породы, крайне необходимые нашей мебельной промышленности.

В Якутии рубят только сосну и оставляют лиственницу. А лиственница — золото. Железнодорожные шпалы из лиственницы мы продаем на внешнем рынке по очень высокой цене.

Что это такое? Головоустройство? Нет, физическая невозможность. Единственная дорога в тайге — река — вывезти бревна можно только сплавом по воде. Кедр и обыкновенная сосна плывут; лиственница, дуб, ясень тонут.

Скажут: чем так рубить, лучше вовсе не рубить. Нет, формула «все или ничего» для данного случая не годится. Лучше получить от тайги хоть что-нибудь, чем ничего не получать.

Однако получать надо больше.

Летят в тайгу гневные телеграммы-молнии, едут с юга на север толкачи, штурмуют отделы сбыта совнархозов, устраивают истерики, требуют древесины по нарядам, и всем нужны добротные бревна; никто не желает брать гнилых, кривых и суковатых. А ведь тайга рубится только по первому разу, она состоит из состарившихся, переспелых лесов; многие деревья имеют сердцевинную гниль и годятся только на дрова.

Заготовке добротных бревен сопутствует низкокачественная древесина и всякие отходы да обрезки. В прежние время их употребляли на топливо.

Но обстановка изменилась. С каждым годом нарастает потребность в хорошей деловой древесине и одновременно уменьшается спрос на дрова. Уголь, газ, нефть, электроэнергия вытеснили это старинное топливо не только из фабрично-заводского производства, но и домашнего обихода. Взять хотя бы Москву. Нынешняя большая Москва расходует дров во много раз меньше, чем маленькая Москва прошлого и позапрошлого столетий.

В Карпогорском леспрохозе Архангельской области мне привелось увидеть, как для разгрузки склада дровяные бревна возили обратно в лес.

А летом 1962 года я был свидетелем такого случая. На Северной Двине в сорока пяти километрах выше Архангельска есть Бобровский сплавной рейд: русло реки от берега до острова перегорожено запанью, сдерживающей приплывшие плоты, и около запани наделано из плавающих бревен множество коридоров и дворики. Плоты приходят сюда с Вычегды, тут их развязывают, бревна пропускают через ворота, и женщины с баграми толкают каждое плывущее бревно в соответствующий коридор: пиловочник — к пиловочнику, рудничную стойку — по другой дорожке, бумажный баланс — по третьей, дрова — к дровам. Потом рассортированные бревна свяжут машиной в пучки, составят новые плоты из бревен какого-либо одного типа и отправят куда следует: пиловочник — на архангельские лесопильные заводы, балансы — на бумкомбинат, рудстойку — на лесоперевалочные базы для погрузки на железную дорогу. Каждый потребитель получит то, что ему надо. Дрова идут для нужд Архангельска, для отправки на пароходах в безлесное Заполярье и отчасти перегружаются на железную дорогу.

И вдруг из Архангельска позвонили в Боброво:

— Не присылайте дров! Не станем принимать.

— Куда ж их девать? У нас остается сто тысяч кубов.

— Куда хотите! Хоть обратно на Вычегду отправляйте!

Создалось безвыходное положение. Как освободить коридоры и дворики? Как уничтожить дрова? Сжечь их невозможно: мокрые бревна на воде не горят. Выпустить в реку по течению — значит парализовать судоходство в низовьях Двины и Архангельском порту. Оставалось только мошенничать, понемножку подмешивать дровяные бревна к деловым, авось получатели не станут скандалить из-за каких-нибудь двух-трех процентов брака.

Лесоруб стоит между лесной охраной и потребителем лесоматериалов. Охрана требует рубки и вывозки всей древесины, в том числе и низкокачественной, неликвидной. Потребитель не желает брать неликвидную, ему подавай только хорошую. С лесоруба требует и та и другая сторона, причем требования противоположны. А самому лесорубу не с кого требовать, он только обязан выполнять все требования —

такая уж у него должность, такое положение между двух требующих сторон. На лесоруба жалуются, ему жаловаться не на кого, он молчит.

Потому и сложилась у лесорубов недобрая репутация, оттого и считают их виновниками всех зол. По распространенному мнению, «виновники» — это полтавчанин Кутуля, что проводит дождливые ночи под днищем опрокинутой лодки, это Эльвира, которая с посиневшим лицом и лязгающими зубами бродит в холодной воде, даже не подоткнув подол, и плывет дальше, не просушившись.

Полноте, товарищи!

Лесорубы сами добиваются права сдавать в сию древесину, но, когда они вывозят из леса дровяное гнилье, их труд оказывается затраченным даром, да еще создаются заторы, затрудняющие всю работу леспромхозов. Поэтому при существующих условиях сбита разумнее оставлять в лесу то, чего не возьмет никакой потребитель.

Но оттого, что они не виноваты, не становится легче. Положение с использованием леса явно ненормально и даже нетерпимо. Ведь вон сколько неликвидной древесины остается в лесу и сколько всяких обрубок сжигается в кострах, чтобы освободить пространство!

Неужели ничего нельзя сделать? Нет, почему же. Можно! Но я еще раз должен напомнить, что в народном хозяйстве нет изолированных процессов, все связано в единый жгут.

У нас по старинке идут в дело только бревна да доски. А надо развивать химическую переработку низкокачественной древесины. В этом вся суть.

В Архангельске есть два крупных целлюлозно-бумажных комбината и много лесоперевалочных баз для кругляка. Северный город способен принять, переработать и отправить дальше всякого рода деловую древесину, за исключением избыточных дров. Но всего больше нуждается Архангельск в пиловочнике. Это крупнейший в нашей стране центр лесопиления с двадцатью мощными лесопильными заводами, объединенными для удобства управления в несколько комбинатов.

Процесс лесопиления мы уже видали в Каменке на Мезени: круглое бревно пропускается через прыгающую пыльную раму и выходит пучком плоских досок. Таковы же и архангельские заводы, все занимаются одним и тем же делом — превращением круглого в плоское и прямоугольное. Но бревно не просто кругло; оно всегда конусообразно, комель у него толще, чем вершина. Для превращения конуса в четырехгранный брус с последующим распилом на плоские доски приходится снимать с боков много клиновидных обрезков. В среднем не больше шестидесяти процентов древесины превращается в доски, остальные сорок идут в отходы. За год в Архангельске получается более двух миллионов кубических метров отходов лесопиления.

Из двух миллионов кубометров можно сварить четыреста тысяч тонн целлюлозы, то есть пятую часть того, что выпускала вся бумажная промышленность СССР в середине пятидесятых годов, до пуска новых бумажных комбинатов, построенных по семилетнему плану.

Как же используются в Архангельске отходы? А по-разному.

Лучше всего поставлено дело на Соломбальском бумажно-деревообрабатывающем комбинате.

Целлюлозный завод этого комбината получает щепу в совершенно готовом для варки виде из цехов смежного лесопильного завода № 16-17. Все происходит, как говорится, без прикосновения человеческих рук; действуют транспортеры да подъемники. Целлюлозникам остается только проглатывать готовое сырье, принимать в котлы и варить.

Сигарообразные варочные котлы выстроились шеренгой. Они напоминают подводные лодки или дирижабли, поставленные, как говорится, на попа. Щепа засыпается внутрь и заливается щелоком, в состав которого входит натуральный сульфат натрия, добываемый на каспийском заливе Кара-Богаз-Гол, а также известняк, добываемый самими целлюлозниками в карьерах на Северной Двине.

Сульфатный способ варки позволяет перерабатывать смолистую сосновую древесину. Не мешает при этом способе и древесная кора. Вообще этот способ не предъявляет высоких требований к качеству перерабатываемой древесины.

Сульфатная целлюлоза — очень крепкая. Из нее по большей части вырабатывают прочную хрустящую бумагу для всяких технических надобностей. Из такой бумаги изготавливают мешки для перевозки цемента и других сыпучих веществ. Полоска бумаги, свернутая в жгутик, становится шпагатом.

В ближайшее время понадобится колоссальное количество крепких бумажных мешков для минеральных удобрений. До сих пор их перевозили и хранили без упаковки, и это приводило к потерям.

Вот как решается проблема использования лесопильных отходов на заводе № 16-17. Смотришь на это дело — и приходишь в восторг.

И есть другое предприятие по переработке отходов — гидролизный завод. Он расположен на правом берегу реки Маймаксы и перерабатывает в спирт щепу и опилки соседних правобережных лесопильных заводов. По рельсам городской трамвайной линии бегают поезда и привозят на заводской двор горы бледно-желтых опилок и щепок.

Древесина — это такая же растительная ткань, как клубень картофеля, корень свеклы или хлебное зерно. Заключенная в древесине клетчатка образована из сахара и относится к той же группе так называемых углеводов, как крахмал или сахар, но только в молекуле древесной клетчатки атомы углерода, водорода и кислорода лежат немного иначе, чем в молекуле простого сахара, растворимого в воде. Древесная клетчатка (целлюлоза) — сложный сахар, так называемый «полисахарид»; путем гидролиза ее можно переработать в простой сахар — глюкозу.

Реакция гидролиза происходит в таких же громадных сигарообразных автоклавах, как варочные котлы целлюлозных заводов, но химический процесс здесь иной. В результате варки получается раствор сахара. Его переливают в бродильные чаны, и начинается дрожжевое брожение. При брожении сахар превращается в спирт.

Спирт можно перерабатывать в каучук и резину...

Заглянешь на сульфат-целлюлозный комбинат, на гидролиз — вроде как радуешься: вот какую пользу дают деревянные обрезки!

А как проедешь по всем архангельским лесопильням — оторопь берет. Целлюлозный и гидролизный заводы в состоянии переработать в год шестьсот пятьдесят тысяч кубометров обрезков, а миллиона полтора кубов не используется для промышленной переработки. Это зависит от местоположения заводов и условий транспорта.

Маймаксанский лесопильный комбинат № 2 стоит на низком берегу реки Маймаксы, как раз напротив гидролизного завода, перерабатывающего щепу в спирт. Река здесь не широка, но по ней идут с моря к Архангельску пароходы. О мосте или какой-нибудь канатной переправе не может быть и речи. Трамвайным вагончикам, перевозящим щепу, нет туда пути.

Для пассажиров существует переправа на пароходике. Я переехал на левый берег, прошел на завод.

Регулярно из заводских ворот выезжают нагруженные древесными обрезками автомашины и направляются на задворки.

В Донбассе пустую породу, вынутую из шахт, нагромождают высокими террикониками. Там экономят каждый метр земной поверхности, потому что земля ценится для сельского хозяйства.

На задворках комбината № 2 лежит просторное болото. Здесь не приходится экономить никому не нужную, «пустопорожную» землю, и здесь свалка растет вширь, растекаясь безобразной кляксой. Древесинные залежи причудливо расположились на болоте, напоминая формой диковинный архипелаг с островами, мысами, заливами и проливами.

Тут царит невообразимый хаос. Бугры и впадины. Ощетинившийся бурьян вставших на дыбы досок, палок и всяческих обломков.

Болотная сырость и колоссальное скопище гниющей древесины сделали это место очагом грибковых болезней и быстрого гнилостного разложения. Прошлогодние отбросы уже посерели под дождем и ветром и похожи на тлеющие кости. Рядом лежат вовсе почерневшие обломки, вывезенные в давние годы. Есть коричневые гнилушки, рассыпающиеся под ногой в труху. А часть уже распалась и смешалась с землей. Валят ведь сюда со дня основания завода. Место безлюдное, пожарная охрана сжигать не заставляет.

Свежие высыпки последнего года выделяются обширными пятнами приятного кремового цвета. Грустно становится, когда видишь чистенькие, светленькие обрезки досок и знаешь, что их удел — тоже превратиться в прах.

Колоссально древесинное кладбище Кегостровского комбината. Еще больше на Цигломенском. Отходов завод дает в год триста тысяч кубометров, часть перерабатывают, но много остается и для свалки. Заводы, уничтожая отходы, зажигают огромные костры.

Об использовании обрезков говорят в Архангельске уже тридцать лет, спорят, волнуются.

Скоро наступит улучшение. Соломбальский сульфат-целлюлозный завод реконструируется, расширяется в четыре раза и станет способен перерабатывать много щепы. Но одного его будет все-таки недостаточно. Теоретически все просто: лесопильные обрезки — ценное сырье. Да ведь топография Двинской дельты не изменится, доставлять щепу в Соломбалу с дальних островов не станет легче.

Производство и транспорт должны идти непрерывной цепью, и эта цепь должна быть одинакова во все времена года. Хорошо щепу ссыпать в вагоны или в автосамосвалы и везти без перегрузок прямо из цеха в цех. А ежели несколько раз перегружать с колес на воду в баржи да с воды снова на колеса — вскочат щепки в копеечку.

Думаю, что, кроме расширения Соломбальского целлюлозного завода, придется еще что-то строить для переработки щепы на месте.

Из щепок можно вырабатывать не только бумагу, но и такую полезную продукцию, как древесные плиты. В этом случае древесина режется в мелкую стружку, пропитывается клеем и прессуется в плиты любого нужного размера и любой толщины. Тонкие плиты идут на изготовление мебели, толстые применяются в строительстве.

Следует сказать об одном весьма распространенном заблуждении. У нас почему-то принято думать, что потери допускаются только на лесозаготовках. Увы, таково свойство всей вообще добывающей промышленности.

Из руд извлекается половина содержащихся в них металлов, теряется половина каменного угля, из земных недр выкачивается не более сорока процентов нефти, совсем недавно мы начали использовать природный газ, но и сейчас много газа уничтожается сжиганием в факелах.

Горы древесных обрезков мы видим, в недра земли не заглядываем. А именно там потери наиболее тяжелы: лес можно вырастить сызнова на прежнем месте, новую нефть не вырастишь.

Надо совершенствовать формы добычи всех видов природных богатств, и нельзя обвинять одних только лесорубов.

Но, конечно, не резон, кивая на неисправного соседа, оправдывать беспорядки в своем доме. Нет, их надо устранять, и такая задача сейчас ставится и выполняется.

Выступая с докладом на Всесоюзном совещании работников целлюлозно-бумажной промышленности, министр Г. М. Орлов сказал: «Особенно нетерпимое положение создано в стране с использованием дровяной древесины, древесины лиственных пород и отходов лесопиления, многие десятки миллионов кубометров которых, не находя более рационального применения, в основном сжигаются как топливо, а часть выводится в отвалы лесозаводов».

Партией и правительством принято специальное решение о строительстве целлюлозно-бумажных заводов. К 1965 году будет построено тридцать два новых крупных предприятия и реконструировано восемь существующих. В числе прочего древесного сырья они ежегодно смогут перерабатывать двадцать три миллиона кубометров низкокачественной древесины.

«Однако это только начало, — сказал в своем докладе Г. М. Орлов, — в дальнейшем мы должны стремиться к тому, чтобы во всех основных лесозаготовительных районах все избытки дровяной древесины хвойных и лиственных пород и отходов лесопиления направить для производства целлюлозы, полуцеллюлозы, химической древесной массы и древесных плит».

Целлюлозная промышленность играет в народном хозяйстве достаточно важную роль. Это ведь не только бумага и картон, но искусственный шелк, ткани для одежды и множество всякой всячины. Потребуются большие капиталовложения. Целлюлозно-бумажный комбинат — это много цехов, сложное оборудование, большие здания, куда надо упрятать такие крупные вещи, как варочные котлы высотой с десятиэтажный дом (в Братске устанавливаются стоячие котлы по тридцать два метра), вереницы промывочных бассейнов, установки для очистки воды, сушильные и бумагоделательные машины длиной в сотни метров.

На таких предприятиях, как Братский лесопромышленный комбинат, никаких отбросов не будет, все пойдет в дело.

Сложнее всего переработка лесосечных отходов — сучьев, веток, вершин. Рыхлые вороха обрубков не годятся для транспорта, их надо перерабатывать на месте, в леспромхозах. Потребуется масса всякого оборудования, а его пока нет, и оно не должно быть громоздким и сложным. Тут есть много трудностей. Пока ясна только общая цель, а практические формы будут рождаться по мере накопления опыта.

Некоторые люди ошибочно, слишком примитивно представляют эту задачу и мыслят переработку любой ценой и во что бы то ни стало. Но, разумеется, всякое производство должно давать не убыток, а выгоду, иначе оно становится невозможным. Сотни наших ученых, инженеров, конструкторов давно работают над проблемами использования низкокачественной древесины; есть кой-какие достижения, но в целом проблема еще не может считаться решенной.

В лесах ... еще непочатый край работы.



ДАВИД КУГУЛЬТИНОВ

★

СЛОВО К ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ СЛОВУ

С калмыцкого

Ты — нашей мысли плоть,
живая сила,
Что прозорливо тайны осветила
Пространства,
 глубины
 и высоты,
Ты — слово человеческое,
 ты —
Опора наша, разума основа,
К тебе, о слово,
 обращаю слово!

Ты движешь человечество вперед.
Но ты живешь, пока оно живет!..

И, если хочешь ты продлить полет
От звездной вышки
 к новой светлой вышке,
Из памяти людской,
 как язву,
 выжги

Железом,
 выскобли за слогом слог,
Как доктора выскабливают рак,
Чтоб ни один не оставался знак,
Чтобы никто и помянуть не мог
Исчадие по имени Война!..

О слово, поспеши!
 Не то она
Тебя сотрет
 и волею растленной
Твой выжжет след
 из памяти вселенной!

* * *

С. Я. Маршаку.

Никто не помнит
 Своего рожденья.
 Никто не вспомнит
 Свой последний час.
 Два рубежа,
 две грани,
 два мгновенья
 Неведомы ни одному из нас.

И все пространство,
 весь кипучий бег
 Ночей и дней
 меж рубежами теми,
 Все, что философ именует «время»,
 Что жизнью называет человек,—

Ничем не пресекается оно.
 Оно в сознание нашем бесконечно.
 И человеку смертному дано
 Жить на земле, не зная смерти,
 вечно.

Другому жизнь дарит он в свой черед.
 Другого, плача, одевает в саван...
 Сам человек не умирает...
 Сам он
 Только живет.

Перевела Ю. Нейман.

* * *

Я помню прошлое.
 Я помню свой голод.
 Больше я не мог.
 И русская старушка,
 Помню,
 Мне хлеба сунула кусок.

Затем тайком перекрестила
 В моем кармане свой ломоть
 И быстро прочь засемила,
 Шепнув: «Спаси тебя господь!»

Хотелось мне, ее не зная,
 Воскликнуть: «Бабушка, родная!»
 Хотелось петь, кричать «ура!»,
 Рукой в кармане ощущая
 Существование добра.

Приму ли ошибку за истину —
Ну, что же! Свое заблуждение
Сейчас же исправить готов.

Беда ли нагрянет нежданная, —
Я зубы сожму — и без жалобы,
Без стога готов умереть.

От двух только бед унеси меня,
От двух наказаний спаси меня,
От двух только, мать моя, жизнь!

В минуты, для родины трудные,
Минуй меня труса название,
Бегущего зайцем в кусты.

Минуй меня звание черное
Безвинных губившего некогда
Презренного клеветника.

* * *

Мне нынче друг во сне явился снова —
Он тронул сердце и ушел назад.
Ушел... Но струны времени былого
Проснулись
и почти уже звучат.

Я руку к сердцу приложил, подумал:
Кто там стучит? Не ты ли, песнь моя,
Рождаясь в мир, еще некрепким клювом
Стучишь из скорлупы небытия?

* * *

Ты счастье мне пророчишь взглядом,
Не подтверждая взгляд словами.
Нередко ты со мною рядом,
Но будто пропасть между нами.

А через пропасти громадность,
Через молчанье, через холод,
От сердца к сердцу грусть и радость
Дугою огненной восходят.

Скончался мой друг...

Скончался мой друг.

Но лишь тело
Исчезло, как рябь на воде,
Лишь куртка его опустела,
Обвиснув на ржавом гвозде,

Лишь речи затихли,
 хоть мало
 Тревожили воздух они,
 Земля же
 просторнее стала
 Всего только на две ступни.

Но как велико его место
 Во мне!
 Это знаю лишь я.
 Как сердцу безвыходно,
 тесно,
 Как сдавлена'
 память моя!

* * *

Фанерными щитами прикрываясь,
 Оружьем деревянным потрясая,
 То отступая, то вперед бросаясь,
 В войну играет детвора босая.

Я книгу отложил. Хочу взглядеться
 Через окно в перипетии боя.
 И незаметно погружаюсь в детство,
 В далекое, далекое былое.

Минули годы. Годы. Скоро сорок.
 Гляжу на детство грустный и счастливый.
 И вспоминаю сверстников веселых:
 О, если бы они остались живы!

Гораздо больше было бы, наверно,
 Детей, играющих на свете...

Перевела Новелла Матвеева.



ВАС. ГРОССМАН

★

НЕСКОЛЬКО ПЕЧАЛЬНЫХ ДНЕЙ

Рассказ

1

И покойный Николай Андреевич работал главным инженером на знаменитом казанском заводе. С ним, кроме жены и двух сыновей, жила мать Анна Гермогеновна и племянник Левушка. Левушка когда-то болел скарлатиной с осложнением и после этого никак не мог выучиться считать до десяти, боялся заходить в столовую, если там сидели посторонние.

Телеграмму о смерти брата принесли утром, когда Марья Андреевна стояла в передней и смотрела в почтовый ящик — белеет ли сквозь дырочки конверт. Она ждала письма от мужа из Средней Азии. Звонок прозвучал внезапно, над самым ухом. Она в полутьме передней прочла «скончался» — у нее захватило дыхание, но тут же до сознания дошло, что телеграмма из Казани. Умер брат, Николай Андреевич. Против воли она почувствовала легкость:

— Гриша жив!

Она любила сына, мать, брата, но все это было несравнимо с ее чувством к Грише. Она поняла: жить без Гриши она не сможет.

Войдя в комнату, она подошла к кроватке Сережи и сказала:

— Бедный дядя Коля умер.

Сережа открыл глаза и улыбнулся бледным полным личиком.

И вдруг она вспомнила: как-то в детстве отец наказал ее. Весь вечер она плакала, к ней подошел Коля и сунул в руку холодный, тяжелый апельсин.

Марья Андреевна вышла в соседнюю комнату, громко позвала:

— Коля!

На похороны Марья Андреевна не поехала — у Сережи поднялась температура, доктор нашел в горле серые налеты. Она послала телеграмму: «Выезд откладываю, подозрение дифтерита Сережи».

Марья Андреевна написала письмо матери и жене покойного брата: «Милые, любимые, будьте мужественны, мамочка, вас особенно прошу, помните, что я и Гриша...»

Ночью ей вспоминался брат — он приезжал два месяца назад в командировку. Пока он жил в Москве, квартира напоминала универмаг. Николай Андреевич покупал книги, боты и вязаную кофточку для матери, прованское масло, электрический утюг, копченую колбасу, ситец в подарок домашней работнице, валенки для слабоумного Левушки, любившего зимой расчищать снег во дворе.

Марья Андреевна вспомнила, что, усадив Николая Андреевича в Гришин ЗИС, она в душе была довольна. Гриша, вернувшийся вечером с заседания, прошелся по комнатам и сказал:

— Вот и снова порядок.— Он ничего больше не сказал, но теперь она ужасалась: ведь оба они радовались отъезду Николая Андреевича.

Она хотела перечитать его письма, но вспомнила, что Гриша всегда уничтожал старые письма.

Был такой маленький случай. Брат купил два билета на «Пиковую даму». Марья Андреевна, посмотрев на пиджак брата, на тонкий узелок его галстука и на концы воротничка, прикрепленные булавкой с шариком, подумала, что все будут поглядывать на них, как на провинциалов, и отказалась пойти.

Утром домашняя работница Антонина Романовна пошла получать анализ и позвонила по телефону:

— Леффлеровских палочек нет, одни стрептококки.

До революции Антонина Романовна владела мастерской дамских шляп. Оставшись без средств, она поступила в домашние работницы к Марье Андреевне Лобышевой. К Лобышевым она быстро привыкла. Григорий Павлович спрашивал ее о здоровье. Марья Андреевна иногда слушала ее рассказы. Обычно Антонина Романовна говорила:

— Ах, ужас, сегодня с одной дамой мы стояли за кислой капустой, я едва узнала свою заказчицу — вдову генерала Маслова. Она до сих пор живет от продажи своих вещей в комиссионные магазины, и представьте, ей семьдесят один год, и вот каждый выходной день играет на бегах.

Весь мир старушек с сумочками, в потертых фиолетовых шубах, в горжетках, в шляпах со сломанными перьями, с лорнетами, но в то же время в валенках и нитяных варежках был знаком ей: она знала сотни историй с грустным концом — о молодых дамах, некогда живших в особняках, занятых ныне яслями и амбулаториями.

Когда утром Антонина Романовна ушла, Марью Андреевну охватил страх. Она принялась звонить по телефону подругам. Но Шура Рождественская была на работе, Маруся Корф болела, а лучшей, закадычной подруги Матильды Серезмунд не оказалось в Москве: она уехала на пять дней в Узкое, в санаторий.

Марья Андреевна пошла в переднюю и открыла парадную дверь. Внизу кашляла лифтерша, на верхней площадке разговаривали женские голоса. Марья Андреевна послушала и, успокоившись, пошла в детскую.

Днем пришла телеграмма от матери: «Воздержись приездом, похороны сегодня, телеграфируй состояние Сереженьки».

— Я поеду,— решительно сказала Марья Андреевна.

Но Антонина Романовна сказала:

— Я не останусь одна с больным ребенком. Как хотите, но я не соглашаюсь, категорически.

Марья Андреевна подчинилась. Утром наконец пришло письмо от Гриши. Он писал: «Такое синее небо только на верещагинских картинах — помнишь, в Третьяковке, где Индия. Грустно, ты и Сережка в ноябрьской слякоти. а здесь ходят в белом, цветы на улицах». Марья Андреевна читала письмо мужа, и мрак, в который она была погружена в последние дни, словно стал проясняться. Она вспомнила о предложении перевести для журнала роман американского писателя, вспомнила, что Гриша хотел в начале марта поехать с ней к морю. Она подумала: «Как все переплетено в жизни!»

Она подошла к зеркалу.

«Можно дать не меньше сорока пяти», — подумала Марья Андреевна, но не стала пудриться, а произнесла:

Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море...

Она пошла в кабинет и до ночи работала. Она вела общественную работу в профсоюзе работников издательств, и ей приходилось участвовать в разборе запутанных, конфликтных дел.

2

С утра Марья Андреевна ушла по делам. Ей не приходилось вешать табеля в учреждении, но работы у нее было много. Она переводила, читала на курсах по повышению квалификации учителей, консультировала в библиотечном институте, готовила кандидатскую диссертацию.

Марье Андреевне нравилось, что ее, молодую, красивую женщину, уважают и даже побаиваются слушатели на курсах, ей нравилось спорить на педагогических советах.

Она была честолюбива, и ее всегда удивляло, что некоторые ее знакомые, занимавшие высокое положение, собираясь по вечерам, дурачились, вспоминали всякие смешные случаи, философствовали о старости, молодости. Ей нравилось показывать себя занятым человеком, и она с удовольствием произносила: «Какие там театры» или «Что вы, где уж мне читать для своего удовольствия».

Марья Андреевна вышла из дому и пошла через мост. Асфальт, гранит набережной, большое небо над Кремлем — все было серым и суровым. Марья Андреевна пошла по набережной вдоль кремлевской стены. Звезда над кремлевской башней светилась на темном небе, словно уже наступили сумерки. Сквозь зубцы стены была видна на склоне Кремлевского холма все еще зеленая трава, уходил в темное небо купол Ивана Великого.

Из-под моста выплыл белый пассажирский пароход, и Марье Андреевне вспомнилось, как в 1938 году она с Гришей ехала пароходом из Москвы в Астрахань. Пароход пришел в Казань ночью, Гриша спал, а она не ложилась — хотела опустить письмо на пристани; ей и в голову не приходило, что брат ночью приедет на пристань. Брат окликнул ее — он был в белом кителе и белой фуражке. Гришу она не будила, так как он днем, загорая на верхней палубе, сжег спину и с трудом уснул. Николай Андреевич передал ей ореховую палку с нарезанными на коре квадратами, над которой, как он сообщил, Левушка трудился около двух недель. Потом они гуляли по дебаркадеру, она уговаривала Колю ехать домой, ей ужасно хотелось спать, но он говорил: «Ничего, Машенька, мне приятно с тобой гулять, я ведь днем и ночью в цехах, а здесь так прохладно».

И сейчас, глядя на пароход, шедший в затон, на закрытые желтыми жалюзи окна в каютах, на матроса в полушубке, сидящего в плетеном кресле, Марья Андреевна подумала: «Умер, умер...»

Она вернулась домой вечером, утомленная и довольная. С ней заключили договор на перевод и деньги выписали тотчас же. бухгалтер с большой предупредительностью отнесся к ней.

Ее ждало письмо от матери. Она писала, что Николай Андреевич умер внезапно, на заводе. «Весь день приходили рабочие прощаться с Колей, — писала мать, — почти все плакали, и не только старики, молodeжи много, уборщицы из заводской конторы, сторожа».

В письме словно был скрытый вызов: мать писала, гордясь любимым сыном и требуя преклонения перед ним. И Марья Андреевна, читая письмо, ощутила раздражение. Но она тут же покаялась в своем скверном чувстве.

— «Какая грусть, какой раскол в кипении веселом»,— повторяла она застрявшую в мозгу фразу.

Ей стало жалко родных в Казани, подруг, Гришу.

«Бедная моя Матильда,— думала она,— красивая, умная и так одинока, одна лишь у нее работа, работа, работа...»

3

Григорий Павлович Лобышев приехал скорым ташкентским поездом. Ездить в командировки ему приходилось раза два-три в год, и в семье выработался ритуал встречи. Но в этот раз Григория Павловича встретила Антонина Романовна.

— Где Марья Андреевна? — быстро спросил он.— Случилось что? Больна? Сережа?

— Нет, нет,— сказала Антонина Романовна,— она вчера в Казань уехала. Там все несчастья и несчастья. Умер ведь Николай Андреевич, его уж похоронили недели полторы. И вдруг опять телеграмма. Там с квартирой заводской осложнения, потом воспаление легких у Шуры... А у нас все благополучно, Сереженька здоров, спать уже лег.

Григорий Павлович прошел в столовую — стол был накрыт белой крахмальной скатертью, цветы стояли на столе, графин с коньяком.

— Ах ты, жил, жил и умер,— проговорил Григорий Павлович,— и всего на четыре года старше меня.

И милая квартира, о возвращении в которую он так мечтал, показала ему из-за отъезда Маши пустой и угрюмой. А он-то радовался, представлял себе, как Маша нарядится в роскошный халат, купленный им на импортном складе Узбекшелка.

— Эх, ей-богу...

Он пошел посмотреть спящего Сережу.

— Болел он, бедненький,— сказала Антонина Романовна.

Григорий Павлович созвонился со своим заместителем Чепетниковым и условился, что тот приедет.

— Событий особых не было? — спросил он.— Ну да ладно, приезжай.

Позвонил телефон. Звонила Матильда.

— Ты только что приехал, а я позавчера из Узкого,— сказала она,— Маша просила о тебе позаботиться.

Григорий Павлович уважал ученость Матильды, считал ее хорошим членом партии. Но он всегда говорил с ней насмешливым тоном. И теперь он сказал:

— Ну что ж, приступай, Матильдус, к исполнению принятых обязанностей. Кати к нам... Нет, нет, не поздно, тут еще по делу должен приехать Чепетников... Кроме шуток, я очень буду рад, настроение собачье, буквально.

Вновь затрещал телефонный звонок. Это говорил нарком.

— С приездом тебя. Хорошо, что вернулся... Мне сказал только что Чепетников... Завтра? Завтра мне в Кремль... Я понимаю... В одиннадцать... Никак не больше пятнадцати минут... Ну, отдыхай, отдыхай.

А еще через несколько минут позвонил старый товарищ — Мохов.

— Приезжай, брат, тут ты увидишь одну высокую белокурую даму,— сказал Григорий Павлович, зная, что Мохову нравится Матильда.

Плохое настроение прошло. Григория Павловича привели в обыч-

ное возбуждение эти один за другим раздавшиеся телефонные звонки. Приподнятое, «московское» чувство, когда кажется, что ты всем нужен, что нет пустоты вокруг тебя.

В ожидании он вытащил из ящика стола груду старых фотографий. Во времена гражданской войны снимались в шинелях и в буденовках, должно быть, оттого, что всегда ездили. И снимались очень часто, верно, оттого, что легко завязывалась дружба и часты были разлуки. Рассматривая фотографии, Григорий Павлович всегда волновался. Лишь двое из его многочисленных армейских друзей жили в Москве — Димка Мохов и Абрашка Гуральник. Он рассматривал фотографии товарищей, важно опиравшихся на шашки. Иных уж не было на свете, иные были далеке. Чего только не пришлось перенести им — голод, пулеметный огонь белых, вероломство бандитов, сypняк... И сражались они в возрасте, когда современные молодые люди едва начинают посещать спектакли и фильмы, на которые допускаются дети старше шестнадцати лет.

Нынешние снимки были светлее и все относились к курортным временам: группа из санатория «За индустриализацию» или «Имени Семнадцатого партсъезда»; Теберда, Гагры, Сочи. Снимались на мраморных ступенях, подле кактусов в каменных вазах, на террасах, в плетеных креслах, на берегу моря. Странно было: эти лежащие на пляже полнотельные люди когда-то тоже ходили в буденовках, с маузерами и шашками на боку.

Особенно было приятно вспомнить прошлое, когда приезжали Мохов и Абрашка. Парням в шинелях было девятнадцать лет, а молодой Советской Республике всего лишь полтора года. Сколько наивных мыслей было у них, какая подчас смешная путаница происходила у них в головах! Но как убежденны и мужественны были они, не колеблясь отдавали жизнь за революцию.

Он любил то ушедшее время, но, пожалуй, не меньше любил он свое настоящее, пору зрелости, пору, когда Советской Республике шел двадцать третий год.

Обстановка суровой московской деловитости, ощущение силы стали необходимы ему, звонок из гаража по утрам, бесшумный ход автомобиля, негромкий голос секретаря, доклады, заседания, споры; его радовалось, что за время его работы в наркомате построены комбинат и два мощных завода. Стоило уехать на несколько недель из Москвы, как он начинал тосковать. И в нынешнюю поездку обратная дорога казалась бесконечной — в ноябрьском сумраке плыла мимо окон равнинная мокрая земля. Скорей бы увидеть быстрые людские толпы, рубиновые блики светофоров, проехать по Красной площади, где в сиреновом вечернем дыму стоит Василий Блаженный.

Первым приехал Чепетников.

Чепетникова выдвинули на работу в наркомат в начале 1939 года. Раньше он работал в Татарской Республике. Лобышеву казалось, что Чепетников холост, живет в общежитии и по вечерам чистит ваксой ботинки, а потом сидит на койке и читает журнал «Спутник агитатора». Когда Чепетников заболел, Лобышев навестил его; оказалось, что в двух комнатах Чепетникова живут жена, трое детей и дед, спавший на диване в столовой в валенках и ватной кацавейке. Пока Лобышев разговаривал с Чепетниковым, из соседней комнаты слышался оживленный женский голос:

— Сколько же ей детских полт купить, он же поедет скоро, а в Казани детских полт совсем нет.

Между Лобышевым и Чепетниковым установились плохие отношения. Однажды на заседании коллегии Лобышев сказал Чепетникову, что тому нужно «ночи не спать, гореть на работе, а не заниматься мелкой

ерундой». Его поддержал нарком. Лобышев думал, что испортил отношения с замом. На следующий день Чепетников сказал ему:

— Спасибо за товарищескую критику. Правильно ты подошел к вопросу, не ту я взял установку.

«До чего ловок, сукин сын, неотесанный, темный, но до чего ловок»,— подумал Лобышев даже с некоторым восхищением.

Хотя Григорию Павловичу было интересно узнать, прошла ли смета, как решилось дело старшего референта, которого обвиняли в даче неточных сведений, он начал рассказывать первым.

Григорий Павлович не стал рассказывать о синеве неба, о бледных песках при лунном свете, о разговоре в поезде с красавицей узбечкой. Он сказал:

— Самое главное я тебе изложу в нескольких словах...— И рассказал о контрольных цифрах, данных хлопкоочистительным заводам, о расширении посевных площадей, о своем споре с председателем узбекского треста Рассуловым.

Слушая его, Чепетников поглядывал на фотографии.

Григорий Павлович внезапно спросил:

— А ты где воевал во время гражданской?

— Я?— Чепетников качнул отрицательно головой.— Да нигде.

— То есть как нигде?

— А так. Я поступил в двадцать шестом году на завод, а до этого в деревне жил.

— И неужели не участвовал в гражданской войне?

— Я ж говорю, скрывать бы не стал,— обиженно сказал Чепетников,— если хочешь, проверь по личному делу.

— Да ну тебя,— сказал Григорий Павлович,— я просто удивился.

— А чего удивляться. Я в партию в тридцать четвертом году пошел.

— Да,— сказал Григорий Павлович,— а вот я с двадцатого.

— Стаж.

Они помолчали.

— Ну, как в наркомате?— спросил Григорий Павлович.

— Да как будто все в порядке. Твоего Савельева сняли с передачей дела в прокуратуру.

— А кредиты по текстильному комбинату?

— Прошли в Совнаркоме.

Григорий Павлович смотрел в глаза Чепетникову.

— Рассказывай, рассказывай, я же все знаю.

— Раз все знаешь, зачем рассказывать,— усмехнулся Чепетников и неожиданно добавил:— А тебе что, звонили уже?

Лобышев сказал:

— Нет, это я шутя,— и снова с тревогой подумал: «Ох, и ловок ты, сукин сын».

Он проводил Чепетникова как раз в то время, когда зашумел внизу лифт.

Он смотрел в лестничный пролет на скользящую по перилам руку Чепетникова.

Лифт остановился— вышла Матильда, а за ней Мохов.

— Как это вы вместе?

— Встретились в парадном, случайно.

— А Матильда становится все красивей... И нет спасенья на земле.

— Чем же это кончится?— смеясь, сказала она.

Григорий Павлович, помогая ей снять пальто, говорил:

— Встретишь на улице— в голову не придет, что это профессор.

Киноактриса или сухотельница львов.

— Морских и сухопутных,— сказал Мохов.

Матильда с Антониной Романовной пошли в спальню смотреть на спящего Сережу.

— Ты вроде похудел,— сказал Лобышев.

— Занимаюсь гимнастикой, это помогает. А ты что ж, овдовел — уехала Маша!

— Брат у нее умер — знаешь, в Казани жил.

— Что ты! Я ведь его знал когда-то.

— Да, давление, кровоизлияние в мозг.

— Вот и я от этого умру, наверное,— повышенное давление. Сто шестьдесят.

— Брось ты. В нашем ученом совете у академика Шевичина двести сорок, а он водку с утра пьет.

Мохов рассмеялся. Они помолчали немного.

— Знаешь, когда я с Машиним братом встречался? — спросил Мохов.— В двадцатом году. Вы тогда только поженились, а я с Восточного фронта на Польский эшелоном шел. Заехал повидаться, а вас не было. Он меня провожал ночью. Я Москвы не знал, темень, а до утра ждать тоже боялся — как бы эшелон не ушел. Через всю Москву меня провёл — шутка ли, пешком!

— Коньяк пить будем? — сказал Григорий Павлович.

— Это можно.— Он кивнул головой на дверь.— Что это она пропала там?

— Женщина, знаешь. У нее своих детей нет,— сказал Григорий Павлович.— А Николая Андреевича я не очень любил. Этаким беспартийный инженер. Что-то в нем обывательское было.

Вошла Матильда и села за стол.

Она знала, что нравится Мохову. И сейчас, рассказывая о своей работе, о новой нагрузке, взятой ею в почвенном институте, она чувствовала напряженное, упорное внимание Мохова.

Стол был накрыт, как обычно к приезду Григория Павловича, и, очевидно, по указанию Маши, Антонина Романовна купила все любимые им закуски. Но от этого еще больше чувствовалось отсутствие Маши. Его сердило, что Матильда, разошедшаяся в двадцать девятом году с мужем, до сих пор не вышла замуж, сердило, что Мохов, в жизни которого было много увлечений, холост и не страдает от одиночества. А ему, Лобышеву, стоило разлучиться с Машей на месяц — и уж он начинал нервничать и тосковать.

Рассердившись на них и желая смутить, он спросил:

— Матильда, тебе нравится Мохов?

— Нравится.— протяжно ответила она.

— А чем же он тебе нравится, расскажи нам, пожалуйста.— И он подумал: «Да, таких смутишь, черта с два».

— Многим нравится,— сказала она и поглядела на Мохова,— нравится, что он красивый, нравится, что он молчаливый, благородный.— Она снова поглядела на него и продолжала, усмехаясь: — Нравится, что он грустный, а я не люблю жадных до жизни людей.

Она говорила медленно, посмеиваясь, и Мохов не мог понять, шутит ли она или говорит серьезно.

А она убоилась своих слов — начала шутя и почувствовала, что волнуется.

Зазвонил телефон. Григорий Павлович пошел в кабинет.

Мохов подошел к Матильде.

Она сказала с укоризной:

— Боже, какой вы большой, Мохов.

— Мне везет,— сказал он.— Едва я подумал, хорошо бы Гришке выйти отсюда, и зазвонил телефон.

— Как я устала,— сказала она поспешно.

Ей не хотелось серьезного разговора.

Мохов повторил:

— Знаете, Матильда, мне везет, ей-богу, везет.

— В чем же, Мохов?

— Ну как бы вам объяснить это,— сказал он,— да вот как: вы знаете, какая была у меня жизнь. Вот. А теперь пришла любовь.

Она подняла голову и проговорила:

— Сегодня я спрашивала студента одного, он так, бедняга, волновался, что все время вместо «коллоид» говорил «галоид».

— Вот видите,— сказал он.

— Тут превосходный вид из окна,— внезапно сказала она и подошла к балконной двери,— замечательно! «Кругом огни, огни, огни...» Смешение огней, хаос, а взглядеться — и видна систематика огней. Вот движущиеся, быстрые — это автомобили, а плавные, видите,— троллейбусы. Неподвижные желтые, голубоватые — из окон домов — абажуры. А улицы огненным пунктиром прорублены в светлом движении... Я не могу понять, как это с высоты разбирают, куда бросать бомбы.

— Бомбы бросают на затемненные города, освещая их ракетами,— сказал Мохов и добавил: — Слышу, как Гриша шваркнул трубку.

— Мохов,— проговорила она,— вы хотите, чтобы...

— Даю вам слово,— поспешно перебил он.— У меня нет чувства торопливой тревоги, совершенно нет.

Он повернулся в сторону вошедшего в столовую Григория Павловича и сказал:

— Ты, Гришка, разговариваешь по телефону, как моя Нюра со своими подругами, минут сорок.

— Что,— спросила Матильда,— неприятности?

— Пустое... позвонил мой секретарь. С божьей помощью на меня свалили и приказ о снижении качества, и инженер прогулял, и увольнение референта, и в моем управлении процент опоздания оказался выше, чем у других. Да и не могу я всей этой микроскопией заниматься. Это Чепетников любит разбирать, почему курьер опоздал и почему инженер в часы службы был замечен в парикмахерской. Я уж говорил на коллегии: Плюшкин. Да не проймешь, а мой Чепетников Гоголя не читал. Не проработал.

— Гриша, Гриша,— сказала Матильда.— Откуда в тебе эта надменность к новому поколению? Словно выше вашего поколения ничего в мире нет и не было.

Она посмотрела на Мохова.

Он сидел нахмурившись, упорным взглядом рассматривая скатерть.

— Ну и что ж,— запальчиво сказала она, точно ей возражали,— почему ты думаешь, что Чепетников не читал Гоголя? Я вижу молодежь. Какое трудолюбие, какое уважение к науке! У вас такого не было.

Григорий Павлович ответил:

— Это, прелестная Матильда, все так. На молодежь наша великая надежда. Но ты подумай лучше! Чепетников, такой трудолюбивый, об этом заседании ни слова. Мудрец, ей-богу, мудрец. И все доносы пишет, чуть что — донос, чуть что — враг народа.

Он налил себе в рюмку коньяку и сказал:

— Жуткий, первобытный малый, да ничего, видал я и не таких.

— Товарищи, последние известия пропустим,— сказала Матильда,— половина двенадцатого.

Началась передача.

— Отьясова, Телятников, я дикторов по голосам узнаю,— сказала Матильда.

— Да что слушать, смехота: называется последние известия,— сказал Григорий Павлович: — «Ровно четыреста лет тому назад...»

— А я люблю,— сказал Мохов.— Я, слушая эти мирные известия, всегда думаю: вот в чем огромная сила — весь мир воюет, гремит, а у нас забил нефтяной фонтан, откопали позвонок динозавра, натолкнулись на стоянку первобытного человека, бурят-монгольский театр выехал в Москву, мичуринец-слесарь срезал первую кисть уральского винограда.

— Да тише вы, философы,— сказала Матильда и подняла палец. Диктор несколько повышенным голосом проговорил:

— Германское информационное бюро передает следующую сводку Верховного командования германской армии...

— Поехали,— сердито пробормотал Мохов.

Они молча, внимательно слушали.

Лишь когда дикторша сказала: «В Центральном Китае сведения с фронта не поступали», все одновременно вздохнули, задвигались.

— Вот так,— проговорил Григорий Павлович,— мы спускаем суда на воду, а они пускают на дно.

— И какая будничность в этих сообщениях,— сказала Матильда,— словно экономический бюллетень — тоннаж судов, брутторегистровые тонны, а рядом пожары, видные через Ламанш, взрывы, которые слышны за сто километров, гибель населения.

В это время часы на Спасской башне начали отбивать полночь, и тотчас раздался мерный, мощный «Интернационал». Он заглушил голоса людей, и они притихли.

Матильда внезапно спросила Мохова:

— Скажите, Мохов, а что это за Нюра у вас по сорок минут по телефону разговаривает?

— Домашняя работница. Девица.

— Почему же она не работает на фабрике, молодая девушка?

— Не может, она, бедная, горбатенькая. Убрать комнату, накормить кота Панкрата — это она может, а на фабрике ей не под силу.

Он усмехнулся.

— Много у Евы дочерей, и я рад этому.

Они вышли в переднюю.

— Митя, знаешь,— сказал Григорий Павлович,— ведь радио это мне покойный Николай Андреевич подарил. В прошлом году. Как-то сейчас только дошло, что он умер...— Слушай, Митя,— сказал он,— переночуй у меня. Мне тяжело одному — война эта, смерть Николая Андреевича, а Маши нет, на работе подземные толчки... А, Митя? Помнишь наши военные ночевки? А, Митька, ей-богу? А утром я тебя подброшу на машине в академию.

Мохов посмотрел на Матильду, пристукивавшую ногой, чтобы туфель лучше пошел в ботик. посмотрел на детское просительное лицо Лобышева.

— Нет, брат, ты мужик взрослый, пора не бояться буки,— сказал Мохов,— завтра уж созвонимся.

4

Марья Андреевна пробыла в Казани неделю. Здоровье Александры Матвеевны, жены брата, улучшалось медленно.

Все хозяйство, хлопоты легли во время ее болезни на Анну Гермогеновну.

Семидесятирехлетняя старуха следила за тем, чтобы дети вовремя ели, уходя гулять, одевались потеплей, а возвращаясь домой, мыли руки с мылом; она ездила в страховую кассу, оформляла денежные дела, хло-

потала по поводу квартиры в городском Совете и в заводууправлении, писала заявления, а по ночам дежурила возле невестки.

Анна Гермогеновна работала в молодые годы фельдшерницей в сибирской деревне. Однажды во время поездки на нее напали волки, и, пока возница гнал лошадей, Анна Гермогеновна стреляла из ружья. Эту историю Марья Андреевна слышала в детстве множество раз, но только сейчас она поняла, что мать у нее сильный, мужественный человек. И потому особенно страшно было, когда Анна Гермогеновна сказала:

— Мне, Маша, хочется только одного — умереть.

Марья Андреевна совсем расстроила себе нервы. Глядя на племянников, она плакала от жалости. Александра Матвеевна раздражала ее. При выздоровлении Александре Матвеевне все время хотелось есть, но она стеснялась своего аппетита и в присутствии Марьи Андреевны отодвигала тарелку. Левушка постоянно сидел у Александры Матвеевны, и когда входила Марья Андреевна, она чувствовала его испуганный, восхищенный взгляд. Он никогда с ней не говорил.

Марья Андреевна сказала матери:

— Мамочка, какая-то притупленность к потере ощущается в Шуре. Примитив. Все же чувствуется в ней поповна.

Но мать, сурово, даже злобно осуждавшая самое маленькое невнимание к памяти сына, сказала ей:

— Что ты, Машенька, уж так, как Шура любила Колю, трудно любить.

— Не знаю почему, — сказала Марья Андреевна, — меня она все время раздражает.

— Я ее люблю, — сказала мать. — Ты посмотри, как она к Левушке относится.

Мать постучала мундштуком папиросы о край стола и закурила.

— Знаешь ли, Маша, — сказала она, — если говорить правду, то не тебе осуждать ее.

— Мамочка, вы таким тоном говорите, словно я в чем-то виновата. В чем же?

— Видишь ли, я с тобой никогда об этом не собиралась говорить. Ты только не обижайся на меня. Левушка — сын Виктора, вашего старшего брата, значит, он имеет отношение к тебе такое же, как к Коле. Даже больше. Виктора посадили, жену вслед за ним. Ты у Виктора жила шесть лет. Вспомни, как баловали там тебя — и дачи, и каждый год к морю. Посадили Виктора с женой, и остался Левушка в сиротах. Не ты взяла Леву, а Коля. Ведь Лева для Шуры совершенно чужой мальчик. А сколько внимания и любви она проявила. А ты хотя бы из приличия предложила Левушке маленькую помощь, прислала бы ему из Москвы старое пальто мужа. А здесь во многом себе отказывать приходится — и разве Шура хотя бы раз различие проявила в заботе о мальчиках? Наконец, Машенька, я-то Шуре чужой человек — свекровь. А я за все годы, что живу здесь, не почувствовала ничего дурного, а когда живешь не в своем доме, кажется, одно не так сказанное слово — как нож острый. Видишь, Маша, я к тебе не в претензии за невнимание ко мне, но ты не будь так строга к другим.

Марья Андреевна опустила голову, закрыла ладонью глаза.

— Как это все тяжело, — сказала она.

— Тяжело, очень тяжело, — сказала мать и не стала утешать ее.

Марье Андреевне становилось легче, когда она выходила гулять с мальчиками. Во дворе ездили на санках дети в солдатских телогрейках и больших валенках, трамваи на улице почему-то беспрерывно звонили, хотя улица была пустой, изредка проезжали забытые в Москве газики с парусиновым верхом.

Марья Андреевна вела мальчиков за руки. Старший, Алеша, бледный и молчаливый, любил говорить об умном и, когда Марья Андреевна вернулась с могилы брата, спросил ее:

— Скажите, тетя Маша, вы видели когда-нибудь рефрижератор?

Четырехлетний Петька, скуластый, на редкость некрасивый, краснощекий, белоголовый, курносый, с узкими веселыми глазами, был очень привлекателен; с ним заговаривали прохожие, а женщины останавливали его и тормозили. Однажды военный, вылезая из автомобиля, посмотрел на Петьку и сказал:

— Ах ты ухарь-купец.— И отдал ему честь.

Они зашли в игрушечный магазин, и Марья Андреевна купила Петьке большого черного медведя. Неожиданно Алеша заплакал. Глядя на него, заревел и Петька. Она растерялась, ничего не могла понять, поспешно повела их домой, и всю дорогу они лили слезы.

Дома Марье Андреевне объяснили причину слез: отец обещал мальчикам купить таких черных медведей к Новому году.

«Нет, нет, совершенно невыносимо», — подумала Марья Андреевна и решила заказать билет на городской станции.

Она написала вечером мужу письмо.

«Меня все здесь давит — и горе, и сложность жизни, и обывательская затхлость, и отсутствие больших интересов. А с другой стороны, что требовать от бедной мамы, от несчастной Шуры. Шуре надо работать — пенсия не так велика. Да и квартирный вопрос сложен. Городской Совет им дает хорошую комнату, солнечную, завод квартиру ведь отбирает, правда, заводоуправление их не торопит, но очень трудно будет всем в одной комнате. А с Левого что делать? Я советую устроить его в специальную колонию, мама хмурится, молчит, я понимаю ее. Я вообще чувствую себя виноватой перед ними, я виновата, ты-то ни при чем. Я хочу предложить маме переехать в Москву, я буду в столовой, а она с Сережей, а то ведь у нас гости до поздней ночи, ей трудно будет пережить, пока уйдут».

Письмо было деловое, но перед тем, как запечатать его, Марья Андреевна приписала:

«С ума схожу, так соскучилась по тебе, по Сережке, глупый Гришка, ничего ты не понимаешь...»

Вечером ее охватила тоска. Она надела пальто и вышла на улицу. Было совсем темно. Марья Андреевна пошла в сторону завода. Она шла по сосновой роще мимо освещенных инженерных коттеджей, вышла на опушку и остановилась — в долине стоял завод. Пятиэтажные стеклянные кубы цехов были полны белого огня; коралловый дым тяжело выползал из десятков труб, словно выдавливался из гигантских тюбов. Марья Андреевна долго стояла, восхищенная необычайной картиной. Казалось, на этом заводе работают суровые рыцари труда. И ей странно было на обратном пути рассматривать в освещенных окнах оранжевые абажуры, силуэты фикусов, слушать звуки патефона.

Она спала в кабинете Николая Андреевича на кровати с сеткой. Утром она проснулась от какого-то необычайного ощущения и, вскрикнув, схватилась за край постели. Непонятная сила приподнимала ее. Она прислушалась: из-под кровати раздавалось пыхтенье живых существ.

Марья Андреевна заглянула под кровать: Алеша и Петька стояли на корточках и, сопя, деловито отдуваясь, старались поднять головами сетку.

Марье Андреевне сразу стало весело, словно она проснулась у себя в Москве.

— Черти, милые черти, вылезайте-ка,— говорила она.

Пришла мать.

— Машенька,— сказала она,— мы с Шурой решили, чтобы ты отобрала книги, нужные тебе и Грише. Пусть у вас будет память о Коле.

— Спасибо, родная,— сказала Марья Андреевна,— но меня все грызет совесть после вчерашнего разговора. Сколько внимания нам оказывал Коля. Я ночью вдруг вспомнила — вот и радио он нам подарил.

Перед обедом Марья Андреевна принялась просматривать книги. Ее удивляла величина библиотеки.

Она снимала книги с полок, почти во всех имелись карандашные пометки. Эта библиотека сейчас умерла вместе с Николаем Андреевичем. Марью Андреевну поразила мысль, что книги, собранные волей одного человека, выразили его духовную жизнь. И сейчас, со смертью брата, библиотека начала распадаться, как распадается на клеточки мозг умершего. Старые технические журналы сожгут; а, вероятно, в таких ставших ненужными журналах много драгоценного находил Николай Андреевич.

И не только библиотека — весь быт дома дрогнул, начал расползаться. И страшно казалось не то, что быт этот уничтожался, а именно то, что он все еще сохранялся, когда стержень его исчез.

Почтальон принес пачку технических журналов.

Приехал хозяин избы, у которого летом семья жила на даче, привез сухих грибов и вязку воблы, которую обещал Николаю Андреевичу.

В этот день Александра Матвеевна впервые встала с постели. Во время обеда пришел директор завода. Это был молодой человек, лет тридцати. Марья Андреевна заметила, что он по-простому произносил некоторые слова. «Я всёю душой сочувствую»,— несколько раз сказал он. Директор рассказал, что рабочие предложили собрать деньги на памятник, они все любили Николая Андреевича,— он переоборудовал вентиляцию в цехах, провел большую работу по технике безопасности.

«Вроде нашего Чепетникова,— подумала Марья Андреевна,— говорит ласково, а все оглядывает комнаты, не терпит занять Колину квартиру».

И неужели этот человек, говорящий «всёю», «пинжак», способен директорствовать на огромном заводе?

— Простите, Александра Матвеевна, и вы, мамаша, извините, не придется с вами посидеть,— сказал он,— вот письмо, Александра Матвеевна, получилось для Николая Андреевича, я захватил.

Когда директор вышел в прихожую, за окнами раздался низкий голос ЗИСа.

— Давно он директором? — спросила Марья Андреевна.

— Года полтора,— ответила Анна Гермогеновна и махнула рукой.— Коля говорил, что парень он неплохой, а вот Колю все подозревал, считал его чуждым.

— Ах, боже мой,— точно вступив в спор, сказала Александра Матвеевна,— а рабочие хотят Коле памятник ставить. Вот, пожалуйста, письмо из Москвы от бывшего рабочего нашего завода. Он теперь председателем в каком-то важном месте, сколько благодарности к Коле, и в обиде — узнал, что Коля был в Москве и не заехал к нему.

Шура всех ответственных работников, где бы они ни работали, называла председателями.

— Тетя Маша,— спросил Алеша,— как вы думаете, кто победит, немцы или англичане?

— Не знаю, деточка,— рассеянно сказала Марья Андреевна,— главное то, что мы не воюем.

— Пить,— басом сказал Петька.

— Сам пойд и налей из графина,— сказала Анна Гермогеновна.

— Мамочка, он ведь все опрокинет на себя,— сказала Марья Андреевна.

— Пусть,— сказала Анна Гермогеновна,— пусть привыкает. Так вас отец воспитывал.

— А мне кажется, что это перегиб,— проговорила Марья Андреевна. Она сама не отдавала себе отчета, почему ее раздражают мать и Шура.

Во всем, что они говорили, она чувствовала скрытый укор себе и Грише: в том, что рабочие любили Колю и что пришло письмо от какого-то выдвигенца из Москвы. Слово все эти рассказы имели тайную мораль: «Вот видишь, вы-то в Николае ничего хорошего не видели».

Ее раздражала царившая в доме интеллигентская добродетель. Как и в далекое время детства, мать почти ежедневно вспоминала о своем знакомстве с Короленко. С утра детям внушали, что они должны сами стелить себе постели, сами одеваться. Алеша выносил мусорное ведро, чистил ботинки. Даже маленького Петьку посылали в аптеку.

«Душно здесь»,— думала Марья Андреевна.

Но одновременно ей становилось тревожно и тяжело. Вспомнилось, как весной тридцать седьмого года Николай написал, что его обвинили в общении с врагом народа — братом Виктором — и что ему грозит беда. Он просил Григория Павловича написать в партийную организацию завода, удостовериться, что знает его в течение двадцати лет. Гриша сказал: «Не могу я сам по себе писать, меня не запрашивали, запросят — я отвечу». Она написала брату, что его письмо не застало мужа, Гриша уехал на три недели. А потом и надобность миновала — обвинения отпали. И особенно тяжело было вспоминать открытку брата: он радовался, что отъезд освободил Гришу от ненужных беспокойств. А Виктор? Какой ужас охватил и ее и Гришу, когда они узнали об его аресте! Как безрассудно поступил Коля, взяв Левушку к себе!

— Зачем я здесь? — вдруг сказала она вслух.— Шура выздоровела, завтра я уезжаю в Москву.

И оттого, что найден такой простой выход, она почувствовала себя счастливой.

День отъезда прошел незаметно.

Мать сидела у печки, на ее лице было спокойное, бессильное выражение. Шура штопала Петькину курточку с золотыми пуговицами; и в этой матросской курточке с крошечными пустыми рукавами была невыносимая беспомощность. Жалость и любовь, как в первый день, когда она прочла телеграмму о смерти брата, охватили Марью Андреевну. Уже перед ее глазами стояли картины московской жизни — занятия со слушателями, лыжные прогулки, телефонные звонки подруг. И стыдась своего счастливого жребия в жизни, она особенно остро ощущала жалость к матери, племянникам, Шуре.

— Дорогие мои, дорогая моя,— сказала она и обняла мать,— давайте перед отъездом поговорим по душам. Мы ведь строим зимнюю дачу. Давайте все там поселимся большой семьей. Алеша и Петька как в раю будут и зимой и летом. Мы там уже посадили клубнику, этим летом соберем первые ягоды. Разведем цветники, запасем сухих дров, мы с Гришей будем то в городе, то на даче с вами. Хорошо? Ладно? Условились? Ну чего же вы молчите?

Шура подняла глаза от шитья и сказала:

— Спасибо большое. Только ведь мне работать нужно — как же я на даче буду жить. Но большое, очень большое спасибо.

— И я хочу преподавать английский язык,— проговорила Анна Гермогеновна.

— Что вы, мамочка, вам пора отдохнуть,— решительно сказала Марья Андреевна.— ну, в общем, увидим, я уверена, все устроится.

Перед отъездом, уже в пальто и в шляпе, Марья Андреевна, боясь

расплакаться (она дала себе слово больше не плакать), ходила по кабинету и говорила:

— Боже мой, я опоздаю, где же Шура?

Марья Андреевна подошла к матери.

— Мамочка, дорогая моя... Я вас прошу об одном. Приезжайте в Москву. Ну поймите же, дорогая моя, ведь теперь нельзя жить такой большой семьей с Шурой и детьми. Вы должны к нам поехать, Левушку надо устроить, а Шуре мы поможем со службой. Ей легче будет самой, клянусь вам. А вы к нам, мамочка, только к нам, слышите? Это мое единственное желание.

Мать погладила дочь по плечу и сказала:

— Девонька моя, не нужно волноваться, не нужно спешить, мы все решим, вся зима впереди.

— Мамочка, вы сердитесь на меня, плохую, эгоистичную? Не сердитесь? Приедете в Москву?

В комнату вошла Шура.

Она посмотрела на расстроенное лицо Марьи Андреевны и сказала:

— Анна Гермогеновна, почему вы не хотите в Москву? Ведь там хорошо.

— Шурочка, уговорите маму,— просительно проговорила Марья Андреевна.— Я сразу же вышлю деньги по телеграфу.

Александра Матвеевна жалостливо улыбнулась и развела руками.

— С богом,— решительно сказала Анна Гермогеновна,— а то на вокзал опоздаешь. Теперь вот что: я из Колиного дома не уйду. Вместе с Шурой будем тянуть. И Левушка не уйдет в казенный дом. Вместе прождем. Когда вышлешь деньги, я приеду, проживу у вас немного, погощу.

— Мамочка, приедете? Мы вас уговорим с Гришей!

— Обещаю — значит приеду. Колю вспоминайте.— И она поцеловала дочь слабыми холодными губами.

Потом она почти злобно крикнула Александре Матвеевне:

— Не реветь, а то я сама зареву!

5

В Москве произошла новость. Матильда вышла замуж! Если б Марья Андреевна узнала, что за время ее отсутствия американский материк погрузился в океан или, наоборот, из океана возник новый материк, она бы меньше удивилась, чем в ту минуту, когда Григорий Павлович сказал:

— А знаешь, Димка Мохов на твоей Матильде женился.

— Что? — шепотом сказала она.— Матильда вышла замуж?

— Чего же ты так? Красивая, но не очень молодая женщина вышла замуж — более чем естественно.

— Гришенька, ты ничего не понимаешь. Меня это потрясает, понимаешь! В мозгу не уместается.

— Но почему же?

— Да я и сама не знаю почему, в том и секрет, что не знаешь почему... Ты мне лучше расскажи, как, что? Ах, негодяйка, ведь ни слова мне не сказала. Подумай, как хорошо!

Она сразу вошла в московскую жизнь, и все ушедшее на несколько дней вновь стало важным и необходимым. Она даже удивлялась, что забыла о том, что ей нужно выступить на общемосковской конференции, сдать отчет, забыла и то, что газовая колонка в ванной неисправна, что нужно шить весеннее пальто.

Она расспрашивала Григория Павловича, была ли коллегия, как встретил его нарком, качала на руках Сережу, отвечала на расспросы Антонины Романовны, желавшей знать, есть ли в Казани троллейбусы.

После обеда она позвонила Матильде, ей сказали, что Матильда еще не пришла с работы.

Тотчас она позвонила Мохову.

Чей-то голос ответил:

— Они женились и не бывают дома.

Муж сидел на диване и, улыбаясь, смотрел на Марию Андреевну. И она все время чувствовала радость встречи.

Это было чувство естественности, чувство покоя, которое наступило после тревожной жизни в разлуке.

Она села рядом с мужем и долго смотрела на него, гладила по волосам.

— Гриша, расскажи поподробней, какие у тебя были события? — спросила она.

Он обнял ее и осторожно поцеловал в угол глаза.

— Понимаешь, Машук, вот чудесное событие — ты вот со мной.

— Все, все обойдется, хороший мой, — сказала она, — все обойдется.

Он не поехал вечером в наркомат, а решил остаться дома.

Пили чай вдвоем.

Никогда не казалась так приятна маленькая столовая, свет из-под желтого абажура, фарфоровые пастушки и скачущие конармейцы.

— Гриша, что же ты меня не спрашиваешь о моей поездке, — спросила она, — сколько я пережила, сколько слез выплакала, как много я поняла.

Ей казалось, что она ночь напролет будет рассказывать мужу о своих переживаниях, о мыслях, возникших в Казани.

— Да ты рассказывай, — сказал он и положил в блюдце варенья.

И когда он сказал это, она почувствовала, что ей не хочется вспоминать о тяжелых днях, перешедших уже в прошлое. Она была счастлива. Она снова почувствовала себя легко и спокойно — ощущение виновности оставило ее.

— Гришенька, как наши денежные дела? — спросила она. — Ведь я хочу маме денег послать.

— С деньгами как будто неплохо, да я их все отдал Димке Мохову. Они хотят устроить пир, а деньги свои растратили. Жалованье через десять дней примерно,

— Понимаешь, если послать сейчас маме рублей четыреста, нам, пожалуй, не хватит до твоей полочки, а моя будет не скоро. А послать меньше неудобно просто. Ей ведь нужно на дорогу и Шуре оставить немного. А послать необходимо!

— Завтра пошлем, — сказал Григорий Павлович и зевнул, — в конце концов не в лесу живем, одолжу. Ты расскажи, Машук, как они там?

— Что ж рассказывать? Тут не расскажешь. Слишком все это тяжело.

Она несколько мгновений вглядывалась ему в лицо и проговорила:

— Знаешь, ведь я в мгновение пережила твою смерть, знаешь, когда принесли телеграмму. Я прочла слово «скончался» — и ужас, такой ужас, и вдруг я увидела, что из Казани.

Она охватила руками его курчавую седеющую голову, медленно повернула к себе и, приблизившись лбом к его лбу, долго молчала, вглядываясь в теплый и живой сумрак его глаз.



НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА

★

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

Песня в песне

И. К.

На плоту уплывающем стоя,
Огибаю речную излуку.
Древней руны руно золотое
Перекинула я через руку.

Суетились у пристани лодки,
Цепи якорные
Рокотали,
Под водой, как белье на веревке,
Отраженья домов трепетали.

И качалась труба заводская
Рукавом великаньей фуфайки,
И, металлом заката сверкая,
Будто ножницы, звякали чайки.

И плыла я, и пела: «Недаром
Шар земли называется шаром;
Оттого, что земля не квадратна,
Я всегда приплываю обратно».

Пела я про находки, потери,
Но никто моих песен не слышал,
И никто из темнеющей двери
На темнеющий берег не вышел.

Только там, где река поворотом
Подошла к повороту дороги,
Тихо стал неотчетливый кто-то
На едва освещенном пороге.

Прислоненной ли к бочке метлою,
Или ивой, чье серое знамя
Прячет в воду концы... Или мглою
Полной каверз, он был — я не знала.

И была ль моя песня во мраке
Пузырьком на подводной коряге,
Или звоном в ушах,
Или следом
Птицы в небе — он тоже не ведал.

И плыла я, и пела: «Недаром
Шар земли называется шаром;
Оттого, что земля не квадратна,
Я всегда приплываю обратно».

Водопад

Дышит осень незаметно
На деревья и кусты,
И от ветра, и без ветра
Опадают с них листья.

И листом осенним с неба
В море падает звезда;
Не вернуться ей на небо,
Не вернуться никогда.

А водопад —
Он не то, что листопад:
Не печалит он, а радует
Там, где падает;
Водопад не листопад,
Водопад не звездопад —
Он веселый от макушки и до пят.

Водопад,
Падай всласть:
Можно. пасть, чтоб не упасть,
И упасть, чтобы не пасть
И все на свете не проклясть.

И грохочет водопад,
И хохочет невпопад,
Словно хочет в этой пропасти пропасть.

Ручеек стремится в пропасть —
Грозной бездны патриот.
Разве в пропасть нужен пропуск?
Пропусти его вперед!

Но едва преодолет
Он запретную черту —
Обомлеет,
Обмелеет,
Спрячет камешки во рту.

А водопад,
Как веселый акробат,
Вызываемый на «бис»,
Летит, летит с уступа вниз:

Водопад не листопад,
Водопад не звездопад —
Он веселый от макушки и до пят...

Водопад,
Падай всласть!
Можно пасть, чтоб не упасть,
И упасть, чтобы не пасть
И все на свете не проклясть.

...И грохочет водопад,
И хохочет невпопад,
Силы жизни,
Силы счастья в нем кипят.



ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВ

★

РАССКАЗЫ АРХЕОЛОГА

Дорога на Буков

Когда я в первый раз был в командировке в Румынии, мы почти все время путешествовали вместе с Еудженем Комшей. Нас познакомили в Институте археологии Румынской Академии наук в Бухаресте. До этого я никогда не встречался с Комшей, хотя я знал его по работам как серьезного и интересного ученого. Оказалось, что Комша — невысокий жилистый человек лет тридцати пяти. У него большие небесно-голубые глаза, огромный лоб, крючковатый нос. Когда нас познакомили, Комша широко улыбнулся открытой улыбкой, но тут же спохватился, и лицо его снова стало чрезвычайно серьезным. В обществе Комши мне предстояло путешествовать по всей стране. Я собирался изучить в археологических музеях те материалы, которые в той или иной мере связаны со славянской культурой. Кроме того, мне хотелось ознакомиться с возможно большим количеством археологических памятников на месте и, если удастся, принять участие в раскопках. Но в этом последнем мне не повезло. Стояла ранняя весна, и археологи только еще собирались в экспедиции.

С Комшей мы быстро подружились. Он был нетребовательным и легким спутником, отличным разведчиком-археологом, хорошим товарищем. Правда, у этого умного и интересного человека было и одно несколько гипертрофированное качество: он хотел, чтобы в его стране я во что бы то ни стало видел даже мелочи только в самом лучшем свете.

Понятно, что это далеко не всегда получалось, так как мы не сидели в столичных театрах и ресторанах, а бродили по всей Румынии, ночевали где придется и видели разные стороны жизни. Из-за этого, особенно в первое время, у Комши было много хлопот, а иногда он прямо-таки расстраивался. Кстати, расстраивался он совершенно напрасно. Именно возможность видеть не только парадную, а обычную, будничную жизнь и привела к тому, что я особенно горячо полюбил эту страну и ее народ.

Комша вначале, видимо, считал, что со мной, как с гостем, он должен быть непременно серьезен, преисполнен достоинства. При его живом характере это удавалось ему с большим трудом.

Работать с Комшей было одно удовольствие, и он оказывал мне неопенимую помощь. Во всех музеях, которые мы посещали, Комша со сказочной быстротой делал десятки необходимых нам зарисовок, причем делал их точно и умело. Он работал удивительно увлеченно. Прищулив один глаз и то по-птичьи округлив другой, то растянув его в узкую щелочку, он рисовал плавными уверенными движениями, целиком погружаясь в работу. На мгновение отрываясь, он бросал на меня быстрый веселый взгляд и спрашивал:

— Так будет красиво, а?

Когда я благодарил его, он обычно заявлял:

— Это не совсем красиво. Вот когда мы приедем в Букурешть, я все сделаю тушом, тогда будет красиво.

Слово «красиво» служило у него высшим критерием для оценки людей, вещей, событий, погоды и всего прочего.

Как-то я сказал ему:

— Женья, почему вы все время говорите: «красиво»? Разве дело только в этом? Знаменитый авантюрист Борис Савинков тоже говорил: «Морали нет, есть одна красота!»

— А что же, выходит, что красиво — плохо? — оскорбился Комша.

— Да нет, совсем неплохо, только это далеко не все. Вот вы, например, конечно, красивы, но все же это не главное ваше достоинство.

При этих моих словах Комша покраснел от смущения.

Дня три-четыре он старался избегать рокового слова, но многолетняя привычка взяла свое. Все началось сначала, и черт меня возьми, если он и меня не заразил этим.

С Комшей мы почти все время спорили. Одним из частых предметов спора был вопрос о происхождении румынского народа, который по-настоящему стал разрабатываться археологами только в последние годы. Поскольку я много лет работаю в Молдавии, занимаясь историей народа, находящегося с румынами в ближайшем родстве, этот вопрос меня особенно занимал.

— Женья,— начинал я в очередной раз.— Когда и как, по-вашему, сформировалась древнерумынская народность?

Женья сумрачно отвечал:

— Я вам уже сказал все, что знаю, Георгий Борисович. А потом я вообще занимаюсь каменным веком.

— Не выйдет, Женья, вы румын, да еще и археолог. Должны же вы знать, откуда вы взялись.

Комша пятерней свирепо взлохмачивал и без того лохматые волосы и старался говорить отточенными формулами:

— Местные фракийские племена, после того как территория Румынии во втором веке была захвачена императором Ульпием Траяном, перемешались с римлянами, приняли их язык и многие из их обычаев. Когда же в шестом веке славяне заняли весь Балканский полуостров, это романское население оказалось окружено со всех сторон славянами. Славянская культура, очевидно, сыграла большую роль в формировании румынской культуры и языка. В румынском языке около тридцати процентов слов имеют славянское происхождение.

— Все это я знаю,— отвечал я.— Но когда же, по-вашему, образовалась собственно румынская народность?

Комша укоризненно качал головой и, насупившись, бросал:

— Наверно, тогда же, когда образовалось большинство народов Восточной и Юго-Восточной Европы — во второй половине первого тысячелетия нашей эры.

— Это похоже на правду,— не сдавался я.— Только вот вопрос: где же в материальной культуре доказательства этому? Ведь во второй половине первого тысячелетия нашей эры известная нам материальная культура населения Румынии носит ярко выраженный славянский характер. Да, конечно, окруженный со всех сторон славянским морем, маленький островок романской народности не мог не воспринять славянскую культуру. Но все-таки должны же быть в этой культуре какие-то только романцам свойственные черты. Где же они?

На этом этапе разговор обычно заходил в тупик. Средневековые поселения на территории Румынии начали изучать сравнительно недавно,

и все, что до сих пор было открыто, действительно имело ясно выраженный южнославянский характер. А ведь должны же быть в этой культуре какие-то романские черты.

Не зная, что ответить, Комша обычно сердито советовал мне поговорить с Марией. Мария, его жена, отличный археолог-медиевист, была хорошо знакома мне еще по Москве, где она закончила аспирантуру. Во время нашего путешествия она оставалась в Бухаресте, готовилась к выезду на раскопки средневекового поселения Буков.

Последние дни поездки мы с Комшей провели в дельте Дуная, где среди бесконечных стариц, затонов, озер во множестве встречались остатки римских лагерей, средневековые крепости и другие интересные памятники. Мы уже выполнили всю намеченную программу. Через два дня мне предстояло возвращаться домой. Когда работа закончилась, изрядно усталые, глубокой ночью добрались мы до небольшого городка Тулчи, рассчитывая как следует выспаться, а на другой день вечером отправиться в Бухарест, чтобы поспеть к московскому поезду. Но не тут-то было. В гостинице нас ожидала телеграмма Марии. Из телеграммы явствовало, что Мария уже больше недели ведет раскопки в Букове и там найден материал, связанный с вопросом о происхождении румынского народа. Возможности увидеть это воочию никак нельзя было пропустить, хотя времени было в обрез.

Бросив рюкзаки в холле гостиницы, мы с Комшей помчались на автобусную станцию. Там выяснилось, что ближайший автобус на Констанцу отходит через два часа — в пять утра. В Констанце у директора музея мы рассчитывали получить машину, которая доставит нас в Буков. Ложиться спать не было никакого смысла, и оставшееся время мы решили побродить по городу. По неписаному правилу археологов, мы — во всяком случае вслух — не строили никаких догадок относительно того, что ждет нас в Букове...

Стало светать. Тулча была очень хороша в это тихое светлое утро. Это город рыбаков в низовьях Дуная. В широкой полукруглой бухте на причалах десятки судов — от ослепительно белых многоэтажных пассажирских пароходов до широконосых траулеров, закопченных буксиров и парусных рыбацких суденышек с черными просмоленными бортами и латанями, грязноватыми парусами.

Город пропах рыбой, смолой, солью, крутым рабочим потом. Почти все ресторанчики и кафе названиями напоминают о море: «Пескэруши» («Чайка»), «Альбатрос», «Пескар» («Рыбацкий»)... Рыба лежит на витринах магазинов, рыбу везут на рынок в четырехугольных тележках маленькие вислухие ослики.

Только одна кондитерская носила какое-то не рыбное название — «Мнорица». Я спросил, что это значит. Комша ответил:

— Такая красивый баран.— И, подумав, добавил: — Недостаточно по размерам.

— Недоразвитый, что ли, дефективный? — не понял я.

— Да,— ответил Комша,— но если хорошо кормить, оно может и развиваться...

— А, черт побери! Так что же, это ребенок барашка? Бэец? («Бэец» — по-румынски «мальчик»).

— Да, да,— ответил Комша.— Такой красивый бэец от барана.

— Ягненок, значит?

— Ягненок — это недоразвитое барашек?

Так и не договорившись, мы поняли, что оба устали и ничего уже не соображаем.

К счастью, началась посадка в автобус.

Кондуктор (которого здесь пышно величают «шеф-кассир» или более

демократично — «таксатор») — веселый малый в синем кителе с серебряными шевронами и форменной фуражке с синим околышком — уже на ходу выбрасывает несколько «зайцев» и кричит шоферу: «Гата!» — что значит: «Порядок!»

Машина набирает скорость. Дворник — усатый старик в мягкой фетровой шляпе и потертом черном сюртуке, надетом прямо на голое тело, — салютует нам метлой и... прощай, Тулча.

Автобус летит с холма на холм. Тень его, в лучах восходящего солнца длинная и узкая, бежит по зеленым углам, по пестрым полоскам полей. Часто громко и без всякой надобности сигналист шофер. Мимо проносятся деревеньки с разношерстными домами — то каменными, крытыми черепицей, то белеными мазанками под камышовой крышей. Стада овец с маленькими ягнятами (миорица?) и непременным осликом — персональным выездом пастуха. Сам пастух в колоритной козьей шкуре длинным мехом наружу и в фетровой шляпе с пером. Вот крытые повозки — каруцы, запряженные парой волов или черных, словно лакированных буйволов с большими, ребристыми, прижатыми к шее рогами...

В автобусе очень шумно и тесно. Дети, мужчины в городских пальто и широкополых шляпах, нарядные девушки в разноцветных плащах, крестьянки в красочных национальных костюмах, с торбами, полными всякой снеди. медлительные царане — крестьяне в расшитых кожаных жилетках и высоких остроконечных бараньих шапках, с огромными оплетенными бутылками с вином. Автобус живет хлопотливой и шумной жизнью. Кто-то пошутил — и весь автобус хохочет. И в ссору тоже мгновенно включаются все. Вот бедовый маленький старик в синем берете торчком, в широком дорожном плаще. Сквозь узкие щелки хищно блестя желтоватые глаза, нос у старика — как у Мефистофеля, усы — седые, жесткие. Старик истошно ругается из-за места с молодой миловидной женщиной в синей суконной куртке с большими медными пуговицами. Старик бешено наскакивает на женщину и, хотя у него самого вовсе нет билета, утесняет ее и пристраивается на половину ее места. Но уже через пять минут старик обнимает соседку и, сверкая золотыми зубами, что-то рассказывает, а она от души смеется. У старика имеется термос на длинном кожаном ремешке, переброшенном через плечо. Не знаю, что в термосе, но ручаюсь, что не вода. Время от времени старик отвинчивает крышку, встряхивает термос, несколько раз делает им вращательные движения, а потом прямо из горлышка потчует соседку. да и себя не забывает. Оба уже покраснелись и, видимо, вполне довольны друг другом... Разумеется, Комша принимает самое активное участие в общественной жизни. Он уже со всеми перезнакомился, успел покатасть на коленях нескольких ребят и теперь шутит с Маричкой — так зовут собутыльницу старика в берете. Мне до смерти завидно: из-за слабого знания языка я не могу быть в этом автобусе полноценным пассажиром. Однако при помощи Комши я пытаюсь принять в общем разговоре посильное участие. Комша все время смеется, а голова его, как нимбом, окружена торчащими во все стороны волосами...

Вдруг почему-то остановка в чистом поле. Ага, это встречный автобус. Шоферы, выходя, хлопают друг друга по плечам, закуривают.

— Здорово, друг!

— Здорово! Как дела?

— Э, ты знаешь? У Ионицы вчера родилась дочка!

— И вовсе не дочка, а сын! — поправляет из окна пассажир.

Шофер оглушительно смеется над коллегой:

— Э, друг! Я вижу, ты глаза уже пропил, не можешь отличить мальчика от девочки!

Пассажиры оскорбленного водителя вступаются за своего шофера. Их противники — за другого. Страшная перепалка заканчивается общим смехом, так как выясняется, что речь идет о разных Ионицах.

— Ну, друм бун! (Счастливого пути!) Друм бун!

— Друм бун!

Все расходятся по своим местам, отчаянно машут руками, кричат на прщание, будто провожают ближайших родственников в космический полет, и автобусы наконец-то разъезжаются в разные стороны.

Наконец мы прибываем в Констанцу, древний Томис, где, находясь в изгнании, жил и творил великий Овидий. Директор музея — дружеский волшебник — немедленно раздобывает для нас машину — потрепанную, но сильную «варшаву», — и через несколько минут мы выезжаем по широкому Национальному шоссе в Плоешти — столицу нефтяников Румынии, в шести километрах от которой находится Буков.

Наш шофер, носящий поэтическое имя Замфир, полный меланхолический человек с грустными черными глазами, вел машину с иссушающей душу медлительностью. На наши просьбы ехать быстрее он только безнадежно шевелил тонкими черными усами.

Когда мы были уже километрах в пятидесяти от Плоешти, нас постигло неожиданное несчастье. Замфиру пришлось в голову переключить радиоприемник с одной волны на другую. Там транслировали матч между футбольными командами «Прогрессул» (Бухарест) и «Македонец» (Греция). Тут только я понял, что значит настоящий футбол и его болельщики. От черной меланхолии Замфира не осталось и следа. Он то разражался победными криками, то в отчаянии рвал на себе волосы и падал грудью на баранку. Машина, залиvisto гудя, летела от одного красного столбика на обочине к другому. Только ширина и безупречное покрытие Национального шоссе спасало нас до времени от катастрофы. Для сохранения жизни я попытался урезонить Замфира, но ничего не помогало. Замфир рычал, хохотал, завывал, прижимал руки к груди, воздевал их горе — словом, делал что угодно, только не держал их на руле. К тому же он иногда нервно нажимал ногой на газ, и машина делала резкий рывок вперед. К сожалению, остальные пассажиры были немногим лучше.

— Послушай! — закричал я Замфиру. — Мы же разобьемся!

Замфир только досадливо пожал плечами — не стыдно ли по пустякам беспокоить людей, когда на стадионе такое творится!

Разозлившись, я сказал:

— Останови машину! Я сам поведу! — Замфир послушно остановил, но тут же спохватился и спросил, есть ли у меня «карнет дэ кондучере» (шоферские права). Прав у меня с собой не оказалось. Замфир, уже было обрадованный, огорчился:

— Ну вот! Придется все-таки мне вести! А у меня уже желтый талон! Дальше остается только суд!

Мы поехали. По окрестным холмам уже шагали нефтяные вышки, и я с облегчением подумал, что до Плоешти осталось немного. Мы благополучно пересекли железную дорогу и еще километров пять ехали сносно, пока Замфир снова не вошел в раж. К счастью, клуб «Прогрессул» выиграл, да еще со счетом 2:0, а то не знаю, как бы мы доехали до Плоешти. Последние километры после победы Замфир был счастлив. Он распевал во все горло какой-то бравурный марш, а затем, внезапно бросив руль, так крепко обеими руками пожал мою руку, будто это я забил оба гола в ворота «Македонца».

В Плоешти Замфир заявил, что на почве сильных переживаний у него разыгрался аппетит и он обязательно должен пообедать. Все наши с

Комшей попытки уговорить его повременить с обедом до Букова ни к чему не привели.

В нарядном чистом ресторане меня поразило объявление. Оно было написано крупными буквами и висело на самом видном месте против входа: «Стрикт оприт а кынтэ ын локал», что в переводе на русский язык означало: «Строго воспрещается пить в помещении».

Читая меню, я посоветовался с Комшей, что бы такое заказать на обед.

— Наш национальный еда — мамалыга, — ответил он. — Хотите покушать?

Я легкомысленно заявил, что ел много мамалыги в Молдавии и хотел бы заказать что-нибудь другое.

Все же Комша из патриотизма заказал себе мамалыгу.

— Смотрите, какая красивенькая мамалыга! — восторженно говорил он. — Мамалегуца, о, мамалегуца, — ворковал Комша, засовывая в рот сухую желтую кашу.

Попробовав, он, однако, изменился в лице и стал не переставая пить большими глотками ледяную «апэ минерале» (минеральную воду). Потом, отставив тарелку с мамалыгой в сторону, он налег на приправу — сметану, поданную на отдельном блюде. Макая в сметану хлеб, он уписывал его за обе щеки. Великодушные недолго боролись во мне с ехидством, и я спросил Комшу елейным тоном:

— Ну, Женя, почему же вы не едите такую чудную мамалегуцу?

— Эта мамалыга некрасивый! Это не можно кушать! — печально и твердо сказал Комша.

Подошедший официант прервал его объяснения. Я захотел заказать свиной шницель и спросил на всякий случай, не слишком ли он жирный. Комша туманно перевел ответ официанта:

— Шницель очень красивый, но несколько жирный.

Последовав совету официанта, я попросил «мушки гратарь». Он объяснил, что это жаренная на решетке баранина. Отчаянный Комша все же заказал свиной шницель. Минут через пять официант принес поднос с неизменным сифоном и поставил передо мной на тарелке кусок вареной говядины с рисовой кашей, а перед Комшей точно такой же кусок вареной говядины с рисовой кашей, но еще и с зеленым горошком.

— Позвольте! — удивился я. — Это, по-вашему, жареная баранина?

— Да, да! Синьор! — отрывистым тоном занятого человека подтвердил официант, видимо величавший так всех иностранцев.

— А это, по-вашему, свиной шницель?

— Да, да! — повторил официант, подтверждая свои слова энергичными кивками головы.

— Послушайте! — настаивал я. — Но ведь и то и другое говядина!

Официант грустно стал что-то говорить, и Комша переводил ему в тон:

— Неужели синьор не может понять, что сейчас на кухне имеется только один большой некрасивый кусок коровы? Часа через два подвезут продукты. Я приглашаю синьора на ужин сюда, за этот столик, — он сделал королевский жест рукой, — и я сам буду, иметь честь накормить синьора мушки гратарь.

Замфир, набивший говядиной полный рот, одобрительно кивал, слушая речь официанта.

Могу подтвердить, что, когда мы зашли в этот ресторан на обратном пути из Букова, официант свято выполнил обещание: мушки гратарь было отличным!

Но вот наконец мы снова в машине. Последний рывок — и за невысокими холмами на окраине Букова я увидел знакомые прямоугольники

раскопов с четкой сеткой квадратов. Где бы ни довелось мне их видеть — в Алчедаре или на острове Кипр, в Варне или Александрии, в Остии или в Малине, — я с облегченным вздохом — итак, я на месте, прибыл по назначению.

Мария, худенькая, стройная, в рабочем комбинезоне и с пестрой косынкой на голове, вылезла из раскопа, положила шпатель. Мы обнялись.

— Ну, показывай, дорогая! — быстро пробормотал Комша, прямо-таки подпрыгивающий от нетерпения.

Мария, слегка улыбувшись, негромко и спокойно заговорила:

— Ничего сенсационного, но материал интересный. Селище относится к девятому — десятому векам нашей эры. В это время почти вся территория Румынии входила в границы Болгарского царства. Это было не просто политическое объединение с болгарами, а тесная связь, глубоко проникшая во все области материальной культуры. Смотрите, — и Мария стала разворачивать пакеты с черпаками, — больше половины всей керамики и по форме, и по выделке имеют яркие черты славянской посуды — грушевидная форма горшков, линейный и волнистый орнамент... Но где же материальные следы деятельности местного населения? Долгое время их не могли найти...

— Так, так! — порывисто прервал Марию Комша. — Георгий Борисович прямо-таки замучил меня этими вопросами.

Мария снова улыбнулась:

— Надеюсь, больше он не будет тебя мучить. — И она снова обратилась ко мне: — Может быть, древнее романское население было совсем вытеснено с этой территории болгарами? Нет, не похоже — ведь оно до сих пор здесь преобладает. Может быть, оно было полностью ассимилировано славянами и его материальная культура совершенно растворилась в славянской? И на это не похоже. Мы отлично знаем своеобразную и выразительную древнерумынскую культуру начиная со времен образования придунайских романских княжеств — с четырнадцатого века. Значит, она не должна была исчезнуть бесследно и в период болгарского господства. Но на всех поселениях девятого — десятого веков в Румынии материальная культура носит славянский облик. Где же культура местного населения?..

Тут уже и я не выдержал:

— Знаете что, Мария, доклад о раскопках в Букове вы будете читать на секторе феодальной археологии в Бухаресте. А теперь покажите, что там у вас!

Но Марию не так-то легко было сбить с толку.

— При первом знакомстве материальная культура Букова имеет обычный болгарский облик. Но это только при первом знакомстве. А теперь — смотрите! — И она развернула перед нами новую серию пакетов с керамикой.

Это было удивительно. Здесь были обожженные докрасна обломки горшков, сделанные в традициях римско-византийской посуды, имеющие все особенности, характерные для римской посуды, — те самые особенности, которые местная керамика приобрела после захвата территории нынешней Румынии римлянами.

Более того, рядом черт эта посуда тесно связывалась с хорошо известной посудой румынских придунайских княжеств XIV—XV веков. Недостающее звено, связывающее культуру местного населения времен римского господства с культурой этого населения эпохи расцвета феодальных княжеств на территории Румынии, было найдено!

После того как мы с Комшей пересмотрели всю эту керамику, Мария сказала:

— А теперь взгляните еще на один тип посуды. Он тоже любопытен: тут видна древняя фракийская традиция.

Даже беглого взгляда на эту керамику достаточно было, чтобы убедиться, что Мария и здесь права. После осмотра керамики Мария подвела нас к почти квадратным ямам — тщательно расчищенным остаткам древних жилищ.

— Георгий Борисович, — спросила она, — какие отопительные сооружения характерны для славянских жилищ этого времени?

— Печки, сложенные из камней. Обычно овальной, реже прямоугольной формы.

— А для фракийских жилищ?

— Насколько я знаю — открытые очаги.

— А теперь посмотрите, — уже не таким спокойным, как прежде, тоном сказала Мария.

В каждом из открытых жилищ находились в углу не печи, а именно открытые очаги. Это было здорово! Все основные элементы, из которых сформировался румынский народ, материализованные в его культуре, в деле его рук, лежали перед нами. Это были факты. Ясные, неопровержимые в своей определенности. Исконные древние черты местной фракийской культуры, могучие традиции романской культуры и наконец хорошо заметные славянские черты. Конечно, от этого еще далеко до решения всей сложной проблемы происхождения румынского народа, но это был вклад в решение этой проблемы, сделанный археологами. И вклад немалый. Кстати сказать, на этом примере археология уже не в первый раз опровергла идиотский миф, пропагандируемый фашистами всех мастей, о существовании так называемых «избранных народов». Человечество едино. И самое формирование народов происходило в тесном общении и смешениях различных культур и племен. В этом единстве и смешении — один из главных залогов жизнеспособности человечества.

Я от души поздравил Марию с успехом, а кроме того, пригласил Марию и Женю принять участие в наших раскопках в Молдавии. Они охотно обещали приехать.

— Это будет красиво, — с пафосом сказал Женя.

Мои друзья выполнили обещание, и это действительно было красиво. Но это уже совсем другая история.

Как археолог стал богом

Борис Александрович, встретив меня в коридоре, пригласил зайти к нему в кабинет. Там, усевшись в кресло, он торжественно спросил:

— Как по-вашему, кто сидит перед вами?

Несколько озадаченный необычным для него тоном и самим вопросом, я неуверенно промямлил:

— Ну, как кто? Наш уважаемый директор?

— Ничего подобного, — категорически заявил Борис Александрович. — Подымайте гораздо выше!

Окончательно сбитый с толку, я уже с некоторой опаской ответил:

— Ну, действительный член Академии наук СССР.

Куда там! Бориса Александровича. человека обычно скромного, теперь и это определение ничуть не удовлетворило.

— Еще выше! Гораздо выше! — надменно заявил он и, наклонившись ко мне, заговорщическим трном сказал вполголоса: — Я господь-бог!

— Ну вот, — ответил я, расстроенный. — Сколько раз я вам говорил, что не надо столько работать. Вот, пожалуйста, печальные последствия переутомления! Мания величия. Нужно срочно обращаться к врачу.

— Ничего подобного,— продолжал настаивать Борис Александрович.— Я именно и есть господь-бог и готов это письменно удостоверить!

Он взял со стола оттиск своей новой, только что вышедшей статьи и начал читать: «Дорогому...» и т. д. «от господина-бога (см. стр. 60—61)».

Надеясь на указанных страницах найти разъяснение странного поведения Бориса Александровича, я немедленно стал читать. Статья была правильная и вдобавок очень интересная. Один из разделов статьи, посвященной русской эпиграфике X—XIV веков, повествовал об удивительном памятнике новгородского прикладного искусства и письменности — Людогощинском кресте XIV века.

В те времена буйная и свободолюбивая новгородская вольница не особенно чтит официальную церковь, ее обряды и ее служителей, среди которых полно было пьяниц и вымогателей.

Народные движения против власти церкви часто выступали в те времена в форме различных религиозных ересей. Одно из таких народных движений, известное в истории под названием «ересь стригольников» (его основателем был «стригольник» — то есть парикмахер — Карп), получило широкое распространение среди ремесленников и вообще простого народа в Новгороде Великом.

По заказу стригольников — жителей Людогощей, улицы Новгорода, — какой-то выдающийся мастер сделал огромный резной крест с надписью, в которой отрицалась церковь. В конце этой надписи идет непонятное и бессмысленное сочетание букв. Совершенно ясно, что это тайнопись. Многие ученые считали, что мастер, опасаясь, и не без основания, мести со стороны церковников, поставил свою подпись, но зашифровал ее.

Долгое время никому не удавалось прочесть его имя на этом чудом сохранившемся до наших дней деревянном кресте.

А вот Борис Александрович расшифровал.

Буквы древнерусского алфавита имели цифровое значение. Мастер применил очень остроумную систему шифровки: раскладывал надвое цифровое значение каждой буквы своего имени и фамилии и затем записывал получившиеся таким образом буквы. Чтобы расшифровать надпись, нужно было сложить числовое значение парных букв и подставить букву, выражающую сумму. Например, чтобы зашифровать букву «д», мастер делил ее цифровое значение — 4 — на два слагаемых — 2 и 2, которым соответствовали буквы «вв».

Ученый, расшифровавший надпись, проявил не меньше остроумия, чем мастер при ее зашифровке. Наверное, резчик надеялся, что найдет в конце концов человек, который расшифрует надпись, но не донесет на него попам. Что же, мастер оказался прав, хотя расшифровщик и появился только шестьсот лет спустя после того, как сделан был крест.

Так мы узнали имя этого замечательного художника и умельца — Яков Федосов.

— Здорово! — искренне сказал я, оторвавшись от статьи.— От души поздравляю вас с успехом, но при чем же тут все-таки господь-бог?

— За разъяснениями обратитесь к вашему другу Михаилу Григорьевичу,— улыбаясь, ответил Борис Александрович.

Тут я вспомнил, что Михаил Григорьевич недавно опубликовал отличную популярную книгу «Судьбы вещей», один из рассказов которой посвящен Людогощинскому кресту.

Дома, раскрыв книгу, я прочел относительно тайнописи на кресте следующее: «Вероятно, резчик и поставил свою подпись, но сделал это так, чтобы разобрать ее мог разве один господь-бог».

Так и получилось, что археолог стал богом. А скорее всего, мастер Яков рассчитывал все же не на бога, а на человека. И не ошибся.

«Вечно живи, прекрасный!»

В могиле лежал скелет. Это был рослый, сильный мужчина лет сорока — сорока пяти. Так установили наши антропологи. Фаланги пальцев его правой руки покоились на рукоятке длинного железного меча. Грудь когда-то прикрывал щит. От него сохранилась бронзовая оковка и железный умбон — коническая бляха, которая набивалась в центр щита и служила для отражения прямых колющих ударов. На плече лежала бронзовая фибула — фигурная застежка для плаща. Она имела форму полукруга и ромба, соединенных выгнутой дужкой. В ногах и в изголовье стояли сосуды. Вот сосуд для вина — красная амфора с двумя высокими ручками и изящной ножкой. А вот тусклым металлическим блеском отсвечивают острые ребра высокого кувшина. Но он сделан не из металла, а из глины. Это только подражание в глине металлической посуде. Местная работа. А рядом — миски, чашки, вазы... Но что это? Внутри самой большой миски что-то вдруг блеснуло, засветилось зелено-оливковым светом с нежным перламутровым переливом.

Это совершенно целый стеклянный конический кубок.

Вот так удача!

Не будем торопиться. Часа три ушло на расчистку кубка кисточками, скальпелем, пульверизатором. Наконец, очищенный даже от самой малой пылинки, кубок вынут и стоит на столе внутри брезентовой палатки.

Как совершенна и изящна форма этого кубка! Как строг и выразителен орнамент, покрывающий его стенки, — ни одной лишней детали, все просто и лаконично. Внизу — четыре больших выпуклых зашлифованных овала. Над ними — выпуклые кружки с ободками, а на самом верху, между двумя врезными полосками, надпись. Да, да, именно так — надпись.

Вот это уж удача из удач. Мы обязательно прочтем надпись. Мы услышим живой голос человека, жившего более полутора тысяч лет тому назад.

Даже беглого взгляда на кубок достаточно, чтобы определить, что он сделан в лучших традициях позднего античного искусства.

Но что же гласит надпись?

Нет, нельзя торопиться. Надо прежде всего специальными химическими препаратами скрепить, законсервировать этот кубок. Если это не сделать сразу же, возможно несчастье, даже катастрофа. Вещь, пролежавшая сотни лет глубоко в земле без доступа воздуха, при постоянной температуре, извлеченная на свет, кажется несокрушимой. Но иногда это лишь обманчивое впечатление: вскоре она становится хрупкой и одно неосторожное движение может превратить ее в прах.

С горечью вспоминаю я один из таких случаев.

Девушка-лаборантка, впервые попавшая на раскопки, увидела только что отрытый бокал из рубинового стекла и в восторге схватила его в руки. Бокал рассыпался в стеклянную крошку. Счастье, что до этого его успели хотя бы сфотографировать...

С трудом заставив себя не смотреть на кубок, я попросил нашего реставратора:

— Юра, тщательно изучи кубок, законсервируй его так, чтобы не было никакой опасности, — и, не в силах сдержать нетерпения, добавил: — Как ты думаешь, когда он будет готов?

— К вечеру все будет в порядке, — заверил Юра.

В эту тихую долину, где теперь велись раскопки, наш маленький отряд попал не случайно.

Во время разведок в северо-западной Молдавии на вершине крутого холма, поросшего жесткой травой и колючками, мы увидели статую из

серого гранита. Грубо высеченная фигура изображала бородатого мужчину с мечом у пояса. Гранит потрескался, и в щелях его ютились тысячи божьих коровок. Когда днем они вылезали на солнце погреться, казалось, что вся статуя покрыта кровавыми пятнами.

Судя по стилю, статуя была сделана во времена раннего средневековья. Но это и все, что можно о ней сказать. А нам всем очень хотелось узнать побольше.

Мы начали расспрашивать жителей деревень, расположенных у подножья холма, и наткнулись на старика, который рассказал такую легенду, связанную со статуей:

— Когда-то всей этой землей правил могучий князь. Пришли полчища врагов, и князь со своим войском вышел им навстречу. Но слишком неравны были силы. В жестоком бою войско князя было разбито наголову. Князь, израненный, бежал. Он добрался уже до вершины холма. Осталось только спуститься на другую сторону, переплыть Прут — и он оказался бы в безопасности. За рекой начинались владения другого властителя, а с ним пришельцы тогда еще не воевали. Стоя на вершине холма, князь обернулся, чтобы бросить последний взгляд на родную землю. Но такой страшный был у нее вид, так полыхала она пожарами, так была залита кровью, что князь от горя окаменел. Подскакали враги и начали рубить князя саблями. Но сабли ломались о гранит, и враги уехали ни с чем...

Конечно, легенда не показания магнитометра, фиксирующего скопление железа в древней могиле.

И все же она так поразила наше воображение, что мы дали слово не уходить из этих мест, пока не найдем следов битвы.

Шаг за шагом, методически обследовали мы вокруг холма все места, где могли находиться древние могильники. И в конце концов нашли. Правда, нашли с помощью колхозников: они начали копать котлован в одной из долин и наткнулись на человеческие кости...

Недалеко от реки Прут расположен хутор Мартени. На берегу небольшого ручья стоят три белых домика. На хуторе всего двадцать жителей.

Но вот появились и новые поселенцы. Приехали большие запыленные фургоны археологической экспедиции. За два часа возле белых хат вырос целый городок. Ровными рядами встали зеленые палатки. Под брезентовым навесом расположились чертежники и художники с большими досками. На равнину вышли люди с теодолитами и рейками, с блокнотами и лопатами.

Хутор стоит посередине небольшой зеленой равнины. Со всех сторон обступили эту равнину пологие спокойные холмы.

В день приезда нас прежде всего поразила мирная, необыкновенная тишина. Кажется, тысячи лет никто не нарушал эту тишину, никто не мешал труду жителей этой равнины, все грозные и величественные события мировой истории проходили где-то далеко в стороне, и даже отдаленное эхо их не доходило сюда...

Это впечатление оказалось обманчивым.

Во время раскопок мы нашли остатки древнего поселения и могильника. Люди жили здесь очень давно: в III, IV, может быть, в начале V века нашей эры — более полутора тысяч лет тому назад. Это был поселок земледельцев и ремесленников. Но в те времена мирным людям угрожало много врагов. Сражались между собой племена славян и готов. Яростные орды степных кочевников-гунов, появившиеся в этих местах в конце IV века, носились на маленьких мохнатых лошадях, меча тучи стрел, сметая и сжигая все на своем пути. Уже дряхлеющий,

но все еще страшный в своем величии исполин — Римская империя — нес рабство и смерть покоренным народам...

И вот на древнем кладбище в припрутской степи вместе с могилами крестьян и ремесленников появились и могилы тяжело вооруженных воинов. Чтобы жить мирным трудом, нужно было уметь охранять этот труд...

Значит, легенда, рассказанная стариком, в основе имела подлинные события. Здесь жили воины, здесь были битвы...

Одна за другой стали открываться могилы воинов и их оружие — тяжелые граненые копья, длинные узкие мечи, кривые ножи...

А сегодня в только что открытой могиле воина обнаружился этот кубок.

Вечером, когда все археологи собрались у стола в большой палатке, Юра торжественно поставил кубок на стол и заявил:

— Ну вот, теперь он крепче, чем новый.— И тут же честно добавил: — Правда, он таким и был. Удивительная работа и удивительная сохранность.

Но Юру уже никто не слушал. Все склонились над кубком.

Судя по форме, технике выделки, стилю орнамента, кубок был сделан в знаменитых стеклорезных мастерских в римской колонии Агриппины, которая находилась там, где сейчас расположен город Кельн. Эта колония получила свое имя в честь Агриппины — жены императора Клавдия и матери Нерона, которая родилась там, когда это был еще просто военный лагерь. Потом лагерь превратился в цветущий город, в нем были широко развиты различные ремесла, в том числе и художественные. Именно из его стеклорезных мастерских и вышел наш кубок. Но вместе с тем город был и главной твердыней римского владычества на Рейне, местом, откуда постоянно совершались и направлялись грабительские походы для захвата рабов, скота и других ценностей. Замечательные мастера и художники, работавшие в колонии: ткачи, кузнецы, гранильщики драгоценных камней, золотых дел мастера, стеклорезы, чеканщики по серебру и другие — были бесправными рабами. В конце IV века город был взят племенем франков. В ожесточении битвы погибли многие художественные и культурные ценности, были разрушены великолепные, веками сложившиеся традиции высокого мастерства.

Погибла и замечательная стеклорезная мастерская в колонии Агриппины. Это произошло в конце IV века. Наш кубок, судя по всему, был сделан перед самой гибелью мастерской. Об этом говорят и вещи, найденные в могиле вместе с кубком, и некоторые особенности стиля кубка.

Удивительно изыскан его орнамент и надпись, которая идет по самому верху между двумя резными полосками.

Надпись гласит: «Вечно живи, прекрасный!»

Эта надпись служит и верхним орнаментальным фризом кубка.

Мы не знаем, к кому была обращена надпись — к самому кубку или к тому, для кого он предназначался. Но если надпись была обращена к самому кубку, то пожелание его творца сбылось, хотя это и может показаться невероятным.

В тот вечер в экспедиционном лагере мы наполнили этот кубок молодым молдавским вином и по очереди отпили из него.

Конечно, это не соответствовало правилам строгой науки, но просто невозможно было удержаться.



С. МОТОВИЛОВА

★

МИНУВШЕЕ

Автору этих воспоминаний Софье Николаевне Мотовиловой сейчас восемьдесят два года; она живет в Киеве, получает пенсию.

Большая часть публикуемых ниже воспоминаний была написана в течение тридцатых годов.

Семья Мотовиловой до революции долгое время жила в Швейцарии, Софья Николаевна училась в Лозанне, потом в Веймаре, затем в Лейпциге на философском факультете, ездила для изучения языков в Англию, Италию, снова возвращалась в Лозанну. Училась на Бестужевских курсах в Москве.

В девяностых годах в Швейцарии Мотовилковы были очень близки русским революционным кругам того времени, среди друзей Софьи Николаевны — большевики В. П. Ногин и С. В. Андропов.

После революции Софья Николаевна становится инструктором по библиотечному делу, работает непосредственно с Н. К. Крупской. Потом она уезжает в Киев, где продолжает свою библиотечную работу.

В воспоминаниях С. Н. Мотовиловой нет хронологически последовательного изложения событий ее жизни. Каждая главка воспоминаний посвящена какой-нибудь одной странице ее жизни. Но вместе эти на первый взгляд разрозненные записи передают немало интересных подробностей времени, характеров, обстоятельств этих для нас уже таких далеких лет.

Детство. Симбирск

Я родилась в Симбирске — маленьком губернском городе на Волге, с пыльными улицами, маленькими деревянными домами, со скудной, запыленной растительностью, чудесным видом на Волгу из сада, называемого «Венец», с четырехэтажным красным зданием кадетского корпуса, с тюрьмой, больницей, собором и губернаторским домом. В то время Симбирск считался типичным дворянским гнездом. Никто не знал еще, что здесь родился Ленин...

Жизнь в те дни текла мирно и тихо. У моей бабушки были танцклассы. Об этих танцклассах и балах мы, дети, знали по тому, что нам в дом присылали в ковровых мешках целые вороха шелковых и атласных туфель — бледно-розовых, голубых, белых.

Они нам были велики, спадали с ног, но мы все же надевали их и стучали высокими каблуками. Мои тети, еще девочки, не «выезжали», но о выездах мы слышали от мамы. Казались заманчивыми рассказы, как подкатывала карета к дворянскому собранию, прыгивал лакей, бросал коврик от кареты к ступеням и в таких атласных туфельках моя мать и тетя Лида быстро пробегали к дому. Мы любили рассматривать мамины карточки с искусственными цветами, которые прикалывались к бальным платьям, и чудесными казались мне эти нежные, бледные розы.

Мимо наших окон проходил иногда красивый черный гимназистик, будущий замнаркома здравоохранения Соловьев. Потом я встрети-

лась с ним в ссылке, в Усть-Сысольске. Кроме моего друга, к которому я приехала, Соловьев был там единственный большевик. У меня хранятся несколько снимков, сделанных им в Усть-Сысольске, и нарисованный им портрет Ницше. Он недурно рисовал.

Потом я Соловьева встретила в здании Наркомата здравоохранения в 1927 году, в большом, светлом кабинете. Уже седой, по-прежнему красивый, в военной форме, он вошел туда упругой легкой походкой.

Из тех трех обликов Соловьева, какие сохранились в моей памяти в разные годы его жизни, этот мне более всего понравился. Чувствовалось, может быть, и сознание власти, и сознание большой ответственности, какая-то сдержанная деловитость. Таким, думалось, простым, деловым должен быть народный комиссар пролетарского государства.

Но в то время, о котором я пишу, Соловьев был только красивым гимназистом; не было пролетарского государства, а была старая царская империя.

Наша детская жизнь была проста, как наш маленький дом на Лисинной улице с простой мебелью, крытой ситцем; в доме побольше, в два этажа, жили бабушка, дедушка и их многочисленные дети. Это был старый и новый мир. Там, у бабушки, — мир старых традиций, у нас — мир отрицания традиций. Отец был как-то один, в оппозиции ко всему окружающему. У бабушки он не бывал, и бабушка у нас не бывала. Помню, как-то подъехала она в своем экипаже, запряженном парой белых лошадей, вышла мама, поговорила о чем-то, и бабушка поехала дальше.

Отец — я его мало знаю. Он любил — это я узнала уже потом, в молодости, — Писарева, а затем Салтыкова. Он бросил гимназию, где прекрасно учился, и уехал в Олонецкую губернию сельским учителем. Там оставался недолго, женился на моей матери и жил одиноко, чуждый окружавшей его провинциальной среде.

Это были мрачные восьмидесятые годы, начало царствования Александра III.

От отца мы, дети, узнали, что есть чиновники, которые подбострастничают перед начальством, и есть дворяне, которые надевают дворянский мундир и ездят к губернатору с визитом. Знали мы еще, что все думают, будто есть бог, но умные люди знают, что бога нет, и знали, что внутри земли какая-то расплавленная, горячая масса. Помню, как я сидела в нашем пыльном дворе и копала палочкой землю в полной уверенности, что раскопаю землю и дойду до этой горячей массы. Мне хотелось сделать великое открытие. И помню то напряжение, которое я испытывала, и ту радость, что сделаю открытие, и ту усталость, разочарование, когда ни до чего не удалось докопаться.

Отец чудесно рисовал, но это было только дилетантство, небрежные наброски карандашом. Рисовал он много для нас, детей, и сами мы постоянно рисовали, и отец говорил, что я рисую хорошо и когда буду большой, поступлю в Академию художеств. И я мечтала о том, как буду известной художницей. В пять лет обо всем можно мечтать...

Из бабушкиного дома к нам приходили мои тети: тетя Лида, тетя Анюта и маленькие, еще девочки, Вера и Маня. Еще приходил дедушка. Дедушку мы очень любили. Он приходил утром, когда большие еще спали, и шутил, и играл с нами, а когда мы не хотели пить какие-то наши лекарства, он выпивал их за нас.

Уже много после я узнала из рассказов тети Эмилии о его прошлом. В молодости дедушка, как многие дворяне тогда, был военным. Он увлекался и играл в карты. Однажды товарищи подпоили его, и в один вечер он проиграл сто тысяч. Узнавший об этом проигрыше командир полка позвал дедушку, тогда еще молодого корнета, и запретил ему платить этот долг. Дедушка сейчас же вышел в отставку. Долг выплатил в

две недели, продав несколько своих имений, но, потрясенный этой историей — он был очень религиозен, — решил постричься в монахи.

Предание гласит, что его брат и сестра обрадовались и стали делить его имущество, а он поехал проститься с любимой своей сестрой.

Здесь он встретил мою бабушку — Луизу Францевну, тогда шестнадцатилетнюю красавицу итальянку, жившую в гувернантках. Дед мой влюбился, женился и имел от нее пятнадцать человек детей. Все они были яркие, талантливые, независимые люди, но было что-то трагическое во всех них, было это трагическое и в моем отце...

Когда мне было пять лет, на нашем детском горизонте появилось новое лицо — дядя Алеша. Он приехал из Петербурга, где учился в Александровском лицее — одном из самых аристократических учебных заведений того времени. Дядя мой любил рисовать карикатуры. Не то его из-за этого попросили уйти из лицея, не то он сам ушел... Во всяком случае он свалился к нам как снег на голову среди зимы — высокий, долговязый, лет девятнадцати от роду и бунтарь до мозга костей. В нашу жизнь он внес оживление, разнообразие, молодость, фантазию, и благодаря ему впервые раскрылся передо мной необычайно прекрасный мир русской литературы. С тех пор я навеки полюбила этот мир, и это лучшее в моей жизни.

Дядя Алеша любил читать вслух, он забирал меня и сестру — мне было пять лет, сестре шесть — и читал нам Гоголя, Толстого, Короленко. Гоголя он заставлял нас разыгрывать, для чего мы надевали наши красные теплые штаны для гулянья и изображали Добчинского и Бобчинского. Я — того, который говорит с пришепетыванием, так как шепелявила чуть ли не на все буквы.

Дядя читал нам сказку Толстого о черте и его народные рассказы. Особенно сильное впечатление на меня произвел короленковский «Сон Макара». Долго, конечно, объяснял нам дядя Алеша, что хотел сказать Короленко этим рассказом, почему не виноват Макар, почему простил его бог, и с этих пор я запомнила, что виноват не человек, а среда, и поняла, что есть бедные, несчастные люди и надо делать так, чтобы не было бедных людей.

Любил дядя Алеша и сам сочинять сказки и рисовать к ним иллюстрации, но это были какие-то слишком фантастические сказки, и рисовал дядя Алеша не изящно, как мой отец, а нелепо, плакатно. И если моя сестра еще кое-что понимала, то я уже ничего не понимала в этих странных сказках, где кошка прыгала на луну, а луна ухмылялась.

Очень неуклюжий и несуразный, дядя Алеша был изумительным жонглером. Он подходил к маминому туалетному столику — и одна за другой летели в воздух хрустальные и фарфоровые безделушки, мама вскрикивала, прогоняла дядю Алешу, а он выше и выше подкидывал восхитительные вазочки, блюдца, и мы, дети, торжествовали.

Через несколько времени дядя Алеша поссорился с папой, уехал в Пензенскую губернию и поступил рабочим на какую-то фабрику или завод.

Я помню, как моя мать уже после смерти отца укладывала посылку дяде Алеше, который в самых темных красках описывал ужасающую жизнь на том заводе, где он работал.

О дяде Алеше мы слышали еще раз. Оказалось, что он был у Толстого. Толстой долго с ним беседовал и советовал заняться книгошеством.

Больше никто никогда не слышал о дяде Алеше. Что с ним стало — неизвестно. Исчез — и все тут. Но для меня он остался одним из самых ярких образов моего детства, этот лицеист, ушедший в рабочие.

Моя встреча с Толстым

Толстого я видела только раз в жизни. Это было в 1897 году. Стоит ли писать об этом? Будет ли это сейчас кому-нибудь интересно? Может быть, будет. Я сужу по себе. Ведь каждая мелкая черточка, характеризующая Толстого, мне интересна.

Затем еще в одном я оговорюсь. Нелепо было бы предположить, что человек, пишущий свои воспоминания, может быть вполне объективен. Конечно, нет. Каждый передает то, что он видел, как запомнил. Наше личное восприятие, наши переживания иной раз бывают ярче, чем слова, которые мы когда-то слышали.

Пишущих воспоминания иной раз упрекают, что они слишком много говорят о себе. Я думаю, это упрек неправильный. Чтобы понять образ описываемого, надо представить образ того, кто описывает. Оценка Панаевой Тургенева мне интересна лишь тогда, когда я представляю себе, кто такая сама Панаева.

И вот после всего этого предисловия я расскажу о моей встрече с Толстым. Мне тогда было шестнадцать лет, я училась в московской гимназии.

Толстого-художника я страстно любила, перечитывала много раз. «Детство» и «Отрочество», «Война и мир» — глубочайшие переживания моего отрочества. Я любила Толстого так, как можно любить бога, создавшего свой особый мир. Но я жила в среде революционно настроенной интеллигенции, которая иронически относились к нравственно-религиозным исканиям Толстого.

Сама я считала себя материалисткой, увлекалась Писаревым (кто в шестнадцать лет в нашу эпоху им не увлекался!) и, конечно, ко всякой религии относилась с презрением.

Я долго мечтала увидеть Толстого и вот наконец однажды осенью расхрабрилась и пошла в Хамовнический переулок. Я никогда там больше после этого не бывала, пишу по воспоминаниям тех лет. Я вошла в калитку, дом, по-моему, стоял внутри двора. Парадное было с боку дома, фасада дома я не видела, и сам дом показался мне очень простым, деревянным.

Мы жили тогда на Садовой-Кудринской, рядом с прекрасным особняком, принадлежавшим нашим знакомым, людям очень богатым, и по сравнению с их домом дом Толстого выглядел по-провинциальному простым. Я позвонила. Открыл мне молодой парень, по-видимому, лакей, отнюдь не имевший того вида, какой имели лакеи в доме рядом с нами. У него не было ни бакенбард с тщательно выбритым подбородком, ни черного фрака, просто молодой деревенский парень, который очень сердечно рассказал мне, что Льва Николаевича нет, он еще в Ясной, приедет через две недели, а Софья Андреевна здесь и с ней такие-то и такие-то дети. Он не говорил «барин» и «барыня», называл их по имени и отчеству. Мы разговаривали с ним минут пять, я наслаждалась общением с «лакеем Толстого», и, когда я уходила, он крикнул мне вслед: «Зайдите недели через две, тогда Лев Николаевич здесь будет».

Но как ни хотелось мне увидеть Толстого, набраться храбрости в другой раз и позвонить у хамовнического дома я не могла.

Так тянулось до 31 декабря — кануна Нового года. И когда я подумала, что вот еще год прошел, а я Толстого так и не видела, — стало грустно.

Психология подростка сложна, и поэтому, несмотря на мой рационализм, материализм, увлечение Писаревым, я решила погадать. Нам на святки подарили гадание, и я им увлекалась. Я загадала: «Увижу ли я сегодня Толстого?» Гадание ответило: «Спешу, а то опоздаешь».

День был ясный, солнечный, но мороз трескучий. Я подняла меховой воротник шубки, на самые глаза надела башлык и так, укутанная, спешно пошла по направлению к Хамовническому переулку. Но, очутившись в нем, я стала замедлять шаг, сердце колотилось, и я понимала, что никогда у меня не хватит мужества позвонить у двери Толстого.

Так я топталась взад и вперед по Хамовническому переулку и наконец решила, что, может быть, Толстой на катке (это в семьдесят-то лет!). Его дети, правда, катались на Патриарших прудах рядом с нами, и мои сестры видели их. На всякий случай я пошла все же на каток. Кажется, на Девичье поле. Толстого там, конечно, не было.

Измученная своей нерешительностью, я шла назад по Хамовническому переулку и вдруг увидела — навстречу мне идет высокий широкий старик. в прекрасном пальто без меха и валеной круглой шапке. Рядом с ним бежит черный пудель.

Потом, когда я прочитала Цвейга о Толстом, меня удивили его слова о простонародной наружности Толстого. Если Толстой едет в экипаже, писал Цвейг, нельзя отличить, кто кучер, кто барин. Еще он писал, что человека с наружностью Толстого можно одинаково представить председательствующим за министерским столом или пьяным среди бродяг.

Встречу с Толстым Цвейг тоже описывает очень странно. Его представляешь, говорит он, величественным, с бородой бога-отца, высоким гордым гигантом. Ожидающие его думают увидеть гигантскую фигуру патриарха, и вот открывается дверь и почти бегом входит маленький, приземистый человек.

Такого Толстого, как описывает Цвейг, я не видела. Навстречу мне шел, высоко неся голову, просто одетый, подлинный русский барин — барин с головы до ног. Волнение, которое охватило меня при виде Толстого, было так велико, что я быстро прошла вперед, и только отойдя шагов на десять, остановилась и, терзаемая нерешительностью, начала метаться из стороны в сторону.

Высокий барин с черным пуделем удалялся.

Проходивший мимо татарин-старьевщик поглядел на меня и сказал: — Вот барышня с ума сошла.

А маленький реалист показал на меня своим товарищам:

— Смотрите, она пьяная.

Я подумала: «Если я сейчас не подойду к Толстому, может, никогда в жизни у меня не будет случая увидеть его».

И с чувством человека, бросающегося в пропасть, я побежала за ним.

Поравнявшись с ним, я позвала:

— Лев Николаевич!

Он обернулся, что-то спросил. Я робко сказала:

— Я хотела бы с вами поговорить.

Он внимательно, серьезно посмотрел на меня и спросил:

— Вы кто?

— Никто...— выпалила я.

Он улыбнулся все так же приветливо и спросил:

— А о чем же вы хотели со мной поговорить?

— Ни о чем,— решительно ответила я, чувствуя, что отрезаю себе все пути.

Но Толстой так весело рассмеялся и долго еще смеялся, поглядывая на меня. Тогда неожиданно для самой себя я начала нести какой-то нелепый вздор.

Что вот, мол, наступает Новый год, и я хотела бы говорить с ним о жизни, о том, как жить, и сама я не никто, а гимназистка.

В это время мы повернули с Хамовнического переуллка, проходили мимо стоянки извозчиков, и извозчики при виде Толстого снимали шапки и радостно говорили: «Здравствуйте, Лев Николаевич». И чувствовалось в них то же, что и в лакее Толстых — точно внутренняя гордость, что вот они знакомы с Толстым. Толстой здоровался с ними, но шапки не снимал.

Меня он слушал внимательно и сказал:

— Вы, верно, не читали моих сочинений или только романы.

Я гордо сказала:

— Я все читала,— предполагая пятнадцать томов, которые были у нас.

Толстой продолжал:

— Если вы читали «Войну и мир» или «Анну Каренину», то это жаль, это нехорошие, вредные книги.

Должна сознаться, я была поражена, как громом. Самые прекрасные произведения литературы — и вдруг «вредные книги»!

— Почему они нехорошие? — удивленно спросила я.

— В них рассказывается о том, как живут богатые люди, ездят на балы, а это нехорошо. Вот вы, например, спрашиваете меня, как жить, и говорите, что вы гимназистка. В гимназии учиться нехорошо.

Так как я острой ненавистью ненавидела гимназию, то готова была согласиться с этим. Но все же я спросила:

— Но если не быть в гимназии, то что же делать?

— Да вот,— сказал Толстой,— не учились бы в гимназии — могли бы письмо вашей кухарке написать.

— Письмо кухарке я и теперь могу написать,— возразила я.— Но если бы я не училась, то я писать бы не умела.

Он улыбнулся и сказал:

— Это я неудачный пример привел.

Наш разговор, к сожалению, ежеминутно прерывался молодым пуделем, которому хотелось бегать и резвиться в этот яркий, солнечный день, а не идти чинно за нами. Пудель убежал. Толстой торопился за ним и звал его: «Трильби!.. Трильби!..»

Я бежала за Толстым. В семьдесят лет Толстой бегал легко, в его движениях не было заметно ничего старческого.

До чего меня возмущал этот черный, наполовину остриженный пудель с желтой ленточкой — сказать не могу. Толстой не сердился, ни разу не прикрикнул на него, а всякий раз старался догнать его и убедить идти за нами.

Вероятно, заметив, что меня это раздражает, Толстой, улыбаясь, сказал, что собака к нему всякое уважение потеряла.

Мы шли Новинским бульваром, разговор возобновился. Толстой говорил:

— Что же я вам скажу? Старые истины приходится повторять. Они хоть и стары, да всегда хороши. Нужно стараться больше дать людям и меньше брать у них.

— Что же мне давать, когда я ничего не имею? — спросила я.

— Ну, этому всегда можно чем-нибудь помочь.

Я сказала, что я смогу больше сделать, если у меня будут права.

— Нет, это неверно,— сказал Толстой,— это-то и нехорошо, что все за правами гонятся.

И он почему-то стал предостерегать меня против светских удовольствий.

Я сказала, что опасаться увлечения светскими удовольствиями мне не приходится.

Меня нельзя было заставить идти в гости, я сторонилась людей, живя среди своих книг. Этого я, конечно, не сказала.

— Ну и отлично,— сказал Толстой.

Потом спросил, правда ли у меня возникают вопросы о том, как следует жить. Я заметила, что у большинства людей, по-моему, эти вопросы возникают.

— Ну, это вы ошибаетесь,— сказал Толстой.

Потом он спросил меня, что я думаю делать после гимназии. Я сказала, что мне придется зарабатывать.

— Вот это превосходное условие,— сказал Толстой.— Что же, вы станете учительницей?

— Вероятно, да, так как это мне симпатичнее чего-нибудь другого.

Толстой стал говорить о том, что учительницы много вреда приносят, детей портят, что вообще учение плохо поставлено, «пичкают законом божьим».

Эта фраза со стороны Толстого меня очень удивила, и так как он сказал, что учение портит детей, а школы больше вреда приносят, чем пользы, я спросила:

— И ваша яснополянская тоже?

— Ну, тогда другое время было,— ответил Толстой,— теперь же ее бы не позволили, за этим очень внимательно наблюдают... Главное, что нужно вашей сестре...— продолжал Толстой.

Я с изумлением поглядела на него. «Откуда же он мою сестру Зину знает?» — подумала я и только через минуту сообразила, что под словом «ваша сестра» он понимает женщину вообще. Итак, оказалось, что главное для «нашей сестры» — вопрос замужества.

Он спросил:

— Что, по-вашему, лучше: замуж выйти или девой остаться? Вот вы бы хотели замуж выйти?

Я сказала, что очень бы хотела, что, по-моему, лучше быть замужем, чем старой девой, но что это зависит не от меня, выйду ли я замуж.

Толстой сказал:

— Очень хорошо, что вы так искренно говорите.

— Да, оно, пожалуй, отлично,— сказала я,— но что же делать, если не выйдешь замуж?

Толстой сказал:

— Значит, вы находите, что выйти замуж хорошо, а не сделают вам предложения — и вы останетесь старой девой?

— Да, а что же делать?

Толстой улыбнулся и сказал:

— Другие девушки знают, что делать.— Потом он серьезно прибавил: — Но положение, знаете, унижительное; захотят — возьмут, не захотят — вы останетесь старой девой. Мой идеал, вы знаете, полнейшее целомудрие.

В те годы я довольно плохо понимала, что это значит.

В этот момент Трильби стремительно побежал на бульвар, и мы за ним; я сердито спросила:

— Зачем вы собаку остригли?

— Это не я,— сказал Толстой.— Это вы правы, собак стричь нехорошо. Собаку такую изуродованной моей дочери прислала... (он назвал имя какой-то княгини, и это покорило мой демократический слух),— а дочери дома нет, вот я и повел ее погулять, но вижу, что неудобно с ней ходить, в другой раз не возьму. Да, так что же я говорю?

И он стал снова говорить о целомудрии.

Выходило у него так: каждый человек должен стремиться к целомудрию, не надо хотеть выходить замуж или жениться. Но так как люди не

ангелы, то не все могут быть целомудренны. Но те, кто не вышел замуж, у них положение достойное, а не унижительное, потому что тогда это по принципу.

Все это меня совсем не убедило, и я продолжала настаивать: но почему же выходить замуж плохо?

Толстой никак не мог мне это объяснить. Говорил он тихо, очень внимательно.

На Новинском бульваре нам повстречался какой-то высокий брюнет с окладистой бородой, видимо, интеллигент, но одетый по-крестьянски. Тогда я подумала, что это Чертков, но это был не Чертков. Подошедший обрадованно заговорил с Толстым, но Толстой извинился:

— Извините, сейчас я занят, потом об этом поговорим.

Я была очень благодарна Толстому за это внимание к разговору со мной.

Мы повернули в какой-то переулок направо от Новинского бульвара. И когда я в пятый раз повторила: «Но почему же замуж выходить плохо?» — Толстой вдруг серьезно ответил:

— Потому что это апостол Павел сказал.

Я изумилась. Почти с сожалением поглядела на Толстого.

Молча мы подошли к какому-то дому, у крыльца которого стояла кучка детишек. Вероятно, это были внуки Толстого, и они очень обрадовались ему. Я попрощалась, он пожал мне руку, низко нагнулся и заглянул мне в лицо — на мне был надет башлык, я так обмоталась, что лица почти не было видно.

Много лет после этого, гораздо лучше познакомившись с Толстым-мыслителем, Толстым-толстовцем по его книгам, я стыдилась и мучилась, вспоминая эту встречу с Толстым. От моих знакомых толстовцев я старательно скрывала, что видела Толстого. И только много лет, десятиков лет, спустя, читая воспоминания Горького о Толстом, мне кажется, я нашла ключ к тому, что говорил Толстой. Толстой в гораздо меньшей мере учитель жизни, проповедник своей морали, чем художник-психолог. Встретив человека, он прежде всего рассматривал его, испытывал. Вероятно, и апостола Павла он вспомнил, чтобы поглядеть, что я отвечу на это. Я не ответила.

И все же я рада теперь, что мне удалось хоть раз повидать Толстого.

История одного стихотворения

Как-то летом я жила в имении моей бабушки в Симбирской губернии. Там, в деревне, в тенистой березовой аллее, я читала в журнале «Мир божий» какую-то статью о декадентах и о Брюсове. Очень там высмеивали и декадентов, и Брюсова в частности. И нам, молодежи, читавшей эту статью, было очень смешно. Дерзость Брюсова, его самомнение приводили нас в негодование. Мы признавали только Некрасова и Надсона как идейных писателей, поэзия же Брюсова нас возмущала.

Осенью мы переехали в Москву. Я училась тогда в гимназии, а сестра и жившая у нас кузина — на Коллективных курсах на Поварской.

Тут на нашем горизонте появилось новое лицо. К кузине моей стала ходить курсистка — худенькая, невысокая брюнетка, бедно одетая. Она была года на три-четыре старше нас. Что-то в ней было от Достоевского, что-то больное, оскорбленное и какая-то постоянная экзальтация.

Вместе с моей кузиной она увлекалась лекциями по русской истории Кизеветтера, вместе записывали их, стараясь достигнуть в своей записи стенографической точности. То, что девушка эта — фамилия ее была

Павловская — такое значение придает точной записи лекций, то, что она религиозна, заставило меня первое время скептически относиться к ней, как к человеку отсталому. Девушка эта страстно любила поэзию, читала вслух стихи как-то особенно нараспев (что меня очень сместило) и любила таких поэтов, как Фет и Тютчев, которых мы совсем не знали.

Своей любовью к поэзии она увлекла мою кузину Надю — семнадцатилетнюю девушку, музыкантшу. Забыв все, она лежала в своей маленькой розовой комнате, окруженная сочинениями Бальмонта, Эдгара По, в переводе того же Бальмонта, а затем появились и томики Брюсова. Кузина шептала эти стихи, наслаждаясь ими, как самой прекрасной музыкой.

Я твердо держалась за Писарева, реализм и все разумное и не могла понять стихов Брюсова.

Лист широкий, лист банана,
На журчащей Годавери,
Тихим утром — рано, рано —
Помоги любви и вере...

Тут я ничего не понимала.

Скоро мы узнали от кузины, что не только поэзией увлекается Павловская, но и поэтом, то есть молодым Брюсовым. Она жила в то время в качестве гувернантки в семье Брюсовых. Мы очень жалели тогда Павловскую: такое хрупкое, одухотворенное существо должно служить в семье каких-то богатых купцов. Кажется, она тяготилась этим местом, но почему — я не знаю. О своей любви к Брюсову, брату ее ученицы, тогда еще студенту двадцати с чем-то лет, она рассказывала моей кузине, а мы узнавали лишь кусочки этого романа.

Из всего, что Павловская рассказывала, было ясно, что она любит Брюсова гораздо больше, глубже, серьезнее, чем он ее.

Брюсов нам рисовался каким-то самовлюбленным, фатоватым, немного жестоким.

И вот однажды вечером я услышала, что моя кузина и сестра сочиняют письмо Брюсову. Не принять участия в таком примечательном событии я не могла и поспешила в их комнату.

Это была типичная для того времени комната молодых девушек — с розовыми обоями, маленьким письменным столиком, стереотипным белым туалетом с овальным зеркалом и массой безделушек. Кузина и сестра, семнадцатилетние девушки, с горящими весельем глазами, со спущенными косами, с увлечением писали письмо поэту.

Письмо было резкое, нравоучительное. С особенной радостью я, тогда пятнадцатилетняя девочка, вставила фразу: «Принимая во внимание ваш молодой возраст...» — и следовали поучения.

Письмо было написано, но ведь главное — получить на него ответ, и мы приписали: «Если Вы имеете что-нибудь возразить на это, то потрудитесь ответить по следующему адресу: До востребования, Кудрино, З. Н. С.»

Стали ждать. Было мало вероятно, чтобы поэт ответил на такое резкое, скучно-поучительное письмо. Надя стала ежедневно заходить в Кудринское почтовое отделение — письма не было. Почтовые чиновники уже подсмеивались над ней. Но наконец настал счастливый день: Надя вошла и почтовые чиновники закричали ей:

— Вам есть письмо!

Задыхаясь от радости, она помчалась домой с драгоценным письмом. Помню матовый свет китайского фонарика в нашей маленькой передней и дикий крик радости, который испустила кузина. Выбегают взрос-

лые, выбегает маленькая моя сестра, а мы, комкая письмо, мчимся наверх, в розовую комнату в мезонине. Запираемся. Взрослые и маленькая стучатся к нам. Но мы должны сами прочесть письмо. Открываем конверт: лист чистой бумаги, в нем другой лист и на нем стихотворение. Вот оно:

Есть одно, о чем плачу я горько —
 Это прошлые дни,
 Это дни опьяняющих оргий —
 И безумной любви.
 Есть одно, что мне горестно вспомнить —
 Это прошлые дни,
 Аромат опьяняющих комнат
 И приветы любви.
 Есть одно, что я проклял, что проклял —
 Это прошлые дни,
 Это дни, озаренные в строфах,
 Это строфы мои.

Валерий Брюсов.

В этот день мы были счастливы. Поэт не возражал нам, а соглашался с нами.

На радостях мы разрезали стихотворение на три части и разыграли. Кузине моей повезло, она выиграла последние строки с подписью и конверт.

Вечером мы устроили «пир» — купили лимонаду, пряников, конфет, гили за здоровье Брюсова и торжествовали.

О нашем письме и ответе Брюсова от Павловской мы скрыли.

В то время она уже уехала от Брюсовых и жила недалеко от нас, на Никитской, в маленьком одноэтажном домике. В старых романах люди обычно умирают от любви. Вот и Павловская умирала. У нее очень быстро развивался туберкулез, она была печально настроена и все повторяла, что хочет поскорее умереть, «пока розы не отцвели».

Наступила весна.

Кузина рассказывала нам, как шли они по улице с Павловской и та иступленно кричала:

— Я люблю бога, я люблю Христа, но я говорю ему: Христос, ты не нужен мне, если меня не будет любить Валерий!

Как-то вечером мы зашли к Павловской звать ее к нам на следующий день на блины; она куталась в шаль, ходила по полупустой комнате, вся лучилась счастьем, ждала его и старалась скорее выпроводить нас.

— Он сейчас придет, — радостно говорила она и, угощая нас тянучками, прибавляла: — Ешьте черные, он любит белые...

Мы поспешили уйти, и когда выходили, навстречу нам промчался высокий студент в башлыке. Это был Брюсов.

Какая была Павловская? Она была невысока ростом, худенькая, с черными густыми волосами и большими черными глазами. Руки у нее были странные, какие-то лиловые и точно покрыты чешуей. Мне всегда казалось, что это о ней Брюсов писал:

Фиолетовые руки
 На эмалевой стене...

К большинству молодежи, бывавшей у нас, к студентам она относилась презрительно, и они к ней тоже. Но однажды она встретилась у нас с моим дядей, марксистом Робертом Эдуардовичем Классоном. Казалось бы, ничего общего не было между ним и Павловской, но вот они заговорили об искусстве и проговорили весь вечер. Классон оживился, стал

блестящ, он был прекрасным, ярким, остроумным собеседником и оратором, уступаая в этом лишь своему другу — Красину.

Несколько дней после этого всегда экзальтированная Павловская могла говорить только о Классоне, называя его чудесным. На несколько дней Брюсов был забыт.

С наступающей весной Павловская собралась и уехала в Полтавскую губернию, где жили ее мачеха и сестры. У меня среди старых бумаг сохранилось письмо Павловской, адресованное моей матери. Привожу выдержки из него:

«Вот я и в Олифировке, сижу в классе здешней школы и думаю, как далеко я от всего дорогого, от мучительной Москвы, но так лучше.

Вспоминать и даже говорить о Вас часто, захотелось написать, хоть и представить не могу, когда дойдет это письмо.

Приближается Праздник весенний, радужный, как бы говорящий о счастье (не моем только). Люди еще ближе становятся, и хочется желать им счастья без конца. Вот и Вам, А. А., и всем Вашим мне захотелось послать мой горячий привет, мои искренние пожелания счастья...

На вокзал пришел и Валя (Брюсов), мы до второго звонка сидели все вместе (т. е. я, Валя и те, кто меня провожал), а потом вдвоем с ним, причем он, конечно, не успел сойти и проехал со мной до Люблина. Говорили мы мало, но хорошо было все-таки: он около меня, грустный, озабоченный, ласковый, любящий даже, пожалуй. Валя просил написать ему, когда я приеду, и вот не пришлось: вчера вечером, накануне того дня, у мачехи в Сорочинцах мне уже плохо было; будет беспокоиться, мне это больно... Увидимся ли мы?..

Хорошо здесь, большинство деревьев зеленеет, воздух чистый, теплый, но я не выхожу иначе, как в зимней кофте, и хожу только по двору, когда тянет и на луг, и к реке, да ничего не поделаешь, сил нет...

Поцелуйте от меня Ваших и еще раз пожелайте всего самого лучшего. Вас я не могу не поблагодарить горячо и искренне за то радушие, какое я видела в Вашем доме; у Вас я чувствовала себя, как среди своих. Бесконечное Вам спасибо».

«Розы отцвели», а Павловская не умирала. Летом мы приехали погостить к дяде в Сорочинцы. Его усадьба стояла недалеко от земской больницы. Как только мы приехали, нам сказали, что нас очень ждет Павловская, которая лежит в больнице. В деревенской глуши мы страшно обрадовались Павловской и стали часто бывать у нее. Нади с нами не было, и я особенно сошлась с Павловской. В Москве она меня недолюбливала, и когда я не удерживалась, слушая ее тихую, почти шепотом, декламацию стихов: «Сани мчатся, мчатся в ряд...» — и смеялась, она сердилась и называла меня «глупой маленькой девочкой».

Здесь мы ее встретили иной; тихий ритм больничной жизни, очень внимательный уход за ней всего медицинского персонала, лето, отдых — все это ее успокоило. Свою густую черную косу она остригла, ходила стриженная.

Больница помещалась в маленькой беленькой хате в саду.

Я любила приходить сюда после приема, мы усаживались с ней на крылечко, дышали чудесным воздухом Украины и говорили о литературе. Она прощала мне мой материализм и мое увлечение Вольтером, старинные томы которого я нашла в библиотеке моего прадеда. Я знала, что она должна скоро умереть, что религия — та сказка, которая делает для нее эту смерть легче, и охотно разговаривала с нею о том, кого из писателей она встретит там — после смерти. Я передавала поручения, вопросы, которые нужно задать Достоевскому. О Достоевском мы много говорили, так как очень любили его. О Брюсове она мне не рассказывала, зная мою нелюбовь к его стихам.

О Брюсове она говорила с моей матерью, показывала ей его письма. Брюсов тогда путешествовал за границей, кажется, был в Австрии. Мне отчего-то казалось тогда, что он в Австралии, и туда же я относила и «журчащую Годавери», и какой-то «лист банана».

Лето было чудесное, позднее украинское лето, теплые темные ночи... Павловская любила цветы, больница была окружена цветами, и я ежедневно приносила ей яркий букет из цветников моего дяди, но это все был только фон, фон — и сознание приближающейся смерти; главное же был Брюсов, его письма.

Мы уехали в конце августа, и моя мать написала письмо Брюсову, чтоб он приехал к Павловской перед ее смертью, которая была неминуема.

Уже поздней осенью, когда выпал снег, приехал в Сорочинцы Брюсов. Он провел там несколько дней, они много читали вместе с Павловской и, между прочим, «Слово о полку Игореве».

Белая хата среди снега, вокруг степь, покрытая снегом, умирающая Павловская и чтение «Слова о полку Игореве» — все это казалось мне тогда очень грустным и красивым.

Павловская умерла поздней осенью или в начале зимы 1897 года после отъезда Брюсова.

Много лет спустя, уже после революции, когда я работала под начальством Брюсова в Наркомпросе, я однажды сказала, что хочу напомнить ему один милый поступок его молодости, когда на очень резкое письмо он ответил очень красивым стихотворением. Брюсов стал очень внимателен и попросил меня все рассказать. Я рассказала, как мы писали ему, как ждали ответа, как радовались, получив его, и как устроили «пир»... Брюсов слушал серьезно.

— Какое это было стихотворение? — спросил он.

— Не скажу, — решительно ответила я.

Брюсов начал настаивать, я упорно отказывалась.

Тогда он сказал:

— Оно начиналось: «Есть одно...»

Я подтвердила это и удивилась его замечательной памяти: письмо ему было послано в 1896 году, а разговор наш происходил летом 1918 года.

— Ведь с тех пор прошло уже двадцать два года, — сказала я.

— Если бы это было позже, я бы, может быть, не помнил, но тогда это было начало моей работы, я получал еще мало писем, и это письмо поразило меня.

— Кто, вы думали, вам его написал?

— Я думал, что это кружок молодых поэтов.

— Может быть, нехорошо, что я вам рассказала, кто были ваши корреспонденты?

— Нет, — ответил Брюсов, — всегда интересно знать, как это было на самом деле.

Новые знакомые

В 1899 году я приехала в Лозанну, где жила тогда моя мать с моими сестрами.

Чтение Герцена и Толстого, произведения которых были тогда запрещены в России и с которыми я познакомилась за границей, произвело на меня глубокое впечатление. Я читала запоем — Роберт Оуэн, Добролюбов, Герцен...

Маркса я тогда еще не читала, но прочла несколько книг Энгельса.

Я искала путей. Я жадно стремилась к «праведной» жизни, присматривалась к окружающему и выискивала людей — борцов против существующего строя. Меня интересовала больше всего человеческая личность. Всякий протест против существующего строя, всякие поиски новых путей манили меня. Я глубоко презирала обыващину, мещанство. Это был у меня период Sturm und Drang. Мне было восемнадцать лет...

Стоило при мне назвать человека, борющегося против существующего строя, как я немедленно старалась с ним познакомиться.

Так я познакомилась со стариком Семеном Яковлевичем Жемановым, революционером шестидесятых годов. Жеманов был стар и одинок, ему хотелось кому-то рассказать о прошлом, а я была жадной слушательницей.

Я приходила к нему, садилась в уголок. На стене у него висели портреты, вырезки из газет. Одна стена была стеной «позора», на ней красовались портреты людей, которых он ненавидел, помню, например, портрет Победоносцева. На другой стене была доска «чести». Тут были портреты Бебеля, Либкнехта и других. Читая газеты, он делал из них вырезки. Каждый раз можно было найти новые вырезки в том и другом углу.

Высокий старик с большой бородой, типично русский, волжанин, он напоминал мне наружностью Тургенева.

Еще девочкой, когда мы жили в Швейцарии, я часто встречала его на улице и радовалась, когда видела его, такой он был русский, а я тосковала по России.

Теперь, когда мне уже было восемнадцать лет, я пришла к нему домой. Все вышло так просто и естественно. Он жил чуть ли не тридцать лет в Швейцарии эмигрантом, но душой оставался русским, жил исключительно политическими интересами России.

Он любил говорить. Это были не монологи, а своеобразные диалоги. Он говорил горячо, увлекаясь, доказывая, объясняя. Потом прерывал себя:

— А вы мне скажете...— Он делал глупый вид и писклявым голосом говорил за меня. Потом вновь своим голосом: — А я вам скажу: неправда-с. Глупость и недомыслие. И вот почему...— И так далее, и так далее.

Я следила глазами за ним, внимательно слушала. Было интересно.

В 1926 году, когда я работала в консультационном отделе библиотеки Украинской Академии наук, к нам поступило требование дать материал о Жеманове. С особой любовью и интересом я отнеслась к этой справке о Жеманове, подобрала много литературы.

Другой тоже интересный старик, с которым я познакомилась в то время, был Брошэ — француз, коммунар.

Когда я девочкой жила в Лозанне, мы пользовались книгами в библиотеке, принадлежавшей Брошэ. В этой библиотеке были русские книги. Здесь я брала «Войну и мир» Толстого, Тургенева.

И вот теперь, в мой приезд в Швейцарию, моя мать мне сказала:

— Тебе было бы интересно познакомиться с Брошэ. Он знал Маркса, Энгельса, Бакунина и был во время Коммуны в Париже, сам коммунар.

И хотя в те годы я много читала, но что такое Парижская коммуна, когда она была — не имела ни малейшего понятия. В гимназии у нас этого не проходили.

Я расспросила маму, что такое Коммуна и где живет Брошэ.

Мне стало совершенно ясно: это именно то, что мне нужно — переделать весь общественный строй по-новому.

Я надела шляпу и отправилась к Брошэ. Было лето, вечер. Сидевшая у нас студентка, товарка мѳей сестры, взялась меня проводить.

Брошэ жил над Лозанной, в лесу, держал пансион для мальчиков-иностранцев, приезжавших учиться в Лозанну французскому языку. Лес, в котором он жил, назывался *Sapvablin*.

Мы вышли к вечеру, скоплялись тучи, и когда мы были уже в самом лесу, разразилась гроза. Яркие молнии озарили вдруг окружавшую нас темень, раздавались раскаты грома.

Моя спутница не решалась бросить меня. Мы потеряли дорогу, промокли до костей и начинали бояться, что придется всю ночь провести в лесу. Бродили, плутали, я чувствовала себя неловко перед своей спутницей, которая попала в такое неприятное положение из-за моего желания познакомиться с коммунаром.

Наконец издали мы увидели какие-то огоньки. Мы решили, что это, верно, и есть дом, где живет месье Брошэ, и, подойдя на несколько шагов, начали вызывать его.

Гроза уже затихла. Через несколько минут, услышав наши крики, с лампой в руках, в сопровождении большой собаки и мальчика-ученика выбежал на балкон месье Брошэ.

Убедившись, что это он, мы подошли к нему, извинились за поздний час, объяснили цель нашего прихода: хотели, чтоб он нам рассказал о Парижской коммуне и коммунарах.

Он давал урок одному из своих учеников. Но сейчас же отослал этого мальчика. Было уже одиннадцать часов вечера.

Брошэ вытащил свои альбомы, начал показывать нам фотографии коммунаров и рассказывать о них. К сожалению, он говорил обо всем так, как будто эти факты и лица всем известны. Сказать ему, что только в этот вечер я впервые услышала о Коммуне, я, конечно, не могла. Поглядев на портреты Луизы Мишель и других коммунаров, я стала его расспрашивать о Бакуanine, которым тогда очень интересовалась.

Мы ушли около часу ночи. Брошэ нас провожал, чтобы вывести на дорогу.

Мы извинились, что помешали его уроку. Он весело ответил:

— Гораздо интереснее рассказывать о Коммуне, чем давать урок этому молодому человеку.

Через полгода после этого я видела живую Луизу Мишель на митинге в Лондоне и все рождественские каникулы читала «Историю Коммуны».

Хочу рассказать и еще об одном лозаннском знакомстве, но для этого мне надо на некоторое время вернуться обратно в детство.

Как я уже писала, впервые я узнала о Короленко, когда дядя Алеша прочел и растолковал мне «Сон Макара».

Потом, в девять-десять лет, мне читали «В дурном обществе» и «Слепой музыкант», но это уже не так затронуло меня.

И наконец в шестом классе гимназии, когда мне было пятнадцать лет, мне подарили две книжки рассказов Короленко. Я читала их, увлекалась, восхищалась, не могла удержаться, и во время скучных уроков я и моя соседка держали под партой томики Короленко, зачитывались рассказами «Лес шумит», «Река играет».

Я уже говорила о том, что у нас жила тогда моя кузина Надя — девушка экспансивная, увлекающаяся. И когда мы собрались ехать в деревню, Надя решила — летом надо устроить чтение для крестьян.

Идея эта нам показалась блестящей, мы с сестрой ухватились за нее. Но что читать? Как читать?

Я решила спокойно: Короленко много имел дела с народом, я ему напишу, и он посоветует. Сестра и кузина возмутились моей наглостью.

— Ты напишешь Короленко? Ты только хвастаешь.

Сестра предложила пари, что я никогда не напишу. Пари держали на шоколадные бомбы — были тогда такие конфеты.

— Но как это ты напишешь, ты даже не знаешь его адреса, — говорила кузина.

Я всегда была склонна думать, что объективные условия не должны служить помехой, было бы желание, и ответила:

— Пошлю на адрес «Русского богатства».

И письмо пошло с таким фантастическим адресом: Нижний Новгород. Редакция «Русского богатства». В. Г. Короленко.

Боюсь также, что письмо было очень безграмотно, ибо, получив воспитание за границей, русской грамотой я тогда не очень-то владела.

Мы уехали в деревню Бугурну, в имение бабушки Луизы Францевны, самой бабушки уже не было в живых.

Жизнь в Бугурне была не очень приятной: наши тетки нас почему-то невзлюбили. Мы приехали из Швейцарии полные наших заграничных впечатлений, рассказов о прогулках в горах, о нашей школе, о новом для нас мире знакомых революционеров, мы были веселы, по тогдашним русским понятиям не воспитаны, пожимали руки горничным и кухаркам, как с равными, говорили с кучерами. И тетки страшно оскорблялись. Мы не знали, куда уйти от этого мира кислой обиды.

Ни о каких чтениях для народа и речи быть не могло. Однажды мы решили пойти пешком в соседнюю деревню — мы привыкли в Швейцарии ходить пешком. Для теток это было невероятное событие — дело в том, что на прогулку собрались не только мы сами, но и подбили на нее кузин. После трагических объяснений согласие было дано, но следом за нами ехала телега с прислугой и теплыми вещами — и это в июле месяца!

Какие уж тут чтения для народа!

Увы, мы бродили по большому саду — двенадцать десятин — и читали сами.

В это время, в июле, пришло письмо от Короленко. Оно было получено в Симбирске, моя тетка его вскрыла и, передавая моей матери, иронически заметила:

— Ваша Сонечка уже переписывается с писателями, ей письмо от Короленко.

Письмо, конечно, сперва обошло всех моих тетушек и наконец дошло до меня.

Теперь, перечитывая это письмо, я нахожу его очень милым, деликатным и по-короленковски добросовестным, но тогда оно меня почему-то огорчило. Переписываю его.

«Владимир Галактионович
Короленко.
Бассейная улица, 10.
2-го июля 1896.

Редакция журнала
«Русское богатство»
С.-Петербург. Бассейная, 10.

Милостивая государыня
София Николаевна.

Письмо Ваше от 6-го мая, посланное в Нижний Новгород, переслано мне в Петербург, где меня не застало, вот почему отвечаю Вам так поздно.

К сожалению, не могу дать Вам сколько-нибудь точных указаний по вопросу, Вас интересующему, но Вы легко можете получить их прежде всего из книги Алчевской «Что читать народу» (2 тома, вероятно, есть в Симбирской библиотеке). Затем, думаю, Вам не откажется помочь

советом Александра Михайловна Калмыкова, которой можно написать по адресу: С.-П-бург, Книжный склад, А. М. Калмыковой. Очень жалею, что ответ этот является столь запоздалым. Если письмо попадет Вам уже в деревне — то пока Вы получите более точные указания, могу посоветовать читать то, что есть лучшего в нашей литературе из Пушкина, Лермонтова (например, «О купце Калашникове», нравится всем), Гоголя (есть даже специальные издания для нар. чтения), Тургенева и т. д.

Затем желаю всего хорошего.

С совершенным уважением

В. Короленко».

С живым Короленко мне пришлось встретиться много позже, должно быть, в 1909 году, когда мы проводили лето в Хатках, где у Короленко была своя дача, но и здесь я его видела очень мало и сама с ним никогда не говорила...

А теперь я вернусь опять в Лозанну и расскажу еще об одной встрече, об одном эпизоде, который, казалось бы, никакого отношения к Короленко не имел, но, как выяснилось потом, тесно с ним связан.

У нас была квартира из шести светлых комнат, где было не очень тесно. Двери нашего дома никогда не запирались, приходили какие-то знакомые и малознакомые люди, располагались у нас, иногда ночевали, иногда приходили обедать, ужинать.

Я люблю статистику и насчитала сорок человек, живших и ночевавших у нас, некоторые жили по месяцу, по две, по три недели.

Бывало, нас вызывают снизу, мы выходим на балкон, и нам кричат: — К вам идут ночевать двое!

Мы будим сестру, у нее была хорошая, большая комната, выходящая в сад, и она со своими постельными вещами перебирается в комнату моей матери и спит на полу, на ковре, а мама хлопочет, чтобы поместить в ее комнате каких-то людей.

Среди этих наших званых и незваных гостей бывали милые, интересные люди, но бывали и пренеприятные, заявлявшие нам претензии, например, что у нас шумно.

Мы так привыкли к этим чужим людям, живущим у нас, что ничуть не удивились, когда весной 1906 года зашел кто-то из знакомых и сказал моей матери, что нужно, чтобы мы сейчас же поехали и привезли от него какого-то человека, которого надо скрыть от швейцарской полиции. Он будет жить у нас, но об этом никто не должен знать.

Послали за ним меня.

Человек, который должен был жить у нас, показался мне черным и очень мрачным. Никакой склонности к общению он не проявлял, а шел в десяти шагах от меня, как моя тень.

Я облегченно вздохнула, когда наконец ввела его в нашу маленькую красную гостиную и зажгла электрический свет. В этом свете, который показался мне чрезвычайно ярким, сразу стало видно, какая тоска на лице пришельца.

Вошла моя мать, сказала несколько приветливых слов и вышла, немного испуганная.

Гость жил у нас недели две-три, и уже не помню, каким выдуманым именем мы его называли. Домашние очень скоро к нему привязались, особенно моя мать.

Был он очень тихим, мягким и молчаливым человеком. Я почти все дни проводила в университете, сестра в клинике, и мы его мало видели. Жил он в моей комнате — это была чудесная комната с башней, с пятью окнами, из которых одни выходили в прозрачный, тихий парк, а другие —

на озеро с синеющими за ним в дымке горами. В башенке стоял только стол с микроскопом, а в большой комнате — стол, заваленный книгами и газетами. Так как наш гость обосновался в моей комнате, то доступ в нее посторонним лицам, заходившим к нам, был закрыт. Сюда теперь допускались только избранные.

Наш новый гость был очень мрачно настроен, угнетен и явно томился. Ни книги, ни газеты — ничто не могло его развеселить.

Моя мать узнала, что он музыкант, мы достали ему скрипку, но как-то унылы были звуки скрипки, доносившиеся из моей башенки.

Однажды он спросил, не могли бы мы зайти к одной девушке и сказать, что он живет у нас. И вот каждый день к нам стала заходить тоненькая невысокая девушка, еврейка, с золотыми, как медь, мягко вьющимися волосами. Он объяснил нам, что это его невеста, он любит ее, но не хочет на ней жениться, так как он не знает, что ждет его впереди, и не хочет связывать жизнь этой молоденькой девушки со своей. На этой почве у них происходили столкновения.

Однажды зашел разговор о терроре. Я была против террора, всех этих покушений, которые, на мой взгляд, ни к каким определенным результатам не приводили, а лишь восстанавливали часть населения против революционеров.

Обычно молчаливый, наш гость тут очень вдруг взволновался. А потом сказал:

— Знаете ли, вам бы следовало познакомиться с Короленко. Он вам бы очень понравился. И дочка у него Соня очень хорошая.

Я тогда не поняла, при чем тут Короленко.

Через несколько дней к нам зашел наш прежний знакомый, от которого я привела нашего гостя, и начал нас бранить. Вся, мол, русская лозаннская колония знает, что у нас скрывается какой-то человек, и раз нам было велено скрывать, что он у нас, как могли мы сказать об этом его невесте. Кто позволил нам сообщать ей, что он здесь? Мы оправдывались тем, что он тосковал.

Решено было, что наш гость сейчас же переедет в Париж.

Ему принесли новый костюм, пальто, шляпу, чтобы он сам на себя не походил, и вечером — что было совсем не конспиративно — мы все пошли его провожать на вокзал. Моя мать плакала. Она узнала, что юноша этот был тот самый Кириллов, который убил советника Филонова.

В 1905 году после манифеста о свободах, данного царем, начались волнения в деревнях и, между прочим, в местечке Сорочинцы. Кончилось это дело убийством местного помощника исправника Барабаша. Безжалостным расстрелом казаками крестьян Сорочинец и невиданной по своей жестокости карательной экспедицией статского советника Филонова.

Возмущенный этим, В. Г. Короленко написал в газете «Полтавщина» 12 января 1906 года «Открытое письмо статскому советнику Филонову». Другие газеты перепечатали это удивительное по силе негодования письмо Короленко, и зверства Филонова стали известны всей России.

На нашего лозаннского гостя — Дмитрия Львовича Кириллова, сына полтавского священника, письмо Короленко произвело очень сильное впечатление. «Ему это казалось, — пишет про Кириллова Плюскин в своих живо написанных воспоминаниях о Короленко, — нарушением мирового равновесия, ему казалось, что для восстановления его совершенно необходимо уничтожить Филонова».

И почти без всякой подготовки, без помощников он выследил Филонова и убил.

Убийство Филонова произвело громадное впечатление на Полтавщине. Но сам Короленко был этим огорчен. На другой день после убий-

ства в письме к Н. Ф. Анненскому он писал: «Вы, вероятно, знаете уже из газет, что вчера в одиннадцать часов дня на людной улице убит наповал статский советник Филонов, которому я адресовал «открытое письмо». Я этого опасался, это носилось в воздухе... Вы поймете и мое настроение, и мое положение: выходит, что из моей статьи господя террористы сделали только свой обвинительный акт. Теперь я должен был приняться за других Филоновых, подражателей его примеру. Конечно,— я этого уже не сделаю...»

Очень скоро на Полтавщине начались обыски и аресты. Кириллов в это время был уже за границей. И тут произошла странная, чудовищная провокация, на которую мог поддаться только такой человек «не от мира сего», как Кириллов. В газетах появилось сообщение, что убийца Филонова арестован и предается военно-полевому суду.

Этого Кириллов перенести не мог. После короткого колебания он кинулся в Россию и на первом же пограничном пункте отдался в руки полиции, заявив, что убийца Филонова — он.

Этот факт, ярко характеризующий необычайную нравственную высоту и чистоту личности Кириллова, произвел впечатление на суд. Вместо смертной казни его приговорили к бессрочной каторге.

И на каторге Кириллов чрезвычайно нравился всем, кто приходил с ним в соприкосновение. Среднего роста, смуглый, с быстрыми, живыми движениями и удивительно яркими, выразительными глазами, он беспечно позвякивал кандалами, звонко смеялся, шутил с надзирателями. Он писал стихи, и только в них одних звучала отчаянная, смертельная тоска по потерянной воле. По вечерам, когда все стихало в тюрьме, слышался снизу, из его камеры, неумолчный, заглушенный толстыми стенами звон кандалов и надрывный тяжелый кашель. У Кириллова быстро развивался туберкулез.

В тюрьме Кириллов так тосковал по воле, что ему решили устроить побег. Он бежал, но вместо того, чтобы бежать одному, взял с собой еще двух заключенных. Всем им трудно было скрыться, побег был обнаружен. Кириллов был вновь арестован и переведен в Ярославский каторжный централ, где через месяц умер.

В двадцатых годах, уже после революции, мне пришлось встретиться с человеком, сидевшим вместе с Кирилловым в Миргородской тюрьме. У него сохранилась тетрадь стихотворений Кириллова. По моей просьбе он передал ее Бонч-Бруевичу.

Однажды моя мать сказала мне, что меня очень хочет видеть одна наша старая знакомая, англичанка миссис Уард.

Мы знали ее с детства. Она жила в России когда-то, знала русский язык. У нее было двое детей и совершенно безмолвный муж. Добродетельная, сухая и религиозная дама.

Меня она особенно любила поучать, говорила, что я читаю книги не по возрасту. Она как-то застала меня за чтением Вальтера Скотта; мне было тогда тринадцать лет. С тех пор, как только она приходила к нам, я прятала свои книги и пряталась сама куда-нибудь подальше.

На этот раз моя мать сказала, что миссис Уард заинтересовалась моим посещением Толстого, она сама очень интересуется толстовством и просила зайти к ней в такой-то день, в пять часов, на вечерний чай, когда обыкновенно в Швейцарии и Германии принимают гостей. У нее должен был в этот день быть известный толстовец Бирюков.

Ради знакомства с Бирюковым я пошла. Я застала всех на балконе за чайным столом. Дом, в котором жила миссис Уард, стоял среди сада и напоминал наши помещичьи усадьбы.

Бирюков уже сидел за столом. На этот раз миссис Уард не читала мне морали. Я уже была большая.

Она познакомила меня с Бирюковым и сейчас же стала рассказывать ему о моем разговоре с Толстым.

Рассказ ее сильно уклонялся от того, что было на самом деле, но был красивее и интереснее. Черный пудель Трильби превратился в большую ньюфаундлендскую собаку. Я слушала с интересом, думая: как создаются легенды!

Бирюкова больше расспрашивала я. Он мне очень понравился, казался искренним, идейным. Он спорил с миссис Уард, что тюрьмы не нужны. Я разделяла его мнение.

Узнав, что я еду в Англию, он стал уговаривать меня непременно познакомиться с Чертковым.

— Там вы увидите настоящую толстовскую колонию, — говорил он.

Он дал мне адрес Черткова, долго объяснял, как к нему проехать, уверял, что Чертков очень рад будет моему приезду. Я, естественно, стеснялась ехать к незнакомому человеку.

Мы вышли с Бирюковым от миссис Уард, он провожал меня до дому.

Я была всегда романтиком, и в этот чудесный вечер, когда так светло и радостно было на душе, Бирюков казался мне простым, хорошим.

Я думала: «Вот человек, бывший морской офицер, который порвал со своим прошлым, со своей средой, в которой он жил, и живет согласно своим убеждениям».

Я радовалась, что увижу в Англии целую колонию таких прекрасных, идейных новых людей.

Бирюкова я никогда больше не встречала.

У Черткова

1900 год. Май. Я еду в Англию, чтобы научиться английскому языку. Для этого я решила поступить в английскую школу-пансион и жить там на правах полуучительницы-полуученицы. Я должна была преподавать в младших классах французский язык, а сама тем временем учиться английскому. В Лондоне меня встретила мой верный друг Лина. Лина работала в том же пансионе, куда должна была поступить я.

Меня удивили мягкие и комфортабельные вагоны третьего класса в Англии — мне все казалось, что я села не туда, куда надо. Удивило еще очень, что багаж сдавали без квитанции.

Но вот наконец Лондон.

Какие-то серые здания в легкой дымке — немного жутко мне в этом большом чужом городе, в стране, языка которой я не знаю.

Пугает меня немного и мое новое положение учительницы в пансионе для девиц.

Но счастье! Тут моя подруга швейцарка Лина, бодрая и веселая, как всегда, и мне не так страшно.

Мы берем кэб — двухколесный экипаж, запряженный одной лошастью, — кучер сидит сзади, на высоких козлах над нами.

Такие легкие и оригинальные экипажи я видела только в Англии.

Лина непрерывно говорит, она хочет мне показать, как она освоилась уже с Лондоном, как овладела английским языком.

— Видишь, — говорит она, — это здание — парламент.

Я гляжу и плохо воспринимаю красоту кружевного здания на берегу Темзы.

— Теперь мы едем мимо Гайд-парка, а вот сейчас Кенсингтон-парк, тут уж близко. Мы живем в очень хорошей части Лондона. Ну, вот мы сейчас и приедем, — говорит Лина.

Наш кучер свистит.

Из-за угла выбегает человек в черном, в старом цилиндре на голове и потрепанном черном пальто и бежит за нашим экипажем.

— Этот человек внесет твои вещи,— объясняет Лина,— тут нет ни дворников, ни швейцаров.

Кембридж Гарденс — типичная лондонская улица. Ряд совершенно одинаковых небольших узких и высоких домов. Все на одно лицо. Если бы не было номеров, их не отличишь один от другого. Перед домом что-то вроде палисадника. Один из этих домов — мой пансион.

Мы вылезаем из нашего кэба. Оборванец в цилиндре снимает мои вещи. Лина стучит молоточком в дверь дома — звонков почему-то в Лондоне не было.

Маленькая рыженькая девочка лет двенадцати открывает нам, и мы входим...

В этом пансионе я прожила около года, училась сама, учила малышей, узнала быт, жизнь Англии и встретила много новых людей.

Через некоторое время по приезде в Лондон я написала Черткову. Он ответил сдержанно и не очень любезно.

А потом я вдруг получила сразу письмо спешной почтой и телеграмму. Чертков назначал день для моего приезда и спрашивал, надо ли выслать за мной коляску на вокзал.

От коляски я, конечно, отказалась и написала, что приеду с подружкой-швейцаркой.

Был июнь. Английские деревни ярко-зеленые. Лина, как всегда, облегчила мне все трудности переезда.

В Purleigh на вокзале нас ждал молодой белокурый человек, латыш, звали его Пунга. Он приехал встретить нас на велосипеде.

Помню свежее лето, зелень, идем пешком. Пунга ведет свой велосипед. Говорим все трое по-немецки: по-русски моя подруга не понимает, по-французски — Пунга, по-английски — я.

И вдруг Пунга сообщает, что Чертков уехал.

— То есть как уехал? Ведь он же прислал мне спешное письмо и телеграмму, что я могу сегодня приехать?

Пунга несколько смущен.

— Да, но ему надо было уехать в Лондон. Он вернется сегодня или завтра вечером.

— Но ведь мы приехали на один день!

Я была изумлена.

Подходим к их дому в Purleigh. Дом некрасивый, обыкновенный, в два этажа.

Нас вводят в кухню — большую, с длинным столом посередине. Все едят на кухне, как у крестьян. Толстовство... У плиты возятся русские крестьяне — Аннушка и Мокей. Еще много каких-то людей. Не все толстовцы. Пунга — латышский социал-демократ.

Мне предлагают пройти к жене Черткова. Она больна и всегда лежит. По каким-то проходам и деревянной лестнице я поднимаюсь наверх.

Потом я узнала, что с Чертковой Ярошенко писал свою картину «Курсистка». На этой картине она очаровательна. Вероятно, такой она была в молодости.

Но когда я с ней познакомилась в июне 1900 года, картины Ярошенко я не видела, и очаровательной она мне совсем не показалась.

Комната, в которой она лежала, была небольшая, с низким потолком, в ней почти отсутствовала мебель, на стенах — ни одной картины, никакого уюта, какая-то надуманная простота. •

Мадам Черткова лежала в кровати, взгляд у нее тусклый, недоброжелательный, сама бледная.

Как-то бесцеремонно она осматривает меня. Я сажусь на деревянный стул против кровати.

Черткова начинает сразу мне допрос. Кто я? Что я? Зачем приехала в Англию? Где живу? Сколько плачу за пансион? Почему так мало? Объясняю.

Кто мои родители? Чем занимаются? Кто был мой отец? Помещик? А сколько у него было десятин?

На этот последний вопрос я ответить не могу — не знаю.

По мере продолжения допроса мне делается все противнее и противнее.

Ясно, эта дама хочет выяснить, к «какому кругу» я принадлежу. Я сижу согнувшись на деревянном стуле, она холодно глядит на меня.

Потом она начинает спрашивать: интересуюсь ли я толстовством? Почему?

Мне не хочется объяснять. Я замыкаюсь.

Она спрашивает, читала ли я «Анну Каренину».

Отвечаю: да.

Впоследствии она рассказывала про меня, что я человек совершенно поверхностный: она спрашивала меня о моем впечатлении от «Анны Карениной», и я ничего ей сказать не могла.

Об Анне Константиновне Чертковой я слышала потом от людей, знавших ее ближе, чем я, как о человеке сухом, расчетливом, даже несколько эксплуататорски относившемся к окружающим людям. С негодованием говорил мне о ней старый толстовец Бодянский.

Черткова сейчас же предложила мне на эти два дня, которые я могла провести в Purleigh, взять комнату с пансионом в домике одной англичанки, что я и поспешила сделать.

Мы провели весь день в Purleigh. Чертков не приезжал. Мы гуляли среди лугов; из вежливости Пунга сопровождал нас.

В конце следующего дня приехал Чертков.

В Лондоне он был у Кропоткина. Они встретили там испанских анархистов, только что выпущенных из испанской тюрьмы, где их подвергали пыткам. Помню рассказы о том, что у них срывали ногти.

Чертков ездил не один, а в сопровождении своих домочадцев. Он был в нервном настроении и один ехать не мог.

Мы познакомились.

Это был высокий, широкий человек, лет сорока с чем-то, с выпуклыми серыми, холодными глазами, нос с горбинкой.

Что-то в нем напоминало мне изображение Иоанна Грозного.

Одет он был странно — куртка из верблюжьей шерсти, с какой-то кожаной сумкой через плечо.

Говорил неприветливо, высокомерно и даже не извинился, что, вызвав меня, уехал.

Вечером мы ужинали за длинным столом в кухне Чертковых.

Чертков молчал. Он заявил, что у него нет желания говорить. Вот есть такая английская секта — соберутся и молчат, пока дух святой не сойдет на них. Зачем зря говорить?

Все присутствующие знали, что я приехала специально, чтобы познакомиться с Чертковым, услышать от него о толстовстве, что вот уже второй день я жду его, и, по-видимому, тоже удивлялись его странной манере держать себя.

С Чертковым приехал «студент», так мысленно я определила его. Высокий, неуклюжий, сутулый, с слишком длинными, как у дьячка, волосами, с маленькими, косо поставленными по-калмыцки глазами, ко-

торые добро смотрели сквозь пенсне, с большим носом, жиденькой бородкой. Типичный русский интеллигент. Одет он был очень бедно, в некогда голубой, а теперь желто-зеленой косоворотке навыпуск.

Чертков нас познакомил.

— Вот человек, который прочел все три тома «Капитала» Маркса,— сказал он.

Студент что-то сконфуженно стал говорить: он, видимо, очень смущался — некрасивый, неуклюжий, но удивительно мягкий. Мне он понравился. Понравилось и то, что он прочел три тома Маркса: я любила людей, которые много читают, и притом серьезные книги.

Во время ужина Чертков сказал кому-то что-то резкое. Студент поднял на него глаза и с укором:

— Владимир Григорьевич!

Чертков смущенно взглянул на него.

Слышен был только стук ножей и вилок о тарелки. Молчали.

Пунга, желая вовлечь Черткова в разговор, сказал, что вот мы сегодня много гуляли с ним и много говорили и что я разделяю вполне взгляды Черткова на демонстрации.

Видя, что Пунга делает попытку вовлечь Черткова в разговор и расположить ко мне, я улыбнулась.

Чертков холодно взглянул на меня и спросил с презрением:

— Что же, очень веселые или смешные разговоры были?

Я удивилась:

— Почему смешные?

Чертков:

— Раз они и теперь вызывают какие-то улыбки и хихиканье.

Все смолкли.

Моя подруга Лина, не понимавшая ни слова по-русски, переводила свои большие близорукие глаза с одного на другого, не понимая, что тут происходит.

После ужина Чертков перешел в гостиную, лег во всю длину на диван, а некрасивый студент сел к роялю, предварительно поставив лампу и поправив абажур так, чтоб свет не мешал Черткову.

Студент извинился:

— Может быть, вам неинтересно слушать музыку?

Мы поспешили сказать, что с удовольствием послушаем. В комнату вошел Мокей с подносом, на котором стоял стакан чая для Черткова.

Я подумала: «Почему, если они толстовцы и все равны, Чертков лежит на диване, а Мокей подносит ему на подносе чай, а не наоборот? И есть ли хоть проблеск любви к ближнему, о которой так любит писать Толстой, во всей манере Черткова держать себя?»

Еще до ужина я стояла в коридорчике, возле кухни, обдумывая, в чем жизнь этих толстовцев и что же мне дальше делать.

Мимо проходил Чертков. Остановился и сказал:

— Говорила тебе я, ты не ешь грибов, Илья, не послушал и покушал — вот теперь беда твоя.

Я спросила:

— Что это значит?

Он ответил:

— То и значит! — И прошел мимо.

То, что я ждала увидеть в Черткове человека какой-то праведной жизни и видела вместо этого неприятного, глумящегося надо мной барина, настолько поразило меня, что, когда Чертков вышел, я расплакалась. В это время пришли звать меня к Чертковой.

Я поднялась к ней, слезы катились из глаз. Носовой платок забыла дома.

Мадам Черткова с любопытством глядела на меня. Потом сказала: — Возьмите там в комодке носовой платок.

Я взяла желтый бумажный платок с красной каймой. Думается мне, что и этот грубый платок, как и излишняя простота обстановки, обед на кухне, разорванный локоть на куртке Черткова — все это была поза, показывающая их опрошение.

Черткова сказала мне с некоторым сочувствием:

— Я понимаю вас, я так же расплакалась, когда поехала на мой первый бал.

Я не возражала, но это сравнение мне показалось юмористичным. Я плакала от разочарования в Черткове, в котором думала найти «настоящего человека», а о чем плакала она на балу?

Итак, вечером мы сидели с Линой у стены, она с наслаждением слушала, как играл студент, а я не слушала музыки, я думала: что же дальше? С каким чувством я уеду от Черткова и какое впечатление увезу о нем?

И я решила: нет, я еще останусь и погляжу, что дальше.

Лина должна была ехать обратно в Лондон. Чертков встал, потянулся и заявил, что идет спать.

Чертков прекрасно говорил по-французски, но ни разу ни одного слова не сказал моей подруге, хотя, мне кажется, этого требовала самая элементарная вежливость. Все же мы были у него в гостях.

Я сказала ему, что так как он не хотел сегодня говорить, а я хотела познакомиться с толстовством, то я не уеду, а останусь еще на несколько дней. Жила я в прелестном коттедже у старушки миссис Коллинс.

Чертков ответил, что в таком случае он завтра принесет мне работу, потому что все должны работать. Ему надо переписать статью, а у меня хороший почерк. Я обрадовалась, что могла быть полезной, и мы уговорились, что я буду приходить к Чертковым к ужину.

На следующий день миссис Коллинс с подобострастием сообщила, что пришел «сам Чертков». Чертковы были очень богаты, и это импонировало всем вокруг. Чертков оставил мне статью, и я начала переписывать.

Вечером я направилась к Чертковым. Помню, был довольно свежий летний вечер. По дороге я встретила студента в желто-зеленой рубашке, он шел куда-то без шапки и явно обрадовался, увидев меня (потом он признался, что шел не куда-то, а надеясь встретить меня). Он повернул, и мы пошли вместе. Он стал рассказывать о том, как они были с Чертковым у Кропоткина, как Кропоткин сейчас же рассердился, узнав, что он социал-демократ, и начал резко нападать на Маркса. От Кропоткина мы перешли к разговору об анархизме, свободе личности и прочее.

Так мы дошли до дома Черткова и сели у стола на кухне, продолжая наш разговор. В это время вошел Чертков, присел на ступеньки, которые вели из коридорчика в кухню, и вмешался в разговор. Начался спор.

Мы сели за ужин, но спор между мной и Чертковым не смолкал. О чем мы спорили? Чертков не столько излагал мне свои толстовские идеи, сколько нападал на меня, осуждал, издевался.

Вокруг нас сидели все его домочадцы, они радостно смеялись на все его — часто грубые — шутки.

Все они почтительно слушали его. Он издевался над тем, что я училась в Лейпциге философии. Кому нужна эта философия? Важен физический труд, важен вот этот суп, который может приготовить простая баба, и, конечно, труд всякой простой бабы важнее всяких философских систем.

Книг не надо, науки не надо, простой физический труд — и больше ничего.

— Но у вас же издательство,— говорила я.— Вы сами издаете книги Толстого. Зачем вы это делаете, если книг не надо?

— Ну что же, я непоследователен,— отвечал Чертков и вновь обрушился на меня.

Не столько возмущали меня слова Черткова, сколько тон какого-то глумления, которым он говорил со мной.

Ужин давно уже был окончен, а публика не расходилась, слушая наш спор.

Я чувствовала себя одной в этой чужой среде, чужой стране, я храбро спорила, но после какой-то особенно грубой фразы Черткова вдруг разрыдалась.

Все перепугались. Мне дали стакан воды, я выпила, мне подсунили стакан молока.

Я вскочила, подошла к Черткову и сказала ему:

— Я приехала сюда, думая найти в вас образцового толстовца, христианина, полного любви к ближнему, и вместо этого вижу лишь надменного барина, который позволяет себе глумиться над другим человеком.

Я вновь разрыдалась и выбежала, чтоб уйти к себе.

Когда меня охватил свежий воздух вечера, я услышала мягкий голос:

— Софья Николаевна!

Это выбежал за мной студент.

Он пошел со мной, что-то горячо мне говорил, возмущался Чертковым, и оттого, что я так напряжена была этими тремя днями у Черткова, как-то особенно радостно было участие этого незнакомого мне человека.

Он спрашивал меня почти с тревогой:

— Скажите, вы правда такая хорошая?

И я совершенно искренне говорила:

— Да, правда.

Мы подошли к коттеджу миссис Коллинс, он попросил:

— Пройдемте еще, вы лучше успокойтесь.

Мы пошли дальше через луга, куда-то в лес. И опять говорили о жизни, о подвиге, о революции.

«Студент» этот был Сергей Васильевич Андропов, тогда он бежал из России и жил как эмигрант в Англии под фамилией Альбин. Ему было двадцать семь лет. В России он сидел в тюрьме за принадлежность к социал-демократической партии (со II съезда он стал большевиком) и за организацию стачки. Когда его выпустили — бежал, перешел границу и вот живет теперь в Англии. Ему хотелось бы жить в Лондоне, но нет средств. Все свои деньги он перевел на имя своей сестры. Зачем ему деньги, раз он революционер? Когда он жил в Одессе, то так нуждался, что жил в углу, снять койку он не мог, на это не было денег, и он снимал только стул и ночью дремал на этом стуле.

С этого дня мы были связаны с ним долгие годы — лет пятнадцать.

Было в нем очень много экзальтации, аскетизма. Меня это влекло, тем более что и его отношение ко мне часто было восторженное.

Правда, мы много ссорились, спорили, сходились, расходились без конца, долгие годы не виделись — годы его тюрем, ссылки, революционной борьбы. Потом он вновь появлялся на моем горизонте — убежав из ссылки, приезжал опять в Петербург, где его знал каждый шпион. Потом опять тюрьмы, ссылки, крепость, приговор на двадцать лет с лишением всех прав.

И когда кончились тюрьмы, ссылки, борьба и будни ворвались в наши отношения, ушла романтика, и мы разошлись. Так было лучше.

Но в эту холодную июньскую ночь в Англии, в Purleigh, наша дружба только зарождалась.

В два часа ночи я вернулась к бедной, испуганной миссис Коллинс. За час до этого к ней зашел Чертков и просил передать мне письмо — громадный конверт. В ту ночь я долго не могла заснуть. В письме Чертков просил у меня прощения, письмо было длинное и размазанное. Жаль, что оно не сохранилось.

Утром я встала и засела за переписывание чертковской статьи.

Стук во входную дверь... Появляется Чертков — высокий, холодный. Пришел узнать, простила ли я его.

Меня раздражает эта комедия.

Он просит у меня прощения. Он сознает, он был не прав. Он объясняет: в том, как он говорил со мной, не было любви к ближнему. Но все это сухо, равнодушно, без всякого чувства. Холодная добродетель...

Я вспомнила, что и Толстой однажды приходил ночью просить прощения. И в этом ночном приходе Чертоква увидела рисовку и подражание Толстому.

И вот на следующее утро он вновь стоит передо мной с сумкой через плечо. Мне объяснили: сумка эта была пустая. Носил ее Чертков на тот случай, если придет ему хорошая мысль — записать. Но мысли, по-моему, не приходили.

И так мы стоим друг против друга, чужие друг другу. Он упивается своей добродетелью. Он опять просит прощения. Он, Чертков, столь добродетелен, что вот каждый день приходит просить прощения у такого ничтожества, как я. Это ли не подвиг христианского смирения?

Я ежусь, мнусь.

— Я вам сказала, что думаю о вас.

Он стоит как столб. Он не уйдет, пока я не скажу, что я простила.

Я говорю что-то неопределенное. Уходит.

Ну, думаю, слава богу, больше он не появится! Какое тут! Через два дня он вновь стоит передо мной и вновь просит прощения.

Никаких разговоров о толстовстве и толстовской морали у нас с ним больше нет. Днем я переписываю чертковскую статью, ужинаю у себя, вечером приходит Альбин, идем гулять.

Как я говорила, Альбин живет и работает у Чертоква. Что он делает? Все! От платы он отказался. Чертков очень хвалил его за такое бескорыстие. То, что Альбин ободран и ходит, как нищий, его, Чертоква, мало интересует. Сам Чертков не признает денег. Но его мать покупает ему дом в три этажа в Christchurch, на юге Англии, и он переезжает в этот дом.

Как-то сидит Чертков и вздыхает; бедные крестьяне голодают, а вот он, Чертков, ездит на велосипеде, это ужасно! Он продаст свой велосипед и пошлет деньги голодающим крестьянам.

Так он и делает, и опять мать покупает ему велосипед и дарит его, и все хорошо.

Ездить по железной дороге он может только в третьем классе, но когда он едет со своей семьей (не может же он ехать бог знает с какой публикой), он снимает целый вагон третьего класса, что стоит много дороже мест в первом классе.

Ему захотелось иметь диван, полежать после ужина. Нет ничего проще, чем купить диван в Англии. Нет, Чертков выписывает диван из своего имения, и пересылка его стоит дороже покупки нового дивана.

Когда Черткову указывают на все это, он спокойно говорит:

— Ну что ж, я слаб.

По-моему, Чертковы были настоящими барами, со всякими барскими предрассудками, с очень сильно выраженным чувством класса, даже не класса, а той верхней прослойки аристократии, к которой они принадлежали.

Сам Чертков любил вспоминать, как он в детстве играл с Александром III. Жившие у Черткова люди рассказывали мне, как совершенно по-разному Чертковы относились к приезжавшим к ним людям их «круга» и, например, к Сытину.

Сытин оставался ночевать у Черткова, и ему не дали простынь. Кто-то сказал Черткову:

— Ведь это неудобно.

Чертков ответил:

— Сытин — крестьянин, привык и так спать.

Бодянский мне рассказывал, что сестра А. К. Чертковой полюбила какого-то анархиста, человека «не их круга». Как против этой любви боролись Чертковы и только тогда успокоились, когда она порвала с этим анархистом и вышла замуж за одного из сыновей Толстого.

Итак, Чертков очень трогательно относится к Альбину. Он тронут, что тот отказался от платы. Что же Альбин делает у него?

Он ведет его издательство. Прочитывает всю корреспонденцию, получаемую Чертковым, корректирует книжки «Свободного слова», ведет денежные дела, дает уроки Диме, одиннадцатилетнему сыну Черткова, играет с Чертковым в шахматы, по вечерам играет для него на рояле, перекладывает на ноты музыку, которую сочиняет мадам Черткова — она музыкантша, но не умеет записывать ноты.

Однажды Альбин застал прислугу в слезах из-за того, что они завалены работой (это в толстовской-то колонии!) и у них нет свободной минуты, чтоб вздохнуть, почитать. Тогда Альбин взялся мыть посуду сам, чтобы освободить прислугу от лишней работы. Кое-кто из служащих сначала помогал ему, но потом перестал.

— А Чертков тоже моет посуду? — спросила я.

Альбин смутился:

— Нет, конечно.

Зато когда Чертков узнал, что один юноша, лет семнадцати, сын деревенского конторщика, привезенный Чертковым в Англию, где он работал на него, тоже не получая никакой платы, отказался мыть посуду, то Чертков возмутился. Он вызвал его и долго убеждал, говорил о коллективном труде и прочее. Но юноша был неумолим.

Любопытно, что, когда Альбин должен был уехать в Россию, Чертков предложил другому моему знакомому эмигранту взять на себя его работу. Уже, вероятно, без музыки, шахмат, мытья посуды, записывания музыки мадам Чертковой, но на тех же условиях, как Альбин, то есть даром, за еду. Эмигрант этот очень нуждался, но его так возмутили эксплуататорские наклонности Черткова, что он отказался.

Я уехала из Purleigh через несколько дней.

Через два дня по приезде в Лондон я получила от Альбина письмо, начинающееся словами: «Мой милый, хороший друг» — я смеялась без конца и Лина со мной. Какой же я «друг» через шесть дней знакомства? Я не знала, что «милый друг» — это было обычное, из конспирации, обращение в письмах эмигрантов.

Я думаю, что Чертков действительно должен был очень нравиться Толстому. Может быть, потому, что Чертков, по-моему, — это что-то среднее между Нехлюдовым и Вронским.

Вот как Толстой описывает Вронского. Вронский едет в Петербург.

«...теперь он еще более казался горд и самодовлеющ. Он смотрел на людей, как на вещи. Молодой нервный человек, служащий в окружном суде, сидевший против него, возненавидел его за этот вид. Молодой человек и закуривал у него, и заговаривал с ним, и даже толкал его, что-

бы дать ему почувствовать, что он не вещь, а человек, но Вронский смотрел на него все так же, как на фонарь, и молодой человек гримасничал, чувствуя, что он теряет самообладание под давлением этого непризнавания его человеком».

Я считаю, что это описание Толстым Вронского лучше передает суть Черткова, чем все, что я написала о нем. И Вронский и Чертков — малообразованные люди, люди вовсе не выдающегося ума, но они горды и самодовлеющи, потому что богаты и знатны. Все! Это дает им право третировать людей другого круга как людей низшей расы. Это выходит у них непосредственно.

Вот еще отрывок о Вронском. Он входит в театр.

«Те же, как всегда, были по ложам какие-то дамы с какими-то офицерами в задах лож; те же, бог знает кто, разноцветные женщины, и мундиры, и сюртуки; та же грязная толпа в райке, и во всей этой толпе... были человек сорок и а с т о я щ и х мужчин и женщин. И на эти оазисы Вронский тотчас обратил внимание и с ними тотчас же вошел в сношение».

Приведу тут отрывок из письма Черткова Толстому. Это письмо 1884 года. Молодой, тогда еще не женатый, Чертков верно разбирается в своем характере.

Настолько эта его им самим данная характеристика соответствует впечатлению, которое он произвел на меня шестнадцать лет спустя, что я не могу не привести ее здесь.

Чертков пишет о себе: «У меня нет человеческого чувства к ближнему вообще. Для меня близок только тот, кто моей личности доставляет удовольствие. А моей личности доставляют удовольствие только те, в прошлом моем общении с которыми я лично играл роль более или менее достойную в моих собственных глазах. А расположения, сочувствия к человеку, просто как к брату, к ближнему, у меня нет».

После революции я видела Черткова только один раз. Он с Сытиным ждал в приемной Надежды Константиновны Крупской. Я тогда работала в Наркомпросе. Я подошла к Черткову, он, конечно, не узнал меня — прошло ведь восемнадцать лет после нашей встречи, — но потом вспомнил. Мы обменялись несколькими словами, и его позвали к Надежде Константиновне.

В Женеве

Мой дядя Роберт Эдуардович Классон окончил технологический институт и приехал работать, очевидно для практики, в Германию во Франкфурт. Он был инженером, марксистом. Позднее его вспоминала Крупская как своего учителя марксизма. Это в его квартире она впервые встретилась с Лениным, и собрания в его маленькой квартирке на Охте называли «марксистским салоном».

От времени до времени Классон направлял к нам, в Лозанну, своих знакомых. В то время у нас часто бывал один его знакомый, Воден, тогда еще юноша лет двадцати с чем-то, поражавший всех своей образованностью. Этот Воден часто бывал у Плеханова. Тогда, в 1891 году, Плеханов жил в Женеве рядом с Верой Засулич.

Однажды Воден появился в отеле, где мы тогда жили летом, завернутый в какую-то темно-зеленую шаль. Помню, мы сидели за обедом в гостинице, когда послышался за окном шум, крик. Моя мать сказала: — Можно подумать, что это Воден здесь.

Дело в том, что Воден не ладил с лозаннскими уличными мальчишками. У него был очень странный вид, а мальчишки народ веселый и над всем странным надсмехались. Если бы Воден не обращал на них ника-

кого внимания, они бы, вероятно, скоро от него отстали, но он вступал с ними в дискуссии, и это еще больше раззадоривало мальчишек.

Иду я как-то домой с моей матерью. Лозанна — город гористый, и вот с какого-то спуска несетя куча мальчишек с воем, криком, хохотом, а за ней с палкой в руках мчится Воден. Мама мне говорит:

— Беги скорее спасать Водена.

Мне было двенадцать лет, но я храбро бросилась вниз и спасла Водена, то есть привела его к маме.

И вот однажды летом, выйдя из отеля, где мы обедали, мы с удивлением увидели Водена, завернутого в какую-то зеленую шаль. Это были не шестидесятые, а девяностые годы, и тогда мужчины шали не носили. Оказалось, что шаль-то была не Водена, а Веры Засулич.

Тогда мы, дети, не знали, конечно, зачем приезжал к нам Воден, но уже потом я узнала, что он приезжал занять денег у мамы для Веры Засулич, которая должна была ехать в Россию, конечно, нелегально, а денег на дорогу не было.

Осенью к нам приехали тетя Соня, ее муж Классон и его друг Коробко, тоже марксист.

Классон и Коробко поехали в Женеву повидаться с Плехановым.

Зачем они ездили к Плеханову? О чем с ним говорили? Этого я, конечно, понять не могла, но некоторые мелочи из их рассказов запомнила. Жили и Плеханов и Засулич очень бедно, чайных ложек у них не было, а чай размешивали одним и тем же перочинным ножом. Классона и Коробко удивило, что Засулич была уже немолодой, она им представлялась молодой девушкой, какой она была во время выстрела в Трепова.

Помню еще, что Классон сказал Плеханову:

— Быть в Швейцарии и не заехать к вам — это все равно что быть в Женеве и не заехать в Фернэ к Вольтеру.

Имя Вольтера мне тогда уже было известно, но тут я впервые узнала, что Вольтер жил в Фернэ возле Женевы.

Поездка Классона и Коробко к Плеханову внесла большое оживление в нашу жизнь. Разговорам о ней среди взрослых не было конца. Помнится, Плеханов произвел на них сильное впечатление и очень им понравился. Классон и Коробко принадлежали к кружку петербургских марксистов, и, очевидно, им было о чем поговорить с Плехановым.

Затем Классон уехал в Петербург. Его жена, тетя Соня, очень боялась, что он будет арестован; тогда заболела их годовалая дочь, тетя оставила ее у нас в Швейцарии, а сама уехала в Петербург, так как боялась за судьбу мужа.

После отъезда Классона в Петербург у нас в Лозанне несколько раз бывал Плеханов. Через маму он передавал что-то петербургским марксистам.

Я Плеханова тогда не видела, он бывал у мамы днем, когда мы, дети, были в школе. Но всякий раз после его посещений мама была особенно оживлена.

Мама должна была ехать в Петербург, отвезти тете Соне их дочку и одновременно передать петербургским марксистам, что говорит Плеханов по таким-то и таким-то вопросам. Мама в этих вопросах плохо разбиралась, но из конспирации ей строго-настроено запретили что-то записывать — нужно было все запомнить и передать устно.

Классоновская дочка Сонечка у нас очень хорошо поправилась, и мама привезла ее здоровенькой на Охту, где они тогда жили. Известие о мамином приезде вызвало там сенсацию среди друзей Классона, они все сошлись к нему и засыпали маму вопросами: что говорит Плеханов

о том-то и том-то? Мама потом вспоминала, как она старалась точно передать плехановские слова.

Когда мне было семнадцать лет, мы с сестрой поехали в Женеву. Вероятно, слова Классона, что быть в Женеве и не пойти к Плеханову — все равно что не заехать в Фернэ к Вольтеру, так врезались мне в память с детства, что я решительно заявила, что непременно пойду к Плеханову.

Ни одного из его произведений я тогда еще не читала, Маркса тоже не читала, только несколько книг Энгельса, но как-то мало связывала Энгельса с Плехановым.

Мы с Зиной сидели в Женеве у сестры Классона, вышедшей замуж за женевского профессора Кристиани. Узнав, что мы хотим идти к Плеханову, они посоветовали раньше позвонить по телефону и узнать, дома ли он и может ли нас принять. Звонили от «профессора» Кристиани. От Плеханова ответили, что нас ждут.

Мы вышли, но тут начался проливной дождь, и мы промокли насквозь.

Я думала, что увижу у Плеханова обстановку, описанную когда-то Классоном. Но теперь все было по-другому. Плеханов жил со своей женой, она была практикующим врачом в Женеве. Нам открыла горничная, сняла наши жакеты, шляпы снимать, приходя в гости, в Швейцарии было не принято. Нас ввели в гостиную, такую, как были вообще гостиные в те годы: с мягкой мебелью, ковром, круглым столом.

Вошел Плеханов. Это был плотный, представительный мужчина, одетый по обычной моде того времени. Помню, в те годы носили белые жилеты со звездочками или цветочками, и на Плеханове был такой жилет. Я взглянула на него и с изумлением подумала: «Так вот он какой, Плеханов!»

Поздоровавшись с нами, он вежливо спросил:

— Чем могу служить?

Последовало глубочайшее молчание. Он смотрел на нас без интереса, без внимания. У меня было сознание, что я проваливаюсь в какую-то бездонную яму. Ну, будь как будет. Нам на выручку пришла жена Плеханова; они с мамой вместе устраивали вечера в пользу эмигрантов или русских студентов, вместе ездили приглашать знаменитостей на эти вечера.

Жена Плеханова начала расспрашивать нас о лозаннской публике, так сказать, «чистой публике».

— Как поживает князь Мещерский? А Лили Мещерская еще не выходит замуж?

Моя сестра любезно на все отвечала. Затем вошла горничная в вышитом фартучке и подала на подносе чай с печеньем. Мы сели все вокруг круглого стола с бархатной скатертью. Взяли чашки в руки (у каждой чашки была ложка, перочинного ножа теперь уже не было). Но тут обнаружилось, что стоило мне с сестрой наклонить головы, как с наших шляп потекли от дождя ручьи в чашки, на ковер и на бархатную скатерть. Все делали вид, что этого не замечают. Светский разговор продолжался. От князя Мещерского перешли к семье Герцен. Сын знаменитого Герцена был тогда профессором в Лозанне. Плеханов, как человек воспитанный, принимал участие в общем разговоре.

На дворе прояснилось. Мы встали, чтобы уходить. Нам любезно предлагали еще посидеть, пока дождь совсем не пройдет. Мы сказали, что спешим к поезду.

Увидев, что мы уходим, Плеханов приятно оживился. И Плеханов, и его жена вышли нас провожать в переднюю. Сам Плеханов подавал

нам наши намокшие жакеты, и он, и его жена очень любезно приглашали нас заходить к ним, когда мы еще будем в Женеве.

Когда мы вышли, я с изумлением увидела, что моя сестра плачет. Плаксо́й она не была. Она плакала со злости на меня, что я поставила ее в такое дурацкое положение.

— Ведь я же думала, что ты идешь к нему по делу, — с негодованием говорила она мне, — что тебе надо у него что-то спросить, а ты молчишь. Он говорит: «Чем могу служить?», а ты молчишь!

В 1903 году в Женеве один социал-демократ должен был читать свой реферат. Зала была уже набита публикой, но чтение не начиналось. Чего-то ждали. Наконец в конце залы появился Плеханов с женой и двумя дочерьми в громадных шляпах, как тогда носили. Они, как мне показалось, торжественно прошли в первый ряд, и тогда началось чтение.

П. Лепешинский в своих воспоминаниях «На повороте» рассказывает, что в русской колонии Плеханова шутя называли «тамбовский дворянин».

В то время в Женеве была масса русских. Тут были представлены всевозможные революционные течения: социал-демократы, бундовцы, эсеры, анархисты. Социал-демократы готовились ко II съезду.

Мои лондонские друзья Ногин и Андропов после сидения в Петропавловской крепости и года ссылки в Ачинск бежали из Сибири в Швейцарию. Я приехала в Женеву и встретила их там.

В Женеве выходили разные революционные журналы. Молодежи русской там было очень много.

Однажды в русской столовой, где мы с Андроповым **обедали**, было сильное волнение. Вечером должен был читать реферат какой-то эсер. В столовой публика стояла кучками. Социал-демократы решили устроить obstruction и сорвать реферат. Андропов явно конфузился этого; он был человек мирный (одна моя знакомая говорила, что он готов тигра манной кашкой кормить). Но ему сказали, что он обязан вечером быть на реферате. Мы пошли.

Помню в глубине залы кучку социал-демократов, окруживших Плеханова.

Я встретила какого-то знакомого анархиста, и мы заговорили с ним. К Андропову подошел один социал-демократ — это был муж двоюродной сестры Вересаева (Смидовича) Леман. Эта кузина Вересаева очень удачно бежала из киевской тюрьмы, была в Женеве, так сказать, героиней. И вот ее муж подошел к Андропову и с укором сказал:

— Посмотрите, ваша знакомая разговаривает с каким-то анархистом!

Андропов смущенно ответил:

— Это моя знакомая, но она не социал-демократка.

Все напряженно ждали: что-то будет? Как только эсер, читавший реферат, подошел к кафедре, социал-демократы подняли невообразимый шум. Плеханов поднял палку. Сейчас же все смолкло. Потом социал-демократы запели «Интернационал» и с Плехановым во главе вышли. После этого «реферат», как тогда говорили, состоялся, все пошло гладко. Правда, небольшой инцидент был: какой-то грузин набросился на кого-то из своих, но ему объяснили, что социал-демократы ушли, и он утихомирился.

Ничего интересного в реферате не было.

На следующий день Ногин, человек дисциплинированный, пришел к Андропову и сказал, что он должен чуть ли не раззнакомиться со мной, так как я не вышла тогда, когда вышли все социал-демократы, хотя Ногин знал, что я не социал-демократка.

Конечно, мои встречи с Плехановым носили мимолетный характер. Но на меня он произвел впечатление человека барственного, надменного.

Какая разница, по-моему, в отношении к людям между Лениным и Плехановым! У меня долгое время хранилось письмо Ленина к Ногину. Писал он его после выхода первых номеров «Искры» — в 1901 году. Пишет Ленин из Мюнхена в Лондон Ногину, тогда двадцатитрехлетнему революционеру, еще малообразованному рабочему с фабрики Морозова, и пишет совершенно как равный равному. Внимательно относится к его отзывам о первых номерах «Искры» и, что меня особенно тронуло, спрашивает его, какую английскую газету Ногин посоветует ему выписывать. Он выписывал «Justice», но она его не удовлетворяла.

Старые друзья

Я несколько раз пыталась записать мои воспоминания о Викторе Павловиче Ногине, которого знала в течение двадцати четырех лет, но всякий раз убеждалась, до чего это сложно.

Очень трудно передать всю привлекательность этого живого человеческого образа, необычайно внутренне гармоничного, в высшей степени духовно чистого, отличающегося прямо-таки кристаллической искренностью.

Всех покоряла красота его человеческого облика. И когда он приехал в Америку, как деловой человек, производить закупки для Центротекстиля, то и там все, кто встречался с ним, говорили о нем или с восторгом, или с удивлением.

«Никто из граждан Советской России не производил такого обаятельного впечатления на все слои нашего общества», — говорится в одной телеграмме из Америки после смерти Ногина.

Уже после смерти Ногина я с интересом прочла сборник, изданный сослуживцами в его память. Но думается, было бы несправедливо, если бы в истории образ Ногина остался только как образ текстильщика, организатора промышленности, делового человека.

Да, деловым человеком Виктор Павлович, конечно, был, но его «делом» была революция, и ей он отдал всю свою жизнь.

Мне хочется привести здесь несколько строк из статьи Красина о Ногине. «В. П. Ногин, — пишет Красин, — был олицетворением той сосредоточенной силы и выдержки, которые дали рабочему классу России победу.

Уже при взгляде на могучую, богатырскую фигуру Виктора Павловича это чувство непреклонной уверенности в себе, конечной победе своего дела, каковы бы ни были внешние преграды и препятствия, сообщалось всякому, кому приходилось иметь дело с Виктором Павловичем Ногиним».

Я не знала Ногина ни во время его революционной работы, ни во время его политической деятельности в последние годы. Его письма ко мне — это письма из ссылки, тюрьмы, из-за границы, так сказать, в антрактах его жизни.

Я знала, что он работает для революции, но где, как — об этом я его не спрашивала. Ногин был чрезвычайно конспиративен, никогда ничего не рассказывал. Приехав из какого-нибудь города, он говорил: «Город, в котором я был».

Про знакомых неизменно говорил: «Один мой друг».

И я помню, как удивилась однажды, когда узнала, что «один мой

друг», представлявшийся мне почему-то старым революционером, оказался молоденькой девушкой.

Но даже в его письмах из ссылки, тюрем чувствуется его всецелая поглощенность революцией, мыслью о ней.

Вот, например, двадцатипятилетнему Виктору Павловичу в Ачинске понравилась одна ссыльная. Как характеризует он ее?

«Это человек,— пишет он мне,— замечательно хороший, страшно активный и революционный по натуре: из женщин мы с Сергеем Васильевичем (Андроповым) не видали еще ни одной такой революционерки, кроме нее».

И тут главное достоинство: революционность!

Эта преданность революции не мешала Виктору Павловичу быть нежным, любящим сыном, хорошим братом, мужем, отцом, другом. Но все это — на втором плане, а важнее всего — революция, борьба за счастье всего человечества.

Меня всегда очень трогало отношение Виктора Павловича к матери — Варваре Ивановне Ногиной. В 1902 году, когда Виктор Павлович был сослан в Сибирь, Варвара Ивановна, тогда уже старая женщина, бросает все свое хозяйство в Москве, распродает вещи и едет к сыну в Ачинск. Виктор Павлович, приговоренный к восьми годам, бежит из ссылки через два месяца...

Он собирается бежать за границу, и мать, не зная ни одного слова ни на одном иностранном языке, поджидает его в Женеве. После манифеста 1905 года Виктор Павлович возвращается в Россию, и мать едет с ним. Только в Верхоянск она к нему не могла добраться.

В ее комнате из уважения к сыну висел портрет Карла Маркса, которого она, наверное, не читала.

Из Ломжи, где Виктор Павлович сидел под чужой фамилией, он не мог писать матери, и в первом же письме из ломжинской тюрьмы он мне пишет, как мучается из-за невозможности переписываться с матерью.

Из ссылки в Ачинск он пишет, как радуется приезду матери, как надоело ему жить без людей, окружавших его в детстве.

Эти удивительно близкие, сердечные отношения проходят через всю жизнь Ногина.

Я это подчеркиваю здесь, так как в одной из биографий Ногина прочитала, что «детство его прошло без ласки и заботы». Это, конечно, абсолютно не соответствует действительности.

И разве мог бы Виктор Павлович стать таким без ласки и заботы в детстве?

Ногин всегда был одет просто, без всякой претензии. Я не помню на нем ни русских рубах, ни кожаных курток, ни модного одно время френча. Всякая поза его отталкивала. Он любил порядок и, условившись, например, что приедет в такой-то час, не заставлял ждать себя. Ко всякой работе он относился в высшей степени добросовестно, раньше, чем принимался за нее, старался ее изучить.

В нем не было ни тени верхоглядства и разгильдяйства. Может быть, самое характерное для него — это большое чувство собственного достоинства и уважения к человеческой личности.

В сборнике текстильщиков я прочитала: «Вокруг него всегда был чистый воздух». Это очень хорошо сказано. Не только Виктор Павлович был сам хорош, но вокруг него создавалась какая-то особая чистая атмосфера.

До 1917 года у нас были с Ногиным довольно далекие, но очень светлые отношения. Виктор Павлович, всегда нелегальный, всегда рисковавший быть арестованным, внушал мне глубокое уважение, к нему хотелось относиться с особой бережностью.

После революции, когда Ногин занимал уже очень ответственный пост, я стала обращаться к нему всегда, когда встречалась с несправедливостью. Тогда я обрушивалась на Виктора Павловича, готовая, если он не поймет меня, разойтись навсегда. Но всякий раз встречала милого, прежнего Ногина — такого же чуткого, внимательного, готового помочь, устроить и вполне понимающего меня.

Однажды, войдя в одну знакомую семью, я застала всех в слезах; перед этим к ним пришли какие-то люди и потребовали, чтобы те в двадцать четыре часа покинули свою квартиру, оставив все свои вещи. Из этого дома я направилась сейчас же к Виктору Павловичу. Он жил тогда где-то на Плющихе.

Он выслушал внимательно и серьезно, немного хмурясь, и потом так спокойно сказал:

— Это чей-то произвол.

И сразу же стало ясно на душе.

Я помню и сейчас его большой, светлый кабинет, угловую комнату в этом доме и то чувство внутренней ясности, которое я испытывала, находясь здесь с Виктором Павловичем. Волнуясь, искренно, убежденно он объяснял, что все происходящее неизбежно, что виноват тот старый строй, который сделал людей такими.

Он делал всегда все, что мог, чтобы устранить несправедливость, произвол.

Помню, была арестована одна наша знакомая. Я пришла рассказать это Виктору Павловичу, он выслушал внимательно, дал советы, что делать, чтобы добиться освобождения ее, сказал, что сам сделает все, что может. Потом мы поговорили о другом.

А когда я уходила, он как-то грустно и серьезно сказал мне:

— Так вы сейчас же хлопочите, надо торопиться. Ведь мы переживаем трудное время.

1900 год. Я живу в Англии. Андропов, «старший друг» Ногина, страстно начал обращать меня в свою веру и предложил познакомиться с его другом Новоселовым (под этим именем Ногин жил в Лондоне), он должен был носить мне книги.

Ногин пришел ко мне впервые осенью 1900 года. В этот первый раз принес мне Глеба Успенского и книги Энгельса. Теперь, через более чем тридцать лет, я стараюсь восстановить мое первое впечатление. Я ждала его с нетерпением, я еще мало знала тогда настоящих революционеров. Ждала с особым нетерпением, так как это был рабочий-революционер.

Ногину было тогда двадцать три года. Он был высок ростом, довольно красив, с вьющимися рыжевато-русскими волосами, необычайно милыми серыми глазами под тонкими черными, сросшимися на переносице бровями, с очень нежным цветом лица, какой бывает у рыжих. Одет он был, как обыкновенный англичанин, отличаясь этим от многих русских эмигрантов за границей, имевших обычно своеобразный вид.

Держал он себя с достоинством и очень сдержанно. Я приехала тогда из Парижа, где была на социалистическом конгрессе, рассказывала ему о своих впечатлениях. Там я впервые видела Розу Люксембург, рассказывала о том, как мы ходили к Стене коммунаров, окруженные цепью полицейских, и это в «свободной французской республике».

Он хмурился от моих рассказов, всегда во всем основательный, был недоволен, что я не могла передать, кто что говорил на конгрессе.

Еще несколько раз в эту зиму Ногин бывал у меня. Тогда начала выходить «Искра», и он приносил ее мне.

Однажды он рассказывал о школе, где учился, и возмущался неуважением к личности ученика. Странное дело, двадцать лет спустя,

читая его статью о неграх в «Правде» по возвращении его из Америки, я вспомнила этот наш разговор, потому что и тут звучали те же ноты протеста против неуважения к человеческой личности.

В другой раз он рассказывал мне, как сидел в тюрьме — он много читал там, тюрьма была для него как бы университетом.

В 1901 году Ногин и Андропов уехали в Россию как агенты «Искры». По дороге они заезжали к Ленину. В письме Ленина к Аксельроду я прочла: «Здесь теперь лондонцы (Андропов и Ногин.— С. М.); мне они нравятся. А Вам как?» Мне думается, не нравиться они не могли.

Андропов был арестован очень скоро по приезде в Россию, а Ногин продержался несколько дольше, но, кажется в октябре, был тоже арестован.

Помню осенний день, я шла по Гороховой улице домой, когда столкнулась с Виктором Павловичем. Как мы обрадовались друг другу! Я потащила его сейчас же домой. Он эту осень до ареста часто бывал у меня.

Андропов сидел в Петропавловской крепости, и Виктор Павлович, верный друг, настаивал, чтобы я назвалась невестой и посещала Андропова, и мы вместе обсуждали, как добиться этих свиданий.

Виктор Павлович в то время привез транспорт «Искры» и «Зари», и судьба этого транспорта его очень тревожила.

Мне страшно больно было видеть Виктора Павловича таким озабоченным и грустным, и, узнав, что причина его тревоги — транспорт «Искры», я предложила перевезти литературу к нам. У нас была большая квартира, и мы были вне всякого подозрения. Но, как всегда необычайно деликатный, Виктор Павлович сказал:

— Квартира не ваша, а вашей мамы, без ее согласия я это сделать не могу.

Согласие было получено, и «Искра» к нам перевезена, транспорт был спасен, но очень скоро после этого сам Виктор Павлович был арестован и тоже посажен в Петропавловскую крепость.

Не только я, но вся моя семья горевала о нем. Необычайно привлекательный, чуткий, деликатный, он умел всех расположить к себе. Он просидел год в крепости, никто его не навещал, и его состояние там было мучительно. Через год его и Андропова выслали в Сибирь. Привожу здесь выдержки из письма Ногина из пересыльной тюрьмы.

«Петербург. 9-го сент. 1902 г.

Дорогая Софья Николаевна!

До прошлого воскресенья у меня была надежда увидеть Вас и поговорить с Вами прежде чем уехать в ссылку, теперь есть очень небольшая надежда увидеть Вас, но говорить никакой, и поэтому пишу Вам.

Мне очень хочется видеть Вас, и когда я был в крепости, то хотел еще больше, так как до тех пор, пока я не увидел С. В. (Андропова.— С. М.) и он не сказал мне, что Вы ходите к нему на свидания, я не знал, где Вы и что с Вами.

С. В. рассказал Вам о моем положении и о том, как произошел мой арест, и поэтому я не стану много говорить. Скажу только, что более несчастно и более хуже нельзя попасться и что этот неудачный необдуманный приезд в Петербург произвел на меня сильное действие. Мне кажется, во мне благодаря ему произошла перемена, характер мой изменился, и некоторые неизвестные мне самому стороны моего характера вышли наружу.

Кроме пользы, которую я извлек для себя лично из своих ошибок, есть еще одно хорошее последствие моего приезда в Петербург. Это встреча с Вами. Я признаюсь, что я узнал и понял Вас только в Петербурге...

Теперь я свыкся со своим положением и составил себе план будущей жизни и вполне бодр. Сибирь меня не пугает, хотя и не знаю, сделается ли все так, как мне хотелось бы. Во время обыска на моей квартире в числе других книг были взяты сочинения Байрона, я очень долго хлопотал о возвращении их и только в мае получил. Чтение Байрона мне принесло громадное удовольствие, и я очень, очень благодарен Вам за Ваш подарок. Прошу Вас передать Алине Антоновне (моей матери.— С. М.) мой привет и поблагодарить ее за ее заботы о моей маме. Клянюсь Вашим сестрам.

Виктор Ногин.

С. В. шлет Вам привет, а я прошу писать мне».

Действительно, эти две недели в Петербурге перед арестом Ногина очень сблизили нас. Как-то в эти тревожные дни мы научились ценить друг друга, и эта внутренняя связь, несмотря на наши редкие встречи, осталась у нас на всю жизнь.

И в 1922 году в его последнем письме из санатория в Груневальде он пишет уже больной:

«По своему обыкновению Вы начинаете с обвинений, делая их авансом. Много лет я Вас знаю, и всегда Вы так поступаете, и именно поэтому я не могу изменить к Вам своего отношения, как к человеку, которого я привык считать близким, хотя бы Вы и были совершенно не правы».

Обаяние личности Ногина было так велико, что оно распространялось даже на его тюремщиков. Когда они с Андроповым сидели в пересыльной тюрьме в Петербурге, один из тюремных офицеров сказал мне:

— Тут есть еще один заключенный, который очень хочет Вас видеть.

Долго я объясняла этому офицеру, что ничего сделать не могу, так как у меня есть «жених», но офицер настаивал.

— Поезжайте к прокурору, попросите свидания с Ногиним.

К прокурору я поехала. Тот сердито спросил:

— Как — еще жених?

Я ответила:

— Нет, товарищ моего жениха.

Довод оказался неубедительным.

Свидание с Ногиним мне все-таки устроило тюремное начальство в день их отъезда в Сибирь.

Помню эти тяжелые и вместе радостные впечатления. Тяжелые — потому что уж очень неприглядно мрачна была тогда русская действительность, и радостные — потому что казались такими хорошими те люди, у которых хватало мужества бороться с нею.

За год крепости Виктор Павлович оброс бородой, казался старше.

Когда он сел в коляску, которая должна была их довести до вокзала, мы с моей сестрой, смеясь, сказали ему, что у него вид какого-то помещика.

Возле коляски стали солдаты с шашками наголо, выстроились сзади уголовные, некоторые в кандалах, и мрачное шествие двинулось к вокзалу через казачий плац.

Когда через двадцать лет я провожала гроб Ногина к Красной площади, я невольно вспомнила эти мои первые проводы, его первую ссылку в Сибирь, и опять было больно от его смерти и радостно при мысли о том, какая это красивая была жизнь.

Виктор Павлович был послан тогда в Ачинск. В марте или апреле, не помню, был получен приговор: Андропову — десять лет Восточной Сибири, Ногину — восемь лет. О приговоре они узнали от какого-то полицейского чиновника и, не ожидая официального уведомления, сей-

час же бежали за границу. Мы вновь встретились в Женеве. Но он был увлечен делами партии, Лениным, новыми друзьями, и я почти не видела его.

Весной 1905 года зашел ко мне один знакомый, тогда еще гимназист (потом большевик, работавший в петербургской организации в 1905 году), и сообщил, что Виктор Павлович арестован чуть ли уже не год, что никто у него не бывает, через кого-то он просил разыскать меня.

Я страшно заволновалась. Опять бедный Виктор Павлович сидит в крепости. Никто у него не бывает. Я решила — непременно надо найти ему «невесту», которая стала бы навещать его.

Я была тогда близка с одной моей однокурсницей-бестужевкой, необычайно милой и внутренне и внешне девушкой — Елизаветой Константиновной Свешниковой. Впоследствии она работала в военной большевистской организации в Петербурге, отличалась удивительным бесстрашием, вела пропаганду среди войск, умела близко подходить к солдатам.

В 1906 году она была арестована, просидела довольно долго в тюрьме и судилась военным судом в 1907 году.

Благодаря большой конспиративности Свешниковой улик против нее не было, и она или была оправдана, или ей засчитано ее сидение в тюрьме.

В начале 1905 года она не была еще членом партии, но из дружбы ко мне ходила со мной по тюрьмам, делала передачи, хлопотала, волновалась и благодаря своему милому характеру и очень привлекательной наружности (на курсах про нее говорили: «Она вся золотистая») улаживала всюду возникающие у меня конфликты.

Свешникова сейчас же согласилась бывать у Ногина, но решительно заявила, что «невестой» она не хочет быть, а скажет, что «сестра».

На следующий день она отправилась в жандармское управление на Тверскую, но произошло нечто, казавшееся тогда нам ужасно трагичным.

Несмотря на большое число просителей в жандармском, как только она передала записку, что просит свидания со своим братом Ногиним, ее мгновенно же приняли. Жандармский полковник был необычайно любезен. Из других комнат сошлись приятно обрадованные прокуроры.

Любезно, слегка насмешливо улыбаясь, они глядели на нее. Она хочет свидания с братом? О, они с удовольствием ей дадут.

Когда? Когда хочет, хоть завтра. Но, может, она им скажет, в какой он сидит тюрьме?

Удивленная Свешникова сказала:

— Конечно, в крепости.

И ей ответили: в крепости его нет. Пусть она узнает толком, где он сидит, да, кстати, узнает и под какой фамилией.

Произошла ужасная ошибка. Оказывается, Ногин сидел тогда под другой фамилией, и, когда Свешникова назвала его фамилию, жандармское управление разослало фотографии Ногина по всем тюрьмам. Тогда его узнали. Но сам Ногин не сетовал на это, даже уверял, что это к лучшему, так как ему теперь не надо скрываться и он сможет переписываться с матерью.

В заключение мне хотелось бы привести выдержки из письма Андропова ко мне. Письмо это, может быть, в чем-то спорное, написанное с излишним самобичеванием, но очень характерное. В этом письме много говорится о Ногине.

«Петербург, 30 окт. (12 ноября) 1908.

Ты противопоставляешь мне В. П. Ногина. А разве я не страдаю, что у меня нет того, чего у него так много?

Мое междуклассовое положение наложило неизгладимый отпечаток на мою психику. Сравни детство мое и Виктора Павловича. Уже в 12—13 лет я с замиранием сердца слушал «Канна» и «Манфреда». Представь себе мягкую гипсовую массу в руках художника, который придает ей какую угодно форму, пока она не затвердела. И в те годы вполне сформировалась моя душа. Пьер и Андрей Болконский сделались в моей юности спутниками моей жизни, пришли уже на готовую почву... А разве для Байрона, для Пьера и Андрея Б. не важно было только их «я»?

А В. П.? Он все детство провел на фабрике. Его душа сформировалась при грохоте машин, он видел жизнь в самых непривлекательных ее формах, он слушал (он мне об этом часто рассказывал) цинические выходы своих товарищей. Он сам не помнит, что дало ему первый толчок, но, когда мысль его стала работать, она перерабатывала тот материал, который давала ему окружающая жизнь, и выковывала идеал тоже вполне определенный, реальный. Мы оба дали в юности, вернее в детстве, аннибалову клятву, но как различно было ее содержание.

Когда мы впервые встретились в 1898 году, как непохожи мы были.

Я искал связи с рабочими, потому что думал, что там я лучше всего проявлю свое «я». Мне хотелось довести дело до забастовки (сразу на нескольких заводах за Невской заставой), потому что это казалось красивым; сама борьба, а не конкретные требования рабочих были важны для меня.

Я пришел к В. П. Он мне дал тетрадку, в которой он самым подробным образом рассказал про жизнь их завода, и выставил много требований. И немудрено: в то время он сам был на этом заводе, он почти жил на нем (так как в это время работа продолжалась часов 11—12), а работа его заключалась в том, что он залезал под машины, котлы и т. д., а я в то время думал о чем угодно, только не об этих мелочах заводской жизни.

Я помню, в Красноярской тюрьме В. П. подробно рассказывал о жизненных условиях рабочих в различных государствах. Он так подробно говорил об этом, приводил столько цифр, с такой любовью рассказывал. Он прочел много книг о положении рабочих в различных странах, он, вероятно, переживал каждую страницу, читая эти книги: ведь в них рассказывалось про самое дорогое дело его: он сравнивал эти факты с тем, что знал из собственной жизни. А я? Я никогда в жизни не прочел ни одной такой книги. Я не читал даже Вебба. Сидя в тюрьме, где такая масса книг по этой отрасли, я брал себе хотя бы трактат по сравнительному языковедению, но только не по рабочему вопросу. В. П., чему я в то время очень поражался, рассказывал подробно о том, сколько кубических футов воздуха приходится в среднем на каждого рабочего в его жилище в разных странах, сколько жильцов в одной комнате.

Так было и во всем дальнейшем. После амнистии (1905 года), когда В. П. и я принялись интенсивно за работу, характер этой работы был глубоко различен, хотя мы оба большевики. В. П. весь отдался профессиональному движению рабочих, внося в него революционный дух. Он опять-таки погрузился в действительность, стал изучать что есть, чтоб из этого строить дальше. И он так подробно изучал это что есть, что он стал среди большевиков одним из лучших знатоков этой действительности. К нему обращались за справками и советами. А я, как и многие другие большевики-интеллигенты, увлекся красочной стороной развивающихся перед нами событий. Я выработал в то время план восста-

ния (в Ростове-на-Дону). Ко мне в мою комнату каждый день к 12-ти часам стекалось много народа, и мы обсуждали, как захватить оружие, устроили лекцию о приготовлении взрывчатых веществ. И мне казалось, что жизнь моя имеет смысл, я устраивал типографии, добывал деньги, звал рабочих на митинги, на которых раздавались все те же речи о восстании.

Я помню горячий спор с Мих. Вор. (Смирновым) после подавления Ростовского восстания по поводу выборов в Думу. Мне казалось изменой революции, мещанством, обыденщиной принять в них участие. И я ли один так думал?

В мои годы совершенно невозможно переделать себя, интеллигент во мне останется до конца. Значит, пользы от моей жизни будет очень немного. А В. П. проживет свою жизнь с большим смыслом. Правда, мне гораздо труднее жить, чем В. П. Он берет готовые формы жизни. Его идеал можно ощупать руками, и т. к. работа в этом направлении соответствует самым жизненным его запросам и вполне отвечает его натуре, его нравственному складу, то все это выходит естественно и просто. Мои учителя — люди слова, а не дела, все люди с гипертрофированным «я». Они видят сны, мыслят символами. Их идеал для них самих в тумане.

Самое сильное было для меня мое первое переживание — Манфред, а чему он учит? В. П. думал постоянно, как бы лучше сделать то дело, которое для него совершенно ясно, и он скорбит, что у него мало знаний. Я же думал: где то дело, где та жизнь, где не чувствуешь себя Каином?

Ты раз обидела В. П., сказав ему, что на него похоже бывать в кинематографе. А на меня не похоже. И это верно относительно нас обоих. В. П. — чу дорого дело, а дело не пострадает, если он пойдет отдохнуть в кинематограф. У меня же просто был бы протест против себя, потому что для меня вся суть в переживаниях. Вот в симфонических концертах я наслаждаюсь, потому что здесь я чувствую себя в мире абсолютно прекрасного. Если же я пойду в народный дом, где я все-таки могу слушать Вагнера, Римского-Корсакова, то там я интенсивно страдаю и выхожу измученным, и это ничуть не преувеличение.

Мне очень трудно жить, потому что мне постоянно приходится думать о жизни, этот вопрос для меня постоянно новый. У меня бывали разные попытки решить его; но старые решения уже не годятся для будущего. Я уже пережил (и, правда ж, много испытал и перестрадал в этой области) период углов и ночлежек; я помню, как я первый раз вошел в ночлежный дом в Одессе, мне казалось тогда, что я нашел решение мучившей меня задачи. И сколько я бродил потом в порту, каким счастливым я считал себя, когда вместе с одним босяком помогал разгружать паром. Но это был дилетантизм. А как мне хотелось, чтобы меня наняли, как настоящего грузчика, как горько мне было, когда пришлось отказаться от этой мысли. И потом опять и опять неудовлетворение собою, сознание неизбежности снова решать тот же вопрос о жизни. В. П. берет готовым весь громадный опыт, накопленный веками в разных странах тысячами людей, мне же приходится всю работу брать на себя, искать выхода, не имея перед собою ни одного образца. Жизнь В. П. красива, моя же уродлива».

Как я стала библиотекарем

Зиму 1914—1915 года я проводила в Финляндии в Уси-Кирке. Комнату с полным пансионом сняла у финского извозчика. В семье его никто по-русски не говорил. За три-четыре месяца, которые я там провела, не было никаких событий.

Один раз пришел какой-то говорящий по-русски человек и сказал, что мои хозяева просили предупредить меня, чтобы я не испугалась — будет выстрел. Их лошадь сломала себе ногу, и они ее убьют. Я вспомнила, что какая-то лошадь бродила по саду. Лошадь убили, но еще долго после этого я видела следы ее на снегу перед моими окнами. И всякий раз, выглядывая из своего окна, я думала: «Вот уже лошадь убита, а все еще ее следы на снегу».

Все солнечные часы я бродила по лесу. Все вокруг было покрыто снегом — блестящий белый снег и ели. Я ходила обычно в направлении санатория Халила. Но до санатория так никогда и не доходила. Когда зажигались лампы, я возвращалась домой. Главное развлечение был почтальон. Писем я получала мало. Поэтому обычно от первой страницы до последней я прочитывала «Русские ведомости».

В «Русских ведомостях» я прочла объявление о приеме на библиотечные курсы в Москве в университете Шанявского. В чем заключается библиотечная работа — я тогда себе не представляла. Самой мне пришлось не раз читать в библиотеках. Особенно я любила Лейпцигскую университетскую библиотеку с ее прекрасным мраморным входом: лестница, колонны. Может быть, это был и не мрамор, а какой-то другой розовый холодный камень.

Мне библиотека эта казалась храмом науки. Я чувствовала восторг и благоговение, когда входила туда. Тут я провела немало часов. Здесь я читала историю философии Гегеля и очень скучала за какой-то историей Греции, которую рекомендовал мне наш профессор философии Бундт.

В Лейпцигской университетской библиотеке было уютно и просто. Я тогда была студенткой Лейпцигского университета, училась на философском факультете, и библиотека эта мне казалась своей. Когда возникал какой-нибудь вопрос, мы спускались вниз, выходил какой-нибудь библиотекарь, холодный и сдержанный, и очень толково и очень вежливо давал нужную библиографическую справку. Я всякий раз удивлялась. Мне эти люди казались кладезем мудрости. Все служащие были мужчины.

Я читала и в Британском музее в Лондоне. Чтобы проникнуть туда, нужна была рекомендация лондонского квартирнанимателя. Рекомендацию мне дал Кропоткин по просьбе Андропова.

Очутившись в круглом громадном зале Британского музея, я чувствовала себя потерянной. Я стеснялась своего плохого английского языка и не решалась никого ни о чем спросить. Читать я хотела Бентама в оригинале. О Бентаме я знала по Писареву, себя я считала утилитаристкой, и вот, научившись английскому, попав в английскую библиотеку, я, конечно, хотела читать самого Бентама. Увы, я была в положении плохого пловца, брошенного в широкое море. Стояли какие-то громадные фолианты — это были каталоги. Я нашла в них букву «Б», нашла Бентама, но изданий его было такое бесчисленное количество, что я не знала, что же выписать, и потом — какое его произведение выбрать? Возможно, и в Британском музее, как в моей милой Лейпцигской библиотеке, были вежливые джентльмены, готовые дать мне нужную справку. Но где их найти? С отчаяния я выписала первое попавшееся издание Бентама и стала ждать. Каков же был мой ужас, когда через несколько минут мрачный библиотечный служащий подкатил колясочку, доверху наполненную толстыми томами, и начал выгружать их на мое место. Выгружал, выгружал! Очень много написал Бентам в своей жизни.

Немного больше мне повезло с Робертом Оуэном. Роберта Оуэна я полюбила по статьям о нем Добролюбова и Герцена. К счастью, Оуэн писал меньше Бентама. Во всяком случае я легко нашла его и с большим

интересом читала в читальном зале Британского музея. С особым интересом я прочла тут его биографию.

Затем мне пришлось читать в Женевской университетской библиотеке и в Италии во Флоренции. Читала я книги по искусству в библиотеке палаццо Уффици и библиотеке палаццо Питти. В Уффици меня сместило, что был отдельный стол для женщин. За ним было тесно, и женщины были очень шумливые. В библиотеке палаццо Питти мне читалось очень хорошо. Я порекомендовала туда пойти одной моей знакомой. Она пришла ко мне с упреком: почему я не предупредила ее, что там нельзя читать в общем зале — ее попросили выйти из зала и пройти в другую комнату. Я удивилась и продолжала читать в общем зале, но видела — иногда мимо меня проскальзывали женские тени в какую-то узенькую боковую дверь. Только в Италии было это странное деление читателей по полу, но давно, лет сорок тому назад.

Прочтя в Уси-Кирке о библиотечных курсах в Москве, узнав, что занятия на них продлятся всего четыре — шесть недель — точно теперь не помню, — я решила поехать на курсы. Послала туда заявление, ответ получила довольно скоро и необычайно вежливый по сравнению с обычными ответами наших дореволюционных учреждений. К ответу был приложен список литературы, с которой рекомендовали познакомиться.

Весной 1915 года я приехала в Москву. Это был второй год войны. Весна была солнечная. Москва яркая, пестрая, совсем особый город. Я всегда любила Москву с ее плохими мостовыми из круглых камней, пылью, бульварами, старыми дворянскими особняками с колоннами и широкими дворами перед ними, Сухаревой башней, где толпился разношерстный народ, с Кремлем, с Москвой-рекой. Поселилась я где-то, кажется на Долгоруковской, в чисто московской комнате, в деревянном доме во дворе. Кровать была широкая и высокая, обои красные с разводами, на окнах кружевные шторы, посередине комнаты — стол. Утром и вечером горничная подавала шумящий, чисто начищенный медный самовар и филипповские калачи на тарелке, и было так уютно сидеть на красном диване, разливать чай или читать какую-нибудь книгу.

Раздевшись и разложив свои вещи, я помчалась в университет Шанявского. Когда-то я страшно радовалась его открытию: университет, в котором сможет учиться всякий желающий, без дипломов, без всяких бумаг!

Университет Шанявского меня разочаровал. Серое прямолинейное здание на Миусской площади мало подходило к общему облику Москвы. Я записалась в библиотеку и стала сейчас же читать всю указанную нам литературу. Читала начерно. Но вот маленькая деталь о тогдашней библиотеке университета Шанявского. Однажды, сдавая свои книги и глядя на полки, я увидела там Роберта Оуэна на английском языке. Прошло уже больше десяти лет с тех пор, как я его читала в Лондоне. Мне захотелось его опять почитать. Я попросила библиотекаря дать мне эту книгу. Библиотекарь нахмурился. Он не может мне дать эту книгу. Почему? Эти книги никто никогда не берет. Я сказала:

— Ну, а я хочу ее взять.

Библиотекарь сказал:

— Она стоит слишком высоко, я ее выдать не могу.

Увы! Я не стала спорить, я не сказала, что есть лестница. Я только пришла к убеждению, что не надо в библиотеках делать высокие полки, с которых трудно снимать книги.

Слушатели съехались. Лекции начались.

И у слушателей, и у преподавателей был какой-то особый душевный подъем. То ли все эти приехавшие из провинции люди радовались, что

попали в Москву, то ли они были горды выполняемой ими миссией — нести знания в широкие народные массы. Курсы были прекрасно организованы. Нам выдавались различные печатные материалы, помогавшие в наших занятиях. Лекции происходили точно в назначенные часы, руководители практических занятий были особенно внимательны. Вообще чувствовалась какая-то не официальность, а налаженность и деловитость.

Несомненно, этот характер в курсы вносила организатор их — Любовь Борисовна Хавкина. Я познакомилась с ней сперва по ее книгам. Почему-то я представляла ее себе худенькой старушкой, такой, какой у нас была ассистентка по физике на Бестужевских курсах. И поэтому я была удивлена, когда познакомилась с самой Хавкиной. Ей было тогда около сорока лет. Это была цветущая, красивая, с нежным цветом лица полная женщина. Самое привлекательное в ней было избыток жизни, энергии. Она была организатором этих курсов и к своему делу относилась с энтузиазмом. Этот энтузиазм невольно передавался всем окружающим.

Но, кроме этого энтузиазма, было у Любви Борисовны Хавкиной совершенно исключительное знание своего дела, точность, определенность в работе. Любовь Борисовна провела несколько лет в Америке, работала там в библиотеке, прекрасно знала постановку библиотечного дела у нас и за границей и, главное, — может быть, единственная среди наших библиотекарей тогда — все время следила за иностранной библиотечной литературой.

Авторитет Любви Борисовны Хавкиной в вопросах библиотечной работы с того 1915 года, когда я с ней впервые познакомилась, всегда оставался для меня непоколебимым.

Любовь Борисовна никогда не отказывала в помощи своим бывшим слушателям курсов. Когда я слушала курсы, которые предназначались главным образом для работавших уже библиотекарей, я не все себе уясняла. И вот, принявшись за работу, я часто становилась в тупик перед самыми простыми вещами. И тогда я писала Любви Борисовне, и не было случая, чтобы она не откликнулась, не помогла мне. То я не знала, как составлять каталожную карточку, — и она присылала мне ею самой написанные образцы карточек; я затрудняюсь, как комплектовать библиотеку, — и Любовь Борисовна присылает мне в Самару несколько указателей. Мне нужно делать доклад на одном съезде, это 1918 год, и доклад я должна делать в присутствии Надежды Константиновны Крупской — Любовь Борисовна принимает самое горячее участие в моем докладе, сама пишет мне тезисы. Дает мне много своих книг для организации выставки на этом съезде.

Но я отклонилась, все это было уже через три года по окончании мною курсов.

Но и тогда, в 1915 году, я оценила удивительную ясность, четкость, ум в работе Хавкиной. Ее лекции мне дали больше всех других.

Очень интересные были для меня лекции Александра Александровича Покровского. Сам он был очень симпатичный, типичный русский интеллигент и очень предан был своей работе. Александр Александрович очень хорошо знал книгу. Некоторые его замечания как-то запомнились на всю жизнь. Так, он рассказывал, что, приглашая библиотекаря на работу, он дает ему пересчитать пачку книг: если библиотекарь очень скоро это сделает, он еще сомневается, какой из него будет работник, а вот если при пересчитывании он начнет листать книги, рассматривать их — значит, это будет хороший библиотекарь.

Калишевский читал у нас инвентарь. Впоследствии, года через два, мне пришлось с ним часто встречаться. Я работала с ним в Русском биб-

лиотечном обществе и сохранила о нем самые хорошие воспоминания. Был он человеком культурным, очень мягким.

Однажды, когда он был главным библиотекарем университетской библиотеки, ему позвонил Ленин, просил дать какие-то книги, Калишевский ответил ему, что правила пользования библиотекой и книгами Московского университета такие-то, надо обратиться к ректору и т. д., Ленин проделал всю необходимую процедуру и книги получил.

Через год по окончании курсов я стала работать в Самаре. Заведовала там библиотекой.

По дороге туда я заехала в Москву к Любви Борисовне Хавкиной, она снабдила меня ящиками, карточками, формулярами десяти цветов.

В это лето по дороге в Саратов Любовь Борисовна заезжала ко мне в Самару, видела мою маленькую библиотеку. Весной 1917 года она вызвала меня в Москву и помогла мне поступить инструктором по библиотечному делу Московского земства, потом я недолго работала вместе с ней в Совете рабочих депутатов, откуда, по просьбе Крупской, перешла в Комиссариат просвещения.

В 1918 году я уехала в Киев и с тех пор работала в Киеве по библиотечному делу. С Любовью Борисовной Хавкиной все эти годы мы были связаны.

Я думаю, что многие слушательницы курсов могут написать о Любви Борисовне то же, что и я,— всегда у нас была уверенность, что во всяком затруднительном случае в нашей библиотечной работе можно обратиться к ней, и она всегда окажет помощь.

Потом, после 1915 года, я много лет переписывалась с Хавкиной, в ее письмах всегда было много дружелюбия и внимания. Уже после Отечественной войны, старая и больная, она продолжала работать — составляла словари, собиралась писать очерки по библиотечному делу.

«Вы спрашиваете, что я пишу? — говорит она в одном из последних писем.— Диктую историю первых библиотечных курсов в нашей стране, которые Вам были хорошо известны и пользовались Вашей симпатией. Теперь, восстанавливая в памяти все детали, причем я пользуюсь и архивом, который мне удалось сохранить почти целиком, и воспоминаниями отдельных товарищей, в том числе и Вашими, я переживаю «вторую молодость» — так все это глубоко запечатлелось в моей душе».

Эмиссар из центра

Однажды, когда я работала инструктором по библиотечному делу, мне рассказали, что в Клину расхищается ценнейшая библиотека Владимира Ивановича Танеева.

Моим непосредственным начальником был тогда Брюсов. Брюсов был вечно раздражен ненадежностью нашего аппарата. Нам отвели под библиотечный отдел маленькую комнатку на самом верху, вероятно бывший дортуар лицея. Комната удручающая, точно какая-то камера в тюрьме, против окна — стены. Брюсов в те дни был очень озабочен тем, что в нашем отделе нет своей пишущей машинки. Машинка была в канцелярии, и мне это казалось не таким важным — есть у нас машинка или нет.

Брюсов жаловался, что теряет здесь массу времени, а у него так много работы дома. Мне было жаль его, жаль его стихов, которые он мог бы написать в это время и которые никогда не будут написаны.

Помню серый день, холодно, моросит дождь. Полутемный зал буфета, нет ни людей, ни продуктов. Беру стакан черного кофе без сахара,

хлеба тоже нет. Подходит ко мне Брюсов, пьет такой же кофе и рассказывает:

— Был только что в личном столе. Работающая там женщина спрашивает мою фамилию. Говорю: «Брюсов». Спрашивает имя. Отвечаю: «Валерий». Она переспрашивает: «Как вы сказали?» Она не знает, кто такой Валерий Брюсов.

В другой раз Валерий Яковлевич — с какой-то комиссией, вокруг почтительное окружение. Это работники библиотеки какого-то бывшего педагогического собрания. Валерию Яковлевичу говорят, что библиотека очень ценная, подают ему каталог. Он его перелистывает, находит и свое имя и приходит в негодование. Оказывается, библиотекарь, составляя каталог, перечислил не только уже напечатанные книги Брюсова, но и те, которые предполагались к печатанию, но никогда не вышли. Хороший библиограф, как всегда очень точный, Брюсов был страшно возмущен.

Вскоре по просьбе Надежды Константиновны я перешла в Центральный комиссариат просвещения. И вот в качестве эмиссара я еду в одну из первых своих командировок...

Владимир Иванович Танеев, брат Сергея Танеева, известного композитора, жил недалеко от Клина в своем бывшем имении. Было ему в 1918 году уже восемьдесят четыре года. Он был другом Тимирязева.

В одном из своих писем к Горькому Тимирязев звал Горького приехать к нему в имение Танеева и познакомиться с его владельцем, человеком очень интересным, «большим оригиналом».

Танеев совмещал в себе черты как бы несовместимые. Барин, из очень аристократической семьи, он вместе с тем был социалистом, фурьеристом и революционером. Он собрал у себя библиотеку в пятнадцать тысяч томов, главным образом о социализме. Он имел возможность получать нелегальные издания, недоступные тогда в России.

Приехав в Клин, я прошла в местный Совет. Перед зданием стоял молодой красноармеец с ружьем. Фуражка была сдвинута набок, а клок вьющихся волос обвязан широкой красной лентой, как бывает у маленьких девочек. Красный бант был и на ружье.

Я подала ему свой мандат. Там была, между прочим, такая фраза: «Удовлетворить помещением и едой».

Бедный красноармеец повторял в недоумении: «Удовлетворить?» Наконец пошел куда-то с бумагой и, вернувшись, довольно толково объяснил, куда мне идти.

Поместили меня в дом Победоносцева, какого — не знаю: того самого знаменитого, его сына или его родственника? Спала я в гостиной с мебелью, обитой синим шелком. Тут же жили и уездные комиссары.

Я жила здесь недолго и, как только смогла, перебралась в имение Танеева и поселилась в домике его бывшего садовника рядом с флигелем, где жил сам Танеев.

Один из комиссаров объяснил мне, как пройти к Танееву, и сказал:

— Увидите, интересно! Большие ценности там, да и сам старик Танеев «музейная редкость».

Мне рассказывали, что на банкетах с шампанским, которые когда-то устраивал Танеев, он будто бы провозглашал тосты, зовущие крестьян взять топоры и идти на господ.

Моему приезду Танеев сперва как будто обрадовался. Надел тулупчик, встал и повел показывать свою библиотеку.

Когда я отдала ему мой мандат, он сначала обратил внимание на мою фамилию — Мотовилова. Оказалось, что он хорошо знал моего дядю Георгия Мотовилова — одного из деятелей судебной реформы шести-

десятих годов. О нем есть воспоминания Кони, и до революции портрет его висел в Петербургской судебной палате. Это все, что я об этом своем дяде знаю. Не раз родство это было мне выгодно до революции во время моих поездок по гурьям и хлопотам по делам моих друзей большевиков. А Танеев где-то служил вместе с моим дядей и хорошо его знал. Начались воспоминания...

Ключи от библиотеки были у самого Танеева. Порядок там был удивительный. Я видела, правда, только корешки книг, прикоснуться к ним я боялась. Я знала, что над книгами своими Танеев дрожит, и если даст кому-нибудь прочесть, то затем проверяет, ставит книгу то на один бок, то на другой — смотрит, не перекосилась ли она, и, если найдет малейший изъян, дарит книгу тому, кто ее брал, а себе покупает новую.

Рассказал он мне, как купил в Париже полное собрание сочинений Фурье и заказал переплетчику очень дорогой переплет. Когда книги принесли, оказалось, переплет-то очень хорош, но книги плохо раскрываются. Танеев показал это переплетчику, и тот с негодованием сказал:

— Как! Вы заказали такой дорогой переплет и еще хотите читать эти книги!

Это так насмешило Танеева, что он купил еще одно полное собрание сочинений Фурье и заказал более дешевый, но хорошо раскрывающийся переплет.

Танеев был социалистом, но никак не мог понять, что такая библиотека не должна быть частной собственностью, а должна принадлежать всем. А я-то мечтала тогда, как это будет хорошо, когда книги будут «раскрепощены» — библиотеки открыты для всех. Будут сводные каталоги, обмен книгами между библиотеками, и любой читатель сможет получить в любом месте любую книгу.

В первый день Танеев был очень любезен, и библиотеку показал, и велел чай подать.

Чай подали. Хлеба не было, сахара не было, мы пили чай со свежими огурцами.

На следующий день, когда я пришла, Танеев лежал и был мрачен.

— Так-с, сударыня, — сказал он мне, показывая на лежавший около него мой мандат, который я у него забыла, — «Бывшая библиотека Танеева» и подпись: Брюсов!

Оказалось, Танеев, шестидесятник по убеждению, ненавидел новую литературу, особенно Брюсова.

В столовой его дома висел большой плакат с изображением величайших писателей мира. Последним был Толстой, после него был изображен череп — это означало, что литература умерла.

Танеев начал ругать Брюсова, считая, что он является ярким представителем ненавистного ему былого купечества.

Еще он ненавидел попов и говорил:

— Замечали ли вы, сударыня, что у попов всегда большой живот? Если поп беден — живот висит, как сума, а если поп богат — то живот набит и прет вперед.

Потом он обрушился на Льва Толстого. Я спросила:

— Почему ж, если вы так его не любите, портрет его у вас среди величайших писателей мира?

Танеев отвечал:

— Он написал одну хорошую повесть «Детство», все остальное никуда не годится. Уже «Отрочество» совсем плохо.

В эту вторую встречу Танеев был мрачен и даже пытался усюветить и пристыдить меня.

— Ведь вы же Мотовилова, а чем вы занимаетесь?! Описывать чужие библиотеки!

И тут же он мне рассказал, что он был когда-то судебным следователем. Ему поручили описать какое-то имение. Он сейчас же отказался от своей должности.

Еще он мне рассказал, как одно время принимал участие в работе земства. Пришел раз на какое-то земское собрание, и один помещик, которого он считал вором, сел рядом с ним. Этого Танеев не мог вынести, он встал, ушел и больше на земских собраниях не бывал.

Мое положение у Танеева было очень трудным. Я понимала трагедию, которую он переживает. Его любимое детище, его библиотеку, которую он собирал всю свою жизнь, которую он любил, которой гордился, хотят отнять у него! На самом деле было не так. Ведь я приехала, чтобы охранить его библиотеку от возможного расхищения. Я должна была описать эту библиотеку, посмотреть, в каком она состоянии.

Мы договорились, что я буду приходить каждый день, когда Танееву удобно, и переписывать его каталоги в комнате, соседней с его спальней.

В это время ко мне прислали из нашего библиотечного отдела юношу лет восемнадцати. Зачем его прислали — то ли мне в помощники, то ли наблюдать за тем, что я делаю, — не знаю.

Мальчик оказался очень хороший, интеллигентный и веселый, и мы отлично зажили в доме садовника. За еду и помещение мы ему платили, конечно, но, откровенно говоря, очень сильно поголаживали. Хлеба-то не было ни кусочка! Однажды я предложила:

— Пойдемте в деревню и купим там себе у крестьян хлеба.

Мы обошли несколько изб — никто не соглашался продать нам ни кусочка хлеба. Наконец мы набрали на какую-то сердобольную женщину, которая отрезала нам краюху хлеба.

Денег она с нас взять не захотела. Мой спутник покатывался со смеху.

— Ну и «эmissары из центра»! Ходят по деревне и побираются.

На следующий день было воскресенье, и приехала мать моего юноши. Она привезла сыну изумительный подарок — испеченный дома сероватый хлеб. Мы дали часть хлеба Танееву. Он очень обрадовался. Потом я слышала, как он говорил этой даме:

— Я так обрадовался этому хлебу, что аж задрожал. Благодарю вас, но, по правде сказать, хлеб-то был прескверный.

Бедная дама немножко обиделась.

Утром мы обычно вставали рано и уныло бродили вокруг флигеля Танеева. Ждали, когда он проснется. Часов около одиннадцати начинали стучать и робко спрашивали:

— Владимир Иванович уже встал? Нам можно войти переписывать?

Опять мой спутник забавляется:

— «Эmissары из центра» ждут, когда барин их впустит переписывать его «бывшую» библиотеку.

Наконец нас впускали, и мы сажались переписывать каталоги. Но не проходило и десяти минут, как Танеев звал меня к себе. Я садилась возле его кровати, и начинались опять интересные для меня рассказы.

Я думала: «Ну, ничего, мальчик там поработает». Но оказалось, что и «мальчику» хотелось послушать танеевские рассказы. Он прислушивался, и перепись каталогов подвигалась медленно. Кроме того, мы скоро заметили, что каталоги-то Танеев дал не все. Каталога по социализму он не дал. Нас это волновало, но он упорно отвечал, что не находит его, не знает, куда его засунул.

Как мне ни было тяжело, но я должна была сказать Танееву, что, если каталог по социализму не найдется, мы будем вынуждены переписывать

сывать этот отдел, беря книги с полки. Так я и делала во всех других библиотеках, но там не было ни владельцев, ни каталогов.

Мысль, что мы будем снимать его книги, трогать их, так напугала Танеева, что каталог по социализму сейчас же нашелся.

Расстались мы с Танеевым, как мне казалось, дружески. Это было в 1918 году, но ведь он дожил до 1921 года, и что было с ним за эти три года — я не знаю. После его смерти, говорят, прибили к его дому мемориальную доску. Но я ее не видала.

Надежда Константиновна

Впервые я увидела Надежду Константиновну в 1903 году.

Ленина я помнила еще с 1895 года, когда он в свой первый приезд в Швейцарию заезжал к нам в Лозанну и провел у нас полдня.

Было это так. Горничная сказала моей маме, что ее кто-то спрашивает.

Вошел незнакомый человек и сказал, что его прислал Классон. Мама ввела его в гостиную, там у нас на столике лежали социалистические газеты. Человек этот бросился к столику и, не обращая внимания на маму, весь погрузился в газеты.

Потом они с мамой разговорились. Мама должна была объяснить ему, как проехать к Плеханову.

Обращаясь к маме, незнакомец сказал:

— А мы с вами из одного города.

— Как же ваша фамилия? — спросила мама.

— Петров, — ответил он.

(Ленин одно время, как известно, подписывался Петровым.)

— Какой же это Петров, — раздумывала мама, — может быть, сын булочника?

— Да нет, — ответил он, — этого Петрова вы не знаете.

За ужином Петров был очень сдержан, разговаривал мало.

Позже, когда к нам приехал Классон, он спросил маму:

— Был у вас Ульянов?

И тут все выяснилось...

Помню, мы отправлялись с Андроповым на какой-то реферат. Вошел Ленин, и Андропов показал мне:

— Это Ленин с женой.

У Надежды Константиновны тогда был очень обыкновенный, малозаметный вид русской курсистки.

И вот когда уже грянула революция и пришла новая, необычная жизнь, мне пришлось встретиться с Крупской.

В 1918 году я работала в Совете рабочих депутатов в Москве.

В Комиссариате просвещения во главе отдела внешкольного образования тогда стояла Надежда Константиновна. Мне необходимо было обратиться к ней по делу. Наркомпрос помещался в бывшем Николаевском лицее. Принимала Надежда Константиновна в бывшей приемной директора. Я вошла. За столом, на диване и в креслах сидели, развалившись, какие-то учащиеся, гимназисты. Они курили трубки, папиросы и очень громко разговаривали.

Секретарша Крупской просила их прийти в другой раз, говоря, что Надежда Константиновна очень утомлена; но они настаивали на своем. Я сидела у стены, у самого входа, и со страхом глядела на них.

Вышла Надежда Константиновна — утомленная, мягкая, женственная и исключительно обаятельная.

Молодые люди и девицы начали сейчас же жаловаться ей на своих учителей, обвиняя их в контрреволюционности, требовали, чтоб были приняты какие-то меры.

Надежда Константиновна отвечала им устало, говорила, что они обращаются не по адресу, что она ведаёт только внешкольным образованием.

Ей сказали, что я инструктор губернского Совета рабочих депутатов, хочу с ней говорить. Очень кратко я изложила свою тревогу о судьбе частных библиотек. Я узнала, что многие библиотеки расхищаются, и сказала, что их надо сохранить.

Надежда Константиновна сразу поняла, что это очень серьезный вопрос, и сказала:

— Надо написать специальный декрет об охране библиотек. Переговорите с знающими библиотекарями, соберитесь здесь и обсудим, что делать¹.

Я была тронута.

Потом я бывала довольно часто на различных заседаниях в Наркомпросе.

Всегда там было серьезно и просто и как-то особенно ясно и светло в присутствии Надежды Константиновны.

Среди массы мелких, будничных забот Надежда Константиновна всегда оставалась какой-то совсем не будничной.

Я счастлива была всякий раз видеть ее, что-то в ней было исключительно простое, человеческое, настоящее.

Помню, сидим в ее кабинете, обсуждаем библиотечную смету — трое библиотекарей и Надежда Константиновна. Одна из библиотекарей — уже немолодая и, как мне кажется, несколько тусклая. Надежда Константиновна уговаривает ее стать во главе библиотечного отдела. Та упорно отказывается.

— Не могу, не могу, Надежда Константиновна, — почти с отчаянием говорит она. — Ну разве я центральная фигура?

И Надежда Константиновна ей:

— У нас нет работников, поймите. Все мы должны работать. А я разве центральная фигура?

Мы опять в том же кабинете Надежды Константиновны. Людей много, и они с любопытством и интересом рассматривают Надежду Константиновну — жену Ленина. Она поражает всех простотой своей одежды и простотой, с которой она держится.

В конце собрания кто-то выражает пожелание, чтоб на заседаниях Наркомпроса давали чай. Надежда Константиновна решительно говорит, что этого никак нельзя, сахар очень трудно теперь достать и он дорог.

Однажды Литкенс, видный в то время деятель народного образования, попросил меня:

— Мне надо ехать на съезд по народному образованию. Попросите, не сможет ли Надежда Константиновна подвезти меня на своем автомобиле?

Я охотно берусь исполнить его поручение. Надежда Константиновна говорит:

— Нет, я не поеду. Бензин теперь очень дорого стоит.

¹ Я передаю смысл слов Надежды Константиновны, говорила она, может быть, иначе.

Надежда Константиновна поручила мне пригласить на заседание библиотекарей и работников книжного дела. Я в Москве человек новый. Но вопрос серьезный. Я еду к некоторым библиотекарям и библиографам. Многих не застаю, оставляю записки. Прихожу на заседание. Увы! Из всех мною приглашенных пришел один только известный библиограф Владиславлев. Он беседует о чем-то с Надеждой Константиновной. Потом у нас происходит маленькое совещание об издании книг для народа — для массового читателя. Намечаем людей, которых можно было бы к этому привлечь.

— Во главе издательства будет стоять Николай Александрович Рубакин. Он, наверное, скоро приедет, — говорит Надежда Константиновна.

Она очень высоко ставила Рубакина как знатока книги, блестящего популяризатора и опытного работника в библиотечном деле. В разговоре со мной она называла его своим «учителем» в библиотечной работе и очень ценила его «Среди книг». Помнится, когда мне сказали, что видели эту книгу у букиниста, Надежда Константиновна просила купить ее для нее.

Известие, что во главе издательства для народа будет Рубакин, обрадовало и Владиславлева и меня. Я, правда, знала Рубакина только понаслышке, а Владиславлев работал с ним и знал его лично.

Мне казалась Надежда Константиновна вообще очень мягким, очень терпеливым человеком. Она хорошо относилась к людям. Иногда я думала: «Как может Надежда Константиновна работать с тем или другим человеком!»

Она горячо интересовалась библиотечным делом и мило переделала слова Горького: «Человек — это звучит гордо» — на: «Библиотекарь — это звучит гордо».

Надежда Константиновна не умела приказывать, она мягко говорила мне: «Надо объяснить».

Ближе я познакомилась с Надеждой Константиновной в Подольске. Был там учительский съезд. Как я уже писала, я должна была на нем делать доклад.

Я набрала у Любови Борисовны Хавкиной много книг по библиотечному делу и устроила на съезде выставку книг.

Первый доклад был Крупской, она говорила о народном образовании вообще и о швейцарских школах. Я сама училась в Швейцарии и очень любила свою школу. Надежда Константиновна относилась отрицательно к постановке школьного дела в Швейцарии и считала, что взгляды швейцарских учителей мелкобуржуазные, собственнические.

Когда пришла моя очередь делать доклад, я с огорчением увидела, что Надежду Константиновну уводят вниз, а мне очень хотелось, чтобы она его услышала. Тогда я заявила, что без Надежды Константиновны говорить не хочу, ей это передали, и она сейчас же вернулась.

Помню, что я говорила с большим подъемом. Надежда Константиновна мило, мягко улыбалась. После доклада меня окружила толпа учителей, начались расспросы, я с увлечением отвечала на все и не заметила, как тем временем растащили все до единой книги с моей выставки.

После моего доклада Надежда Константиновна сделала несколько замечаний, говорила о том, как трудно бывает найти подходящую для читателя книгу, как важен вопрос изучения психологии читателя. Она рассказала, как однажды дала одному рабочему читать «Войну и мир» и была очень огорчена, когда услышала от него:

— Эта книга для господ написана, которым есть время лечь на диван и спокойно читать.

Наступал вечер. Какая-то девушка пришла и сказала, что Надежда Константиновна предлагает подвезти меня на своем автомобиле в Москву.

Я спустилась вниз.

Переезд из Подольска в Москву был организован весьма оригинально. Почему-то звонили по прямому проводу в Петроград, чтобы из Москвы выслали автомобиль на полпути из Подольска, а эту первую половину пути нас подвозил какой-то местный комиссар в своем автомобиле.

Почему он не мог в своем автомобиле довезти Надежду Константиновну до Москвы — не ведаю. Почему надо было звонить в Петроград, а не в Москву — тоже не понимаю. Однако мы поехали: Надежда Константиновна, какая-то молодая девушка (очевидно, ее секретарша), подольский комиссар, Литкенс и я.

Доехали до места, когда комиссару надо было ехать к себе. Была ночь, шел дождь, мы вчетвером вышли на дорогу и стали ждать автомобиля из Москвы.

Такой странный переезд жены Председателя Совнаркома из Подольска в Москву меня тогда особенно не удивил. Всё в те годы, а был это восемнадцатый год, второй после революции, было необычайно. Тогда, в ту странную летнюю ночь, я испытывала только радость быть с Надеждой Константиновной: так просто, хорошо было говорить с ней.

Пока мы ехали, она расспрашивала меня и Литкенса о работе в губернском отделе народного образования, сама говорила мало. Я была рада излить ей все мое негодование по поводу разных непорядков.

Надежда Константиновна сидела в глубине автомобиля, по-видимому, страшно усталая и как-то слабо реагировала на то, что я говорила ей. Потом она рассказывала в Наркомпросе при мне кому-то, улыбаясь:

— Вся ночь она меня пилила!

Мне пришлось встретиться с Надеждой Константиновной только в 1934 году. Каково же было мое удивление, когда через с е м н а д ц а т ь л е т она очень подробно вспомнила, что я ей говорила в ту летнюю ночь 1918 года.

Когда мы ехали из Подольска в Москву, около нашего автомобиля остановился какой-то заградительный отряд. Из окна автомобиля высунулся Литкенс и сказал:

— Едет жена Ленина.

И заградительный отряд ответил радостным приветствием.

Ехали дальше, дождь все усиливался и усиливался. Он лил вовсю, когда мы подъехали к Кремлю. Однако Надежда Константиновна вышла из автомобиля и пошла пешком одна, ночью, сказав, чтобы шофер нас развез по домам.

После этой поездки, когда, по выражению Крупской, я «пилила» ее всю ночь, она настойчиво стала уговаривать меня перейти к ней в Наркомпрос.

Я получила повестку, в которой приглашалась на заседание в Наркомпрос. Должен был обсуждаться вопрос о «реквизиции помещичьих библиотек». Я была против реквизиции частных библиотек. Надо было принять меры к охране их, а не реквизировать. Однако я пошла на заседание. Меня встретила Надежда Константиновна:

— Ну что, подали вы заявление? Переходите к нам?

Я ответила смущенно:

— Нет. Я об этом много думала и, получив повестку, почувствовала, что это невозможно.

Надежда Константиновна сказала, улыбаясь:

— Такие мы плохие, что с нами работать нельзя? — И потом серьезно прибавила: — Подумайте еще. Вот мой план. Прочтите его, если вы с ним согласны — переходите на работу к нам.

Она дала мне несколько исписанных листов. Я прочла их внимательно. Все было для меня вполне приемлемо. О помещичьих библиотеках говорилось: «Охрана помещичьих библиотек». Это было то, что я считала правильным. Через некоторое время я поступила в отдел научных библиотек.

Библиотечный отдел разделился тогда: часть библиотек была в ведении внешкольного отдела, которым заведовала Надежда Константиновна, часть — в отделе академических библиотек, которым заведовал Брюсов. В этом отделе я и работала — ездила по стране для описи помещичьих библиотек.

Вернувшись в Москву из одной из моих командировок, я узнала о выстреле Каплан и ране Ленина.

Некоторое время Надежда Константиновна не ходила на работу, а когда вновь пришла, мне показалось, что у нее стало больше седых волос.

Надо было разработать смету по библиотекам внешкольного образования. Я предложила пригласить Любовь Борисовну Хавкину как лучшего знатока библиотечного дела. Оказалось, что Надежда Константиновна хорошо знала книги Хавкиной. Сейчас же после моего доклада в Подольске она стала просить меня привезти ей побольше книг по библиотечному делу. Книги эти она или возвращала мне, или непременно хотела оплатить их стоимость.

Прочтя книгу Хавкиной «Руководство для небольших библиотек», Надежда Константиновна сказала:

— Очень Хавкина аппетитно пишет.

Возвращая небольшую книжечку Хавкиной о Нью-Йоркской публичной библиотеке, Надежда Константиновна сказала мне, что с большим интересом эту книжечку прочел и Владимир Ильич.

Надежда Константиновна очень огорчалась, что из нашей библиотеки (в Наркомпрос тогда была перевезена библиотека какого-то педагогического собрания) взят том Пушкина издания Брокгауза и Ефрона, который хотел читать Ленин. Любопытно, что в те годы, когда, казалось бы, Владимир Ильич так был завален работой, он находил время читать и Пушкина, и даже книжечку о Нью-Йоркской публичной библиотеке.

Я поехала к Хавкиной просить ее приехать в Наркомпрос, но Хавкина отказалась, говоря, что не поедет, так как не получила письменного приглашения. Я была очень огорчена и спросила Литкенса, что делать. Он посоветовал:

— Садитесь на трамвай и поезжайте к Надежде Константиновне — пусть она письменно пригласит Хавкину.

Через десять минут я была в Наркомпросе. Надежда Константиновна обедала. Я влетела в столовую и объяснила ей причину моего прихода.

Надежда Константиновна встала и кротко пошла писать приглашение Хавкиной.

Мы прошли в приемную Надежды Константиновны. Проходя мимо маленькой комнаты у входа, Надежда Константиновна показала мне на громадный плакат с изображением убитых во время империалистической войны. Помню, она говорила об ужасах и жестокостях войн.

Надежда Константиновна писала записку Хавкиной и говорила:

— Что она у вас такая формалистка? Может быть, печать надо поставить?

Я, смеясь, ответила, что печати не надо, и со своей стороны сказала, как я рада, что Надежда Константиновна работает в Наркомпросе, как хорошо и просто с ней.

— Я вас тоже очень люблю, — ответила она.

С Надеждой Константиновной мне приходилось в то время встречаться не часто, тем более что отдел внешкольного образования находился внизу, а наш — на самом верху здания бывшего Николаевского лицея. Кроме того, я постоянно бывала в разъездах.

Чаще всего я сталкивалась с ней в столовой. Первое время она по долгу, как и все мы, стояла в хвосте, чтобы получить обед. Обед был неважный. Наши служащие уверяли, что кормят кониной.

Надежда Константиновна постоянно расспрашивала меня, довольна ли я своей работой, и явно огорчалась моим подавленным видом.

Однажды я приехала из имения князя Волконского, где прожила неделю в пустом, полуразграбленном доме в шестьдесят комнат. Я описывала там библиотеку. Дом грабили. Приезжавшие до меня комиссии опечатали ряд комнат, но печати с них срывались.

В моем мандате было сказано, чтобы мне предоставили комнату и питание. Обедала я в какой-то общественной столовой за пять верст от имения князя Волконского, идти туда нужно было частью лесом, частью какой-то болотистой дорогой, в которой я увязала. Я приходила промокшая, а сушиться было негде — не было ни огня, ни света. Только свечи, которые я привезла с собой.

Из этой командировки я приехала сильно простуженная, с невероятным охрипшим голосом. Никто в нашем отделе не обратил на это внимания, но Надежда Константиновна, встретив меня, сильно заволновалась, расспрашивала, что со мной, говорила, что надо лечиться, что-то делать. Она советовала скорее лечь, не ходить на службу. Эта заботливость Надежды Константиновны меня тогда очень тронула. Я была едва знакомым ей человеком и очень маленьким служащим.

Очень она была человеком мягким, чутким, деликатным, необычайно простым, искренним, правдивым, чрезвычайно сдержанным.

Я уехала из Москвы, унося в душе ее прекрасный образ, ее слова, что она меня любит, и уверенность, что она всегда откликнется, ответит, поможет, если обратиться к ней.

В 1931 году я послала Крупской моего племянника с письмом, в котором просила ее поддержки.

Моего племянника Надежда Константиновна встретила очень приветливо. Он был тогда юношей лет двадцати. Она выслушала его внимательно, сказала, что помнит, что я «кипятилка», всегда «кипячусь», и просила его, так как он ехал дальше в Ленинград, на обратном пути зайти опять к ней. Его, как и меня, она очаровала своей мягкостью и простотой.

Между прочим, в приемной комнате перед ее кабинетом разыгралась забавная сценка. Дверь в приемную приоткрылась, и в ней появились головы двух мальчишек.

Один другому шепотом объяснял:

— Когда откроется дверь налево — войдешь.

Фигурки мальчишек были довольно комичны. Оказалось, один из мальчишек посоветовал другому пройти к «жене Ленина» и попросить у нее пальто. Ему самому уже удалось пройти к Крупской, и пальто он уже получил.

Им объяснили, что Крупская не раздает пальто, и тогда один из мальчишек негодуяше сказал:

— Какой бюрократизм!

В 1933 году из библиотеки Украинской Академии наук были несправедливо уволены хорошие работники.

Я решила поехать в Москву и рассказать об этом Надежде Константиновне. Сначала я написала ей письмо, а потом поехала в Москву сама.

Тогда в последний раз я видела Крупскую. Приехав, я сейчас же позвонила ей. К телефону подошла она сама. Я услышала ее милый голос. Приехала я неудачно. Шел XVII съезд. На работу Надежда Константиновна не ездила. Однако она сейчас же назначила мне день и час, когда я смогу видеть ее в Наркомпросе.

Я переспросила по телефону:

— Надежда Константиновна, вы наверное будете?

И она как-то печально ответила:

— Наверное я ничего сказать не могу.

После этого я отправилась в Наркомпрос. Я хотела заранее узнать, как пройти к Надежде Константиновне, где ее кабинет.

Секретарши сидели перед горами писем. Писали, очевидно, со всех концов страны. Сохранились ли эти письма? Какой громадный интерес должны они представлять для историка нашей эпохи!

На следующий день я мчалась вволю и пришла в Наркомпрос ровно в десять, в пять минут одиннадцатого была в приемной.

Секретарша с укором сказала, что Надежда Константиновна меня уже ждет. Я вошла. Кабинет был маленький, без всяких украшений. Стол письменный, за ним сидела Крупская. Она очень сильно изменилась за эти годы. Но я знала ее по портретам и не удивилась. Она же, очевидно, удивилась, увидев меня, и сказала:

— Мы с вами были моложе, когда работали вместе.

Я вспомнила Классона, Коробко, работавших с ней еще в подполье.

— Я из ваших воспоминаний знаю, что это в квартире тети Сони и Классона вы впервые встретились с Владимиром Ильичем,— сказала я.

Лицо Надежды Константиновны просветлело. Старых знакомых она охотно вспоминала. Вспоминала и Классона, мужа моей тети, сказала, что он был ее учителем марксизма.

Я сказала Надежде Константиновне, что умерла одна из ее близких подруг, с которой она работала вместе в школах рабочих в Петербурге, в социал-демократических кружках и за Смоленской заставой,— Мария Вильямовна Кистяковская.

Надежда Константиновна очень опечалилась. С грустью сказала:

— Все мои сверстники умирают. Мария Вильямовна была умная, очень умная женщина.

Я сказала, как нелепо был оклеветан муж Марии Вильямовны — Богдан Александрович Кистяковский, он уехал из Киева и умер где-то. А он был очень крупный ученый.

Надежда Константиновна промолчала.

Я стала рассказывать ей о моем деле. Мне очень хотелось в эти полчаса успеть ей все объяснить. Вероятно, я повторяла то, что уже писала в письме, поэтому Крупская даже немного насмешливо окончила мою фразу.

— Как вы хорошо запомнили мое письмо,— удивилась я.

— Да, я его перечитала перед тем, как сюда приехать.

Мне показалось, что Надежда Константиновна слушала меня как-то безучастно, даже уклонялась от моей просьбы. Она стала с горячим

интересом вспоминать то, о чем я говорила в ту ночь 1918 года, когда мы ехали с ней из Подольска.

Я была очень тронута, что Надежда Константиновна так помнит все, что я говорила много лет тому назад, но чувствовала: не останется времени для дела, из-за которого я приехала.

И я с отчаянием сказала:

— Надежда Константиновна, я чувствую себя, как, помните, в былые времена на свидании в тюрьме. Вдруг встанут и скажут: свидание кончено.

— Ну что же,— сказала Надежда Константиновна,— если мы все так заняты.

Теперь я понимаю, что Надежда Константиновна, наверное, в то время ничем не могла помочь. Поэтому мне тогда и казалось, что она как-то не реагировала на мои слова.

Когда я собралась уже выходить, Надежда Константиновна сказала:

— Дайте мне ваш адрес, я вам напишу.

Надежда Константиновна мне так и не написала.

Когда я уходила от Надежды Константиновны, я уже у двери обернулась на нее.

Мне было грустно. Думалось: никогда больше не увижу.

Надежда Константиновна в раздумье ходила взад и вперед по своему кабинету и говорила сама себе:

— Да, ее звали Софья Ивановна Мотовилова.

Это она вспоминала мою тетю Софью Ивановну Мотовилу, по мужу Классон, в квартире которой на Охте впервые встретилась она с Владимиром Ильичем.



ДЖОН СТЕЙНБЕК

★

ТРИ РАССКАЗА

Молли Морган

Молли Морган сошла с поезда в Салинасе и почти час ждала автобуса. Большая машина была пуста: в ней ехали только шофер и Молли.

— Знаете, я никогда еще не бывала в Райских Пастбищах,— сказала она.— Далеко это от шоссе?

— Около трех миль,— ответил шофер.

— А найду я там машину до самых Пастбищ?

— Нет, если только вас не встретит кто-нибудь.

— Но как же туда добираются?

Шофер с явным удовольствием проехал по распростертому на дороге кролику.

— Я только мертвых давлю,— пояснил он извиняющимся тоном,— а тех, что попадают в свет фар, стараюсь уж как-нибудь объехать.

— Я понимаю, но как же мне все-таки добраться до Райских Пастбищ?

— Не знаю я. Пешком, наверное. Все пешком ходят, если их не встречают.

Когда он высадил ее у проселка, Молли Морган уныло подняла свой чемодан и зашагала в сторону холмов. Но вот, поравнявшись с нею, скрипнул тормозами старый фордовский грузовичок.

— В долину, мэм?

— Да, да, в долину.

— Тогда садитесь. Да вы не бойтесь. Я Пэт Хамберт. У меня свой дом в Пастбищах.

Молли бросила взгляд на запыленного человека, сидящего за рулем, и приняла приглашение.

— Я ваша новая учительница. То есть я надеюсь, что буду здесь учительницей. Вы не знаете, где живет мистер Уайтсайд?

— Ну еще бы, я как раз и еду в ту сторону. Он у нас председатель попечительского совета. Сам я, знаете ли, тоже в совете. Мы там все гадали, какая вы...— Он вдруг смутился и покраснел под слоем пыли.— То есть я, конечно, хотел сказать, что вы собой представляете. С той учительницей мы, откровенно говоря, намаялись. Работала-то она хорошо, но уж больно часто болела. Да и нервная была. А потом и вообще ушла из-за своих болезней.

Молли пощипывала кончики пальцев в перчатках.

— В письме, что я получила, сказано, чтобы я зашла к мистеру Уайтсайду. Как он, ничего?.. Ах, что-то я не то говорю. Я хотела спросить, что он за человек?

— О, вы с ним отлично поладите. Он славный старик. Родился в том самом доме, в котором и сейчас живет. И в колледже учился, как вы. Хороший человек. Вот уже больше двадцати лет председатель попечительского совета.

Выйдя из машины у большого старинного дома Джона Уайтсайда, Молли испугалась по-настоящему.

«Ну вот, сейчас начнется,— подумала она.— А чего бояться-то? Что он мне сделает?»

Молли было всего девятнадцать лет, и она чувствовала, что предстоящий разговор о ее первой работе — важнейшее событие во всей ее жизни.

На пути к дому она несколько не успокоилась. Дорожка пролегла между аккуратными маленькими клумбочками, которые были обсажены подстриженными кустиками, и казалось, что тот, кто сажал эти цветы, сделал им внушение: «Растите и размножайтесь, но не растите слишком высоко и не размножайтесь слишком обильно, а пуще всего остерегайтесь выбегать на эту дорожку». Во всем здесь чувствовалась твердая рука — направляющая и исправляющая.

Большой белый дом выглядел очень внушительно. Желтые деревянные жалюзи были опущены, чтобы лучи полуденного солнца не проникали в комнаты. Когда Молли дошла до половины дорожки, она увидела веранду — теплую, широкую, приветливую, словно объятия.

«Вот посмотришь на крыльцо — и сразу скажешь, гостеприимный дом или нет. А что, если бы дверь была малюсенькая, а крыльца и вовсе не было?» — мелькнуло у Молли в голове. Но, невзирая на радующие широких ступеней и большой парадной двери, робость не оставляла ее. Она позвонила. Дверь открылась; перед Молли стояла крупная спокойная женщина и с улыбкой глядела на нее.

— Надеюсь, вы ничего не продаете,— проговорила миссис Уайтсайд.— Я вечно покупаю то, что мне не нужно, а потом ем себя поедом.

Молли рассмеялась. Она вдруг почувствовала себя очень счастливой. До этой минуты она и сама не знала, как она боялась.

— О нет! — воскликнула она.— Я новая учительница. В письме было сказано, что со мной будет беседовать мистер Уайтсайд. Можно его увидеть?

— Конечно. Он как раз кончает обедать. А вы уже обедали?

— Да, конечно. То есть нет.

Миссис Уайтсайд хмыкнула и, пропуская ее в дверь, сказала:

— Приятно услышать столь определенный ответ.

Она провела Молли в большую столовую, где вдоль стен стояли серванты из красного дерева. Квадратный стол был заставлен тарелками.

— О, Джон, должно быть, уже пообедал и ушел. Садитесь, милая барышня. Сейчас я принесу жаркое.

— Нет, что вы! Благодарю вас, право же не надо. Я только поговорю с мистером Уайтсайдом и сразу уйду.

— Садитесь, садитесь. Надо же вам сначала подкрепиться.

— А он что — очень круг?.. Я имею в виду... с новыми учителями?

— Ну, это уж смотря по обстоятельствам,— ответила миссис Уайтсайд.— Если он не отобедал, он прямо зверь и страшно на них кричит. А если он только что из-за стола — свиреп, но в меру.

Молли радостно рассмеялась.

— У вас, конечно, есть дети,— сказала она.— Вы воспитали много детей и любите их.

Миссис Уайтсайд нахмурилась.

— Нет, это меня воспитал ребенок. Всего один ребенок. Да еще

Голоса на дереве смолкают. Шумливая отвага орла и петуха задавлена угрызениями совести. Молли сидит в пыльном дворике и обматывает тряпку вокруг палки. Она старается представить себе, что это высокая леди в платье.

— Молли, иди посиди со мной. Я так устала сегодня.

Молли втыкает палку в землю.

— Ну и выпорю же я вас, мисс, когда вернусь,— свирепо шипит она. Потом покорно уходит в дом.

Мать сидит на кухне в кресле с прямой спинкой.

— Подойди же ко мне, Молли. Посиди со мной немножко. Люби меня, Молли. Люби хоть капельку. Ты ведь моя славная дочурка, верно? Молли ерзает на стуле.

— Разве ты не любишь свою мамочку, Молли?

Девочка чувствует себя очень несчастной. Она знает, что сейчас мама начнет плакать и надо будет гладить ее по растрепанным волосам. И Молли и братья знают, что они должны любить свою маму. Ведь она сделала для них все, буквально все. Им стыдно, что они так не любят сидеть с ней, но они ничего не могут с собой поделать. Когда она зовет их, а они знают, что она их не видит, они притворяются, что не слышат, и, тихо перешептываясь, стараются удрать подальше...

— Ну что ж, пожалуй, надо начать с того, что мы были очень бедны,— сказала Молли Джону Уайтсайду.— Мне кажется, мы жили просто как нищие. У меня было два брата, чуть старше меня. Мой отец был коммивояжером, но маме все равно приходилось работать. Она страшно много работала, для того чтобы содержать нас.

Примерно раз в полгода происходило великое событие. Утром мама тихо выходила из спальни. Волосы ее были причесаны со всей возможной тщательностью, глаза сияли, она казалась счастливой и почти хорошенькой.

— Тише, дети. Папа приехал,— говорила она шепотом.

Молли и мальчики неслышно выскальзывали из дома и даже во дворе еще говорили шепотом. Новость быстро облетала соседние дома. Вскоре двор наполнялся ребятишками. Те тоже говорили шепотом.

— Говорят, их отец приехал.

— Это правда, что ваш папа приехал?

— А где он был в этот раз?

К полудню во дворе собиралось полным-полно ребят. Сгорая от нетерпения, они стояли маленькими группами и шикали друг на дружку.

И тут с шумом распахивалась кухонная дверь и во двор выскакивал отец.

— Эгей! — кричал он что есть мочи.— Эгей, детишки!

Молли и братья кидались к нему, жались к его ногам, а он хватал их на руки и подбрасывал вверх, словно котят.

Тут же суетилась миссис Морган и взволнованно хлоптала:

— Дети, дети! Не изомните папе костюм.

А соседские ребятишки кувыркались и визжали от радости. Это было лучше всякого праздника.

— А что я вам покажу! — кричал отец.— Вот погодите немного и увидите, что я вам привез. А пока это секрет.

И когда страсти немного утихали, он выносил на крыльцо чемодан и открывал его. Там были такие подарки, каких ребята никогда в жизни и не видывали: диковинные механические игрушки — жестяные жучки, которые умели ползать, танцующие деревянные негры, чудесные экскаваторы, которыми можно было копать песок. Здесь были дивные стек-

лянные шарики, в самой серединке которых сидел медведь или собака. У него находилось что-нибудь для каждого, для каждого по несколько штук. Казалось, что все большие праздники сгрудились в один.

Только к вечеру ребята немного успокаивались, и никто уж больше не взвизгивал вдруг ни с того ни с сего. И тогда Джордж Морган усаживался на ступеньку, а все садились вокруг него, и он рассказывал им о своих приключениях. На этот раз он был в Мексике, в ту самую пору, когда там случилась революция. А кроме того, он побывал в Гонолулу, видел вулкан и катался на доске по волнам прибоя. И вечно города, и вечно люди, разные люди, и вечно приключения, тысячи забавных случаев, смешных-смешных. Рассказать все сразу было невысказано. После школы они снова собирались, чтобы слушать и слушать без конца. По всему белому свету бродил Джордж Морган, собирая удивительные приключения.

— Что касается нашей семейной жизни,— проговорила мисс Морган,— я бы сказала, что у меня почти что не было отца. Ему редко когда удавалось вырваться домой из деловых поездок.

Джон Уайтсайд грустно кивнул.

Молли стала машинально разглаживать подол платья, взгляд ее затуманился.

Однажды он привез в коробке коротконогую лохматую щенка, который немедленно намочил на полу.

— А какой породы эта собака? — спросил Том с видом знатока.

Отец громко расхохотался.

До чего же он был молод! Казалось, что он моложе матери лет на двадцать.

— Это собачка на полтора доллара,— объяснил он.— На полтора доллара можно получить целую бездну собачьих пород. Знаешь, на что это похоже? Представь себе, что тыходишь в кондитерскую и говоришь: «Дайте мне на пять центов мятных лепешек, тянучек и малиновой карамели». Ну, а я пошел и сказал: «Дайте-ка мне на полтора доллара собачьей смеси». Понял, какой породы эта собака? Она принадлежит Молли, и Молли должна придумать ей имя.

— Я назову ее Джордж,— сказала Молли.

Отец как-то чудно поклонился ей и сказал:

— Спасибо, Молли.

И все заметили, что на этот раз он не смеется.

На другой день Молли встала очень рано и повела Джорджа во двор, чтобы показать ему где что. Она раскрыла тайничок, где были спрятаны два пенса и золотая пуговица полицейского. Положив передние лапки щенка на забор, показала ему школу, которая виднелась в конце улицы. И наконец, держа Джорджа под мышкой, полезла на иву. Из дома вышел Том и стал вертеться под деревом.

— Смотри не урони его! — крикнул он.

И в ту же минуту щенок вывернулся из-под руки и упал. Он глухо шмякнулся о твердую землю. Одна лапка неестественно изогнулась, и щенок завизжал протяжно, страшно, всхлипывая и задыхаясь. Молли слезла с дерева пришибленная, потрясенная. Бледный, с искаженным лицом, Том склонился над щенком, а Джордж, щенок, все визжал и визжал.

— Так нельзя! — закричал Том.— Нельзя! — Он бросился к поленнице дров и вернулся с топором.

Молли была так ошеломлена, что даже не отвернулась, но Том зажмурился перед тем, как ударить. Визг тут же умолк. Том отбросил топор

и перескочил через изгородь. Молли увидела, как он бросился бежать, словно за ним гнались по пятам.

В эту минуту из дома вышли Джо и отец. Молли и сейчас помнит, каким изможденным, худым и серым стало его лицо, когда он увидел щенка. Молли посмотрела на него и заплакала.

— Я уронила его с дерева, и он расшибся, а Том ударил его, а после убежал...

Голос у нее был словно чужой. Отец прижал к себе голову девочки.

— Бедняга Том! — проговорил он. — Запомни, Молли, ты никогда не должна ни слова говорить ему об этом и не смотреть на него так, словно ты помнишь.

Он набросил на щенка рогожу.

— Надо будет устроить похороны, — сказал он. — Я вам рассказывал когда-нибудь о том, как я был на китайских похоронах, о бумажных цветах, которые подбрасывали в воздух, о толстеньких жареных поросятах на могиле? — Джо пододвинулся поближе, и даже в глазах у Молли мелькнуло любопытство. — А дело было так...

Молли взглянула на Джона Уайтсайда, и ей показалось, что он внимательно изучает какую-то бумажку на своей конторке.

— Когда мне было двенадцать лет, мой отец погиб при катастрофе, — сказала она.

Счастливая пора длилась обычно около двух недель. И неизбежно наступал такой день, когда Джордж Морган отправлялся в город и не возвращался оттуда до поздней ночи. Мать рано укладывала их спать, но они все равно слышали, как он входил в комнату, наталкиваясь на мебель, слышали его голос, доносившийся к ним сквозь стену. В такие ночи голос его звучал грустно и растерянно — он никогда так не говорил. Дети лежали в постели, затаив дыхание, они знали, что все это значит. Наутро он уедет и унесет с собой их сердца.

Они без конца спорили о том, кто он такой. Их отец был счастливый аргонавт, чудесный рыцарь. Добродетель, отвага и красота служили ему кольчугой.

— Когда-нибудь, — говорили мальчики, — когда мы вырастем, мы поедем с ним вместе и сами все увидим.

— Я тоже поеду, — решительно заявляла Молли.

— Да ты девчонка, тебе нельзя.

— Ну и что, он-то все равно разрешит мне. Сами знаете, что разрешит. Он заберет меня с собой, вот увидите.

Когда он уезжал, мать снова впадала в уныние и ходила с покрасневшими глазами. Она сварливо домогалась их любви, словно это был паке, который они могли сунуть ей в руки.

Как-то раз отец уехал и больше не вернулся. Он и прежде никогда не посылал им денег и даже не писал, но теперь он исчез совсем. Они ждали его два года, а потом мать сказала, что он, наверное, умер. Ребята похолодели при одной лишь этой мысли, но поверить в то, что это возможно, они отказались. Такой прекрасный и добрый человек, как их отец, не мог умереть. Он странствует и сейчас в каком-то неведомом краю. Есть всякая причина, которая мешает ему к ним вернуться. Когда-нибудь эта похеха исчезнет, и он приедет — в одно прекрасное утро он появится здесь с такими подарками да историями, каких еще никогда не бывало. Но мать сказала, что он, как видно, попал в аварию. Он, наверно, погиб. Мать просто обезумела от горя. Она читала объявления, предлагавшие надомную работу. Ребята делали бумажные цветы и стыдливо пытались

продавать их. Мальчики пробовали устроиться разносчиками журналов, семья голодала. В конце концов, когда терпеть было уже невозможно, мальчики убежали из дому и поступили во флот. После этого Молли видела их так же редко, как прежде отца, и они так изменились, стали такими шумливыми и грубыми, что ей и не хотелось видеть их чаще. Братья стали чужими.

— Я окончила среднюю школу, уехала в Сан-Хосе и поступила в учительский колледж. Работала прислугой у миссис Аллен Морит и получила за это комнату и еду. Моя мать умерла еще до того, как я окончила школу, так что я, пожалуй, сирота.

— Очень сочувствую вам,— пробормотал Джон Уайтсайд.

Молли вспыхнула.

— Я не хотела вызвать ваше сочувствие, мистер Уайтсайд. Но вы сказали, что хотите знать обо мне все. Каждый человек когда-нибудь становится сиротой.

Молли работала, чтобы получить комнату и еду. Она делала все, что полагалось делать постоянной прислугой, но денег ей не платили. Деньги на одежду она откладывала, работая продавицей во время летних каникул. Миссис Морит умела школить своих служанок.

— Я беру в услужение желторотую девчонку, которая и цента не стоит,— любила повторять миссис Морит,— и через полгода она уже может зарабатывать пятьдесят долларов в месяц. Многие женщины знают это и просто переманивают к себе моих девушек. Вот эта — первая студентка, которую я решила нанять, и даже она делает заметные успехи. Она, правда, слишком много читает. Я всегда говорю, что в десять часов служанка должна уже спать, иначе она не сможет как следует работать.

Метод миссис Морит заключался в том, что она без раздражения, но твердо пилила своих служанок за каждую мелочь. «Я не хочу к вам придираться, Молли, но, если вы не будете тщательнее вытирать серебро, на нем останутся разводы». «Нож для масла надо класть сюда, Молли. Тогда вот здесь вы сможете поставить бокал».

— Я каждый раз все обосновываю,— рассказывала она своим друзьям.

Вечером, вымыв посуду, Молли садилась на свою кровать и принималась за книги, а когда гасили свет, она ложилась и думала об отце. Это было смешно, она знала. Пустая трата времени, не больше... Отец входил в дверь — на нем был сюртук с закругленными лапами, полосатые брюки и цилиндр. В руке он держал огромный букет красных роз.

— Я не мог приехать раньше, Молли. Одевайся скорее. Сейчас мы с тобой пойдем покупать то вечернее платье, что выставлено в витрине «Пруссии». Но надо спешить. Сегодня вечером мы едем в Нью-Йорк. Я уже взял билеты. Скорее, Молли! Что же ты стоишь разинув рот?..

Это было так глупо. Ведь отец умер. Впрочем, в глубине души она не верила в это. Он живет где-то, его жизнь прекрасна, и когда-нибудь он вернется к ней.

Молли говорила одной из своих школьных подруг:

— Ты понимаешь, я и не верю и верю в это. Если я когда-нибудь узнаю, что он и вправду умер, это будет ужасно. Просто не представляю, что со мной будет. Я и думать не хочу, что когда-нибудь точно узнаю, что его нет в живых.

Когда умерла ее мать, она не почувствовала ничего, кроме угрызений совести. Мать так хотела, чтобы дети ее любили, и не знала, как добиться этой любви. Она оттолкнула их от себя своей назойливостью.

— Ну вот и все как будто,— закончила Молли.— Я получила диплом, и меня послали сюда.

— Пожалуй, это самый ясный рассказ из всех, что мне приходилось выслушивать,— заметил Джон Уайтсайд.

— Значит, вы считаете, что я могу получить это место?

Старик бросил быстрый взгляд на большую трубку над каминной доской.

«Это его друг,— подумала Молли.— У них свои секреты».

— Да, я думаю, что вы получите эту работу. Я даже думаю, что вы ее уже получили. Ну, а где вы намерены жить, мисс Морган? Вам ведь надо найти себе где-нибудь комнату и пансион.

И прежде чем она поняла, что говорит, Молли выпалила:

— Я хочу жить здесь.

Джон Уайтсайд изумленно открыл глаза.

— Но мы никогда не брали постояльцев, мисс Морган.

— О! Мне очень жаль, что я это сказала. Но мне так понравилось у вас.

Он позвал:

— Уилла!

А когда жена его приоткрыла дверь, сказал ей:

— Эта молодая леди хочет поселиться у нас. Она наша новая учительница.

Миссис Уайтсайд нахмурилась.

— Вот уж не ожидала. Мы никогда не брали постояльцев. Она слишком хорошенькая, чтобы жить рядом с таким дуралеем, как Билл. Что станет с его коровами?хлопот не оберешься... Вы можете спать в третьей спальне наверху,— продолжила она, обращаясь к Молли,— голько боюсь, она не очень солнечная.

Жизнь преобразилась. Молли вдруг поняла, что она королева. С первого же дня она завоевала восторженную любовь учеников, потому что и сама понимала их и, что гораздо важнее, не препятствовала тому, чтобы они понимали ее. Она не сразу осознала, что стала важной персоной. Если в лавке двое фермеров затевали спор о чем-нибудь, касающемся истории, литературы или математики, и дискуссия заходила в тупик, они говорили:

— Давай-ка спросим учительницу. Если она и не знает, то прочитает в своих книжках.

Молли очень гордилась тем, что может отвечать на такие вопросы. Устраивали где-нибудь вечеринку — Молли приглашали помочь украсить помещение и советовались с ней насчет напитков и угощения.

— Мне кажется, надо повесить всюду сосновые ветки. Они такие красивые и так приятно пахнут. Праздником пахнут.

Считалось, что она все знает и во всем может помочь, и это очень радовало ее.

Дома, на кухне, она безропотно выполняла распоряжения ворчливой Уиллы. Когда прошло полгода, миссис Уайтсайд пожаловалась мужу:

— Если бы у Билла хоть чуть-чуть варила голова. Хотя... Если у нее хоть немного варит...— И она умолкла.

По вечерам Молли писала письма тем немногим подругам, которые появились у нее в учительском колледже, письма, полные радости и разных историй из жизни ее соседей. Она должна присутствовать на всех вечеринках, чтобы поддерживать свой престиж. По субботам она уходит гулять в горы и приносит оттуда папоротник и дикие цветы и сажает их возле дома.

Билл Уайтсайд бросил на Молли один-единственный взгляд и тут же сбежал к своим коровам. Прошло много времени, прежде чем он решил-

ся вступить с ней в продолжительную беседу. Это был рослый и представительный молодой человек, не обладавший ни строгой добротой отца, ни смешливостью матери. Однако в конце концов он стал ходить за Молли следом и глядеть на нее издали.

Как-то вечером, полная чувства благодарности за свое счастье, Молли рассказала Биллу об отце. Они сидели на складных парусиновых стульях на веранде и ждали, когда взойдет луна. Она рассказала ему о редких приездах отца и о его исчезновении.

— Вы понимаете меня, Билл? — воскликнула она. — Мой милый отец жив. Мой отец. Ведь он жив, правда, Билл?

— Возможно, — ответил Билл. — Но судя по тому, что вы рассказываете, он довольно ответственный субъект. Вы уж меня простите, Молли... Опять же если он не умер, не понятно, почему он ни разу не написал вам.

Молли похолодела. Это были те самые доводы, которые она гнала от себя все эти годы.

— Да, конечно, — сказала она сухо. — Я понимаю. А теперь мне надо поработать, Билл.

На вершине одного из холмов, обступивших долину Райских Пастбищ, стояла старая хижина. Оттуда открывался вид на окрестности и близлежащие дороги. Рассказывали, что хижину эту построил разбойник Васкес и что он прожил в ней целый год, а в это время отряды полиции рыскали в поисках его по всей округе. Хижина была местной достопримечательностью. Рано или поздно каждый житель долины должен был посмотреть на нее. Молли то и дело спрашивали, побывала ли она там.

— Еще нет, — отвечала она, — но я обязательно схожу. Как-нибудь в субботу. Я знаю, где тропинка.

Однажды утром она надела башмаки для прогулок и вельветовую юбку. Билл нерешительно подошел к ней и попросил разрешения сопроводить ее.

— Нет, — ответила она. — Вам надо работать. Как я могу отрывать вас от работы?

— А ну ее к чертям! — сказал Билл.

— И все же я пойду одна. Я не хочу вас обижать, Билл, мне просто хочется пойти одной.

Ей было жаль, что она не разрешила ему пойти, но то, что он сказал об ее отце, ее напугало. «Я хочу, чтобы это было приключение, — думала она. — А если со мною пойдет Билл, никакого приключения не получится. Будет просто прогулка, только и всего».

Целых полтора часа карабкалась она по крутой тропинке, которая вилась между дубами. Опавшие листья были скользкими, как стекло, палило солнце. Воздух был напоен ароматом папоротников и влажного мха. Когда Молли наконец добралась до вершины, она вспотела и запыхалась. Хижина стояла на небольшой вырубке — бревенчатый домишко, всего одна комната без окон. Дверной проем зиял чернотой. Здесь царил тишина, та гудящая тишина, когда лишь жужжат мухи и пчелы да цвиркают кузнечики. Весь горный склон негромко напевал, пригретый солнечными лучами. Молли на цыпочках приблизилась к хижине. Сердце ее бешено колотилось.

— Вот оно, приключение, — прошептала она. — Я в хижине Васкеса!

Она заглянула в дверь и увидела убегающую ящерицу. Лба девушки коснулась паутина, словно пытаясь остановить ее. В хижине было пусто — лишь земляной пол да трухлявые бревенчатые стены и тот сухой запах застывшего, который издаст земля, давно не видевшая солнца. Молли была сама не своя от волнения.

«Ночью он сидел здесь. Иногда ему казалось, что к хижине подкрады-

ваются люди, он выходил из дверей, словно дух темноты, и пропадал, растворялся во мгле». Она взглянула вниз, на долину Райских Пастбищ. Темно-зеленые квадраты садов, желтые хлеба, а позади — светло-коричневые, в лиловатой дымке горы. Между фермами вились и петляли дороги, здесь минуя поле, там огибая огромное дерево, тут — горный склон. Над всей долиной висело знойное марево.

— Нет, просто не верится! — шептала Молли. — Чудесно! Самое настоящее приключение!

Легкий ветерок поднялся над долиной и замер, как будто кто-то вздохнул во сне.

«А днем юный Васкес смотрел на долину так же, как смотрю теперь я. Он стоял на этом самом месте и глядел на дороги внизу. На нем был пурпурный жилет, расшитый золотыми галунами, брюки с раструбами книзу облегали его стройные ноги. Колесики на шпорах он обертывал шелковыми лентами, чтобы они не звенели при ходьбе. Случалось, на дороге он замечал конный отряд полиции. По счастью, всадники ехали, опустив головы, и не глядели на вершины гор. Васкес смеялся, но все же ему было страшновато. А иногда он пел. Тихие, печальные песни — он ведь знал, что ему недолго жить».

Молли сидела на холме, подперев ладонями подбородок. Молодой Васкес стоял с нею рядом, у него было веселое лицо ее отца, его сияющие глаза — такие бывали у отца, когда он выскакивал на крыльцо и кричал: «Эгей, детишки!» И все это было словно одно из отцовских приключений. Молли стряхнула с себя оцепенение и встала. «Ну, а теперь надо вернуться к самому началу и снова все обдумать».

К вечеру миссис Уайтсайд послала Билла на розыски Молли. «Всякое бывает. А вдруг она вывихнула ногу?» Но едва только Билл свернул с дороги к тропинке, Молли вышла ему навстречу.

— А мы уже начали беспокоиться, что вы заблудились, — проговорил он. — Ходили смотреть хижину?

— Да.

— Смешная развалюха, верно? Самый обыкновенный старый сарай. Здесь, в долине, таких сколько угодно. Но вы не поверите, какая бездна народу таскается поглядеть именно на тот. И что самое смешное — никто не может поручиться, что сам Васкес хоть раз заглянул туда.

— Он там жил, я уверена!

— А почему вы так думаете?

— Не знаю.

Билл стал серьезным.

— Все считают Васкеса каким-то героем, а на самом деле он просто вор. Начал с того, что воровал лошадей и овец, а кончил тем, что стал грабить почтовые дилижансы. Да еще убил нескольких человек. Мне кажется, Молли, что мы должны учить людей ненавидеть грабителей, а не поклоняться им.

— Конечно, Билл, — проговорила она устало, — вы совершенно правы. Ничего, если мы некоторое время помолчим? Я немного устала, и нервы что-то расходились.

Минул год. Вербы украсились пушистыми сережками, на склонах гор запестрели дикие цветы. Молли знала теперь, что в долине Райских Пастбищ она и нужна и любима. Ее даже приглашали на заседания попечительского совета. В былые времена, когда эти загадочные и торжественные сборища проводились за закрытыми дверями, они вселяли во всех священный трепет. Однако после того, как Молли была допущена в гостиную Джона Уайтсайда, она узнала, что попечительский совет толкует о видах на урожай, рассказывает разные истории и незлобиво сплетничает.

Берт Монро, избранный в совет в начале осени, к весне стал самым

деятельным его членом. Ведь именно он предложил устраивать в здании школы танцевальные вечера, ему принадлежали все эти затеи с любительскими спектаклями и пикниками. Он даже назначил премии за лучшие табеля. Члены попечительского совета возлагали на Берта Монро немалые надежды.

Как-то вечером Молли спустилась из своей комнаты с опозданием. Как и всегда во время заседаний совета, миссис Уайтсайд сидела в столовой.

— Я, пожалуй, не пойду туда сегодня, — сказала Молли. — Пусть разок побудут без меня. Мне иногда кажется, что, если бы меня там не было, они рассказывали бы какие-нибудь совсем другие истории.

— Идите, идите, Молли, что за выдумки! Разве они смогут заседать одни? Они к вам так привыкли, что пропадут без вас. К тому же я совсем не уверена, что им следует рассказывать эти свои другие истории.

Молли покорно постучалась и вошла в гостиную. Берт Монро, который что-то говорил в эту минуту, учтиво смолк.

— Я сейчас рассказывал о моем новом батраке, мисс Морган. Начну сначала, история забавная. Мне, видите ли, понадобился работник на сенокос, и я подобрал этого типа под мостом через Салинас. Он на ногах не стоял, но оказалось, что ему нужна работа. Сейчас, когда я его взял, я вижу, что толку с него, как с козла молока, но прогнать уже не могу. Этот весельчак исходил весь свет. Вы бы послушали, как он рассказывает о разных местах, где он был. Мои ребяташки не позволяли мне его прогнать, даже если я захочу. Понимаете, увидит он какую-нибудь ерунду, а расскажет так, что просто чудо! Ребятишки сидят вокруг него развесив уши. А раза два в месяц он ходит в Салинас и запивает горькую. Он запойный. Тамошние полицейские как найдут его в канаве, так сразу звонят мне, чтобы я приезжал за ним. И, верите, стоит ему очухаться, как у него в кармане всякий раз оказывается какой-нибудь подарок для моего сынишки Мэнни. С таким человеком ничего не сделаешь. Он тебя обезоруживает, хотя за целый месяц и на доллар не наработает.

Молли почувствовала, что кровь стынет у нее в жилах. Мужчины хохотали:

— Очень уж ты жалостлив, Берт. Ты что, решил держать у себя шута на жаловании? Я бы от него быстро избавился.

Молли порывисто поднялась, ужаснувшись, что кто-нибудь вдруг спросит, как фамилия этого человека.

— Я что-то неважно себя чувствую сегодня, — сказала она. — Если вы не возражаете, джентльмены, я пойду к себе.

Мужчины встали и не сажались до тех пор, пока она не вышла из комнаты.

Наверху она бросилась на кровать и зарылась лицом в подушку.

— Какое-то сумасшествие! — шептала она. — Этого не может быть. Забудь об этом! — Она с ужасом заметила, что плачет.

Прошло несколько мучительных недель. Теперь Молли неохотно выходила из дому. Идя в школу и обратно, она не спускала глаз с дороги. «Если я увижу незнакомого человека, я убегу. Но ведь это же глупо. Я просто дура». Лишь в своей комнате она чувствовала себя в безопасности. Из-за постоянно терзавшего ее страха она стала бледной и глаза ее утратили свой блеск.

— Молли, вам надо лечь, — уговаривала ее миссис Уайтсайд.

Но Молли не хотела ложиться. Слишком много мыслей приходило ей в голову, когда она лежала в постели.

На следующем заседании совета Берта Монро не было. Молли немного успокоилась и повеселела.

— Вы уже поправляетесь, не правда ли, мисс Морган?

— Да, да. У меня ведь был какой-то пустяк, что-то вроде простуды. Но, если бы я тогда не пересилила себя, я могла бы расхвораться всерьез. Они заседали уже целый час, когда в дверь вошел Берт Монро.

— Прошу извинить за опоздание, — сказал он. — Все та же история. Мой работничек уснул на улице в Салинасе. Сейчас отсыпается в машине. Завтра придется мыть ее шлангом.

У Молли сжалось горло. Какое-то мгновение ей казалось, что она упадет в обморок.

— Простите, я должна выйти! — выкрикнула она и бросилась вон из комнаты.

Она постояла в темном холле, прислонясь к стенке. Потом, медленно переставляя ноги, как заведенная, вышла из парадной двери и спустилась с крыльца.

Ночь была полна шорохов. На дороге смутно чернел автомобиль Берта Монро. Молли было странно, что ноги, словно сами собой, несут ее по тропинке.

— Ну вот, я сама себя убиваю, — сказала она. — Все бросаю на ветер. Зачем?

Вот ее рука уже на калитке, тянется, чтобы отворить ее. Внезапно легкий ветерок, едва повеявший над землей, донес до нее резкую вонь. Она услышала пьяный храп. И тут словно какой-то вихрь пронесся у нее в голове. Молли резко повернулась и опрометью кинулась к дому. У себя в комнате она заперла дверь и села, застыв, словно каменная, тяжело дыша после бешеного бега. Ей казалось, что прошло несколько часов, прежде чем до нее донеслись голоса выходящих из дому людей. Заворчал мотор бертовского автомобиля и, постепенно стихая, замер вдаль. Теперь, когда она могла выйти, силы оставили ее.

Когда Молли вошла в гостиную, Джон Уайтсайд что-то писал за своей конторкой. Он поднял на нее вопросительный взгляд.

— Вы нездоровы, мисс Морган. Вам нужен врач.

Она неуклюже, будто деревянная, встала рядом с конторкой.

— Вы могли бы найти мне замену? — спросила она.

— Ну, конечно. Укладывайтесь в постель, а я вызову вам врача.

— Вы меня не поняли, мистер Уайтсайд. Я хочу сегодня уехать.

— Что это вам пришло в голову? Вы ведь больны.

— Я говорила вам, что мой отец умер... Я не знаю, умер ли он. Я боюсь... я должна уехать сегодня.

Он внимательно поглядел на нее.

— О чем это вы? — мягко спросил он.

— Если я узнаю, что этот пьяница, который живет у мистера Монро... — Она умолкла, внезапно ужаснувшись того, что собиралась сказать.

Джон Уайтсайд медленно склонил голову.

— Нет! — крикнула она. — Я этого не думаю. Нет, нет!..

— Мне бы хотелось чем-нибудь помочь вам, Молли.

— Я не хочу уезжать. Мне так нравится у вас... Но я боюсь. Это для меня очень важно.

Джон Уайтсайд встал, подошел к ней и обнял за плечи.

— Мне кажется, я не все понял, — сказал он. — Да я и не хочу понимать. Не нужно понимать. — Он словно разговаривал сам с собой. — Это было бы не совсем вежливо... понять...

— Когда я отсюда уеду, я смогу в это не верить, — всхлипывая, проговорила Молли.

Он на секунду крепко сжал ее плечи.

— Бегите-ка наверх и уложите свои вещи, Молли, — сказал он. — Сейчас я выведу машину и отвезу вас прямо в Салинас.

Сбруя

Среди фермеров Монтерейского округа Питер Рэндол был одним из самых почитаемых. Однажды он должен был выступить с небольшой речью на собрании масонов, и брат, который представлял его собравшимся, сказал, что Питер Рэндол — достойный подражания пример для всех молодых масонов Калифорнии. Ему было под пятьдесят, он держался серьезно, степенно и носил аккуратно подстриженную бороду. Где бы он ни появился, его всегда встречали с почетом, положенным человеку с бородой. И глаза у Питера были серьезные, голубые и серьезные, даже немного скорбные. В нем чувствовалась сила, но сила сдерживаемая. Иногда ни с того ни с сего в его глазах появлялось угрюмое выражение, и они становились скверными, словно у собаки, которая собирается укусить, но это выражение скоро исчезало, и опять он был степенным и солидным. Высокий, крепкий, он ходил, как солдат, подобранный живот и откинув назад плечи, словно их оттянули веревкой. А поскольку почти все фермеры порядочные увальни, Питера уважали также и за осанку.

Жену Питера звали Эмма. Глядя на нее, соседи не переставали удивляться: в чем только душа держалась у этой женщины — маленькая, тощая, кожа да кости, да к тому же чуть ли не круглый год хворающая. Весила она восемьдесят семь фунтов. К сорока пяти годам ее лицо потемнело и сморщилось, как у древней старухи, но в черных глазах горело неистовое желание жить. Эмма была гордая женщина и почти никогда не жаловалась. Ее отец был масоном тридцать третьей степени, почетным магистром большой калифорнийской ложи. Перед смертью он оchen хлопотал о масонской карьере Питера.

Каждый год Питер куда-то уезжал на неделю, и Эмма оставалась на ферме одна. Соседям, которые заходили ее проведать, она неизменно объясняла:

— Он уехал по делам.

Когда Питер возвращался из поездки, Эмма всякий раз заболела на месяц или на два, и Питеру тогда приходилось туго. Эмма не хотела нанимать служанку и сама делала всю домашнюю работу, а когда она болела, хозяйничал Питер.

Земля Рэндалов лежала по обе стороны реки Салинас, у самого предгорья. Трудно представить более удачное расположение. Сорок пять акров гладкой равнины с жирной почвой, которую река в незапамятные времена нанесла со всего округа. А по склонам — восемьдесят акров мягкой земли под садами и пастбищами.

Белый дом Рэндалов казался таким же замкнутым и степенным, как его владельцы. Двор был огорожен забором, в саду Питер под Эмминым руководством выращивал георгины, бессмертники, красную и розовую гвоздику.

С передней веранды открывался вид на равнину и речку, струившуюся в ножнах из хлопчатника и прибрежных ив; за рекой виднелись засаженные сахарной свеклой поля, а еще дальше — круглый купол салинасского суда. Днем Эмма часто сидела на веранде, пока ветер не загонял ее в дом. Она всегда что-нибудь вязала и то и дело поглядывала на Питера, работавшего в поле, в саду или на склоне холма.

Ферма Рэндола была обременена закладными не больше, чем любая другая в долине. В руках заботливого, рассудительного хозяина она обеспечивала скромный достаток, проценты по закладной, да еще можно было откладывать несколько сот долларов в год, чтобы со временем вы-

купить землю из заклада. Не удивительно, что соседи уважали Питера и прислушивались к его скупым словам, даже когда он говорил о погоде или просто о всякой всячине. Стоило ему сказать: «В субботу буду резать поросенка» — и чуть ли не каждый из тех, кто это слышал, тоже резал поросенка в субботу. Они и сами не знали, почему так делают, но уж если Питер собирался зарезать поросенка в субботу — значит, это было нужное, правильное и выгодное дело.

Питер и Эмма прожили вместе двадцать один год. Они собрали за это время полный дом хорошей мебели, картин в рамах, всевозможных ваз и вазочек, толстых, увесистых книг. Детей у Эммы не было. Комнаты в доме были небеленые, с гладкими стенами, без украшений. Чтобы в дом не заносилась грязь, у парадного и черного крыльца стояли скребки и лежали толстые подстилки из кокосовой мочалы.

Когда Эмма не болела, она следила за порядком в доме. Все петли на дверях и на буфетных дверцах были смазаны, в доме не было ни одного шпингалета, где бы не хватало хоть винтика. Каждый год мебель заново лакировали. Все это обычно делали после возвращения Питера из его ежегодной деловой поездки.

Стоило пройти слуху, что Эмма снова больна, как окрестные фермерши начинали подкарауливать доктора на дороге возле моста.

— Да она скоро поправится, так я считаю, — отвечал он на их расспросы. — Ей просто надо полежать недельки две.

Добросердечные соседки тащили к Рэндолам сладкие пироги и на цыпочках входили в спальню, где на необъятной ореховой кровати лежала крохотная, высохшая, похожая на птичку женщина. Она смотрела на них блестящими черными глазками.

— Может, приподнять вам немного шторы, душенька? — спрашивали они.

— Нет, спасибо. У меня глаза устают от света.

— Может, вам что-нибудь надо сделать?

— Нет, спасибо. Питер все очень хорошо делает.

— Вы только припомните, что вам хочется...

Но Эмма была непреклонна. Ничего ей было не нужно, пусть только отнесут Питеру все эти пироги. Питер в чистом, аккуратном переднике обычно находился на кухне. Он наливал грелку или готовил сладкий творог с орехами.

Однажды осенью снова разнесся слух, что Эмма слегла, и фермерши принялись печь Питеру пироги, готовясь к очередному посещению.

Миссис Чэпел, ближайшая соседка Рэндолов, подстерегла доктора у моста.

— Ну, как там Эмма, доктор?

— Да, по-моему, не так чтоб уж очень хорошо, миссис Чэпел. Мне кажется, она заболела довольно серьезно.

А так как доктор Марн разве что одним покойникам не сулил скорого выздоровления, в округе стали поговаривать, что Эмма Рэндол умирает.

Болезнь была затяжная, мучительная. Питер сам ставил жене клизмы и носил горшки. Доктор предложил им нанять сиделку, но больная только яростно сверкнула своими похожими на бусинки глазками: даже сейчас, прикованная к постели, Эмма держала всех в повиновении. Питер кормил и мыл ее, перестилал большую ореховую кровать. Шторы в спальне так ни разу и не подняли.

Прошло целых два месяца, прежде чем острый взгляд темных птичьих глаз заволокло пеленой и острый разум погрузился в беспамятство. И только тогда в доме появилась сиделка. Питер так отошал и

измотался, что еле держался на ногах. Соседки принесли ему пирогов, а когда пришли в другой раз, увидели, что они нетронутые лежат на кухне.

В тот день, когда умерла Эмма, в доме у Рэндолов находилась миссис Чэпел. У Питера началась истерика. Миссис Чэпел вызвала доктора, потом позвонила мужу и попросила его прийти пособить ей: Питер выл, как безумный, и лупил себя кулаками по заросшему бородой лицу. Эду Чэпелу было стыдно глядеть на него.

Борода у Питера намокла от слез. Его громкие рыдания разносились по всему дому. Он то садился возле кровати и клал себе на голову подушку, то шагал из угла в угол по спальне и ревел, как теленок. Эд Чэпел робко дотронулся до его плеча и растерянно пробормотал: «Ну хватит тебе, Питер, хватит...» — но тот стряхнул его руку. Приехал доктор и подписал свидетельство о смерти.

А когда появился гробовщик, они хватили с Питером лиха. Он словно взбесился: кидался на всех с кулаками и не давал вынести тело из дому. Эмму удалось унести только после того, как доктор сделал ему подкожный укол, для чего Эду и гробовщику пришлось держать Питера силой.

Морфий не усыпил его. Он сидел в углу сгорбленный и тяжело дышал, тупо уставясь в пол.

— Кто с ним останется? — спросил доктор и повернулся к сиделке: Вы, мисс Джек?

— Только не одна, доктор. Я с ним не справлюсь.

— А вы, Чэпел?

— Ну, конечно, останусь.

— Тогда слушайте: в этих пузырьках снотворное. Если он опять примется за свое, дайте ему один пузырек. А если не подействует, тогда вот это. Одна такая ампула его утихомирит.

Перед уходом они отвели застывшего в оцепенении Питера в гостиную и осторожно уложили на диван. Эд Чэпел уселся в кресло сторожить его. Рядом с ним на столе стояло снотворное и стакан воды.

В маленькой гостиной было чисто, пыль вытерта. Еще этим утром Питер набросал на пол клочки мокрой газеты и подмел его. Эд затопил камин и, когда огонь разгорелся как следует, подложил два дубовых полена. Стемнело рано. Ветер бросал в окна брызги мелкого дождя. Эд подрезал фитили в лампах и подкрутил их пониже. Дрова в камине шелкали и потрескивали, язычки пламени завивались над поленьями, словно кудряшки. Эд долго сидел в кресле, не спуская глаз с Питера, который спал на кушетке, усыпленный наркотиком. Наконец сон сморил и Эда.

Он проснулся около десяти вечера, вскочил на ноги и посмотрел на диван. Питер сидел и глядел на него. Рука Эда потянулась к пузырьку со снотворным, но Питер покачал головой.

— Не надо мне ничего давать, Эд. Я думаю, доктор и так здорово прочистил мне мозги. Я сейчас в полном порядке, только одурел малость.

— Да ты выпей и сразу уснешь...

— Не хочу я спать.— Он пощупал свою спутанную бороду и встал с дивана.— Схожу умоюсь, авось очухаюсь.

Эд услышал, как он пустил воду на кухне. Вскоре Питер вернулся в гостиную, вытирая лицо полотенцем. Он как-то странно улыбался. Такой удивленной, лукавой улыбки Эд не видал у него прежде.

— Я, кажется, начудил тут, когда она умерла? — спросил Питер.

— Э-э... да, было немножко.

— Во мне словно что-то оборвалось,— пояснил Питер.— Будто какие-то помочи лопнули. И все полезло в разные стороны. Но сейчас я в полном порядке.

Эд глянул вниз, увидел, что по полу ползет коричневый паучок, вытянул ногу и раздавил его.

Внезапно Питер спросил:

— Ты веришь в загробную жизнь?

Эд Чэпел заерзал в кресле. Он не любил говорить о таких вещах, потому что говорить — значит думать о них.

— Да верю, должно быть. Вообще-то верю.

— И веришь, что человек, который... ну, которого нет, может смотреть оттуда и видеть, что мы тут делаем?

— Э-э... этого я не знаю. Не знаю, верю ли я в такое.

Питер снова заговорил, как будто сам с собой:

— Пусть даже она меня увидит, пусть увидит, что я не поступаю, как ей хочется, все равно она должна быть довольна, потому что, пока она была здесь, я ведь ей подчинялся. И ей будет приятно, что она делала меня хорошим человеком. Если без нее я стану плохим, выходит, что я был хорошим только благодаря ей, так ведь? А я был хорошим, верно, Эд?

— Почему ты так говоришь — «был»?

— Да-а... Если не считать одной недели в году, я был хорошим. Не знаю, как теперь все пойдет...— Его лицо стало злым.— А вот одно знаю точно.

Он встал, снял пиджак и рубаху. Поверх нижней сорочки на нем была надета какая-то плетеная сбруя, оттягивавшая ему плечи назад. Он растегнул ее и сбросил. Потом снял брюки — под ними оказался широкий эластичный пояс. Он спустил его, стащил с ног и с наслаждением поскреб живот. После этого он снова стал одеваться, улыбаясь Эду все той же странной удивленной улыбкой.

— Не знаю, как это у нее получалось, но я ей всегда подчинялся. Она вроде бы и не командовала мной, а я все-таки подчинялся. Знаешь, я ведь, пожалуй, не верю в загробную жизнь. Пока она была жива, даже когда болела, мне приходилось ее слушаться, но как только она померла, тут я... Понимаешь, с меня словно эта сбруя спала. Я и ошалел. Но теперь все. Теперь мне надо привыкать ходить без сбруи.

Он погрозил пальцем Эду.

— Буду ходить животом вперед,— сказал он решительно.— Хочу, чтобы у меня живот торчал. Мне ведь уже пятьдесят.

Эду не нравился этот разговор. Ему хотелось уйти. В том, что говорил Питер, было что-то негодное.

— Выпей-ка ты вот это и сразу уснешь,— тоскливо проговорил он.

Питер не надел пиджака. Он сидел на диване в расстегнутой рубахе.

— А я не хочу спать. Я хочу разговаривать. На похороны мне, видно, придется надеть этот пояс и сбрую, а потом я их спалю. Слушай, у меня в амбаре есть бутылка виски. Я схожу за ней.

— Нет, нет,— поспешно возразил Эд.— Я бы не стал сейчас пить, не такое сейчас время, чтобы пить.

Питер поднялся с дивана.

— А я стал бы. Можешь сидеть и глядеть на меня, коли охота. Говорю тебе: конец всему этому.

Он вышел из комнаты, оставив в ней обескураженного и возмущенного Эда. Через минуту он вернулся с виски и заговорил прямо с порога:

— У меня только и оставалось в жизни, что эти поездки. Эмма была толковая женщина. Она понимала, что если я не вырвусь отсюда хотя бы раз в год, то просто спячу. Но, боже ты мой, до чего же она меня изводила, когда я возвращался! — Понизив голос, он таинственно спросил: — А ты знаешь, что я делал в этих поездках?

Эд сидел теперь, широко раскрыв глаза. Перед ним был совсем другой, новый человек, и у него просто дух захватывало. Он взял протянутую ему стопку.

— Не знаю. А что?

Питер залпом осушил свою стопку, крикнул и обтер рукой губы.

— Напивался, — сказал он. — Шлялся в Сан-Франциско по публичным домам. Пил всю неделю и каждый день ходил в публичный дом. — Он снова налил себе полную стопку. — Я думаю, что Эмма знала, но она мне ни разу не сказала ни слова. Да меня бы разорвало, если бы я не мог хоть изредка вырываться отсюда.

Эд Чэпел осторожно отхлебывал виски.

— Она всегда говорила, что ты уехал по делам.

Питер посмотрел на свою стопку, выпил ее и снова налил. Его глаза заблестели.

— Пей, Эд, чего уж там! Знаю я, что ты думаешь. Нехорошо, мол, так много пить, да ведь, кроме нас двоих, об этом никто не узнает. Ну-ка, пошуруй в камине — пусть разгорится. Мне тосковать неохота.

Чэпел подошел к камину и стал ворошить тлеющие головешки до тех пор, пока искры не взметнулись вверх, словно блестящие маленькие птички. Питер снова наполнил стопку и устроился на диване. Вернувшись на свое место, Эд отхлебнул из стопки, сделав вид, будто не заметил, что она долита. Щеки у него разгорелись. Теперь ему уже не казалось, что пить — это ужасно. Минувший день и смерть отодвинулись куда-то далеко-далеко, в прошлое.

— Хочешь сладкого пирога? — спросил Питер. — У меня их штук пять в кладовке.

— Да нет уж, благодарю покорно.

— Знаешь что, — доверительно сообщил Питер, — я, кажется, в жизни больше не притронусь к сладкому пирогу. Десять лет, всякий раз как Эмма заболит, нам тащили эти пироги. Они-то, конечно, по доброте тащили, но для меня теперь что сладкий пирог — что болезнь. Пей, чего ты.

В комнате что-то случилось. Оба мужчины глянули вверх, пытаясь понять, в чем дело. Что-то было не так, как минуту назад. Потом на лице Питера появилась глуповатая улыбка.

— Да ведь это каминные часы остановились. Теперь уж я, наверно, никогда не буду их заводить. Куплю себе будильник, маленький, быстрый будильничек, чтобы тикал что есть мочи. А эти только тоску нагоняли. — Он проглотил свое виски. — Небось ты теперь будешь всем рассказывать, что я спятил, да?

Эд глянул на него поверх стопки, усмехнулся и качнул головой.

— Нет, не буду. Я ведь понимаю, что с тобой творится... А мне и невдомек было, что ты носишь эту сбрую и пояс.

— Человек должен держаться прямо, — проговорил Питер, — а я от природы неуклюжий. — Его вдруг взорвало. — Дурак я от природы, вот кто. Целых двадцать лет прикидывался умным и хорошим... если не считать этой одной недели в году. — Он заговорил громче. — Мне все доставалось по капелькам. Вся жизнь доставалась мне по капелькам. Давай-ка я тебе налью. У меня в амбаре еще бутылка под мешками запрятана.

Эд протянул ему стопку. Питер снова заговорил:

— Я вот подумывал, до чего бы хорошо засеять весь мой участок у реки душистым горошком. Представляешь, сидишь тут на веранде, и все

эти акры перед тобой сплошь голубые и розовые. А подует ветер — запах! Такой запах — на ногах не устоишь.

— На душистом горошке многие разорились. Вообще-то, конечно, семена горошка в цене, да мало ли что с ним может приключиться, пока дождешься урожая.

— А мне плевать! — крикнул Питер. — Я хочу, чтобы всего было много. Хочу сорок акров цвета и запаха. Хочу толстых баб, грудастых, чтобы груди, как подушки. Я голодный, понимаешь? Хочу всего, всего и много!

Эд, нахмурившись, слушал его крики.

— Ну-ка, хлебни из этого пузырька да поспи немножко.

Питер смутился.

— Да я ничего. Я не хотел так орать. Только ведь не первый день об этом думаю. Сколько лет мечтал, как мальчишка о каникулах. И все боялся, что состарюсь. Или помру первым — и все пропало. Но мне только пятьдесят, я еще в самой поре. Я говорил Эмме про этот горошек, да она мне не позволила. И как это она умела поставить на своем? — удивленно проговорил он. — Не знаю. А ведь умела. Но ее уж нет. Вот чувствую, что нет, все равно как этой сбруи. Буду теперь ходить вразвалку — везде буду так ходить. И грязи в дом нанесу. Экономку себе заведу — во бабищу, толстую!.. Да, здоровенную, толстую, из Сан-Франциско. А на полке всегда будет бутылка бренди.

Эд Чэпел встал и потянулся.

— Ну, если ты себя чувствуешь хорошо, я, пожалуй, пойду. Поспать надо. Ты бы завел эти часы, Питер. Часам не на пользу, если их не заводят.

На следующий день после похорон Питер Рэндол начал работать на своей ферме. Чэпелы, его ближайшие соседи, задолго до света увидели огонь у него на кухне, а его фонарь пропутешествовал от дома к амбару на целых полчаса раньше, чем они поднялись с постели.

За три дня он подстриг у себя в саду все деревья. Он принимался за работу на рассвете, а кончал, когда в темноте уже нельзя было различить сучьев. Потом он взялся за большой участок у реки. Вспахал его и заборонил. Откуда-то появились два незнакомца в сапогах и бриджах для верховой езды, они ходили по его участку и разглядывали землю, растирали ее в руке, промеривали палочкой глубину запашки, а когда уехали, увезли с собой пакетики с землей.

Обычно перед севом фермеры начинали усердно навещать друг друга. Они присаживались на корточки, набирали полные горсти земли, разминали комочки пальцами, обсуждали прошлогодние цены и виды на урожай, припоминали, как в иной год при хорошем спросе можно было неплохо заработать на бобах, а бывало, что горох едва окупал семена. После долгих разговоров и споров всегда получалось так, что каждый сажал то же, что и сосед. Но были хозяева, к мнению которых особенно прислушивались. Если Питер Рэндол или Кларк Де Уит собирались сажать фасоль или ячмень, то к осени чуть ли не на каждой ферме поспевали ячмень или фасоль. Да и как иначе? Уж если такие уважаемые да удачливые фермеры решили сажать то, а не это — значит, так надо. Никто этого прямо не высказывал, но считалось, что Питер Рэндол и Кларк Де Уит соображают лучше всех да к тому же обладают особым даром предвидения.

Когда той весной начались традиционные визиты, все заметили, что с Питером Рэндролом произошла перемена. Питер сидел на плуге и разговаривал довольно приветливо. Он сказал, что еще не знает, что сажать, но сказал это таким смущенным тоном, что все поняли — он просто не

хочет говорить. После того как несколько любопытных ушли от Питера несолоно хлебавши, фермеры перестали к нему навещать и толпой повалили к Кларку Де Уиту. Кларк сажал ячмень. Это решение определило большую часть посевов в округе.

Однако хотя фермеры ни о чем больше не спрашивали Питера, их мучило любопытство. Проезжая мимо его обширного участка, люди приглядывались, что он делает, пытаясь хоть так определить, что же он собирается сажать. Но когда Питер начал ездить по полю с сеялкой, никто не подошел к нему близко — ведь он ясно дал понять, что не хочет, чтобы кто-нибудь узнал, что он сажает.

Эд Чэпел не выдавал его. Ему становилось немного не по себе, когда он вспоминал ту ночь; он стыдился за Питера, за то, что тот так распустился, и досадовал на себя, что сидел и слушал его. Теперь он усердно следил за Питером; ему было интересно, действительно ли тот намерен привести в исполнение свои угрозы или же просто одурел тогда от горя. Не видно было, чтобы Питер начал сутулиться, да и живота у него никакого не появлялось. Как-то Эд подошел к дому Питера и с облегчением вздохнул, увидев чистые полы и услышав тиканье каминных часов.

Миссис Чэпел не раз вспоминала тот ужасный день:

— Он такое вытворял, словно ума лишился. Был в голос. До самой ночи не мог утихомириться, и Эд все время был возле него. Эд даже дал ему немного виски, чтобы он смог уснуть. Но,— бодро заключала миссис Чэпел,— тяжкий труд тоску гонит. Теперь Питер Рэндол каждый день встает в три часа утра. Я из своей спальни вижу свет у него на кухне.

На вербах высыпали серебряные сережки, по краям дороги полезла сорная трава. Река Салинас на месяц наполнилась стремительной темной водой, потом вода снова спала, и на месте реки остались лишь зеленоватые лужи. Питер Рэндол обработал свой участок на славу. Он не оставил ни единого комочка, земля лежала черная, гладкая, а когда шел дождь, она казалась пурпурной.

Потом по черному полю потянулись робкие зеленые ростки. В сумерки один из соседей подкрался к изгороди и вытащил одно растение.

— Какие-то бобовые,— рассказывал он приятелям.— По-моему, горох. И чего это ему вздумалось так скрывать? Я его прямо спрашивал, что он сажает, так он не ответил.

А вскоре всю округу облетела новость:

— Душистый горошек! Все сорок пять акров под душистым горошком, ни дна ему, ни покрывки!

Фермеры потянулись к Кларку Де Уиту узнать, что он думает.

Думал он так:

— Некоторые считают, что на душистом горошке можно разбогатеть, потому что за фунт семян платят от двадцати до шестидесяти центов. Но это страх до чего рискованное дело. Если на него не нападет жучок, то может статься, и дожدهшься проку. А там вдруг выдался жаркий день, стручки полопались, и весь твой урожай валяется на земле. Или брызнет дождик и испортит тебе все дело. Попытать счастья на нескольких акрах — это я еще понимаю, но засадить весь участок?! Нет, Питер просто рехнулся с тех пор, как схоронил Эмму.

Об этом мнении узнали все и высказывали его уже от своего имени. Двое соседей твердили это друг другу, наперебой приводя доводы Кларка. Питер, которому их повторяли невесть сколько раз, начал терять терпение.

— Чья это земля, спрашивается? — заорал он в один прекрасный день.— Если я хочу разориться, кому какое дело, прах вас побери!

После этого все переменялось. Вспомнили, что Питер хороший хозяин. Он, надо думать, получил точные сведения. Так вот кто были эти двое в сапогах — агрохимики! И многие пожалели, что не засадили хоть несколько акров душистым горошком.

Они пожалели об этом еще больше, когда зеленые усики потянулись от ряда к ряду и, сплетаясь между собой, укрыли все поле, не оставив ни одного просвета, так что нигде не было видно ни пятнышка земли. А потом горошек зацвел — сорок пять цветущих акров, сорок пять акров благоухания. Говорили, что аромат доносится даже до Салинаса, за четыре мили. Школьники приезжали на автобусах поглядеть на это поле. Несколько человек из компании, скупавшей семена, как-то целый день разглядывали усики и шупали землю.

Вечерами Питер Рэндол сидел в качалке на веранде. Он смотрел, как переливалось нежными оттенками его поле. Когда поднимался ветерок, Питер дышал полной грудью. Ворот его синей рубахи был расстегнут: казалась, Питер хочет и кожей впитывать аромат.

Соседи заходили к Кларку Де Уиту узнать, что он думает теперь.

Он говорил:

— На этот горошек может свалиться еще десять напастей. Пусть себе Питер тешится, коли охота.

Но раздражение выдавало его — он завидовал. Фермеры смотрели туда, где за голубым и розовым полем сидел на своей веранде Питер, и проникались к нему еще большим уважением.

Как-то днем к Питеру на веранду поднялся Эд Чэпел.

— А урожай будет что надо, приятель.

— Похоже на то, — ответил Питер.

— Я тут глядел. В стручки пошел.

Питер вздохнул.

— Уже отцветает. Не могу видеть, как падают лепестки.

— А по мне, так видеть это одно удовольствие. Если ничего не случится, загребешь кучу денег.

Питер вытащил пестрый носовой платок, высморкался и потер нос, чтобы не чихнуть.

— Мне будет жаль, когда уже не будет этого аромата, — сказал он.

Эд решил намекнуть на ту ночь. Он подмигнул с видом заговорщика:

— Подыскал себе кого-нибудь смотреть за домом?

— А я не искал, — ответил Питер. — Некогда было.

Под глазами у Питера пролегли тревожные морщинки. «Да и как не тревожиться, когда один дождь может погубить весь урожай», — подумал Эд.

Но если бы погоду в этом году заказали специально для душистого горошка, она и тогда не могла бы быть лучше. Когда Питер выдергивал стебли, утренний туман стлался к самой земле, а когда весь горошек уже лежал на расстеленных по земле кусках парусины, жаркое солнце хорошо подсушило стручки, чтобы их было лучше обмолачивать. Соседи смотрели, как длинные мешки наполняются черными зернышками, и по дороге домой пытались подсчитать, сколько же выручит Питер за свой баснословный урожай. Кларк Де Уит потерял почти всех своих почитателей. Фермеры решили выведать, что Питер будет сажать на будущий год, пусть даже придется ходить за ним по пятам. Ну как он, к примеру, узнал, что в этом году будет урожай на душистый горошек? Ясное дело, ему что-то такое известно.

* * *

Когда житель верхней салинасской долины приезжает в Сан-Франциско по делам или проветриться, он останавливается в гостинице «Рамона». Это хороший обычай, так как в вестибюле почти всегда можно встретить кого-нибудь из своих и, сидя в мягком кресле, потолковать с ним о салинасской долине.

Эд Чэпел отправился в Сан-Франциско встречать двоюродную сестру жены, которая ехала из Огайо. Ее поезд приходил только на следующее утро. В вестибюле «Рамоны» Эд поискал глазами земляков, но в креслах сидели незнакомые люди. Эд сходил в кино. Вернувшись, он снова принялся искать своих, но и на этот раз никого не увидел. Он подумал, не посмотреть ли ему список приезжих, но было уже так поздно, что Эд решил докурить сигару и отправиться спать. Он опустился в кресло.

У подъезда послышался шум. Эд увидел, как портье указал коридорному на дверь. Тот выскочил на улицу. Эд старался разглядеть, что там происходит. Какому-то мужчине помогали выбраться из такси. Коридорный принял его из рук шофера и повел к дверям. Это был Питер Рэндолл. Он шел, уставившись перед собой остекленелыми глазами, приоткрыв слюнявый рот. Эд вскочил и бросился к нему:

— Питер!

Питер беспомощно отбивался от коридорного.

— Ты меня отпусти,— твердил он.— Я в полном порядке. Отпустишь меня — получишь монету.

Эд снова позвал:

— Питер!

Питер медленно перевел на него мутный взгляд и повалился к нему в объятия.

— Дружище! — заорал он.— Эд Чэпел, старый друг! Что ты тут делаешь? Пошли ко мне в номер, выпьем.

Эд утвердил его на ногах.

— С большим удовольствием,— сказал он.— Совсем не прочь опрокинуть стаканчик на сон грядущий.

— Какой там к черту сон! Мы сейчас в кино ходим или еще куда-нибудь.

Эд втащил его в лифт и довел до номера. Питер тяжело плюхнулся на постель и не без усилий принял сидячее положение.

— В ванной есть бутылка виски. Я тоже выпью.

Эд принес бутылку и стаканы.

— Что ты тут делаешь, Питер? Обмываешь урожай? Небось загреб кучу денег.

Питер протянул вперед ладонь и постучал по ней указательным пальцем.

— Денег я, конечно, загреб, но это все одно что я их в карты выиграл. Чистая лотерея.

— Но деньги-то твои.

Питер хмуро задумался.

— Я мог остаться без штанов,— сказал он.— Все это время, целый год, я ел себя поедом. Лотерея, и только.

— И все-таки ты выиграл.

Питер переменял разговор.

— Стошнило меня,— сказал он.— Прямо в такси. Я ведь прямиком из публичного дома, что на Ван-Несс-авеню,— пояснил он, словно оправдываясь.— Мне позарез нужно было приехать в Сан-Франциско. Если бы я не приехал сюда и не подебоширил малость, меня бы разнесло на части.

Эд посмотрел на него с любопытством. Питер сидел, свесив голову на грудь. Борода у него была спутанная, нестриженная.

— Питер,— заговорил Эд.— В ту ночь, когда Эмма... скончалась, ты говорил, что хочешь... все переменить.

Питер медленно приподнял хмельную голову и осоловело уставился на Эда.

— Она умерла, да не совсем,— сказал он хрипло.— Ничего не дает мне делать. Весь год промучила из-за этого горошка.— Глаза у него стали удивленными.— Не знаю, как это у нее получается...— Вдруг он нахмурился, снова раскрыл ладонь и постучал по ней пальцем.— Но помяни мое слово, Эд Чэпел. Эту сбрую я больше носить не стану. Пропади я пропадом, если хоть раз надену. Запомни это.

Голова его упала на грудь. Однако через минуту Питер уже снова глядел перед собой.

— Пил я,— проговорил он хмуро.— И шлялся по публичным домам.— Он доверительно пододвинулся к Эду и тяжело зашептал:— Но все в порядке, все будет хорошо. Знаешь, что я сделаю, когда вернусь домой? Проведу электричество. Эмма всегда хотела, чтобы у нас было электричество.

Он боком повалился на кровать.

Эд Чэпел уложил его, раздел и только тогда пошел в свой номер.

Перевела с английского Е. КОРОТКОВА.

Акула Викс

Эдвард Викс жил в долине Райских Пастбищ, в тесном мрачном доме у самой дороги. За домом был персиковый сад и большой огород. Эдвард Викс ухаживал за персиками, а его жена и красавица дочь занимались огородом и выращивали горох, бобы и раннюю клубнику на продажу.

У Эдварда Вика было грубое загорелое лицо и маленькие холодные глазки почти без ресниц. О нем шла слава как о самом хитром человеке в долине. Он заключал сложные сделки, и не было для него большего счастья, чем продать свои персики на несколько центов дороже соседа. При случае он слегка плутовал на лошадиных торгах и своей сообразительностью заслужил уважение общины, но, несмотря на все это, не стал богаче. Однако он любил делать вид, что у него есть сбережения в ценных бумагах. На собраниях школьного совета он рассуждал с другими членами общины по поводу многих акций, и поэтому люди решили, что он имел значительные сбережения. Жители долины называли его Акула Викс. «Он-то, Акула? — говорили о нем.— У него, наверно, тысяч двадцать наберется, а может, и больше. Он себе на уме — его не проведешь».

А по правде говоря, Акула ни разу в жизни не держал в руках больше пятисот долларов.

Величайшим удовольствием для Акулы стало считаться богачом. Он так наслаждался этим чувством, что сам поверил в собственное богатство. Определив свое воображаемое состояние в пятьдесят тысяч долларов, он завел тетрадь наподобие гроссбуха, куда заносил данные о своих вкладах и где подсчитывал прибыли. Все эти манипуляции стали самой большой радостью в его жизни.

В это время в Салинасе новая нефтяная компания решила бурить скважины в южной части графства Монтери. Прослышав об этом, Акула

пошел на ферму к Джону Уайтсайду, чтобы обсудить с ним ценность акций новой компании.

— Меня интересует нефтяная компания Южного графства,— сказал он.

— Да, отчеты геологов обнадеживают,— сообщил Джон Уайтсайд.— Я и раньше слышал, что в том районе есть нефть. Слышал еще много лет назад.— С Джоном Уайтсайдом часто советовались по таким делам.— Для начала я не стал бы вкладывать слишком много денег,— добавил он.

Акула сжал пальцами нижнюю губу и задумался на минуту.

— Все ломаю голову над этим,— сказал он.— Заманчивая штука. Есть у меня тысяч десять долларов, которые лежат без дела. Только надо прежде хорошенько обмозговать. Очень хотелось бы знать ваше мнение.

Но про себя Акула уже решил, что ему делать. Дома он взял тетрадь и снял со своего воображаемого банковского счета десять тысяч долларов. Затем в графу ценных бумаг он вписал одну тысячу долларов акций нефтяной компании Южного графства. И с этого дня он стал лихорадочно следить за биржевым листком. Когда цены на акции немного повысились, Акула расхаживал, тихонько насвистывая, но когда цены упали, у него от страха подступил комок к горлу. Наконец цены на акции Южной нефтяной компании вновь подскочили. Акула пришел в такое ликование, что тут же направился в универсальный магазин и купил для камина черные мраморные часы с двумя колоннами из оникса по обеим сторонам циферблата и с бронзовой лошадью наверху. Люди в магазине многозначительно переглянулись, и кто-то сказал:

— Спятил он, что ли?

Неделю спустя акции окончательно упали и компания разорилась. Услыхав эту весть, Акула немедленно схватил свою тетрадь и записал, что продал свой пай за день до краха компании и получил две тысячи долларов прибыли.

Пэт Хамберт, возвращаясь из Монтери, остановил свою машину около дома Акулы.

— Я слышал, ты здорово погорел на акциях Южной нефтяной компании,— заметил он.

Акула довольно улыбнулся.

— За кого ты меня принимаешь, Пэт? Я продал эти акции два дня тому назад. Ты-то должен знать, что я уж не такой простачок. Я видел, что этим акциям грош цена. Но я понимал, что, когда акции поднимутся, их можно будет выгодно продать. И когда некоторые спустили эти акции, и я поспешил сплавить их.

— Ловко ж ты выкрутился,— восхищенно сказал Пэт.

И когда он зашел в универсальный магазин и передал всем свой разговор с Акулой, люди только головами качали и заново подсчитывали богатство Акулы. Да, теперь с Акулой трудно было тягаться.

Тем временем Акула взял четыреста долларов в банке Монтери и купил старенький фордзонский трактор.

Со временем в Райских Пастбищах пошла такая слава о рассудительности Акулы, что уже никто не решался приобрести какую-нибудь акцию, участок земли или даже лошадь, не посоветовавшись с ним. Когда к Акуле Виксу обращались за советом, он тщательно разбирал дело со всех сторон и, сообразив что к чему, давал толковый совет.

Через несколько лет по госсбуху можно было судить, что, с умом вкладывая деньги, Акула накопил сто двадцать пять тысяч долларов. Видя, что он живет как бедняк, соседи еще больше уважали его: ведь богатство не вскружило ему голову. Да, Акула был себе на уме. А его

жена и красавица дочь все так же ухаживали за овощами и продавали их в Монтери. Сам Акула с утра до вечера работал в саду.

Романтической любовной истории в жизни Акулы не было. В девятнадцать лет он пригласил здоровую, крепкую девушку Катарину Маллок на три танца. Дальше все пошло гладко, и он женился на ней, потому что ее семья и все соседи ждали этого. Катарину нельзя было назвать хорошенькой; в ней чувствовалась сила взнузданной кобылицы и живучесть молодой лебеды. После замужества она, как опыленный цветок, потеряла свою силу и свежесть. Лицо ее обвисло, бедра расплылись, и теперь ее ждал новый удел — удел труда и забот.

Акула относился к своей жене без нежности, но и без жестокости. Он управлял ею с мягкой непреклонностью, как лошадью. Жестокость и ласка равно казались ему глупостью. Он никогда не разговаривал с ней по-человечески, не поверял ей свои мысли и надежды, не открывал своих неудач, никогда не говорил с ней о богатстве, существовавшем только на бумаге, ни даже об урожае персиков. И Катарину поразило и обеспокоило бы, заговори он с ней обо всех делах. Ее жизнь и без того была достаточно обременена заботами, чтобы еще вникать в дела и мысли другого.

Мрачный дом Виксов портил всю ферму. Каждый год природа погребает в земле все ей ненужное, человек же надолго сохраняет всякий хлам. На дворе валялись старые мешки, газеты, осколки битых стаканов и перепутанные мотки проволоки. Ни цветов, ни травы не было вокруг дома. Они не росли здесь, потому что грязь и мыльная вода сделали эту землю бесплодной и неприветливой. Акула поливал свой сад, но не видел никакого смысла тратить хорошую воду, выливая ее вокруг дома.

Когда родилась Элис, женщины Райских Пастбищ гурьбой повалили в дом Акулы, готовые восклицать: «Ах, какое миленькое дитя!» Но когда они увидели, что девочка и впрямь просто прелесть, они не знали, что сказать. Все охи и ахи, которыми женщины надеялись уверить молодую мать, что ужасное существо в ее объятиях — человек и что он не вырастет чудовищем, потеряли всякий смысл. К тому же Катарина смотрела на ребенка без того притворного восторга, которым большинство женщин стремится обычно скрыть свое разочарование. Когда Катарина увидела, что девочка красива, душа ее наполнилась страхом, удивлением и дурными предчувствиями. Удивительная красота Элис таила в себе опасность. «Красивые дети,— подумала Катарина,— обычно вырастают уродами». Подумав так, Катарина решила для себя, что предугадала коварные замыслы судьбы и тем самым лишила судьбу ее могущества.

В первый день, когда Катарину навешали соседи, Акула услышал, как одна женщина недоверчиво говорила другой:

— А девочка-то — глаз не отведешь! Как же это получилось, что она родилась такой хорошенькой?

Акула зашел в спальню и долго смотрел на свою маленькую дочь. Потом он долго размышлял над этим в саду. Малышка на самом деле была красива. Было бы глупо думать, что он, или Катарина, или кто-нибудь из их родственников имел к красоте ребенка какое-либо отношение: у всех у них был очень обыкновенный вид. Ясно одно: ему послана драгоценная вещь, а так как драгоценную вещь жаждут заполучить многие, то Элис нужно охранять. Акула верил в бога, когда о нем думал. Вообще же это туманное существо, которое вершило всем, было ему непонятно.

Элис росла и становилась все краше и краше. Ее щеки горели, как яркие маки, черные волосы мягко вились, словно листья папоротника,

а глаза ее таили море обещаний. Когда кто-нибудь заглядывал в задумчивые глазки ребенка, то думал: «Есть что-то в этих глазах, их всю жизнь не забудешь». Но потом вдруг Элис поворачивала головку, и человек говорил: «Да нет, просто славная девчушка!»

Акула видел, что многие восхищались красотой девочки. Он замечал, как мужчины краснели, взглянув на Элис, а мальчишки дрались, словно тигры, если она была рядом.

В каждом мужском лице Акула, казалось ему, читал алчность. Работая в саду, он часто истязал себя вымышленными сценами, представляя, как цыгане крадут его маленькую дочку. Десятки раз на день он предостерегал ее от всяких опасностей: от лошадиных копыт, от высоких заборов, от оврагов. Он без конца повторял, что надо очень внимательно переходить дорогу. На каждого соседа, на уличного торговца, а уж тем более на незнакомца он смотрел как на возможного похитителя своей дочери. Когда в Райских Пастбищах стали поговаривать о появлении бродяг, то Акула не отходил от девочки ни на шаг. Случайные пришельцы удивлялись, с какой свирепостью Акула прогонял их прочь со своей фермы.

Что ж до Катарини, то все расцветавшая красота Элис усиливала ее дурные предчувствия. Катарине казалось, что судьба только и выжидала, чтобы нанести страшный удар. Она стала рабой своей дочери. Кружила над ней, как птица, и оказывала ей тысячу маленьких услуг, которые только и нужны что умирающему больному.

Несмотря на то, что Виксы так боготворили своего ребенка, подобно скрягам созерцая ее красоту, несмотря на их страхи и заботы о ней, оба знали, что их очаровательная дочка была невероятно бестолковая, скучная и тупая девочка. Все это увеличивало страх Акулы. Он был убежден, что она не сможет постоять за себя и станет легкой добычей любого, кто захочет похитить ее. Катарине же нравилась глупость дочери. Это открывало матери много возможностей быть ей полезной. Обслуживая ее, Катарина доказывала свое превосходство и до некоторой степени уменьшала пропасть, лежавшую между ними. Ее радовала всякая слабость дочери, так как это сближало их и оправдывало существование Катарини.

Когда Элис исполнилось четырнадцать лет, ко многим заботам Акулы Вика прибавилась еще одна. До этого времени Акула боялся, как бы его дочь не потеряла красоту, но теперь его ужасала мысль о том, что Элис может потерять целомудрие. Мало-помалу этот страх поглотил все остальные страхи. Акула стал считать, что если Элис потеряет невинность, то это будет не только позор, но и разорение. Теперь он становился очень спокойным и необычайно подозрительным, когда какой-либо мужчина или юноша приближался к ферме.

Эта мысль не давала ему покоя. Он постоянно предупреждал свою жену, чтобы та не выпускала Элис из виду.

— Ты даже не представляешь, что может случиться,— повторял он, и его бесцветные глазки вспыхивали подозрением.— Ты даже не представляешь!

Умственная ограниченность дочери увеличивала его страх. «Каждый,— думал он,— может обесчестить ее. Любой, оставшись с ней наедине, будет обращаться с Элис, как ему вздумается. И она по своей дурости не сможет защитить себя». Ни один человек не оберегал так во время течки получившую приз суку, как Акула свою дочь Элис.

Время от времени Акула начинал сомневаться в невинности дочери, покуда его не убеждали в этом. Каждый месяц он докучал своей жене. Определенные числа он знал лучше Катарини.

— У нее все в порядке? — жадно спрашивал он.

Катарина презрительно отвечала:

— Нет еще.

А спустя несколько часов опять:

— У нее все в порядке?

Он не отставал до тех пор, пока Катарина не отвечала:

— Ну, конечно, у нее все в порядке. А ты что думал?

Целый месяц Акула был спокоен, но по-прежнему очень бдителен. Невинность была сохранена, и поэтому следовало ее оберегать.

Акула знал, что придет время — и Элис захочет выйти замуж. Но когда эта мысль приходила к нему, он старался отогнать ее и забыть. Замужество Элис внушало ему такое же отвращение, как и бесчестье. Дочь была для него ценной вещью, которую следовало зорко оберегать. Для него это была эстетическая проблема, а не вопрос нравственности. Если бы ее лишили невинности, она перестала бы быть ценной вещью, которую он так берег. Он не любил ее, как отец любит свое дитя. Он пожимал ее глазами, как вещь, не имеющую себе равных по красоте. Из месяца в месяц он задавал вопрос: «Все ли у нее в порядке?» — и постепенно целомудрие Элис стало для него символом ее здоровья, неврежденности, чистоты.

Однажды, когда Элис исполнилось шестнадцать лет, Акула подошел к жене с озабоченным видом:

— Знаешь, мы не можем точно сказать, все ли у нее в порядке. Принимаешь, мы не будем в этом уверены, пока ее не осмотрит доктор.

Какое-то мгновение Катарина пристально глядела на мужа, стараясь понять, что означают его слова. И вдруг, впервые в жизни, она вышла из себя:

— Ты грязная, подозрительная свинья! Убирайся отсюда, и, если ты еще раз заговоришь об этом, я... я уйду!

Акула был немножко удивлен, но он не испугался ее гнева. Однако он раздумал вести дочь к доктору, ограничившись ежемесячными вопросами.

Тем временем богатство Акулы, существовавшее только в его тетради, продолжало расти. Каждый вечер, когда Катарина и Элис ложились спать, он зажигал свет над столом и раскрывал свою толстую тетрадь. В эти часы, когда он подсчитывал свои доходы и распределял вложения, лицо его принимало хитрое выражение, а бесцветные глазки шурились. Губы его слегка двигались: в эту минуту он представлял себе, что говорит по телефону и делает заказы на бирже. Неожиданно его лицо принимало суровое и в то же время печальное выражение — в тот момент он отказывал в выкупе просроченной закладной на одну хорошую ферму: «Мне противно так поступать. Но вы должны понять — это мой бизнес».

Акула обмакнул перо в чернила и записал в своей тетради итог этой операции. «Да, еще салат,— размышлял Акула.— Все разводят салат. Он скоро наводнит весь рынок. Пожалуй, следует посадить картофель и выручить за него деньги. Под картофель найдется хороший участок». И он записал в своей тетради, что засадил триста акров картофеля. Акула взглядом пробежал несколько строчек. Тридцать тысяч долларов лежали в банке и приносили только проценты! Деньги практически оставались без дела. Это же позор! В глазах Акулы появилось сосредоточенное выражение. Он подумал о том, как обстоят дела у фирмы «Сан Джоуз Билдинг». Они платили шесть процентов. Конечно, не годится слепо ринуться в это дело. Надо заранее разузнать об этой компании. И перед сном, закрывая тетрадь, Акула решил посоветоваться с Джоном Уайтсайдом. «Ведь иногда эти компании лопались, и служащие, забрав все деньги, скрывались»,— тревожно думал Акула.

Еще до того, как семья Мэнро переехала в долину, Акула подозревал всех мужчин и юношей в дурных намерениях по отношению к Элис, но после встречи с молодым Джимми Мэнро все страхи и опасения Акулы сосредоточились на испорченном Джимми. Парень был худощав, с красивым лицом, на котором выделялся чувственный рот; он смотрел вокруг задиристым петухом, с тем дерзким и самодовольным видом, который обычно напускают на себя школьники-мальчишки. Говорили, что Джимми пьет джин. Он носил городские шерстяные костюмы и никогда не надевал комбинезона. Волосы Джимми, смазанные бриллиантинном, блестели, и он вел себя так вызывающе, что девушки из Райских Пастбищ приходили в страшное смущение. Джимми смотрел на девушек спокойным и циничным взглядом и делал вид, что не замечает их прелестей. Он знал, что девушек очень привлекают юноши с прошлым. У Джимми было прошлое. Он несколько раз напивался на танцах в Риверсайде, перецеловал по крайней мере сотню девушек, и, наконец, у него были всякие приключения под ивами у реки Салинас. Джимми старался придать своему лицу порочное выражение, но, боясь, что этого будет недостаточно, распустил о себе злые слухи, которые, к его удовольствию, разнеслись по Райским Пастбищам с быстротой молнии.

Дошли эти слухи и до Акулы Вика. В душе Акулы вспыхнула ненависть к Джимми Мэнро за его обращение с женщинами. «Что знает о жизни красивая и глупая Элис по сравнению с таким искусственным парнем, как Джимми?» — думал Акула.

Акула запретил Элис встречаться с Джимми еще до того, как она вообще увидела его. Акула говорил о Джимми с такой яростью, что в тупом уме девушки невольно пробудился слабый интерес к Джимми.

— Не дай бог, если я увижу, что ты разговариваешь с Джимми Мэнро, — сказал как-то Акула.

— Папа, а кто такой Джимми Мэнро?

— Нет тебе до него никакого дела. Смотри, если я когда-нибудь увижу, что ты с ним говоришь! Только взгляни на него, я с тебя шкуру спущу.

Акула ни разу не ударил Элис по той же причине, по какой он бы никогда не стукнул по фарфоровой вазе. Он даже не решался приласкать Элис из боязни как-то повредить ей. Элис никогда не надо было наказывать: она росла тихим, послушным ребенком. Безнравственность рождается фантазией и честолюбием. У Элис не было ни того, ни другого.

И снова вопрос:

— Ты не говорила с Джимми Мэнро, а?

— Нет, папа.

— Только посмей!

Оттого, что отец часто повторял эти слова, в тупой голове Элис возникло греховное желание посмотреть на Джимми Мэнро. Она была так взбудоражена, что Джимми даже снился ей. Элис редко снилось что-нибудь, но вот в ее снах стал являться мужчина по имени Джимми, похожий на индейца с календаря. Он подъезжал в сверкающем автомобиле и угощал Элис большим сочным персиком. Когда она надкусывала персик, сок бежал по ее подбородку, и Элис очень смущалась. В этот момент мать будила ее, потому что она храпела. Катарина была довольна тем, что Элис храпела. Этот недостаток уравнивал дочь и мать, хотя это было и неженственно.

Акула Вика получил телеграмму: «Тетя Нелли скончалась прошлой ночью. Похороны субботу». Он сел в свой форд и поехал на ферму к Джону Уайтсайду, сказать, что не сможет присутствовать на собрании

общины. Джон Уайтсайд был председателем общины. Перед тем как уйти, Акула задумался на мгновение и затем сказал:

— Я хотел спросить, что вы думаете о компании «Сан Джоуз Билдинг»?

Джон Уайтсайд улыбнулся.

— Я мало что знаю об этой компании.

— Вот у меня лежат тридцать тысяч долларов, приносящих всего три процента в год. Мне кажется, что если все хорошенько взвесить, то можно получить прибыли побольше.

Джон Уайтсайд сжал губы и легонько подул на указательный палец:

— Пожалуй, компания «Билдинг и Лоун» стоит риска.

— О нет, так вести дела я не люблю. Рисковать не хочу, — перебил Акула. — Если я не вижу реальной прибыли в деле, то я за него не берусь. Слишком многие рискуют.

— Это я так сказал, мистер Викс. Дела у «Джоуз Билдинг» идут плохо. И они вынуждены платить высокие проценты.

— Так или иначе, я загляну туда, — решил Акула. — Я еду в Окленд на похороны тети Нелли и остановлюсь на часок-другой в Сан Джоузе, найду там в контору компании.

В тот вечер в универсальном магазине Райских Пастбищ строились новые предположения о богатстве Акулы, так как он успел посоветоваться с несколькими людьми.

— Во всяком случае надо сказать одно, — заключил Аллен, — Акула Викс себе на уме, его так просто не проведешь. Он со многими посоветуется, да и сам хорошенько все обдумает, прежде чем решится на что-нибудь.

— Да, он парень не промах, — согласились присутствующие.

Акула уехал в Окленд в субботу утром, впервые в жизни оставив жену и дочь одних. А в субботу вечером Том Бремен зашел к Виксам пригласить Катарину и Элис в школу на танцы.

— О, я не знаю, как бы посмотрел на это мистер Викс, — сказала Катарина дрогнувшим от испуга голосом.

— Но он же не говорил вам, чтобы вы не ходили? Разве не так?

— Да, но он никогда раньше не уезжал. Боюсь, ему это не понравится.

— Он просто никогда об этом не думал, — уверял ее Том Бремен. — Одевайтесь-ка поскорей!

— Пойдем, мама, — сказала Элис.

Катарина знала, что ее дочь так легко согласилась идти на танцы, потому что была слишком глупой, чтобы бояться отца. А кто знает, что он скажет на все это? Катарина ужасалась при мысли о неделях мучительных разговоров, которые начнутся с приездом Акулы. Она уже отчетливо слышала голос своего мужа: «Я не понимаю, как ты додумалась уйти в мое отсутствие. Когда я уезжал, я надеялся, что ты и Элис будете смотреть за хозяйством. А первое, что вы сделали — умчались на танцы». А затем последуют вопросы: «С кем танцевала Элис? Что он сказал ей? Почему ты не слышала? Ты должна была слышать». Акула не будет сердиться. Но неделю за неделей он беспрестанно будет твердить одно и то же, пока Катарина вообще не возненавидит танцы. А когда придет нужное число месяца, вопросы Акулы будут жужжать, как москиты, пока он не уверится в том, что Элис не ждет ребенка. Катарина считала, что вся эта затея не стоит того, чтобы потом выслушивать разговоры Акулы.

— Пойдем, мама, — просила Элис, — мы ни разу в жизни не ходили никуда одни.

Волна жалости поднялась в душе Катарини. Бедная девочка, у нее никогда не было своих тайн. Элис никогда не болтала с мальчишками, потому что Акула ни на шаг не отпускал ее от себя.

— Хорошо, — чуть слышно сказала Катарина. — Если мистер Бремен подождет нас, мы пойдем.

Катарина вдруг почувствовала себя очень храброй при мысли о том, что заставит беспокоиться Акулу.

Слишком большая красота для деревенской девушки — такая же похота, как и уродство. Когда деревенские парни смотрели на Элис, горло у них сжималось, руки и ноги становились неуклюжими, а шеи краснели. Ничто не могло заставить парней заговорить с Элис или потанцевать с ней. Даже наоборот, при ней они неистово танцевали с менее красивыми девушкам, становились шумны, как дети, и выкидывали всякие фокусы. Когда она отворачивалась от парней, они заглядывались на Элис, но когда она смотрела в их сторону, они всячески старались показать, что не замечают ее присутствия. Элис, с которой обращались всегда таким образом, не знала о своей красоте. Во время танцев ее совсем не приглашали.

Когда Катарина и Элис вошли в школьное помещение, Джимми Мэнро уже стоял там, прислонясь к стене. Весь его облик был воплощением изящного безразличия и великолепной скуки. Его брюки имели двадцать семь сантиметров ширины, а носки лакированных туфель были квадратные, как кирпичи. Черный галстук бабочкой устроился у воротника белой шелковой рубашки, гладко зачесанные волосы его блестели. Джимми был городской парень. Он лениво устремился на свою добычу. Не успела Элис снять пальто, как Джимми оказался рядом с ней. И усталым тоном, который он усвоил еще в школе, Джимми спросил:

— Танцуешь, крошка?

— Чего? — сказала Элис.

— Потанцуем?

— Танцевать? — Элис посмотрела на него своими обещающими, затуманенными глазами.

Ее бестолковый вопрос показался вдруг очаровательным, шутливым и в то же время намекал на что-то другое, что привело в волнение даже циничного Джимми. «Танцевать?» Он подумал, что она спросила: «Только танцевать?» И несмотря на выучку, полученную в школе, горло Джимми сжалось, его руки и ноги нервно задрожали, а к шее прилила кровь.

Элис повернулась к матери, которая трещала, как сорока, про домашние дела с миссис Бремен.

— Мама, можно я потанцую? — спросила Элис.

— Пожалуйста, — улыбнулась Катарина и добавила: — Повеселись хоть разок.

Джимми нашел, что Элис танцует плохо. Когда музыка перестала играть, он сказал:

— Давай пройдемся, здесь очень жарко. — И повел ее в школьный двор.

В это время женщина, стоявшая у входа в школу, вошла в помещение и шепнула что-то Катарине на ухо; Катарина вскочила и выбежала во двор.

— Элис! — закричала она диким голосом. — Элис, вернись сейчас же!

Когда из тени деревьев вышли двое ослушников, Катарина набросилась на Джимми:

— А ты держись подальше, слышишь! Подальше держись от этой девушки, не то плохо тебе будет.

Все мужество Джимми растаяло. Он чувствовал себя ребенком, в наказание отправленным домой. Он ненавидел себя за свой страх, но не мог перебороть его.

Катарина повела Элис в зал.

— Разве отец не велел тебе держаться подальше от Джимми Мэнро, а?! — набросилась на дочь Катарина. Она была перепугана.

— Это был он? — прошептала Элис.

— Конечно, он. Что вы делали там, во дворе?

— Целовались, — испуганно ответила Элис.

Катарина раскрыла рот.

— О боже, — сказала она, — о боже, что мне делать...

— Это плохо, мама?

Катарина нахмурилась.

— Нет, нет! Конечно, это не плохо! — закричала она. — Это хорошо, но не вздумай сказать об этом отцу. Даже если он спросит тебя, ты молчи. О, он сойдет с ума! Теперь садись рядом со мной и сиди так целый вечер. И чтобы ты не видела больше этого Джимми Мэнро, слышишь? Может быть, отец не узнает ничего. О господи! Надеюсь, он ничего не узнает.

В понедельник, сойдя с вечернего поезда в Салинасе, Акула Викс сел на автобус и доехал до перекрестка. Отсюда дорога шла прямо в Райские Пастбища. Акула ухватил покрепче свой чемоданчик и пустился в путь. До дому оставалось четыре мили.

Ночь была ясная, свежая и обильная звездами. С холмов неслись слабые таинственные звуки, звавшие его домой. Эти звуки рождали в его голове мечты, и он шел, не замечая дороги.

Акула остался доволен похоронами. Было много красивых цветов. Плач женщин и торжественная поступь мужчин вызывали в Акуле мягкую печаль, а это было даже приятно. Мудрый обряд церкви, который никто не понимает и не слушает, подобно дурману, влил в его душу и тело сладкие таинственные соки. Врата церкви открылись для него и через час закрылись. Из этого общения он вынес навевающий дремоту запах едких цветов, плавающего ладана, он приблизился к вечности. Все это вызвала в нем величественная простота похорон.

Акула плохо знал тетю Нелли, но ему очень понравились ее похороны. Его родственники относились к нему с уважением и почтением — видно, каким-то образом они прослышали о его богатстве. И теперь, по дороге домой, он думал обо всем этом, и чувство удовлетворения, которое он испытывал, сокращало ему путь. Он быстро добрался до Райских Пастбищ и заглянул в универсальный магазин. Он был уверен, что застанет там кого-нибудь, кто сможет рассказать ему обо всех событиях, происшедших в долине за время его отсутствия.

Аллен, владеец магазина, знал все, что случилось. К тому же он умел возбудить интерес к малейшей новости, притворяясь, что не хочет говорить. Самая пустяковая сплетня вызывала большое волнение, если ее рассказывал старый Аллен.

Акула вошел в магазин. Кроме хозяина, здесь никого не было. Старый Аллен сел на откидной стул, и в глазах его загорелось любопытство.

— Я слышал, что ты уезжал, — начал он голосом, располагавшим к доверию.

— Да, был в Окленде, — ответил Акула. — Пришлось поехать на похороны. Заодно думал устроить кой-какие свои дела.

Некоторое время Аллен из приличия не перебивал рассуждения Акулы, а затем спросил:

— Что-нибудь выгорело?

— Ну, не знаю, как сказать. Я интересовался одной компанией.

— Купил акции? — с уважением спросил Аллен.

— Да, немного.

Оба помолчали.

— Что-нибудь произошло, пока меня не было?

Аллен немедленно притворился, что не хочет открывать то, что знает. По его лицу можно было прочесть почти естественное отвращение к известной сплетне.

— Были танцы в школе, — наконец уступил он.

— Да, я знал об этом.

Аллен очень смутился. В его душе, несомненно, шла борьба: сказать Акуле о том, что он знал, конечно, ради самого Акулы, или промолчать. Акула с интересом наблюдал за Алленом. Он и раньше видел такие сцены.

— Ну, так в чем же дело? — торопил Акула.

— Слышать, скоро быть свадьбе.

— Ну! У кого ж это?

— У кого-то из наших.

— Так у кого же? — снова спросил Акула.

Аллен слегка помялся.

— У тебя.

Акула усмехнулся:

— У меня?

— У Элис.

Акула, окаменев, уставился на старика. Затем он угрожающе подступил к Аллену:

— На что это ты намекаешь?

Аллен понял, что сказал лишнее. Он весь сжался от страха:

— Что вы замышляете, мистер Виск?

— Что ты имеешь в виду, расскажи мне все! — Акула схватил Аллена за плечи и с силой потряс.

— Просто были танцы...

— Элис была там?

— Да.

— Что она делала там?

— Не знаю. Я думаю, ничего.

Акула грубо стащил старика со стула. Ноги у Аллена дрожали.

— Говори! — потребовал Акула.

Старик захныкал:

— Элис просто вышла в сад с Джимми Мэнро.

Акула снова схватил Аллена за плечи и что есть силы встряхнул перепуганного старика:

— Говори же, что они там делали?

— Я не знаю, мистер Виск.

— Говори!

— Ну, мисс Бэрк... мисс Бэрк сказала, что они целовались.

Акула отбросил Аллена, как куль, и сел. Эта новость потрясла его. Он свирепо глядел на Аллена. В голове Акулы никак не укладывалась мысль о бесчестии дочери. Он не верил, что этот эпизод мог кончиться только поцелуем. Акула повернул голову, и взгляд его беспомощно скользил по стенам. Вдруг Аллен увидел, что глаза Акулы на какое-то мгновение задержались на ружье в витрине.

— Не вздумай что-нибудь устроить! — закричал Аллен. — Это ружье не твое.

Акула даже не заметил ружья. Но теперь, когда Аллен упомянул про оружие, Акула подскочил к витрине, открыл ее и вынул тяжелое ружье. Он оторвал ярлычок с ценой, засунул пачку с патронами в карман и, не взглянув на владельца магазина, вышел за дверь и зашагал в темноту ночи. Не успели затихнуть быстрые шаги Акулы, как старый Аллен подскочил к телефону.

Акула быстро шагал к дому Мэнро. В голове его беспорядочно теснились мысли. И хотя он прошел немного, он был уже твердо убежден в том, что не станет убивать Джимми Мэнро. Сам Акула никогда бы не додумался до этой мысли, если б не владелец магазина. В тот момент Акула действовал не раздумывая. Теперь он старался представить, что он станет делать, когда придет в дом Мэнро. Может, все-таки следует пристрелить Джимми Мэнро?

Акула услышал звук приближающейся машины и отступил в кусты. На полном ходу машина промчалась мимо него. Скоро Акула уже подходил к дому Мэнро, но он совсем не чувствовал ненависти к Джимми. При мысли о том, что его дочь Элис потеряла невинность, в душе его возникало чувство пустоты. В его представлении Элис была уже мертва, думать о ней иначе он не мог.

Вскоре Акула увидел свет в доме Мэнро. Но Акула уже знал, что не сможет застрелить Джимми. Даже если бы его подняли на смех. В душе Акула не был убийцей. Он решил, что заглянет в их ворота и вернется домой. Может быть, над ним станут смеяться. Что ж? Он просто не может убить кого-нибудь.

Вдруг из-за темных кустов вышел человек и крикнул:

— Бросай ружье, Викс! Руки вверх!

Акула с усталой послушностью положил ружье на землю. Он узнал голос шерифа.

— Привет, Джек,— сказал Акула.

И неожиданно со всех сторон его окружили люди. Среди них Акула увидал испуганное лицо Джимми. Перетрусивший отец Джимми сказал:

— За что ты хотел убить моего сына? Старый Аллен позвонил мне. Джимми никого не обидел. А тебя я так упрячу, что ты никому не сможешь причинить вреда.

— Мы не имеем права посадить его в тюрьму,— сказал шериф,— он ничего не сделал. Можем только взять с него штраф.

— Что ж, хорошо. Тогда я оштрафую его.

— Возьми с него большой штраф,— поддержал шериф.— Акула достаточно богатый человек. А теперь отведем его в Салинас, там ты сможешь предъявить ему свои требования.

На следующее утро Акула Викс, безразличный ко всему, пришел домой и лег на кровать. Он лежал, не закрывая пустые, уставшие глаза, а руки его недвижно висели, как у покойника. Проходили часы, но Акула по-прежнему не шевелился.

Катарина была в огороде, когда он вошел в дом. Опущенные плечи, печально поникшая голова Акулы доставили Катарине горькую радость. Когда Катарина пришла, чтобы приготовить обед, она ступала на цыпочках и велела Элис ходить тихо.

В три часа, приоткрыв дверь спальни, Катарина сказала:

— У Элис все в порядке. Ты бы лучше спросил у меня, прежде чем что-нибудь предпринять.

Акула ничего не ответил.

— Ты не веришь мне? — сказала Катарина, напуганная его безжизненным видом.— Если ты не веришь мне, можешь сам сходить к доктору. Я пошлю за доктором, если ты не веришь.

Акула не шевельнулся.

— Я верю тебе,— безразлично сказал он.

В эту минуту душу Катарина охватило чувство, которого она никогда в жизни не испытывала. В ней заговорил добрый гений. Катарина села на край кровати и уверенным жестом положила голову Акулы к себе на колени. Она сделала это инстинктивно, потом, повинувшись этому сильному чувству, Катарина погладила лоб Акулы. Акула не шевелился. Он все смотрел в потолок. Катарина по-прежнему гладила его, и Акула вдруг отрывисто заговорил.

— У меня нет денег,— сказал он пустым голосом.— Они взяли меня и потребовали десять тысяч долларов штрафа. Мне пришлось сказать судь. Они все слышали. Они все знают — у меня нет денег. У меня никогда их не было. Понимаешь? Эта тетрадь была моей выдумкой. Каждая строчка в ней была ложью! Теперь все знают. Мне пришлось сказать судь.

Катарина ласково гладила его голову, и нежное чувство продолжало расти в ее душе. Сейчас она была самой щедрой в мире. В этот миг у нее на коленях лежал целый мир. Жалость возвысила ее. Казалось, душа ее стремилась успокоить всех страждущих в мирской юдоли.

— Я никого не хотел обидеть,— снова заговорил Акула.— Я бы не стал стрелять в Джимми. Я не успел уйти, и они поймали меня. Они думали, что я хотел убить его. И теперь все знают, что у меня нет денег.

Он лежал обмякший, глядя вверх.

Вдруг нежность, охватившая Катарину, наполнила ее необычайной силой. Катарина знала теперь, на что она способна. Она ликовала от счастья. В этот миг она стала очень красивой.

— Не везло тебе,— тихо сказала Катарина.— Всю свою жизнь ты потратил на эту старую ферму. Просто не везло тебе. Откуда ты знаешь, что не смог бы заработать деньги? Я думаю, ты смог бы. Я уверена в этом.

Пока она сидела около него, в ней росло сознание своей силы. И Катарина знала, что вся ее жизнь стремилась к этому мгновению. В эти минуты Катарина была богиней, гласом судьбы. Она продолжала гладить мужа по голове.

— Мы уедем отсюда,— повторяла она.— Продадим эту ферму и уедем отсюда. И тогда у тебя будет возможность, которой ты не имел. Вот увидишь, я верю в тебя.

Во взгляде Акулы затеплился живой огонек. Акула повернулся, посмотрел на Катарину и увидел, как она была прекрасна. И пока он смотрел на Катарину, ее сила будто передалась ему. Акула крепко прижался головой к ее коленям. Катарина нагнулась к мужу. Она испугалась, почувствовав, что чудодейственная власть покидает ее. Вдруг Акула привстал. Он позабыл про Катарину, но глаза его светились силой, которую она влила в него.

— Я уеду, как только продам ферму! — крикнул он.— У меня еще будут деньги! Еще пробьет мой час, и я покажу людям, кто я таков.

Перевела с английского Н. ТЕМЧИНА.



В МИРЕ ИСКУССТВА

Н. ЛЮБИМОВ

★

ИГОРЬ ИЛЬИНСКИЙ

Я увидел Игоря Ильинского впервые осенью 1933 года в Театре имени Мейерхольда, помещавшемся тогда в начале улицы Горького (где теперь Театр Ермоловой), на премьере «Свадьбы Кречинского» в роли Расплюева.

До этого я знал Ильинского только по фотографиям да по отзывам критиков и рецензентов.

Моя «зрительская» жизнь шла не совсем обычным путем. Первые свои семнадцать лет я почти безвыездно прожил в уездном городке. Там часто — с предельной добросовестностью, какая и не снилась иным профессионалам, — устраивались любительские спектакли. Туда изредка — обыкновенно летом — заглядывали губернские гастролеры, в частности — знаменитая в свое время провинциальная актриса Минаева. С каждым годом туда все чаще и чаще заезжали «кинопередвижки», но кормили они нас преимущественно всякой мелодраматической дребеденью. Фильмы с участием Ильинского до моего городка так и не дошли. Впрочем, теперь, поведая их на повторных показах, я об этом, сказать по совести, не жалею. Судьба распорядилась иначе — к лучшему для меня.

Мои театральные вкусы и симпатии — задолго до того, как я стал постоянным посетителем московских театров, — складывались под влиянием рассказов и воспоминаний моей матери, страстной поклонницы Малого и Художественного театров. Она обладала способностью воссоздавать целые эпизоды: сцену Кручинниной-Ермоловой и Галчихи-Садовской из «Без вины виноватых», или объяснение в любви Вершинина-Станиславского и Маши-Книппер из «Трех сестер», или появление в финале пьесы Леонида Андреева «Анфиса» (театр Незлобина) таинственной и страшной Бабушки, глухо, отекающая каждый слог, спрашивавшей Анфису (Рощину-Инсарову), только что отравившую мужа: «Мы-шья-ком?» — на что Анфиса-Рощина, глядя невидящим взглядом в публику, машинально отвечала: «Нет, цианистый калий». на что Бабушка в свою очередь отвечала своим загадочно-зловещим, похожим на стук маятника присловьем: «Так, так».

Кроме этой способности, моя мать обладала даром имитации, опасным для слушателей, когда она изображала общих знакомых. При встрече с кем-либо из тех, кого моя мать недавно показывала, копируя его манеру говорить, я, смешливый от природы, фыркал, прыскал и давился хохотом. Но благодаря этой же ее способности мне с детства запомнились и «во Христе юродивый», умиленный распев царя Федора-Москвина: «Аринушка, здорово!.. Родимая моя! Бесценная!»; и горделивая властность, с какою Иван Петрович Шуйский (Лужский) произносил: «...и мы за правду встали, мы, Шуйские, а с нами весь народ»; и предвкушающе-виноватый тон, каким Астров-Станиславский отвечал на предложение няни налить ему рюмку водки: «Пожалуй...»; и полубред Маши-Книппер, испытывавшей нестерпимую боль разлуки с любимым человеком: «Ют зеленый!.. дуб зеленый!.. Я пугаю...»; и такой непривычный для зрителей «Горя от ума», приученных к эффектному уходу Чацкого в последнем действии и к его финальному теворовому

forte, но психологически оправданный шепот изнемогшего от «миллона терзаний» Чацкого-Качалова: «Карету мне, карету!»; и пение Глумова-Качалова из «На всякого мудреца» перед самой катастрофой: «Все уладил, все уладил» — пение сначала ликующее, потом, по мере того как он все явственнее убеждается в пропаже дневника, озадаченное и растерянное.

В 1926 году, когда мне было четырнадцать лет, моя мать поехала ранней осенью на неделю в Москву и взяла с собой меня. Мы были с ней в Художественном театре на «Царе Федоре» с Качаловым и в Малом театре на «Воеводе» с Массалитиновой и Рыжовой. При входе в Художественный театр мы купили журнал «Новый зритель». С его обложки на меня, прищурившись, смотрел Аркашка-Ильинский, блаженно и нагло вато пыхивавший папиросой.

Я представлял себе Счастливецва иначе. В выражении лица этого Аркашки мне почудилось что-то не просто задорное и озорное, а залихватское, более того — хулиганское. Этому впечатлению, вероятно, способствовало то, что я слышал о мейерхольдовском «Лесе» вообще, а слышал я о нем тогда только дурные отзывы, которые можно свести к одной фразе: «Мейерхольд корежит классиков». Каким-то образом дошли до меня и слова Южина, сказанные где-то на диспуте: «Лес» Мейерхольда — это плевок в лицо русской культуры».

Было, однако, во всем облике Аркашки-Ильинского и нечто яркое, пусть и непривычное, пусть несколько раздражающее, пусть и несогласное с моим детским представлением о Счастливецве, но во всяком случае занятное, притягательное, невольно задерживающее на себе внимание.

Так — по прихоти судьбы — впечатление от первого моего похода в московский театр, да еще в тот, которым я бредил чуть ли не с семи лет, о посещении которого я мечтал как о несбыточном счастье, сплелось в моей памяти с впечатлением от фотографии Ильинского в роли Счастливецва. Этот номер журнала я увез домой как реликвию, долго потом от доски до доски перечитывал и всякий раз всматривался напряженно в Аркашку-Ильинского — что-то меня к нему все же влекло.

Студенческие мои годы (1930—1933) протекали в Москве. Я жил в квартире друга моей матери — Маргариты Николаевны Зелениной, дочери великой артистки Ермоловой. Маргарита Николаевна Мейерхольда не любила, как не любило его и почти все ее родственное и дружеское окружение. И я сделался заочным противником Мейерхольда. Особенно меня возмущали его эксперименты над классиками. Это больше всего меня от него отпугивало и отталкивало. То, как он себя подавал на афишах и в программах — «Автор спектакля (metteur en scène) Вс. Мейерхольд», — представлялось мне манерной, нерусской и по форме и по духу саморекламой. Правда, была еще одна, уже не принципиальная, а сугубо прозаическая причина моего упорного нехождения к Мейерхольду: в моих студенческих карманах свободно разгуливал ветер. В Малый театр благодаря неизменной отзывчивости секретаря дирекции Василия Васильевича Федорова я ходил по контрамаркам, а сэкономленные на насущных потребностях деньжонки тратил на билеты в Художественный — разумеется, на верхотуру.

Прошло три театральных сезона. Осенью 1933 года Театр имени Мейерхольда поставил «Свадьбу Кречинского» с незадолго до того перешедшим из Малого театра Ю. М. Юрьевым в заглавной роли. Юрьев жил тогда в той же квартире, что и я. Переход Юрьева к Мейерхольду рассматривался Маргаритой Николаевной и ее друзьями как причуда большого артиста, отчасти, впрочем, оправданная тем, что Малый театр не обеспечил ему мало-мальски сносного репертуара. Жена Качалова, режиссер Художественного театра Нина Николаевна Литовцева, подробно, с чисто мхатовской широкой и непредубежденной любознательностью расспрашивала при мне Юрия Михайловича о ходе релетиционной работы у Мейерхольда. Юрий Михайлович был увлечен мейерхольдовской трактовкой Кречинского и всем его режиссерским замыслом. Наконец он пригласил своих соквартирантов — Т. Л. Щепкину-Куперник и меня — на премьеру...

Татьяна Львовна была отнюдь не та спутница, которая могла бы настроить

меня на мейерхольдовский лад. Она терпеть не могла Театр Мейерхольда и говорила, что идет на спектакль, только чтобы не обидеть Юрия Михайловича.

Словом, все как будто складывалось исподволь так, чтобы моя первая зрительская встреча с Игорем Ильинским не принесла мне радости. Я был заранее враждебно настроен и к спектаклю, и к его «автору».

И поначалу спектакль мне не понравился. Недоумение вызвала первая же мизансцена, из которой явствовало, что Атуева посягает на невинность Тишки.

— Начинается! — услышал я негодующий шепот Татьяны Львовны.

Не удовлетворила меня и посредственная игра некоторых актеров, огорчило отсутствие ансамбля. За три года моей московской жизни я уже привык к высокому классу игры в Художественном и в Малом театрах. Зато Юрьев меня поразило. До этого вечера мне на него не везло. Я видел его в пьесах-сезонках, сгоревших, по народному выражению, так, что даже дым от них не пошел, — во «Вьюге» Шимкевича и в «Смене героев» Ромашова: там он казался мне большим кораблем, севшим на мель, — да в отрывках из «Манфреда» и «Маскарада» в концертном исполнении, где он был, на мой взгляд, слишком холоден, слишком «надмирнен». Мейерхольд в «Свадьбе Кречинского» спустил его с ложноклассических ходуль на реалистическую землю. Юрьев оставался в Кречинском по-юрьевски барственным, по-юрьевски живописным, по-юрьевски скульптурным. Он по-юрьевски элегантно носил костюм, держал в руках цилиндр и тросточку, был по-юрьевски изящен в каждом движении, жесте, в походке. Но в отличие не только от Манфреда, но даже от Арбенина Кречинский Юрьев был человек с кровью в жилах. То был авантюрист по призванию, авантюрист одаренный, авантюрист высокого, захватывающего дух полета, расчетливый и обольстительный хищник. Он пускается на авантюры, конечно, в первую очередь ради наживы, но не только ради нее, а и ради «любви к искусству», ради любви к риску. Он находит «упоение» в том, чтобы стоять «бездны мрачной на краю». Его любимое занятие — обдумывать, соображать, прикидывать в уме, взвешивать pro и contra. Изящество поз, столь характерное для Юрьева как артиста, здесь не было самоцелью: ведь Кречинский все время рисуется и позирует — даже перед Расплюевым: это один из его приемов, это его шулерский крап, это его маска, с годами приросшая к лицу.

Кроме Кречинского, Юрьев ничего у Мейерхольда не сыграл и в 1937 году снова переехал в Ленинград. Больше я его не видел на сцене. Ленинградские зрители, внимательно следившие за творчеством Юрьева, притом такие тонкие знатоки театра, как Константин Николаевич Державин, говорили мне, что спектакль «Свадьба Кречинского» у Мейерхольда был в известной мере переломным для Юрьева. Давным-давно сложившийся актер нашел в себе силы и мужество пересмотреть реквизит своих изобразительных средств, от чего-то обветшалого отказаться, приобрести то новое, чего, как он сам почувствовал, ему не доставало, и он спустился с ледяных вершин поближе к земле с ее животворящим теплом, стал играть естественнее, проще и — глубже.

Однако я отвлекся... Второе действие. Комната в квартире Кречинского. В окно сочится рассвет — белесый, мутный, больной. Справа на переднем плане сидят какие-то подозрительные угрюмые личности. Одна из них закутана в плед. Это аферисты, сподвижники Кречинского. Один из них носит характерную фамилию — Крап. В пьесе Сухова-Кубылина их нет. Они созданы фантазией Мейерхольда и введены в спектакль, чтобы показать среду, ближайшее окружение Кречинского, чтобы показать, что у него дело поставлено на широкую ногу, что он главарь целой шайки, а еще, по-видимому, для того, чтобы Федор говорил свой монолог, обращаясь не к публике, а к партнерам. Мейерхольд был врагом, кажется, только этой условности, в дочеховском театре вполне привычной и обычной: враг не разговора с самим собой, а монолога наедине, несущего сюжетную функцию. В начале второго действия «Ревизора» Мейерхольд вводил «персонаж без речей» — девчонку, трактирную судомойку, которой Осип все и рассказывал про своего непутевого барина.

Но вот раздается стук. Федор поднимается по лестнице, отворяет кому-то дверь. Этот «кто-то» входит спиной, спиной, согнутой в три погибели. Котелок на этом существе измят.

— Да что это вы? Разве что вышло? — спрашивает Федор.

В ответ пришибленное, потрепанное существо издает звук «хрррр». Не прерывая этого гортанного, хоркающего звука, оно неторопливо, уныло спускается по длинной лестнице, и только когда оно добирается до последней ступеньки, непонятный звук внезапно переходит в смачный плевок:

— Хрр, тьфу!.. вот что вышло!

Это не было клоунадой только ради клоунады, как восприняла первый выход Ильинского моя спутница. Это была действительно клоунада, неожиданная и потому смешная, но — характерная для Расплюева. Он шулер и — по совместительству — шут. И до того ввелось в него это паясничанье (как в Кречинского позерство — ведь они оба актеры: и мастер и подмастерье), что он, только что потерпевший в игорном доме полнейшее фиаско, да к тому же еще и жестоко избитый, по привычке мрачно фиглярничает. Этой смелой, однако с образом в противоречие не вступающей, как раз наоборот — образом подсказанной выдумкой Ильинский меня покори́л. Я сразу, с первой же сцены поверил ему.

Самый сильный момент во всей роли Расплюева оказался и самым сильным моментом в исполнении Ильинского... Кречинский, обмозговав дельце, приходит в веселое расположение духа. На радостях он устраивает целое представление. Он издевается над Расплюевым, он пугает его тем, что он, Кречинский, бежит, а сюда нагрянет полиция, и его, раба божия, в тюрьму да с бубновым тузом на спине — по Владимирке. Согласно мизансцене Мейерхольда Кречинский-Юрьев не только запирает Расплюева — он распинает его у лестницы, прямо против публики, вместе с Федором привязывает его веревкой к перилам, затем уходит и запирает за собой дверь.

Расплюев, распятый, опутанный веревкой, насмерть запуган ревящимся барином. Все лицо Расплюева морщится, он часто-часто мигает глазами и по-старчески жалко и беспомощно хлопает носом. Этот приживальщик, этот завсегда́тай игорных притонов вдруг затосковал по «гнезду», по «птенцам». Ни «гнезда», ни «птенцов» у него, вернее всего, никогда и не было. Но Расплюев-Ильинский всей душой верит сейчас в сотворенную им же самим легенду, а вместе с ним верим и мы, зрители.

После мейерхольдовской «Свадьбы Кречинского» я видел немало хороших спектаклей и хороших актеров, видел превосходную игру в других ролях самого Ильинского, однако это старческое хлюпанье Расплюева и его монолог о птенцах и гнезде до сих пор у меня в ушах. До сих пор это остается одним из незабываемо сильных и наиболее трогательных моих театральных впечатлений. С этого дня я, не изменив моим прежним театральным привязанностям, по-прежнему благоговей перед искусством Художественного и Малого театров, стал частым посетителем Театра имени Мейерхольда вплоть до самого его закрытия, — посетителем, неизменно заинтересованным в том, как этот режиссер разрешает ту или иную задачу в спектакле. С этого же дня я навсегда полюбил Ильинского. В моем внезапном порыве зрительской любви, как я убедился впоследствии, не было ничего чудесного. Несмотря на отдельные, чуждые мне приемы, которыми пользовался в роли Расплюева Ильинский, я — тогда еще смутно — почувствовал в нем мой любимый тип актера — актера-реалиста, сочного, полнокровного, смелого, наблюдательного, вдумчивого, душевно щедрого. Вот почему приход Ильинского в Малый театр меня нисколько не удивил, напротив — я воспринял это как нечто строго закономерное. Более того, творческий путь Ильинского до Малого театра мне теперь представляется интересной, порой захватывающе интересной, но все же только предысторией.

И в первой сцене с шулерами, и в издевательствах Кречинского над Расплюевым, и в третьем действии, происходившем в нанятой Кречинским кухмистерской, до жути пустой, где все фальшивое, все ненастоящее, все с чужого плеча, где в

желтом тумане двигаются призрачные фигуры переодетых музыкантами шулеров и аферистов, которым Расплюев с увлечением рассказывает о «подвиге» Кречинского (кстати сказать, это было блестяще сыграно Ильинским, как и его диалог с Муромским), в трагедии обманутого доверия, которую переживают Лидочка и ее отец, — во всем этом неожиданно почувствовался Достоевский. Все фигуры вплоть до ювелира-ростовщика, все мизансцены Мейерхольд заливал тем резким, фантастическим светом, каким озарены люди и вещи в «Идиоте» или в «Игроке». Но самым «достоевским», глубже всего остального западавшим в душу моментом спектакля запечатлелся в моей памяти монолог Расплюева-Ильинского о гнезде и о птенцах, ибо в нем звучала боль за обиженного, беззащитного человека.

Гуманизм — одна из важнейших черт в творческом облике Ильинского и один из главных источников его актерского обаяния.

После Расплюева Ильинский-актер и Ильинский-чтец создал галерею образов бедных людей, чье достоинство было попорчено «сильными мира сего», чью жизнь они разбили вдребезги, чей душевный мир они загрязнили и опустошили, чье нравственное существо они искалечили, и Ильинского-актера еще с нетерпением ждет Муромский из «Дела», а Ильинского-чтеца — Акакий Акакиевич, Мармеладов и штабс-капитан Снегирев.

Ильинский не причисляет и не приглаживает ни Шмагу, ни Счастливецца, ни тем более Расплюева, но он стремится в каждом из них найти человеческие черты. Он не оправдывает падших — он призывает к ним милость зрителей. И в этом смысле Ильинский — глубинно русский художник, продолжатель традиций Пушкина и Гоголя, Щепкина и Прова Садовского, Достоевского и Льва Толстого.

Взгляните на фотографию Ильинского в роли Расплюева, где он снят с игровой картой в руке. Да, конечно, плут, да, конечно, шут. Но приглядитесь пристальнее. Какое жалкое у этого гаера лицо! Какие страдальческие у этого шулера глаза! Какой это несчастный человек! Как он нуждался, как он мыкался, как он бедствовал! Как много претерпел он на своем веку оскорблений, унижений, глумлений, телесных и душевных увечий! И в слова о гнезде и о птенцах Ильинский вкладывал всю тоску этого бездомника о своем угле, тоску человека, которому за всю его жизнь никто, наверное, не сказал доброго слова и которому в свою очередь не о ком позаботиться и некого пригреть.

Приходит время зрелости суровой...

В Малом театре Ильинский стал по-иному играть Счастливецца. От раннего, мейерхольдовского спектакля осталась картинность жеста, остался, разумеется, смех, временами такой же беспечно веселый.

О своем исполнении Хлестакова в возобновленном на сцене Малого театра «Ревизоре» Ильинский писал в статье «Драматург-режиссер»: «Отказываясь от излишеств, от засоряющих или второстепенных деталей, я ни в коем случае не хотел засушить или обеднить образ; все краски, которые, мне казалось, способствуют его раскрытию, я оставлял».

Приведенные слова Ильинского сохраняют свою силу и по отношению ко второму, углубленному варианту его Аркашки. Теперь уже Аркашка не только смешон, но и трогателен, человечен. Тем, кто не видел Ильинского в этой роли, опять-таки достаточно взглянуть на фотографию. Сейчас видно, что это не просто «комик в жизни и злодей на сцене», готовый каждую минуту выкинуть коленце, отколоть штуку, чтобы позабавить других, а заодно отвлечь от мрачных дум и себя самого, чтобы завить горе веревочкой, а именно таким был Ильинский в роли Аркашки у Мейерхольда. Перед нами человек, не вылезавший из беспросветной нужды, которого унижают и оскорбляют все, кому не лень, даже великодушный Несчастливцев; перед нами человек, судьба которого находится в вопиющем противоречии с его сценическим псевдонимом. Рассказ Счастливецца-Ильинского о том, как сначала его закатывали в ковер, потому что ему нечем было укрыться в мороз, а потом раскатывали, уже нельзя было слушать без щемления сердца.

А когда настройщик Муркин из рассказа Чехова «Сапоги», который читает на своих литературных концертах Ильинский, с умоляюще недоуменной улыбкой, недоуменной оттого, что ему все представляется ясным, как дважды два, а его почему-то не хотят понять, — пытается втолковать актеру Блистанову свою законную просьбу — вернуть ему сапоги, которые тот взял по ошибке, и приводит, с его точки зрения, самый веский довод: «...я человек болезненный, ревматический... Мне доктора приказали ноги в тепле держать» — нам, слушателям, совсем не смешно: мы живо представляем себе этого пожилого человека, целый день бегающего по всяким генеральшам Шевелицыным, чтобы заработать на кусок хлеба, робкого, запуганного, поневоле перед всеми заискивающего, которому то и дело приходится увертываться от ударов судьбы, над которым безнаказанно может измываться любое, чуть-чуть выше его стоящее лицо, и нам становится за него больно. И как бы мы несколько минут спустя ни заливались хохотом над «Синей Бородой» и «королем Бобешем» в изображении Ильинского, при последней фразе: «Известно только, что Муркин потом, после знакомства с Блистановым, две недели лежал больной и к словам: «Я человек болезненный, ревматический» стал прибавлять еще: «Я человек раненый»...» — на лицах у слушателей появляется улыбка, но улыбка горькая.

Под любой неказистой, с виду непривлекательной или же смешной оболочкой Ильинский умеет отыскать душевные сокровища. Его Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, о которых он с такой любовью рассказывает на своих литературных концертах, вовсе не «небокоптители». Конечно, в наружности старосветских помещиков, в их привычках, в образе жизни много смешного, много нелепого. Но эти смешные люди наделены редкостным талантом — талантом любви и заботы: вот что показывает и доказывает всем своим исполнением Игорь Ильинский.

Много спустя после того, как Ильинский начал читать эту повесть Гоголя, Пришвин написал в своей «Фацелии»: «...в смешных старичках с их поощими дворями Гоголю чудилась возможность гармонической и совершенной любви людей на земле».

Мне не известно, бывал ли Пришвин на концертах Ильинского и навеяна ли эта мысль его исполнением «Старосветских помещиков». Вернее всего, что нет. В таком случае это любопытное совпадение — довольно частый в искусстве случай переклички больших талантов. Слова Пришвина Ильинский мог бы взять эпиграфом к своему чтению, ибо они кратко и точно выражают его понимание повести Гоголя, его отношение к ее героям.

Как колоритна гоголевская бытопись в воспроизведении Ильинского! Как много у него вкусных и сочных подробностей! Как слиты в его чтении конкретность и эмоциональность пейзажа («...ряды... фруктовых деревьев, потопленных багрянцем вишен и яхонтовым морем слив...»; «...когда прекрасный дождь роскошно шумит...»)! И вместе с тем как сильно звучит в передаче Ильинского голос самого Гоголя, его моральный пафос, его лиризм! А Гоголь начинает свою повесть с признания, что он очень любит скромную жизнь своих героев. Этот мотив то настойчиво повторяется: «...все это для меня имеет неизъяснимую прелесть... более всего мне нравились самые владельцы этих скромных уголков...»; «На лицах у них всегда написана такая доброта, такое радушие и чистосердечие...»; «Я до сих пор не могу позабыть двух старичков... которых, увы! теперь уже нет, но душа моя полна еще до сих пор жалости, и чувства мои странно сжимаются... Грустно! мне заранее грустно!», то уходит в подпочву, в подтекст, то снова выбивается на поверхность: «Эти добрые люди, можно сказать, жили для гостей...»; «...радушие и готовность... были следствием чистой, ясной простоты их добрых, бесхитростных душ»; «Я любил бывать у них...»; «...я всегда бывал рад к ним ехать»; «Добрые старички!»; «Нельзя было глядеть без участия на их взаимную любовь»; «...она думала только о бедном своем спутнике...» Нет, ни Гоголь, ни Ильинский не считают Афанасия Ивановича и Пульхерию Ивановну «небокоптителем». Напротив, они полагают, что старички по-своему украшали

жизнь не только друг другу, но и тем, кто с ними общался, что и в буквальном и в переносном смысле — чем они были богаты, тем и рады.

Да, Афанасий Иванович Товстогуб — человек ограниченный. Да, умственный его кругозор не шире его дворика. Настоящие его мечты, а не те, которыми он дразнит жену, не перелетают за забор. Да, Афанасий Иванович и днем и даже ночью размышляет о том, «чего бы такого поесть». Вся его хозяйственная деятельность сводится к тому, что он засеменит, увидев гусей, и махнет на них платочком: «Пошли, гуси...» Его остроумие проявляется лишь в том, что он, с добродушным лукавством подмигивая, «подшучивает» над Пульхерией Ивановной.

Но Пульхерия Ивановна умирает, и мы видим потрясенного горем человека. На похоронах Пульхерии Ивановны Афанасий Иванович — Ильинский говорит: — Вот вы и погребли ее...

Пауза.

Он силится сдержать слезы. Потом взгляд, обращенный к небу:

— Зачем?!

По одному этому взгляду, каким Ильинский смотрит ввысь, можно судить о том, как много пережил за эти дни Афанасий Иванович, можно определить меру его страданий. Вся свою жизнь не выходящий из круга детски-наивных религиозных представлений, смешанных с суеверьями, он под влиянием горя, внезапно расширившего его горизонт, перевернувшего ему душу, задумывается над смыслом человеческого существования.

«Какого горя не уносит время?» — спрашивает вместе с Гоголем Ильинский. А вот горя Афанасия Ивановича оно не унесло.

Проходит пять лет — мы снова видим Афанасия Ивановича, уже одряхлевшего, опустившегося, живущего полудремотной жизнью. Но едва у этого старика, «которого жизнь, к а з а л о с ь, ни разу не возмущало ни одно сильное ощущение души, которого вся жизнь, к а з а л о с ь, состояла только из сидения на высоком стуле, из ядения сушеных рыбок и груш, из добродушных рассказов», возникает привычная и характерная для него ассоциация: подали любимое блюдо Пульхерии Ивановны, и он сейчас же вспоминает о ней. Какую «жаркую печаль» читаем мы тогда в тускнеющих глазах Афанасия Ивановича — Ильинского!

Нет, не случайно Гоголь настойчиво повторяет слово «казалось». К а з а л о с ь на поверхностный взгляд. К а з а л о с ь потому, что у Афанасия Ивановича жизнь текла ровно, спокойно, и тихим огоньком горела его большая любовь к Пульхерии Ивановне. Но вот налетела буря — вспыхнуло ж а р к о е пламя печали, вспыхнуло и горело до тех пор, пока он сам не у г а с.

В течение многих лет, еще с довоенного времени, я не пропускаю почти ни одного литературного концерта Игоря Владимировича Ильинского и могу засвидетельствовать, что не было еще при мне такого случая, когда бы аудитория — самая при этом разная — осталась безучастной к судьбе Карла Иваныча из «Отрочества» Льва Толстого — старого учителя, привыкшего к семье Иртеневых, полюбившего Николеньку и Володю, как родных детей, и вдруг получившего приказ от господ идти на все четыре стороны.

Ильинский, разумеется, читает рассказ Карла Иваныча без грима, но — таково колдовство перевоплощения! — перед нами с первой минуты старик немец, немец с головы до пят. И в каждой складке его лица сквозят добродушие, великодушие и затаенная грусть, приглушенно звучащая уже в первой фразе: «Я был несчастлив ишо во чрева моей матрри».

Этот мешковатый тугодум, в котором безусловно есть и что-то комическое, умеет сильно и глубоко чувствовать — таков он у Толстого и таков он у Ильинского. Любовь к матери Карл Иваныч пронесит через всю свою жизнь, полную незаслуженных обид, испытаний и горестей. При словах: «Одна моя добрая маменька любила и ласкала меня», которые Карл Иваныч — Ильинский выговаривает со сдержанной нежностью, лицо его проясняется. При воспоминании о том, как ему, только что вернувшемуся из плена, сообщают, что мать все плачет о нем, он

взволнованно поправляет воображаемые очки. Карл Иванович рассказывает дальше... Входит мать, и он в конце концов не выдерживает: «Маменька! — я ска- заль, — я ваш Карл!» И тут Карл Иванович — Ильинский на секунду закрывает лицо руками, потом снимает воображаемые очки и не спеша протирает их. И больше ничего. Никакой патетики в голосе, ни малейшего нажима педали. При скупости средств — эффект максимальный. Всякий раз, когда я слушаю Карла Ивановича — Ильинского, — а я уже не помню, сколько раз я слышал его, я давно сбился со счета, — к горлу у меня подступает ком.

Критики много писали об Ильинском в роли Акима из «Власти тьмы», хвалили его единодушно. В самом деле, это исполнение безукоризненное, такое, каких немного в истории театра любой страны. Вот он, лохматый, сивобородый, слегка сутулившийся от многолетнего тяжелого крестьянского труда, хотя еще бодрый и крепкий. Из себя невидный, невзрачный. Мужичок как мужичок. Да еще и косноязычный вдобавок. Но в его косноязычных речах — народная мудрость. А самый сильный момент в игре Ильинского — молчание Акима. Взгляд и вся его фигура делают это молчание красноречивее любого обличительного монолога, красноречи- вее самой страстной филиппики.

Аким сидит на печке, а в это время куражится пьяный Никита, из-за него ссорятся бабы, Никита выгоняет жену, все это происходит на глазах у девочки Анютки. И взгляд Акима, взгляд его умных, добрых и строгих глаз, выражает осуждение этому семейному неблагополучию, этой скверности, которая завелась в доме у «Мишкишки»; ему «даже гнусно» быть в этом доме, ему обидно за сына, ему обидно за человека: как может человек дойти до такой «пакости»? В чистых глазах Акима-Ильинского светится его чистая душа. А душа у него так чиста, что ему, имеющему дело с отхожими местами и выгребными ямами, противно сидеть за одним столом с Никитой — он им гнушается, он им брезгует:

— Не могу я, тая, с тобой чай пить.

И этот долгий немой укор Акима-Ильинского подготавливает его бунт в конце явления и его уход:

— Пусти, не останусь. Лучше под забором переночую, чем в пакости в твоей. Тьфу, прости господи!

Ильинский страдает Расплюевым и Шмагам, Счастливецевым и Муркиным. Но он знает и других бедных людей, не согнувшихся, не смирившихся, ни перед кем не унижавшихся, всю жизнь прошедших с высоко поднятой головой. Тех людей Ильинский жалеет; привлекая к ним сочувствие зрителей и слушателей, он тем самым обличает социальную несправедливость, изуродовавшую их. Этими же он любит, этими он гордится.

Он читает стихотворение Бернса в переводе Маршака — и перед нами лирический герой Бернса, неподкупный плебей, честный бедняк, дышащий душевным благородством, запечатленным в каждой его черточке:

Кто честной бедности своей
Стыдится и все прочее,
Тот самый жалкий из людей,
Трусливый раб и прочее;

презирающий чины, знаки отличия и всякие земные блага, ибо ни чести, ни ума они не заменяют; твердо помнящий, что самое большое сокровище — это золотое сердце человека; несокрушимо уверенный в том, что

...будет день,
Когда кругом
Все люди станут братья!

Та же плебейская гордость, только менее темпераментная, звучит у Ильинско- го, когда он читает «Старый фрак» Беранже.

Какое у него сейчас прекрасное лицо! Какая строгая грусть читается в его глазах! И какой высокий душевный строй у этого бедняка, всю жизнь не расстаю-

щегося со своим старым фраком, какая глубина чувства! И какая благородная сдержанность в его выражении!

Старый фрак дорог ему по воспоминаниям — по воспоминаниям о той, единственной, которую он так же беззаветно любит и сейчас, хотя ее давно уже нет на свете.

Она тебя заштопала...

Секундная пауза.

...зашила...

Голос было дрогнул на слове «зашила» — уж очень ясно, ясно до осязаемости вырисовался перед ним за этой подробностью весь ее облик, но тут наступает душевный перелом. Если в жизни человека была такая любовь, то уже ничто не страшно, не страшно и сама смерть, ибо любовь торжествует над смертью — вот что хочет сказать Ильинский своим исполнением «Старого фрака».

А вот и наш современник, один из героев «Сельской хроники» Твардовского, «балагур, знаменитый табакур» печник Ивушка, скромно, казалось бы незаметно, проживший свой век, так же «скромно, торопливо» из жизни ушедший и, однако, оставивший по себе долгую и добрую память. Оставил же он по себе такую светлую память не только потому, что этот труженик дорожил честью, что он был мастером своего дела, что все сложенные им печки могли стоять «без ремонта двадцать лет», а и потому, что уж больно хороший человек был Ивушка, потому что он

...при каждом угощенье
Мог любому подарить
Столько ласки и почтения,
Что нельзя не закурить.

И кто хоть раз увидит Ивушку-Ильинского, тот уже не забудет ласкового прищуря этих по-стариковски чуть-чуть грустных глаз, этой мудрой улыбки, этого разлитого во всех его движениях спокойствия, какое бывает у людей, сызмала живших в ладу со своею совестью.

Защита обездоленных и обойденных, защита неназойливая, осуществляемая тонкими художественными средствами, поиски того золота, что на беглый взгляд не блестит, поиски золота самородного, душевного под неприглядной, как будто бы ничего не обещающей поверхностью, под грубоватой иной раз корою, за смешным или заурядным обликом, раскрытие богатого внутреннего мира у честных бедняков, у простых душ во флюберовском смысле этого выражения. — такова одна ипостась гуманистической сути Ильинского. Другая ее ипостась — сатира. Осмеивая зло, Ильинский служит добру; осмеивая кривду, он служит правде не менее верно, чем когда вызывает у зрителей слезы сочувствия к униженным и оскорбленным. И сколько их, кого Ильинский заклеил и пригвоздил к позорному столбу, а в их лице — сколько выставленных на поглядение и осмеяние общественных уродств, пороков и пережитков: Загорецкий, Хлестаков, Мурзавецкий, Крутицкий, Юсов, городничий, Фома Опискин, Фамусов, показанные на сцене Малого театра; «хамелеон» из одноименного чеховского рассказа, «пустоплясы» из сказки Щедрина «Коняга», «лазоревый полковник» из поэмы А. К. Толстого «Сон Попова», показанные на эстраде; Присыпкин, сыгранный в Театре имени Мейерхольда, Бывалов из кинофильма «Волга-Волга».

До Ильинского я знал нескольких Хлестаковых. Помню в этой роли Остужева. К сожалению, он увидел в Хлестакове убогого захолустного фата. Помню Эраста Гарина. Он играл интересно. Но это был Хлестаков, увиденный глазами «автора спектакля». Помню Мартинсона: это была высокоталантливая, как все, что делал и делает этот замечательный, еще недостаточно оцененный актер, эксцентриада. Подлинно гоголевским Хлестаковым мне представляется Ильинский. Он не пренебрег ни одним указанием Гоголя: каждым из них он воспользовался, но не механически, а применительно к особенностям своего дарования.

«Чем более исполняющий эту роль покажет чистосердечия и простоты, тем более он выиграет», — указывает Гоголь в «Замечаниях для господ актеров».

Ильинский принял это указание Гоголя не только к сведению, но и — в буквальном смысле слова — к исполнению.

Детское чистосердечие — вот что бросается в глаза при знакомстве с его Хлестаковым.

Второе действие. Прогулявшись от нечего делать по городу, он возвращается к себе в номер. Долгая пауза, во время которой мы успеваем его разглядеть. Да это же юнец с наивными синими глазами! Вот первое от него впечатление.

Убеждая трактирного слугу принести ему пообедать, он опять-таки с детской наивностью восклицает:

— Посуди сам, любезный, как же? ведь мне нужно есть. Этак могу я совсем отошать. Мне очень есть хочется...

В устах Хлестакова-Ильинского это самый веский, самый неопровержимый аргумент.

Когда городничий при первой с ним встрече оправдывается: «Что же до унтер-офицерской вдовы, занимающейся купечеством, которую я будто бы высек, то это клевета, ей-богу клевета», — Хлестаков-Ильинский, восприняв это и как намек и как угрозу, инстинктивно хватается за соответствующее место. По всей вероятности, его самого еще недавно порол батюшка, а может, еще и выпорот, если верить Осипу. И недаром он потом с таким сочувственным и почтительным вниманием оглядывает тыл помянутой вдовы, когда она ему жалуется, что ее «так отработовали: два дни сидеть не могла».

Разумеется, Хлестаков-Ильинский — фитюлька, елистратишка, но в то же время и столичная штучка, в некотором роде *comme il faut*. И благодаря этому становится понятным, почему на него клюет и такая продувная бестия, как городничий, и жохи-чиновники, и Анна Андреевна. Изящество его манер особенно отчетливо проявляется в любовных дуэтах и в дуэте с почтмейстером, дуэте фата провинциального, который старается показать Хлестакову, что он тоже не лаптем щи хлебает, и фата все-таки столичного, пусть и невысокой пробы, — эту разницу искусно дает почувствовать зрителям Ильинский.

Разумеется, Хлестаков в изображении Ильинского — пошляк. О чем бы он ни рассуждал, чего бы он ни коснулся — пошлость считается у него из всех пор.

— Душа моя жаждет просвещения, — изрекает Хлестаков, и сейчас же — взгляд на носок щегольского ботинка, которым он слегка покачивает, и игра лорнеткой: вот они, по Хлестакову, неперменные атрибуты просвещения!

Один этот взгляд Ильинского и эти его движения дают возможность глубже заглянуть внутрь Хлестакова, нежели иные многолистные исследования.

Хлестаков слышит звон, да не знает, где он. Ему попадались в повестях, в стихотворениях, в песнях выражения: «древесная сень», «речные струи», и он склеивает из них бессмысленную «сень струй». Ильинский дорисовывает портрет еще одним мазком, и это опять одна из его счастливых находок. Хлестаков мог от кого-нибудь слышать, что Державин дожил до глубокой старости. Ну, значит, все великие писатели — старики, — со свойственной ему легкостью в мыслях решает он. И, изображая Пушкина, Ильинский по-стариковски шамкает:

— Да так, брат... так как-то всё...

Но у этого пошляка, у этого неуча несомненное обаяние и талант — да, талант: талант лжи. Хлестаков «лжет с чувством», — замечает Гоголь в «Письме к одному литератору». И вранье Хлестакова-Ильинского — вранье произвольное, вдохновенное. Это ложь, в которую он сам верит. Это езда на санях с крутой горы, и лишь по временам он опоминается. «Боже мой! Что же это я горожу?» — написано в такие секунды на лице у переводящего дух Ильинского, например, после фразы: «Мне Смирдин дает за это сорок тысяч». Мгновенная заминка — и опять под уклон.

Тот же «ряд волшебных изменений милого лица» — в предпоследней сцене Хлестакова. При недоуменных вопросах городничего и его намеке на состоявшееся

обручение с Марьей Антоновной — едва уловимое, бысролетное замешательство, но Хлестакова тут же осеняет:

— А это... На одну минуту только... на один день к дяде...

Комильфотность, внешнее обаяние и талант лжи — вот что прежде всего заморачивает и задуривает головы выдавшим виды городничему, чиновникам и такой хотя и уездной, а все же гранд-даме, какова городничиха.

Хлестаков — это, по определению Гоголя, которое он дает в «Письме к одному литератору», натура только «отчасти подленькая». И не Хлестаков-Ильинский берет взятку, а она его. В сцене с Аммосом Федоровичем он еще «взяточник поневоле», он лишь потом входит во вкус, так же как он постепенно, видя, что его слушают и верят, спрашивает крылья в сцене вранья. «Идея» взятки — это тоже плод вдохновения, как и вранье, как и его начальственный тон. Он замечает в кулаке у судьи бумажку, смотрит на нее сосредоточенным взглядом, и только тут его осеняет, осеняет с такой же внезапностью, с какой на него снизошло вдохновение, когда он только что, в такт упрекам, которыми осыпала Марью Антоновну мамаша, укоризненно покачивал головой и вдруг попросил у мамыши благословения на брак с ее ветреной дочкой. Словом, как говорит Гоголь в «Предупреждении», «в нем все сюрприз и неожиданность».

Будь Хлестаков у Гоголя и у Ильинского зауряд-взяточником, он бы так ловко не провел чиновников и они бы так постыдно не попались впросак. Они смутно чувствуют, что пусть даже он и пригнул, а все-таки он им не свой брат.

Хлестаков Ильинского — это и «сосулька» и *сomme il faut*, и трус и наглец. Уже в приказаниях Осипу пойти к хозяину трактира и выпросить у него обед он колеблется между робким и властным тоном. Он умасливает трактирного слугу, но стоило ему добиться своего — и он стремительно наглет, он уже со смаком ругает и хозяина и слугу:

— Ну, хозяин, хозяин... Я плевать на твоего хозяина!.. Мошенники, каналы... Подлецы!

Властные нотки прорываются у него уже при первой встрече с городничим, несмотря на отчаянный страх, — недаром городничий пугается. Как и в случае со взяткой, во время приема чиновников его сначала «осеняет», а потом он уже входит во вкус, разыгрывая важную птицу. Заметил, что ненароком, неожиданно для самого себя нагнал страху на Хлопова: «Оробел, ваше бла... преос...» — «Оробели? А в моих глазах точно есть что-то такое, что внушает робость», и уже с Земляничкой он прямо начинает с официально сухого: «Здравствуйте, прошу покорно садиться». А уже с Добчинским он позволяет себе и рассеянный взор, и отрывисто-начальственный лай:

— Хорошо, пусть называется! Это можно... Я об этом постараюсь, я буду говорить... я надеюсь... все это будет сделано, да, да...

Ильинский ведет эту сцену *crescendo*, так что у публики остается впечатление: дай этой «тряпке» настоящую власть — и она, эта «тряпка», себя покажет!

«Легкости в мыслях» у Хлестакова-Ильинского соответствует легкость поз и движений. С какой юношеской гибкостью перевешивается он через подоконник, чтобы взять у жалобщиков просьбу!

Образ Хлестакова, созданный Ильинским, как видим, сложный, но таков он и у Гоголя — и в замысле и в выполнении. «У Хлестакова ничего не должно быть означено резко», — настаивает Гоголь в «Письме к одному литератору». Чувства, ощущения Хлестакова-Ильинского переходят одно в другое, переливаются, зыблются, дробятся. Поистине это, пользуясь выражением Гоголя, «совокупление в одном лице... разнородных движений».

В роли Хлестакова я видел Ильинского несколько раз. В роли городничего я видел его только на премьере. Спектакль обидно скоро сняли с репертуара. (Истати сказать, Ильинский обидно мало играет. Бывает и так, что сезон за сезоном проходит для него без новых ролей.) Поэтому городничего я не так живо себе представляю, как Хлестакова. Но мне врезалось в память самое главное: городничий Ильинского резко отличался от всех виденных мною прежде — отличался

опять-таки гоголевской многогранностью образа. Ильинский стряхнул с него пыль трафарета. Мы привыкли к тому, что по сцене ходит бурбон, солдафон с неизменно низким лбом, с волосами, растущими чуть ли не от переносицы, в посадке головы которого есть что-то бычье, крупный телосложением, но мелкий внутри, и как же он нам надоел! Стал бы Гоголь писать о таком человеке пьесу! Стал бы он об него руки марать!

Городничий обзывает купцов архиплутами и протобестиями. В изображении Ильинского сам городничий — именно а р х и плут и пр о т о б е с т и я, такой, конечно, надует трех губернаторов. Он наделен незаурядным практическим умом (вспомним, что Гоголь начинает характеристику городничего с того, что это «очень неглупый по-своему человек»). И тем страшнее, тем трагичнее для него крушение.

«Когда играешь злого — ищи, где он добрый», — учил Станиславский. Эти слова не следует понимать упрощенно. Вовсе это не значит, что Станиславский требовал во что бы то ни стало искать в каждом злодее «чувства добрые». Станиславский познал на собственном творческом опыте, что актер не должен забывать о том, какие возможности таит в себе светотень: тень оттеняется, углубляется, становится еще более сумрачной на фоне светового пятна. То же и в искусстве слова: подлинники художники почитают за великий грех мазанье одной краской. Какую мощь приобретают в их руках языковые контрасты! Как усиливает впечатление введенный в лирический контекст прозаизм!

Ильинский не затушевывает отрицательных черт городничего — как раз наоборот: он показывает, что это хищник крупный и тем более опасный. Но перед нами не схема, а живой человек. Городничий Ильинского, в согласии с тем, каков он у Гоголя, по-своему добродушен, отходчив, не памятозлобен («...злобного желанья притеснять в нем нет», — предвещивает Гоголь). Он дает в первом действии взбучку каждому чиновнику, но после распеканции остывает. В пятом действии изругал на чем свет стоит купцов, «задал им перцу», сорвал зло — и успокоился. Он уж, верно, сдерет с них по малой мере семь шкур, но в своем кратковременном торжестве победителя он упивается не столько мезтью, сколько именно торжеством. В отличие от своей мелочной супруги он даже «готов стараться», не прочь оказать по старой памяти услугу какому-нибудь Коробкину, услугу, понятно, пустячную, и притом — в кои веки раз:

— Почему ж, душа моя? иногда можно!

В городничем Ильинского жизненные соки еще далеко не иссякли. Он не утрачил аппетита к жизни. В нем сейчас видно заядлого охотника, любителя покусать. Он оригинально, талантливо, виртуозно бранится, со вкусом пушит купцов, а в предпоследнем явлении обрушивает на самого себя и на «щелкоперов и бумагомарак» весь свой яростный темперамент.

А вот у Юсова-Ильинского многое уже в прошлом. Он уже не пляшет с тою молодцеватостью, с тою лихостью, с какой, должно полагать, плясал во время оно. Юсов-Ильинский как бы намечает все телодвижения пунктиром, он словно показывает: вот как я плясал, когда молод был.

Говорят, что Степан Кузнецов плясал молодо («дай-ка, дескать, тряхну стариной»). Охотно верю, что у него это получалось отлично. Такая трактовка возможна, тем более что победителя не судят. Однако трактовка Ильинского мне представляется более близкой к замыслу Островского. Вспомним, как в третьем действии после пляски Юсов расчувствовался и расфилософствовался: «Я теперь только радуюсь на божий мир! Птичку увижу, и на ту радуюсь, цветок увижу, и на него радуюсь: премудрость во всем вижу».

Такое размягченное любомудрие разводит обыкновенно старики, которые перешли уже некую грань, которых и ноги-то плоховато слушаются и у которых вообще уже нет былой прыти и удал.

Когда-то Юсов-Ильинский долго и упорно клевал по зернышку, но все это позади. В своей сфере он «достиг высшей власти». Вот отчего до Белогобова он снисходит: его благополучие, его величие представляются ему столь прочными, что

сидение в трактире в компании мелких чиновников, к которым он относится отечески-покровительственно, не может, по его разумению, бросить на него и самаомавшейся тени. Вот отчего он слушает рацей Жадова чаще всего с тупо-скуучающим видом (дескать: «Не любо — не слушай!» «Слыхали! — мол. — Хорошо поешь — где-то сядешь!»), с видом человека многоопытного, всему и всем знающего цену, в том числе Жадову. Сколько величественного, но по существу беззлобного презрения в этом поклоне задом, который отвешивает ему в первом действии Юсов со словами: «Ну, что ж делать, ошиблись, извините, пожалуйста, не знали ваших талантов!» Злобствовать он считает ниже своего достоинства.

В трактире Юсов выходит из равновесия, но ведь он в подпитии. Да и потом Жадов разозлил его не столько своими суждениями, сколько тем, что не захотел выпить с ним и с Белогубовым, погнушался ими. Да нет, даже и не этим. Разозлило Юсова то, что Жадов в его присутствии смеет читать газету, а еще больше — сама газета. Юсов в исполнении Ильинского — человек неглупый, человек проницательный. Он учуял, что Жадов сам по себе ему не опасен, что в конце концов он склонит непокорную голову, — опасны те веяния, о которых разглагольствует Жадов, опасны и необоримы те новые идеи, которыми Жадов «заражен». А идеи и веяния в его, Юсова, затуманенном винными парами мозгу олицетворяет сейчас газета, вернее всего ни в чем перед Вышневыми и Юсовыми не повинная. И он с привязчивостью пьяного сначала косится на газету, потом схватывает ее с жадовского столика, комкает, швыряет на пол, топчет ногами, и так как учинить над ней что-либо непотребное в публичном месте неудобно, то он льет на нее из бутылки пиво — это апофеоз юсовского презрения, на сей раз желчного, и опять-таки своего рода пунктир («Что бы я сделал с ней дома!»).

Юсов-Ильинский тактичен. Он знает, как и с кем себя вести, он знает свое место, не забывается. Сановито проходит мимо лакея Вышневого, небрежно бросает ему: «Доложи-ка, Антоша», но стоит лакею сказать: «Пожалуйте» — и Юсов сам мгновенно превращается в лакея, втягивает голову в плечи, становится как бы ниже ростом и — петушком, петушком — прошмыгивает к своему принципалу и благодетелю. И Аристарху Владимирычу он внимает с благоговением, жадно ловит каждое его слово, когда оно доступно его пониманию, когда оно вызывает в нем непосредственное сочувствие или когда оно учит его уму-разуму, а ведь Юсов из тех, которые век живут — век учатся тайнам не такого уж простого искусства наживы.

В 1952 году в статье «Драматург-режиссер» И. В. Ильинский рассказал о своей работе над ролью:

«Искусство сцены отличается от литературы и кино, живописи и других видов искусства главным образом тем, что в нем никогда не ставится точка. Художник написал картину, сделал последний мазок, и на выставке она уже существует самостоятельно, без него. Так же с кинофильмами: закончена съемка, монтаж — и шествует по экранам уже завершенный фильм, существуя независимо от создавших его актеров, режиссеров.

Другое дело театр. Спектакль, роль никогда не бывают сделаны раз навсегда. Каждый раз, когда на сцене идет этот спектакль, актер творит роль заново. В этом есть очень большое преимущество для нас: драматический актер все время, от спектакля к спектаклю имеет возможность работать над более точным и интересным воплощением играемого образа. Это, конечно, ни в коем случае не значит, что в театре можно показывать сырой, неготовый спектакль или недоделанную роль — я говорю только о возможности и необходимости в готовом спектакле, не отходя от его режиссерского замысла, искать все более правильную и точную его реализацию. Четырнадцать лет играю я Хлестакова и до сих пор не перестаю работать над этим образом».

Так же и роль Юсова от спектакля к спектаклю выбрасывала у Ильинского все новые и новые побеги, обогащалась ценными подробностями, новыми находками, как всегда у Ильинского, ярко театральными, броскими и характерными.

Щедрин в сказке «Коняга» выводит пустоплясов. Он метил в либеральных болтунов, в славянофилов и народников.

Какие фальшивые модуляции слышны в голосе Ильинского, каким бенгальским огнем горят у него глаза, когда он изображает пустоплясов, славословящих Конягу:

— Смотрите, как он вытягивается, как он передними ногами упирается, а задними загребаёт! Вот уж именно дело мастера боится! Упирайся, Коняга! Вот у кого учиться надо! вот кому надо подражать!

И вдруг — страшный в своей остервенелой злобе взгляд и окрик, от которого кровь леденеет в жилах:

— Н-но, каторжный, н-но!

Это окрик старост и старшин, урядников и становых, управляющих и исправников, помещиков и сановников.

Ильинский великолепен — когда он, читая поэму А. К. Толстого «Сон Попова», изображает пустобая-министра, грошовый либерализм которого мгновенно линяет, как скоро он усматривает нечто предосудительное в поведении безобиднейшего Тита Евсеевича Попова; Ильинский великолепен — и когда он изображает самого Попова с его сложной гаммой чувств. Но его шедевр, одна из вершин его актерского и чтецкого искусства — это жандармский полковник.

На сцене Малого театра Ильинский язвяще и жаляще играл Загорецкого. Это был не просто сплетник, хотя бы и злостный, и не только «отъявленный мошенник, плут», как рекомендует его Платон Михайлович, не только шулер и вор — не это в первую очередь интересовало Ильинского. Прежде всего это был соглядатай, наушник, доносчик.

А на эстраде Ильинский показал нам повелителя Загорецких.

У этого человека оловянные глаза, в которых нет ни проблеска человечности, втянутая верхняя губа, глухой, замогильный голос, и при таком выражении лица и при таком тембре — инфантильное невыговариванье «р» и «л», и от этой его картавости становится только еще жутче.

Я в те года, когда мы ездим в свет,
Знаю вашу мать. Она быуá святая,—

вкрадчивым рiано начинает он, зловеще потирая одну руку об другую, но мало-помалу вкрадчивый тон «уазового поуковника» делается все грознее и грознее. И наконец, видя, что все мирные средства с «надменным санкюотом» исчерпаны, полковник берет устрашающее forte:

...не то, даю вам субво:
Ч'ез поучаса вас изо всех мы сiу...

В веренице образов, сотворенных Ильинским, это наиболее страшный.

Ильинский наделен даром — редким даже у таких больших актеров, как он. — с одинаковой искренностью и силой переживания внушать ужас, возбуждать ненависть и отвращение, трогать до слез и вызывать неудержимый смех.

Невозможно слушать без все нарастающего волнения, как Ильинский читает рассказ Чехова «Горе». Прерывистое, захлебывающееся бормотанье токаря, выражающее его растерянность, его беспомощность перед внезапно свалившимся на него несчастьем, — это не менее удачная находка, чем инфантилизм выговора у полковника из Третьего отделения.

А теперь послушаем совсем иную скороговорку.

На эстраде бедовый мальчуган. Начинает он рассказывать бойко и уверенно, в глазах у него сверкает задор. Но его рассказ о доме, который построил Джек, обрастает новыми подробностями, ритм его убыстряется и увлекает за собой мальчугана. Мальчуган как будто и сам уже не рад, что начал рассказывать, а остановиться нельзя, и он с искаженным от ужаса лицом добегают до конца строфы, переводит дыхание — и опять строчит как из пулемета:

А это корова безрогая,
 Лягнувшая старого пса без хвоста,
 Который за шиворот треплет кота,
 Который пугает и ловит синицу,
 Которая часто ворует пшеницу,
 Которая в темном чулане хранится
 В доме,
 Который построил Джек.

Дикция у Ильинского такова, что, несмотря на бешеный темп, для слушателей не пропадает ни один звук.

Оглянется с опаской мальчуган, не слышит ли хозяйка, и — сначала медленным шепотом:

А это старушка, седая и строгая...

И опять понесся, и тут уж только по выразительным движениям губ догадываешься, о чем вот в этот именно миг они шепчут — стремительно и чуть слышно.

Посетителей литературных концертов Ильинского я уже несколько раз назвал слушателями. Название неточное. Это и слушатели и зрители одновременно. Ильинский и на эстраде остается актером.

Никакой принципиальной разницы между его выступлениями на сцене и на эстраде нет. Его литературные вечера — это театральные представления, только без декоративного фона и без бутафории. Кроме того, сам Ильинский выступает без грима, в своем обычном костюме, и подчас в одной и той же вещи ему приходится играть несколько ролей. Все это сильно усложняет его задачу. Но такова гибкость его голоса и мимики, такова выразительность его жестов, что вспомогательные средства ему не требуются.

В «Сапогах» Игорь Ильинский на глазах у зрителей превращается то в боязливого, мнительного настройщика Муркина, то в заспанного и угрюмого коридорного Семена, то в охрипшего с перепоею актера-простака «короля Бобеша», то в играющего голосом, словечка в простоте не говорящего — все с ужимкой, самолюбленного Нарцисса — «первого любовника» Блистанова, он же «Синяя Борода», который, после того как Муркин в присутствии «простака» нечаянно выдал его тайну («первый любовник» провел ночь с супругой «простака»), разыгрывает оскорбленную добродетель, хорохорится, петушится и, показывая на Муркина, ни живого, ни мертвого от страху, рычит: «Я из него бифштекс сделаю, уа-а-а!..» Весь он тут, плохой мелодраматический актер с завываньями, с метаньями по сцене, Дон-Жуан из уездной глуши и нахальный лгун.

Как много может высказать взгляд Ильинского, в этом убеждает нас его Аким. Но такой же безмолвный взгляд Фомы Фомича Опискина в финале «Села Степанчикова» — взгляд, украдкой обращенный на полковника Ростанева после того, как Фому простили и он вынужден принять участие в семейном торжестве, взгляд, в котором и черная зависть, и угроза отомстить за временное поражение, — в своем роде стоит взгляда Акима.

Об Афанасии Ивановиче Ильинский говорит, что когда-то он был «молодцом», «он даже увез довольно ловко Пульхерию Ивановну», и в это время лицо Ильинского принимает молодцеватое выражение, он приосанивается, но эта молодцеватость, эта бравада Афанасия Ивановича видна зрителям как бы сквозь дымку его воспоминаний.

В «Горе» Чехова Ильинский не показывает странных глаз жены токаря — он показывает горестное изумление в глазах самого токаря, внезапно по этим странным глазам догадавшегося, что его старуха смертельно больна.

А вот каков у Ильинского жест: Афанасий Иванович — Ильинский ест арбуз. Он с наслаждением кусает его сладкую мякоть, липкий сок течет у него по подбородку и стекает на отворот халата. Афанасий Иванович вытирается рукавом.

Попов-Ильинский, которому приснился страшный сон — «поздравить он министра в именины в приемный зал-вошел без панталон», за что был немедленно

переправлен в «дом своим известный праведным судом», и там со страху оговорил лучших своих друзей, — наконец просыпается. В окно к нему заглядывает солнечный весенний день, а на спинке кресла преблагополучно висят панталоны.

То был лишь сон! О счастье! о радости!
Моя душа как этот день ясна!
Не сделал я Бодай-Корове гадости!
Не выдал я агентам Ильина! —

вне себя от счастья восклицает Попов-Ильинский, делая при этом вид, что натягивает сперва одну штанину, потом другую — натягивает торжествующе, натягивает ликующе, потому что ведь в штанах-то все и дело: раз штаны на месте, стало быть, все это ему снилось — и гнев министра, и недвусмысленные угрозы жан-дармского полковника, и как он себя там гадко повел с перепугу.

Ильинский-чтец исчерпывает до дна заложенные в тексте возможности для дорисовки внутреннего и внешнего облика действующих лиц. С этой целью он часто играет авторскую речь, как бы вкладывает ее в уста героев.

Строки из стихотворения Твардовского «Про Данилу», относящиеся к подгулявшему в праздник старику. Ильинский поет старчески-пьяноватым голосом:

И никак не мо-о-жет
Дед угомони-и-ться.

Описывая внешность Муркина, и не просто описывая, но и тут же перевоплощаясь в него, Ильинский слова «с ватой в ушах» произносит жалобным козлетоном этого «болезненного» человека.

Читая о том, как Моська, увидевши Слона, начала метаться, и лаять, и визжать, и рваться, Ильинский произносит эти глаголы, если можно так выразиться, Моськиным голосом — он их отрывисто, тонко, с привзвизгом пролаивает.

В «Золотом петушке» Пушкина Ильинский рисует голосом нарастающее смятение царя Дадона: сыновья пропали, он идет с войском их разыскивать, но не встречает на своем пути «ни побойща, ни стана, ни надгробного кургана», затем видит шатер, побитую рать, лежащую в ущелье, потом двух своих мертвых сыновей.

Вдруг шатер
Распахнулся... и девица,
Шамаханская царица,
Вся сияя как заря,
Тихо встретила царя.

Слова «шамаханская царица» он произносит как бы от лица Дадона, с глубоким вздохом восторга, и восторженный этот вздох стоит обстоятельного описания прелестей ее и красот.

Художественные подробности, художественные мелочи, подсмотренные и подслушанные Ильинским у самой жизни, у живых людей, сразу же создают ему атмосферу зрительского доверия.

Возница из чеховского рассказа «Пересолил» понукает у него лошадь: «Но-а!» В этом «но-а!» я слышу знакомые с детства голоса возниц, с которыми мне доводилось совершать многоверстные путешествия на телеге по унылым большакам и тряским проселкам.

Эти его художественные подробности, и бытовые (недаром Ильинский любил таких актеров-«жанристов», как Варламов, Давыдов, Грибунин) и психологические, не прищипы к тому или иному действующему лицу, они — естественное выявление его внутреннего облика, и они дополнительно характеризуют его.

Трусюшка-землемер из рассказа Чехова «Пересолил», фанфарон поневоле, из страха, что на него нападут по дороге разбойники, а чего доброго — и сам возница, корчит из себя отчаянного храбреца и наигранно небрежным тоном спрашивает:

— Что, Клим, как у вас здесь? Не опасно? Не шалят?

За этим следует притворный зевок в руку — якобы это он так задал вопрос, между прочим, из любопытства.

Чем ему страшной, тем больше он хорохорится, а чем больше хорохорится, тем ему страшней. И чем фанфаронистей его похвальба, тем сильнее он заикается от страха. И из этого диссонанса вырастает дополнительный комический эффект:

— ...силы у меня, словно у... у... у... быка...

— ...у каждого по пи... пи... пистолету...

«Слона и Моську» Ильинский заканчивает тем, что поднимает ногу и исчезает словно за подворотней. Если хотите, это озорство, но озорство не ради озорства, а озорство со смыслом. Вот чем обыкновенно кончаются проявления удали у четвероногих и двуногих мосек — таков смысл жестикуляционной концовки, придуманной Ильинским.

Мнимый врач из «Ночи перед судом» Чехова в трактовке Ильинского — квинтэссенция пошлости. Перебирая босыми ногами, он предлагает даме из-за ширмы персидский порошок от клопов с таким видом, точно он поет серенаду и протягивает ей букет цветов.

Читая рассказ Чехова «Оратор», Ильинский, изображая главного героя, произносящего речь на похоронах, делает приличествующую случаю торжественную физиономию и время от времени, как бы под наплывом мыслей, прерывает речь многозначительными паузами, но в том-то и вся беда оратора, что он силится хоть что-нибудь из себя выдать, мыслей у него никаких нет, и его многозначительные паузы повисают в воздухе.

Читая басню Крылова «Вельможа», Ильинский намеренно русифицирует образ. У этого «сатрапа» русские интонации, русская артикуляция, русский выговор. И нам становится ясно, что Крылов только по цензурным соображениям сделал своего вельможу персом, что это вынужденный маскарад, что на самом деле это сановник царской России.

В творчестве Ильинского, как во всяком подлинном произведении искусства, постоянно находишь что-нибудь новое, прежде не замеченное, как бы часто ты ни видел его в одной и той же роли, как бы часто ты ни посещал его литературные концерты. Глядя на него, слушая его, ты каждый раз испытываешь «выпуклую радость узнаванья». Глаза у Ильинского зоркие, слух изошренный, и каждый раз он на что-нибудь да раскроет тебе твои близорукие глаза, каждый раз заставит прислушаться к не долетавшим до тебя голосам жизни.



ПУБЛИЦИСТИКА

ЦЕЦИЛИЯ КИН

★

ИТАЛЬЯНСКИЙ ВАРИАНТ

Тридцатого апреля 1963 года граф Карло Фаина, президент крупнейшего итальянского химического концерна «Монтекатини», произнес на ассамблее акционеров в высшей степени оптимистическую речь. Казалось, для этого у него были веские основания. В самом деле, за последние пять лет гигантская монополия, раскинувшая сеть своих заводов и рудников чуть ли не по всей стране, захватывающая все новые зоны влияния, почти удвоила капиталовложения, а дивиденды увеличились на пятьдесят процентов.

Мощный аппарат «Монтекатини» годами создавал и разукрашивал миф о «благотельной монополии, дающей людям хлеб и достаток». С особым удовольствием граф Фаина подчеркнул, что рабочие на предприятиях «Монтекатини» довольны, спокойны и не приносят администрации никаких огорчений. Традиционная политика «благотельной монополии» по отношению ко многим десяткам тысяч людей, занятых в ее системе, гласила: до последней возможности отстаивать свое господство, «нейтрализовать» рабочих, препятствовать деятельности профсоюзов, — руководство «Монтекатини» славится своей убежденной, принципиальной реакционностью. В политике «кнута и пряника» явно преобладал кнут: увольнения в качестве откровенной репрессии, платные услуги жандармов для поддержания порядка и т. д.

Венец творения «Монтекатини» — сверхсовременный, образцовый фармацевтический завод «Фармиталия», расположенный в маленьком пьемонтском городке Сеттимо Торинезе. «Фармиталия» гордится не только «Монтекатини», но вся Конфиндустрия — Конфедерация итальянских промышленников: на заводе разрешены сложнейшие технологические проблемы производства медикаментов. Однако недавно журнал «Вие нуове» опубликовал документированный репортаж об условиях труда на «Фармиталии». Трудно представить себе более циничное пренебрежение элементарными правилами техники безопасности.

Журнал опубликовал также данные обследования, которое провел профессор Туринского университета Ивар Оддоне. Они не нуждаются в комментариях: из сорока профессиональных заболеваний, значащихся в итальянском санитарном законодательстве, у рабочих «Фармиталии» налицо пятнадцать. Среди них различные отравления, изъязвление дыхательных путей, заболевания желудка, печени и почек, потеря памяти, галлюцинации, бред, слепота, половое бессилие... Вообще же эта страшная статистика общеизвестна: средняя продолжительность жизни рабочего «Монтекатини» всего пятьдесят пять лет. Недавно в одном журнале я прочла цикл стихотворений Чезаре Гарелли, одно из них озаглавлено «Смерть моего отца». Отцу Гарелли, рабочему «Монтекатини», в общем повезло: он вышел за пределы средней нормы и дожил до пятидесяти девяти с половиной лет. Щемящей болью звучат стихи:

...Мама, я не помню,
Сколько раз отец приходил домой
Отравленный, с фиолетовыми губами.
Четыре раза? Или пять? Или десять?..

Слишком долго, целых тридцать лет,
Его кромсала Монтекатини.

А потом интонация меняется. Уже не только скорбь, не только горечь утраты — гневный пафос обличения пронизывает последние строчки:

Вы должны мне верить:
Акционерное общество Монтекатини,
Милан, улица Турати, номер 18,
Пожирает людей¹.

Однако наступил момент, когда руководству концерна пришлось пойти на некоторые реформы, увеличив удельный вес «пряника»: учредили премию «за неучастие в забастовках», другую премию — «за верность». Мало того, вступив на путь «неокапитализма», «Монтекатини» подарила своим рабочим акции на сумму в миллиард лир. Пикантная и, пожалуй, символическая деталь: этот щедрый дар был вручен рабочим в память о покойном президенте компании — известном фашисте Гвидо Донегани, бывшем в свое время одним из столпов, которые поддерживали Муссолини.

Казалось, это комбинарованное воздействие дискриминации и патернализма, это сложное химическое соединение насилия и подкупа должны были бы дать желаемые результаты. В самом деле, некоторое время на предприятиях «Монтекатини» все как будто было тихо, и это позволило графу Фаина так красноречиво говорить о классовой гармонии. Однако не прошло и шести недель после ассамблеи, как монополию потрясли одна за другой крупнейшие забастовки.

Маленькая притча на тему «Добрый граф Фаина и неблагодарные рабочие» рассказывает лишь об одном, хотя и крупном, эпизоде многообразной драматической борьбы итальянских рабочих, которые отстаивают не только свои непосредственные экономические интересы, но и принципы республиканской конституции, и бессмертное человеческое достоинство. Эта напряженная, почти не затухающая борьба с ее отливами и приливами, поражениями и победами происходит в одной из стран, где произошло знаменитое «экономическое чудо».

Если человек, специально не занимающийся социологией и политической экономией, хочет подробнее разобраться в том, что такое «неокапитализм», он сначала несколько теряется от обилия книг, направлений, терминов, имен, определений, цифр. Однако, когда осваиваешься, становится ясным, что многообразные, на первый взгляд противоречивые и часто оспаривающие друг друга теории имеют общую основу. Идеологи капитализма, непосредственно связанные с индустрией, непосредственно связанные с политическим бизнесом, стремятся создать оптимистическую доктрину, которая могла бы противопоставить марксистской философии, учению о неизбежности перехода от капитализма к социализму, какое-то иное учение, способное «конкурировать» с марксизмом. В поисках положительной программы создали миф о возможности «трансформации» капиталистического общества в некое идиллическое общество, где воцарится полная классовая гармония и «общность интересов» хозяев и рабочих. Строго говоря, все это не слишком ново: та же социальная демагогия лежала в основе «корпоративной системы» итальянского фашизма. Но и он не был оригинален: еще в конце XIX века французский социолог Эмиль Дюркгейм выдвинул идею «солидарности классов», а в 1902 году известный французский политический деятель Леон Буржуа призывал буржуазию «уплатить свой социальный долг» обществу и к «Декларации прав» прибавить «Декларацию обязанностей». Кроме того, нельзя забывать о социальной доктрине католической церкви. Но в наше время, в условиях соревнования с мировой социалистической системой, идеологи капитализма острее, чем когда бы то ни было, чувствуют необходимость «совершить чудо» и остановить неумолимую поступь истории.

Для того, чтобы чудо совершилось, надо, разумеется, обладать волшебной палочкой или амулетом. В Италии, например, до сих пор распространен обычай носить аму-

¹ «Contemporaneo», № 61, 1963. (Стихи даны в подстрочном переводе.)

леты, предохраняющие против «иеттатуры» — буквально это слово означает «сглаз». Есть люди, обладающие дурным глазом, — ничего не поделаешь. Например, во времена фашизма вся страна знала, что секретарь фашистской партии Фарипаччи — «иеттаторе», точно так же, как все знали о том, что брат Бенито Муссолини, Арнальдо, занимавший какой-то высокий пост в финансовой иерархии, — настоящий «труффаторе», или, проще говоря, мошенник. (Когда Арнальдо Муссолини умер, в некрологах до неприличия подчеркивали его кристальную честность, что вызывало в кругах иностранных журналистов в Риме невероятный восторг.) Да, так вот, возвращаясь к «трансформированному капитализму», надо заметить, что он явно нуждается в амулете, защищающем от всех бед. И этот амулет, как нас уверяют, найден. Имя его «менеджмент», что по-русски означает «теория управления».

Если говорить об истоках, пришлось бы вспомнить о начале нашего века и о знаменитом Тейлоре, который считается отцом «научного менеджмента». В начале тридцатых годов эта так называемая классическая теория подверглась резкой критике со стороны многих социологов. Они заявили, что Тейлор недооценивал или совсем игнорировал «человеческий фактор», называл рабочих «дрессированными гориллами» и не понимал, что для производительности труда решающим является «социальное и психологическое положение рабочих в производственном процессе». Так возникла школа *human relations* — «человеческих отношений» и начали обыгрываться такие понятия, как «уважение к личности», «дружба и взаимопонимание между Управлением и Трудом», «демократизация», «заинтересованность рабочих в общем деле» и т. п. За пышной фразеологией обычно скрывалась довольно плохо завуалированная социальная демагогия. Любопытно, что наличия этой демагогии не отрицают даже некоторые крупные социологи, которые в общем поддерживают доктрину «человеческих отношений». Так, например, один из виднейших теоретиков индустриальной социологии, Питер Дракер, довольно зло высказался по поводу тезиса о «счастливом рабочем». Дракер заметил, что это «в лучшем случае — полуправда», ибо «создавать счастье совсем не является задачей производства».

В середине пятидесятых годов вышла в свет книга под сенсационным заголовком «Капиталистическая революция двадцатого века». Автор ее, американский социолог Адольф Берли, не претендовал на чрезмерную научность, книга была несколько поверхностной, схематичной и к тому же откровенно апологетической — американские монополии превозносились буквально до небес. Тем не менее в определенных кругах этот памфлет произвел очень большое впечатление, быть может, потому, что в нем — как тогда утверждали — были даны самые смелые и «органичные» формулы философии неокapитализма».

Берли утверждал, что начиная с войны 1914—1918 годов мир непрестанно переживает революции, но революции эти лишь в незначительной мере социальные, в основном же «научно-технические». Я особо упоминаю о книге Берли, так как в Италии она была одно время весьма популярна, и к этому придется позднее вернуться. Вообще же «философия неокapитализма» гласит, что капитализма в его классическом определении, данным Марксом, уже не существует, ибо произошла так называемая «революция в доходах», рабочие заинтересованы в высокой производительности труда и высоких прибылях «своих» предприятий и теряют стимул для классовой борьбы. Разумеется, во всех этих трансформациях решающую роль играет «менеджмент».

Было бы неправильным и наивным отрицать наличие определенных, объективно существующих структурных изменений в системе современного империалистического капитализма. Марксистская научная мысль отнюдь не игнорирует эти явления: напротив, тщательно изучаются факты и процессы экономического развития, «интеграции», усиления государственно-монополистического капитализма, различные формы планирования, свойственные капитализму в теперешней его фазе. Но, само собою разумеется, все попытки создать мифическое представление об «обществе благоденствия», в котором якобы уже нет антагонистического противопоставления собственников и трудящихся, опрокидываются самой жизнью, как показывают (один из тысяч

примеров!) хотя бы забастовки на предприятиях «Монтекатини». Сейчас мы вернемся к итальянским материалам, но прежде мне хочется рассказать одну занятую историю.

Известный американский физик Лео Сциллард написал книгу «Жизнь дельфинов». Оказывается, дельфины так умны, что нашли способ общения с человеком. Кроме того, они отлично усвоили физику, математику, молекулярную биологию. Они только никак не могли понять, какова политическая и экономическая структура США. Им все подробно разъяснили. Тогда один дельфин спросил: «А правда ли, что американцы могут свободно говорить все, что они думают, поскольку они не думают того, что нельзя сказать свободно?» К сожалению, я не читала книги Сцилларда, а об истории с дельфинами узнала из выступления на одном конгрессе известного итальянского профсоюзного деятеля, социалиста Витторио Фоа. Рассказав насчет дельфинов, Фоа заявил: «Это в точности передает логику современного высокоразвитого капитализма: я никому не запрещаю говорить то, что он думает,— я стараюсь сделать так, чтобы он не думал того, что я запрещаю ему говорить».

В Женеве существует European Association of Management Training Centers — Европейская ассоциация центров по подготовке менеджеров. В этой ассоциации участвует и Италия.

Итальянский вариант «неокапитализма», если можно так выразиться, представляет особый интерес прежде всего потому, что возник в стране, пережившей эпоху корпоративного режима Муссолини, который за двадцать лет основательно скомпрометировал идею «классовой гармонии». Кроме того, это католическая страна — отсюда сложное и своеобразное развитие многих проблем и событий. И наконец это страна мощного и организованного рабочего движения, страна, где коммунистическая партия насчитывает около двух миллионов членов и пользуется большим авторитетом не только среди рабочего класса, но и среди средних слоев и демократической интеллигенции. Без этой преамбулы нельзя понять оригинальность положения, исторически сложившегося в Италии. Поскольку в итальянских условиях «неокапиталистическая» идеология утверждала себя главным образом при посредстве католической мысли, мне кажется интересным сделать небольшой экскурс в прошлое и поговорить о социальной католической доктрине.

Сто лет тому назад, 8 декабря 1864 года, папа Пий IX издал энциклику «Syllabus», или «Список важнейших заблуждений нашего времени», — среди самых тяжелых заблуждений были названы социализм и коммунизм. С тех пор на протяжении многих десятилетий Ватикан выступал как мощная идеологическая и политическая сила, которая противопоставляет себя философии научного социализма и классовым организациям пролетариата. Начиная с 1848 года общественное мнение запугивали угрозой социализма, а после Парижской коммуны возникла настоящая паника.

В 1874 году в Венеции состоялся первый католический конгресс. Все ораторы призывали к борьбе с революцией, которую в пышном стиле того времени сравнивали с ненасытной волчицей, хищным гигром и коварной змеей. Было решено объединить все разрозненные католические группы в единую организацию «Ационе каттолика»¹, находящуюся под прямым руководством церкви. «Ационе каттолика» должна была развернуть свою работу преимущественно среди молодежи, среди женщин и среди рабочих. Признавалось необходимым удовлетворить самые насущные требования рабочих, установить заработную плату, обеспечивающую прожиточный минимум, добиться участия трудящихся в прибылях. Решено было создавать смешанные ассоциации хозяев и рабочих.

Возникновение первых Палат труда в 1891 году и создание Социалистической партии в 1892 поставили перед католиками задачу проникновения в рабочие организации; постепенно идея создания смешанных ассоциаций почти отпала, и в конце XIX века в Италии возникли первые католические профсоюзы. Существует множество документов, которые свидетельствуют, что вся социальная доктрина католицизма была направлена к тому, чтобы противопоставить идее социалистической революции «христиан-

¹ «Католическое действие».

ское социальное возрождение». Известная «Миланская программа» вначале называлась «Программа католиков в противовес социализму».

В конце XIX и начале нашего века в Италии появились молодые христианские демократы (так они называли себя), которые верили, что именно католики могут и должны осуществить социальное обновление Италии, и хотели создать массовую базу католического движения. Их идеологом был молодой священник Ромоло Мурри, главным печатным органом — журнал «Культура социале». Они подчеркивали свое намерение бороться против социализма, но в то же время осуждали капитализм и считали необходимым выработать левую католическую программу, ориентируясь на «демократический подъем низших классов». В 1906 году журнал «Культура социале» писал о невозможности «заключить соглашение с официальным католическим движением, не прибегая ко лжи». Ватикан реагировал мгновенно, журнал пришлось закрыть. Мурри боролся еще несколько лет, но в 1909 году был отлучен от церкви. Хотя группе Мурри и не удалось выработать цельную идеологическую платформу, все же в итальянское католическое движение были внесены ярко выраженные демократические тенденции.

История доказывает, что нельзя говорить о католическом движении как о чем-то монолитном. И в наши дни в католическом мире нетрудно обнаружить в иной, усложненной и изменившейся форме основные противоречия, которые всегда были присущи католицизму. В частности, это относится к социальной доктрине церкви. Она издавна претендовала на роль посредника между капиталом и трудом, и надо признать, что в конкретных условиях Италии она действительно в известной мере играла эту роль. Позднее мы вернемся к этому вопросу.

* * *

Семьдесят лет тому назад Энгельс написал письмо Турати. Оно было опубликовано в итальянском социалистическом журнале «Критика социале» в феврале 1894 года под заголовком «Будущая итальянская революция и социалистическая партия». Энгельс писал: «Буржуазия, придя к власти в период борьбы за национальную независимость и позднее, не могла и не хотела довести свою победу до конца. Она не разрушила остатков феодализма и не реорганизовала национального производства на современный буржуазный лад... Тут можно сказать вместе с Марксом: «Мы, как и другие страны западноевропейского континента, страдаем не только от развития капиталистического производства, но и от недостатка его развития. Наряду с бедствиями современной эпохи нас гнетет целый ряд унаследованных бедствий, возникающих оттого, что продолжают существовать отжившие способы производства и соответствующие им устаревшие общественные и политические отношения. Мы страдаем не только от живых, но и от мертвых. Мертвый хватает живого»¹.

Разумеется, за семьдесят лет произошли колоссальные перемены, но многое из слов Маркса и Энгельса и сейчас звучит удивительно актуально. Старые, мучительные противоречия, вызванные незавершенностью буржуазно-демократической революции Рисорджименто (шестидесятые годы прошлого века) и запоздалым, односторонним капиталистическим развитием Италии, в большой мере остались неразрешенными. Между тем за последние десять — пятнадцать лет страна из аграрно-индустриальной превратилась в индустриально-аграрную, причем развитие национальной экономики шло исключительно быстрыми темпами и в то же время чрезвычайно неравномерно. Таким образом, к старым противоречиям, оставшимся в наследство от прошлого, добавились новые, присущие высокоразвитому капиталистическому обществу. Преобразование страны в индустриально-аграрную повлекло за собой техническое переоборудование предприятий, автоматизацию, интенсивный рост капиталовложений в промышленность, увеличение национального дохода, рост могущества монополий и государственного капитализма, перемещение огромных людских масс из деревни в город, изменение структуры рабочего класса и соотношения классовых сил.

В Италии это бурное экономическое развитие происходило в политических условиях, созданных крахом фашизма и установлением Республики. Движение Соппротивле-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XVI, ч. II, стр. 372.

ния, бесспорно, было всенародным. Не менее бесспорно, что решающая роль в борьбе против фашизма и гитлеровцев принадлежала рабочему классу. И не только потому, что партизанские отряды, руководимые коммунистами, были опорной силой Сопротивления, но и потому, что уже тогда, в разгаре войны, рабочие думали о завтрашнем дне нации. В то время как хозяева и управители многих предприятий, скомпрометированные сотрудничеством с фашистами, бежали, бросив все на произвол судьбы, а нацисты пытались, отступая, разрушить заводы и опустошить города, — вооруженные рабочие Милана, Турина, Генуи занимали фабрики и заводы. Они сохраняли их оборудование, превращали их в неприступные крепости, в плацдармы для решающих боев.

Сразу после окончания войны рабочие, техники, служащие, группировавшиеся вокруг КНО (комитетов национального освобождения), взяли на себя руководство предприятиями. Они не ставили перед собой непосредственно социалистических задач, но хотели обеспечить демократическое управление производством. Эта деятельность — огромная общенациональная заслуга итальянского рабочего класса. И нация оценила ее. Недаром впоследствии во время крупных забастовок вокруг рабочих неизменно создавалась атмосфера действенной солидарности: их поддерживали в борьбе против монополий самые широкие слои горожан, вплоть до торговцев.

В 1947 году было создано Учредительное собрание, которому надлежало принять конституцию. В разработке ее участвовали представители всех шести антифашистских партий, входивших в КНО: коммунисты, социалисты, христианские демократы, «партия действия», либералы и «партия демократии труда». Согласно конституции Италия является «демократической республикой, основу которой составляет труд». Конституцию подписал председатель Учредительного собрания, член руководства Итальянской коммунистической партии Умберто Террачини.

Во время дискуссии по проекту конституции Пальмиро Тольятти выдвинул важнейшее принципиальное положение о рабочем классе как о новом руководящем классе Италии. Изложив три основных требования: свободы, политического и морального единства нации и социального прогресса, Тольятти заявил: «Руководящим классом республики должен быть новый руководящий класс, непосредственно связанный с трудящимися классами»¹. И в самом деле, в грозе и буре антифашистской революции рабочий класс проявил себя — и сам осознал свою историческую роль — как единственный класс, который может, защищая свои собственные интересы, выступать в то же время как выразитель общенациональных интересов. Именно в силу всего этого классовая борьба в Италии приняла своеобразные формы. Именно поэтому рабочие сумели, не ограничиваясь позицией протеста и критики по отношению к группам, все еще удерживающим в своих руках власть, выдвигать на разных этапах свои конструктивные предложения, выработать свою программу для решения важнейших проблем общенациональной жизни.

Вот несколько примеров. В Италии быстрое экономическое развитие страны, начавшееся в самом конце сороковых годов, характеризовалось усилением монополий и параллельным усилением роли государства в промышленности. Основным органом, посредством которого государство осуществляет капиталовложения в индустрию, является ИРИ — Институт промышленной реконструкции, созданный еще при Муссолини. После антифашистской войны монополии, испугавшись, как бы государственный капитализм не превратился в конкурента и — объективно — в оружие борьбы против них, стали требовать уничтожения ИРИ, а организованное рабочее движение отстояло его, понимая возможность использования государственной собственности при возникновении другой политической перспективы. Рабочий класс способствовал также созданию ЭНИ (Национальное общество жидкого топлива) и добился создания особого министерства по вопросам участия государства в промышленности. Сила и давление рабочего и общедемократического движения таковы, что заставляют государство кое в чем идти на уступки общественному мнению и требованиям. В частности, под прямым нажимом рабочего класса подчиненные государству предприятия вышли из Конфиндустрии.

¹ Пальмиро Тольятти. Речи в Учредительном собрании. Издательство иностранной литературы. М. 1959, стр. 43.

Взаимоотношения между монополистическими группами и государственным аппаратом сложные. С одной стороны, правительства, сменяющие друг друга, во многом подчиняются интересам итальянских «двухсот семейств», с другой — они вынуждены идти на некоторые реформы, не могут совершенно игнорировать требования структурных изменений и обновления в экономической и социальной сферах. Это лишь одно из новых противоречий, возникших внутри системы. Вообще же старые и новые противоречия образовали клубок, в котором причудливо и сложно переплелись проблемы Юга, диспропорция экономического развития, «сосуществование» монополий и полуфеодалных отношений, резкое повышение жизненного уровня населения в «островках» так называемого промышленного треугольника (Милан — Турин — Генуя) — и невероятная нищета в Сицилии. К этому надо добавить сложные взаимоотношения правящей Христианско-демократической партии с Ватиканом, — тут не всегда действуют арифметические законы и было бы неверным ставить простой знак равенства, — и с другими партиями, правыми и «левыми», периодически входящими в правительство.

В этих трудных и сложных условиях на долю Итальянской коммунистической партии выпала задача исключительной важности. Надо было найти, обосновать и развить новую стратегическую концепцию революции, концепцию «итальянского пути к социализму». Мы не всегда задумываемся над тем, как много делает современная марксистская мысль за рубежом для творческой разработки сложных теоретических проблем нашего времени. В частности, это относится к Италии. Там произошел удивительный феномен: после черного фашистского двадцатилетия творческие силы нации бурно вырвались на свободу и развивались динамично не только вширь, но и вглубь. В Италии существует Институт Грамши, крупнейший центр, объединяющий ученых-марксистов. Институт регулярно созывает конференции, посвященные разнообразным проблемам современности. Диапазон его интересов исключительно широк: историография, философия, социология, проблемы реализма в литературе, изобразительные искусства XX века, марксизм и подсознание, идеология «неокапитализма». Конференции в Институте Грамши, как правило, проходят на чрезвычайно высоком уровне, в атмосфере свободной творческой дискуссии и имеют международный резонанс. Часто на обсуждения приглашаются видные ученые и деятели культуры других стран — от советского академика А. А. Арзуманяна до Жан-Поль Сартра...

Передо мною два толстых (больше 1200 страниц) тома — материалы состоявшейся в 1962 году в Институте Грамши экономической конференции на тему: «Тенденции итальянского капитализма»¹. (На этой самой конференции Витторио Фоа рассказал историю о дельфинах.) Материалы поразительно интересны. Три основных доклада озаглавлены: «Современные тенденции итальянского капитализма», «Неокапиталистические доктрины и идеология сил, доминирующих в итальянской экономической политике», «Классовая борьба и экономическое развитие после Освобождения». Взаимосвязь между этими темами несомненна для марксистов, которые видят и осознают жизнь не абстрактно, не схематично, не раскладывая явления по полочкам, но схватывая и анализируя их в становлении и развитии, во всей сложности, многообразии, противоречивости жизненных процессов.

Но прежде чем говорить о том, что происходит в Италии сегодня, нам опять придется обратиться к истории, так как в противном случае разрозненные факты повиснут в воздухе и трудно будет разобраться в их взаимосвязи. И, разумеется, надо снова и снова говорить о католическом движении. В начале статьи уже упоминался Мурри (он умер в 1944 году) и его друзья из журнала «Культура оочиале». Теперь надо вспомнить о первой католической партии в Италии, партии «Пополари», и несколько подробнее о католических профсоюзах.

Октябрьская революция 1917 года имела огромный резонанс в Италии, трудно переоценить ее революционизирующее значение. Размах и нарастание рабочего и крестьянского движения оказались так велики, что церковь была серьезно обеспокоена. Возникла настоятельная необходимость создать массовые организации, которые не находились

¹ «Tendenze del capitalismo italiano». Editori Riuniti. 1962.

бы в таком явном подчинении Ватикану, как «Ационе каттолика», но по существу выполняли те же функции. Итак, в 1918 году все «белые» профсоюзы¹ объединились в Итальянскую конфедерацию трудящихся (ИКТ). Была принята так называемая «Начальная программа» конфедерации, а также другой документ — «Принципиальные установки». В этих программных установках вновь подтверждался принцип классового сотрудничества, издавна бывший одним из краеугольных камней социальной доктрины католической церкви. Проводилось четкое разграничение между католическим и социалистическим профсоюзным движением, но в то же время провозглашалось требование свободы всех организаций трудящихся и даже говорилось о «профсоюзном единстве». ИКТ предлагала коренным образом реорганизовать все органы труда сверху и донизу. Она предлагала также превратить сенат в орган исполнительной власти, который избирался бы не путем всеобщего голосования, но непосредственно крупными профессиональными и экономическими объединениями. Программа включала в себя и много конкретных пунктов, касавшихся минимума заработной платы и максимальной продолжительности рабочего дня, участия трудящихся в прибылях и в управлении предприятиями, улучшения системы социального обеспечения и так далее. В общем, вновь провозглашались корпоративистские идеи, присущие католицизму, вновь подымался на щит принцип классового сотрудничества, но в то же время было очевидно стремление обрести нечто вроде того, что теперь называют «третий путь».

Через несколько месяцев после создания ИКТ родилась к жизни первая католическая партия в Италии, принявшая название «Пополяри» («Народная»). Основателем ее был священник Луиджи Стурцо, который в молодости сотрудничал в журнале «Культура социале» и был примерно той же политической ориентации, что и Ромоло Мурри, только вел себя осторожнее. Выступая с программными заявлениями, Стурцо говорил о том, что новая партия преследует социальные цели, хочет выражать волю и стремления народа, а также «дать отпор монополии социалистов», претендующих на то, что только они объединяют рабочий класс. Впрочем, социально-экономическая программа партии «Пополяри» была весьма ограниченной.

Первый конгресс партии «Пополяри» состоялся в июне 1919 года. На нем разгорелись ожесточенные споры. Наряду с Луиджи Стурцо на конгрессе видную роль играл Альчиде Де Гаспери, которому суждено было потом стать одной из центральных фигур итальянской политической жизни. Присутствовавшие на конгрессе профсоюзные деятели требовали, чтобы партия «Пополяри» заняла недвусмысленную и четкую антикапиталистическую позицию и выступила с инициативой создания «белого интернационала труда». Особенно ярким было выступление крайне левого католического деятеля, депутата Гуидо Мильоли, который предложил резолюцию, находившуюся в резком противоречии с умеренными и осторожными формулировками Стурцо. В этой резолюции прямо говорилось, что после тяжких бедствий, причиненных войной, трудящиеся классы желают прийти к власти и имеют на это право. Она не была принята, но сохраняет свое значение как свидетельство о путях развития политических взглядов левых католиков.

Массовой базой партии «Пополяри» были крестьянство и мелкая буржуазия, в «белую» конфедерацию входило много батраков и наемных сельскохозяйственных рабочих. Меньшее влияние католики имели среди промышленного пролетариата, но в общем, несмотря на двойственность ее социальной политики, партия «Пополяри» достигла очень больших успехов и подчинила своему влиянию значительные слои населения. Внутри партии продолжалась борьба различных течений, но левое крыло, возглавляемое Мильоли, так и не смогло одержать верх. Группа Мильоли выражала интересы наиболее передовой части католического движения. Однако руководство вело партию «Пополяри» по иному пути. Возможно, будь это иначе,— иначе сложилась бы вся дальнейшая история страны. Но тут начинается серия «если: если бы в Италии не был так силен реформизм, если бы руководство Всеобщей конфедерации труда занимало последовательно непримиримую позицию по отношению к реакционерам, если бы мелкая буржуазия не была трусливой, половинчатой и политически недалеконвидной, если

¹ Впервые этот термин возник в 1914 году. «Белые» — в противовес «красным».

бы Авентинская оппозиция¹ после убийства Маттеотти откликнулась на страстный призыв Грамши объявить всеобщую забастовку и обратиться к рабочему классу... Но мы говорим не о том, что могло бы быть, а только о том, что было в действительности, а было много тяжелого и горького.

В рядах самой католической левой существовали серьезные разногласия. В то время как группа Мильоли стремилась к социальному преобразованию страны, к сближению с социалистами, а быть может, — даже к союзу с ними, большинство руководителей ИКТ во главе с Джованни Гронки (ставшим впоследствии президентом республики) хотя и стояло за реформы, но было настроено решительно против каких бы то ни было контактов с социалистами, настаивая на своих корпоративистских принципах. Фашисты, обрушившиеся вначале на «красные» организации, в 1922 году распространили свой террор и на «белые». В то же время Муссолини публично заявил, что фашисты отнюдь не являются антиклерикалами, — мало того, он в самых высокопарных выражениях провозгласил, что именно католицизм выражает великую всемирную идею и традиции Римской империи. Таким образом, в то время как чернорубашечники громили «белые» организации на местах, начала вырисовываться возможность заключения союза между фашизмом и правым крылом католического движения. Партия «Пополари» вела себя крайне осторожно, отвергла предложение Мильоли отказаться от какого бы то ни было сотрудничества с фашистами и ограничилась моральным осуждением фашистского террора. Мало этого: партия «Пополари», заявив, что она уверена в «лояльности distinguished Муссолини», приняла участие в первом коалиционном кабинете дуче. Де Гаспери выразил надежду на то, что будет уважаться свобода профсоюзов и вообще в стране воцарится полная законность. Эта декларация звучала трагикомически: она была сделана в то время, как фашисты применяли откровенно террористические методы, осуществляя свой план разгрома всех (в том числе и «белых») рабочих и крестьянских организаций, а также стремились расколоть партию «Пополари» изнутри, привлекая к себе ее правое крыло. Это им удалось: из партии вышла значительная группа видных деятелей, которые создали клерикальное фашистское течение. Луиджи Стурцо ушел с поста политического секретаря партии, и она начала проводить политику еще более осторожной оппозиции режиму, а лидером «Пополари» стал Де Гаспери.

После убийства Маттеотти партия «Пополари» примкнула к Авентинскому блоку, но отклоняла настойчивые предложения коммунистов о действенных мерах борьбы против фашизма. Между тем в массах стихийно росло стремление к единству рабочего класса и к объединению рабочего и крестьянского движения. В то время коммунисты начали проводить курс на сближение с рядовыми католиками, а Мильоли заявил в печати, что он является горячим сторонником профсоюзного единства всех трудящихся и что с антикоммунистическими заблуждениями надо покончить. Фашисты и профашистствующие клерикалы подняли дикий шум, Мильоли был исключен из партии «Пополари» и эмигрировал во Францию.

В 1925 году Конфиндустрия заключила пакт с Конфедерацией фашистских корпораций, за которой признавалось монопольное право защищать интересы всех трудящихся. ИКТ пыталась протестовать, но безуспешно. В ноябре 1926 года правительство приняло декрет о роспуске всех партий. Почти одновременно с ликвидацией «Пополари» была ликвидирована и ИКТ, но Ватикану удалось сохранить непосредственно подчиненную церкви «Ационе католика». Проводимая ею социальная деятельность была очень осторожной и ограниченной, но и она вызывала подозрения фашистов. В 1931 году чернорубашечники начали по всей стране громить помещения католических организаций, избивать активистов и некоторых священников. Папа опубликовал в связи с этим энциклику, и в конце концов был достигнут компромисс: «Ационе католика» сохранила свои профессиональные секции, но обязалась всецело поддерживать государство во всех его «социальных и национальных» мероприятиях.

¹ Авентинский блок был образован парламентариями всех либерально-демократических и социалистических групп после убийства Дж. Маттеотти — депутата-социалиста, который выступал в парламенте с разоблачением фашистских зверств (1924 год). Все франции антифашистских партий ушли тогда из парламента и создали Комитет оппозиционных партий.

Однако в конце тридцатых годов все увеличивающееся сотрудничество итальянских фашистов с гитлеровцами и введение в Италии расистских законов вызвали трения между режимом Муссолини и руководством «Ационе каттолика». Именно в эти годы широкие католические массы стали весьма критически относиться к политике, проводимой дуче. Эти настроения со временем вылились в антифашизм, носивший, впрочем, осторожный и выжидательный характер. По мере того как неизбежность военного разгрома и краха гитлеровского режима становилась все более очевидной, эти настроения недоверия и прямой враждебности по отношению к политике Муссолини стали охватывать все более широкие слои. Начал трещать по швам блок сил, которые ранее поддерживали диктатуру. Католики в это время оказались в благоприятном положении, потому что только они смогли в годы фашизма сохранить свою массовую организацию «Ационе каттолика», — это открывало перед ними возможности для активной политической работы.

В годы войны происходил процесс налаживания связей и контактов между различными антифашистскими группами. Коммунисты и социалисты находились в подполье. В 1942—1943 годах кое-где начали возникать и подпольные левокатолические организации, устанавливавшие связи с другими антифашистскими силами. Начиная с весны 1942 года рабочие крупных городов Северной Италии стали открыто выступать с требованиями экономического характера, которые постепенно переросли в политические требования. Третьего марта 1943 года Итальянская коммунистическая партия, социалистическая партия и партия «Джустития э либерта»¹ заключили соглашение о единстве действий в борьбе за свержение фашизма. К ним присоединились антифашисты-католики. Так начинало складываться движение Сопротивления.

В период Сопротивления вновь была создана католическая партия, назвавшая себя не «Пополяри», а Христианско-демократической. Многие христианские демократы принимали активное участие в Сопротивлении, в нем участвовало и немало священников. Демохристиане сотрудничали с коммунистами и социалистами в комитетах национального освобождения, причем речь шла не об индивидуальных акциях отдельных левых католиков, а о процессе, в который были втянуты католические массы. В то время «традиционный» антикоммунизм был, казалось, выброшен в мусорный ящик истории. На пленуме Национального совета Итальянской коммунистической партии, который состоялся в Неаполе в марте 1944 года, по докладу Тольятти приняли резолюцию, вошедшую в историю под названием «Неаполитанский поворот». Это была так называемая «политика протянутой руки»: коммунисты решительно поставили крест на некоторых сектантских настроениях прошлого и высказались за единство всего профсоюзного движения. 10 июня 1944 года тогдашний премьер-министр Бономи принял представителей коммунистической, социалистической и Христианско-демократической партий, которые сообщили ему, что создается Всеобщая итальянская конфедерация труда (ВИКТ). Это было событием громадного значения.

Мы не всегда отдаем себе отчет в том, что означает профсоюз для трудящихся Западной Европы. Отвлекаясь от темы, хочу позволить себе одно личное воспоминание: летом 1936 года в Москве я познакомилась с молоденьким, лет семнадцати—восемнадцати, черноглазым испанским бойцом. У него были отрезаны обе ноги выше колена, и он лежал в одном из московских госпиталей. Отец его и братья — он происходил из астурийской горняцкой семьи — тоже сражались с Франко, один из братьев был убит. Я спросила этого мальчика: «Ты коммунист?» — «Нет». — «Комсомолец?» — «Нет». — «Кто же ты?» И он ответил: «Я член профсоюза».

С апреля 1944 по май 1947 года коммунисты и социалисты входили в правительство. За это время были проведены некоторые реформы, в частности аграрные, но политическая обстановка в стране начала резко меняться. Вновь были вытасканы на сцену

¹ Партия «Джустития э либерта» («Справедливость и свобода»), впоследствии принявшая название «Партидо д'ационе» («Партия действия»), — антифашистская партия, многие члены которой были в эмиграции. Она состояла из интеллигенции и играла активную роль в Сопротивлении.

антикоммунистические лозунги. Коммунисты и социалисты еще входили в правительство, еще совсем недавно оно обещало узаконить советы по управлению предприятиями с целью «создать практичный и действенный инструмент для сотрудничества с рабочим классом», но «двести семейств» уже успокоились после пережитых во время Сопrotивления страхов и готовились перейти в контрнаступление. Началась клеветническая кампания против коммунистов. Их обвиняли во всех смертных грехах. Лидер Христианско-демократической партии и премьер-министр Де Гаспери тщательно подготавливал раскол антифашистского блока.

Существовало еще два мощных фактора, оказывавших большое влияние на развитие событий в Италии. Первый — взаимоотношения с США, второй — позиция, занятая Ватиканом. В некоторых пунктах оба эти фактора сливались воедино. 31 декабря 1946 года Де Гаспери поехал в США; там он заручился обещаниями кредита. Условия были поставлены совершенно недвусмысленные, и о них довольно прозрачно писали в то время некоторые итальянские газеты: «Полный, безоговорочный разрыв с коммунистами в обмен на включение Италии в рамки плана американской «помощи». Де Гаспери принял эти условия и весьма добросовестно их выполнил. Примерно к этому времени относится провозглашение пресловутой «доктрины Трумэна» и начавшийся на международной арене яростный крестовый поход против коммунизма. В результате сложных маневров и интриг Де Гаспери реорганизовал свой кабинет: на этот раз он состоял исключительно из членов Христианско-демократической партии и так называемых «беспартийных технических специалистов». Вскоре после того, как Де Гаспери взорвал изнутри антифашистский блок, папа Пий XII в послании президенту Трумэну заявил, что «церковь не пойдет на компромиссы с открытыми врагами бога». В 1948 году правительство Де Гаспери подписало с США пакт о распространении на Италию «плана Маршалла». В этом же году руководители Христианско-демократической партии добились раскола профсоюзного единства. Рабочие-католики вышли из ВИКТ, образовав отдельную конфедерацию, а еще через год от ВИКТ откололись также социал-демократы.

В Италии начались тяжелые годы. Раскол профсоюзного единства создал очень трудную обстановку. Активизировались фашистские элементы, объединившиеся в партию «Итальянское социальное движение». Монополии мечтали осуществить то, что в Италии принято называть «капиталистической реставрацией». В этих условиях весной 1953 года христианские демократы задумали грандиозную политическую аферу. Они поставили себе цель: любой ценой добиться абсолютного большинства мест в палате с тем, чтобы пересмотреть конституцию и решительно повернуть руль управления страной вправо. Речь шла о том, чтобы «нормализовать» положение, сбросить со счетов рабочий класс, заявивший претензию на роль нового руководящего класса, и создать государство под руководством католической партии.

Для того, чтобы получить такое парламентское большинство, правительство решило проташить через сенат новый избирательный закон. Закон этот, кстати, не был вдовновенным изобретением христианских демократов. По существу (плагиат!) они только воспроизвели так называемый «Закон Ачербо», придуманный фашистами за тридцать лет до описываемых событий. Закон этот, мгновенно получивший в народе саркастическое название «ледже-труффа» (мошеннический закон), устанавливал так называемую «премию большинства». Это означало, что партия или блок партий, которые соберут на выборах пятьдесят процентов голосов плюс еще хотя бы один голос, автоматически получают в палате две трети всех мест. Ватикан оказал этому плану самую решительную поддержку, весь мощный аппарат, находившийся в распоряжении католической церкви, был пущен в ход.

Однако скандальный характер «ледже-труффа» был слишком очевиден. За четыре дня до обсуждения закона тогдашний председатель сената подал в отставку. Закон буквально «протасили», смяв обычный регламент, грубо нарушив всю процедуру, прибегнув к наглой фальсификации при подсчете голосов. Когда новый марионеточный председатель сената Руини, сразу после этих событий покинувший политическую арену, объявил, что закон принят, кто-то из сенаторов швырнул в него доску от пюпитра. Мы учитываем итальянский темперамент, но этот эпизод говорит о степени возмущения.

А впрочем, чем тут возмущаться — мы ведь отлично знаем, что буржуазия не очень церемонится в случаях, когда ей до зарезу нужно осуществить какую-либо политическую махинацию.

Народ отозвался на «ледже-труффа» бурным протестом, митингами и забастовками. Несмотря на то, что на выборах были пущены в ход все средства запугивания, коррупции, демагогии, шантажа, правительственный блок чуть-чуть не дотянул: он собрал только сорок девять и семь десятых процентов общего числа голосов. За кандидатов коммунистической и социалистической партий голосовало почти на два миллиона человек больше, чем на выборах 1948 года. Таким образом, «мошеннический закон» провалился и вскоре был отменен.

А теперь для характеристики обстановки, создавшейся в стране, будет рассказана одна история, которая на первый взгляд может показаться почти неправдоподобной. Однако это факты, ставшие впоследствии известными всей Италии. История о борьбе группы туринских рабочих против всемогущей монополии «Фиат».

Пятнадцатого декабря 1952 года начальство вызвало электрика Пьетро Бальдини и вежливо спросило, не хочет ли он поехать на работу во вновь открываемую секцию ремонтного завода, расположенную на Корсо Пескьера, вблизи озера Гарда. Рассудив, что хочет он или не хочет — его все равно пошлют, Бальдини согласился. Его тотчас усадили на грузовик и увезли на Корсо Пескьера. Там оказалось пустое, заброшенное здание, охраняемое сторожем. Несколько дней Бальдини работал в полном одиночестве, разбираясь в хаосе нагроможденных, сваленных в кучу изломанных автомашин, кабелей, инструментов. (При этом он сделал кое-какие любопытные открытия: например, обнаружил крошечные, искусно устроенные микрофоны, запрятанные в электроарматуре. Эти микрофоны, назначение которых не нуждается в комментариях, остались на заводе еще со времен хозяина-фашиста, бывшего владельца предприятия.)

В течение трех недель приехало еще человек пятнадцать. Их присылали сюда с различных заводов «Фиата»; у некоторых была, как ни странно, не вполне соответствующая нуждам ремонтного цеха квалификация. Но обращало на себя внимание одно обстоятельство: все без исключения были членами коммунистической или социалистической партий либо же профсоюзными активистами. Для перевода в каждом случае находились веские причины — причины технического, делового порядка, разумеется, — разве монополия «Фиат» могла бы даже подумать о политической дискриминации, — да боже упаси! Когда начались забастовки из-за «ледже-труффа», сюда прибыло новое пополнение; постепенно набралось уже около ста пятидесяти человек. Мало-помалу становилось очевидным, что управляющий фирмой «Фиат» Витторио Валетта оправдывает свою репутацию умнейшего человека: с поистине макиавеллистской изобретательностью он организовал на Корсо Пескьера самую настоящую политическую ссылку для всех «красных».

Вскоре после освобождения Италии Валетте пришлось волей-неволей дать согласие на то, чтобы в число главных директоров «Фиата» был включен рабочий-коммунист Баттиста Сантя, старый профсоюзный деятель, который еще в 1919 году вместе с Грамши организовывал фабрично-заводские советы. В 1949 Валетта «взял реванш» за это свое «унижение», выступив как один из самых яростных организаторов антикоммунистического крестового похода. Коммунисты обвинялись в саботаже, подстрекательстве, враждебности по отношению к «большой семье Фиат». Как известно, эта самая крупная монополия Италии принадлежит семейству Аньелли, но ведь хозяева и рабочие — одна большая семья! Ну а потом Валетта придумал трюк с Корсо Пескьера. Этот трюк давал ему возможность без всякого шума обескровить предприятия, удалить из цехов наиболее авторитетных в рабочей среде, наиболее активных и принципиальных людей. Нетрудно понять, что в условиях недавнего раскола профсоюзного единства эта коварная выдумка Валетты очень помогла монополии скрутить рабочую массу, заставить ее подчиниться воле и политике патроната.

Предприятие на Корсо Пескьера получило название «секции ОСР», что означало «подсобный ремонтный завод». Но благодаря совпадению начальных букв этот коллектив ссыльных активистов назвал себя «Оффичина Стелла Росса» — завод «Красная

звезда». И обстоятельства сложились так, что «Красная звезда» превратилась в аванпост итальянского рабочего класса как раз в самые трудные годы, в то время как организованное рабочее движение переживало тяжелый кризис. История борьбы, которую «Красная звезда» на протяжении шести лет вела с Валеттой и всеми стоявшими за ним могущественными силами «Фиата», могла бы стать сюжетом романа, столько в ней было драматизма, противоречий, коварства со стороны хозяев, непреклонного мужества со стороны рабочих. Весь богатый арсенал средств воздействия, которым располагала «Фиат», был пущен в ход, чтобы по возможности без шума расправиться с «Красной звездой». Обвинения в недостаточной продуктивности, ущемление в заработной плате, лишение полагавшихся по договору премиальных, перевод на половинную рабочую неделю, увольнения то одного, то другого под нелепыми, вымышленными предлогами, клевета, дискриминация.

Этого мало: администрация дошла до того, что специально подослала на «Красную звезду» своих людей, фактических агентов, которые должны были разложить коллектив изнутри. Ничего из этого не получилось. Коллектив там сложился замечательный, боевой. Не боясь никого и ничего, «Красная звезда» устраивала митинги, забастовки, обращалась в Палату труда, в прессу. Она не только отстаивала свои интересы. Нет! В то время как монополия удалось мало-помалу парализовать сопротивление рабочих на основных своих предприятиях, «Красная звезда» проводила забастовки солидарности, забастовки по чисто политическим мотивам. В самые тяжелые годы наступления капиталистической реакции коллектив принял брошенный вызов и показал удивительный пример рабочей гордости, целеустремленности и единства.

Партии рабочего класса и печать оказывали «Красной звезде» действенную поддержку, выпустили специальную «Белую книгу» с перечнем всех беззаконий, творимых монополией. В 1956 году была создана парламентская комиссия в составе нескольких сенаторов и депутатов для расследования условий, созданных в «политической ссылке» на Корсо Пескьера. Интересная деталь: когда парламентская комиссия прибыла на место, администрация внезапно объявила нерабочий день, всем рабочим и служащим велели сидеть по домам. Эта уловка ни к чему не привела: комиссия встретила с коллективом и была потрясена всем, что открылось перед ней.

Еще через два года, в 1958 году, монополия все же добила своего: она уволила сто двадцать человек. Несмотря на то, что около ста виднейших представителей демократической интеллигенции обратились с призывом к президенту республики, ничего сделать не удалось. Коллектив распался, но «Красная звезда» навсегда вошла в историю итальянского рабочего движения как одна из драматических и славных его страниц.

* * *

Мы подходим к самой сердцевине темы — к истории возникновения «неокапиталистического» мифа, и надо вспомнить о фирме пишущих машинок «Оливетти» и об одном из самых ярких людей в галерее итальянских промышленников нашего времени — инженере Адриано Оливетти. Несколько лет тому назад он — еще сравнительно молодой человек — внезапно умер в поезде, в пути. Помню, что, когда я прочла в газетах сообщение об этом, у меня мелькнуло странное чувство: неожиданная смерть Оливетти показалась мне символичной.

Теперь, если вам случится разговаривать с итальянскими товарищами о «неокапиталистических» предприятиях, они назовут «Фиат», монополию резиновых изделий «Пирелли», другие фирмы. Но десять — двенадцать лет тому назад они, без сомнения, называли бы прежде всего «Оливетти». В конце сороковых — начале пятидесятых годов, когда Конфиндустрия перешла в массированное наступление на рабочий класс, «Монтекатини» и не помышляла о каких-либо «уступках», а Валетта организовал ссылку на Корсо Пескьера, — инженер Адриано Оливетти привлек к работе в своей фирме множество молодых специалистов левых убеждений. В то время на предприятиях Оливетти не было фактов дискриминации и прямого, беззастенчивого зажима. Очень возможно, что Адриано Оливетти искренне верил в то, что ему удастся удачно произвести задуманный им социально-экономический эксперимент. И многие молодые социологи и инженеры (об этом есть прямые свидетельства) увидели в предложении работать в системе «Оливетти»

единственную в своем роде возможность создать «современное» предприятие, современное по оборудованию, по организации труда, нечто вроде экспериментальной лаборатории, где можно изучать, сопоставлять, анализировать различные моменты производственного процесса, поставленного разумно, научно, перспективно.

Но самое главное заключалось в том, что Адриано Оливетти был не только главой фирмы, привлекавшей молодых талантливых специалистов. Одновременно он был человеком, создавшим новую доктрину, он был идеологом и организатором движения, которому дал имя «Комунита».

В 1952 году Оливетти выпустил в свет свою книгу, которая называлась «Общество. Государство. Комунита», — в ней отрицался классовый характер противоречий современного общества. В январе 1953 года движение Комунита оформилось и издало «Политическую декларацию». Декларация начиналась заявлением, что общепринятая терминология может лишь приблизительно и ориентировочно охарактеризовать движение и место, которое оно хочет занять в определенном секторе итальянской политики и культуры. При этом было сказано, что «движение Комунита является антифашистским, республиканским, демократическим, федералистским, христианским и светским, социалистическим и индивидуалистическим». Все это звучало несколько странно, но какое-то впечатление на определенные слои все же произвело. В декларации развивалась также мысль, что «обновление всей национальной жизни должно идти, начиная с предприятия, и что «высшим законом для движения Комунита является Евангелие».

То обстоятельство, что Адриано Оливетти совмещал в своем лице роль руководителя акционерной компании и идеолога движения, создало очень своеобразную амальгаму. Оливетти был талантливым организатором и обладал личным обаянием. Нет оснований думать, что его политическая декларация, при всей своей «рекламной» нескромности, была сознательной, грубой демагогией — вернее всего, в ней отражались его истинные взгляды и честолюбивое стремление предложить свой, оригинальный вариант решения острых экономических, производственных и социальных проблем, с которыми никто не мог справиться.

Оливетти развил бешеную деятельность. За несколько лет акционерное общество пишущих машинок превратилось в крупнейшую монополию, которая успешно выдерживала на мировом рынке конкуренцию с прославленными американскими фирмами, открыла свои агентства чуть ли не во всех столицах мира, создала внутри страны несколько новых предприятий, начала пользоваться значительным влиянием в национальной экономике. Монополия «Оливетти» получала сказочные дивиденды и, бесспорно, создала для своих рабочих условия, которые в Италии могут показаться волшебными. Новые заводские здания, сверхсовременное оборудование, клубы, библиотеки, хорошие столовые для рабочих, спортивные площадки, заработная плата, вполне обеспечивающая семью. Мало того: фирма «Оливетти» отщедрот своих немало подбрасывала муниципальным управлениям района Канавезе, где расположены многие ее предприятия. Короче говоря, проводилась в очень крупных масштабах традиционная политика патернализма. В самом деле, при итальянской безработице, при нищенских нормах человеческого существования на юге страны достаточно дать работу или хотя бы пообещать работу, чтобы прослыть добрым гением. Вспомни хотя бы о «благотворительной монополии «Монтекатини», дающей хлеб...» А тут — не «Монтекатини» с ее топорным, грубым, консервативным укладом. Тут в самом деле положение рабочих совсем иное. Тут предприятие, которое можно с гордостью демонстрировать иностранцам — министрам, социологам, дипломатам. Может быть, Адриано Оливетти в самом деле удалось поймать синюю птицу?

Но не будем торопиться с выводами. Здесь как раз уместно поговорить об идеологии. Мы уже знаем о «Политической декларации» движения Комунита. Надо сказать, что это движение развернуло большую издательскую деятельность: выпускало журналы, бюллетени, книги. В 1955 году вышла антология, в которой приняли участие как молодые социологи, примкнувшие к движению, так и маститые профессора. Среди них был профессор Карабалезе. В своей статье он осуждал всякое насилие, прославлял демократию и писал о Мадзини как о демократе и религиозном человеке, чьи политические идеи были «оправданы высшими идеалами». Все это очень интересно, особенно принимая во внимание, что при Муссолини этот самый профессор читал лекции, в которых

прославлял фашистский режим, а Мадзини называл... предшественником фашизма. Участвовал в антологии и профессор Уго Спирито, в прошлом — известный теоретик фашистского корпоративизма.

Как бы то ни было, Адриано Оливетти, глава монополии и движения Комунита, снабжал своих рабочих и духовной пищей. Он полагал, что за все получаемые материальные и духовные блага благодарные рабочие отплатят безоговорочной преданностью и помогут ему осуществить смелые политические планы. Надо сказать, между прочим, что первоначально Оливетти не вмешивался в профсоюзные дела, но уже в 1951 году при выборах во внутренние фабрично-заводские комиссии сделал все, чтобы поддержать кандидатов реформистского социал-демократического профсоюза. Это было только началом. По мере роста и укрепления монополии внутренние отношения между Капиталом и Трудом все более явно теряли свой «идиллический» характер. В 1953 году Оливетти уже не хотел допустить присутствия на своих предприятиях никаких профсоюзных организаций помимо собственного, созданного фирмой «Оливетти» профсоюза «Комунита ди фаббрика», и рабочие попали в такое положение, о котором говорится в известном анекдоте: бог создал Еву из ребра Адама, а затем предложил ему выбирать себе жену... Да, за счастье работать в системе «Оливетти» надо было расплачиваться.

Кончилось все это — я имею в виду «духовную связь Труда и Капитала» и прочие прекрасные вещи — неожиданным политическим крахом. В 1958 году движение Комунита истратило баснословную сумму в миллиард лир на предвыборную кампанию; предполагалось, что в палату и сенат пройдут от десяти до пятнадцати кандидатов, которых поддерживала Комунита. Но поистине гора родила мышь, и после всех треволнений, надежд и планов оказался избранным всего один человек. Это было катастрофой. Адриано Оливетти пришлось уйти с поста президента монополии. А еще через несколько месяцев движение Комунита объявило о своем роспуске. Осталось издательство, остался какой-то круг людей, сохранивших верность взглядам Оливетти. Но факты упрямы: фиаско было несомненным. А многим из тех, кто верил в доктрину Комунита, пришлось испытать горькое разочарование. Неожиданная смерть Адриано Оливетти как бы подвела черту под этим первым «неокапиталистическим» экспериментом в Италии. Рассказ об идеологическом и политическом крахе движения Комунита можно было бы назвать «Утраченные иллюзии».

* * *

В этой статье об одной из стран «чуда» мне хотелось говорить о конкретных вещах и событиях. Так возник рассказ о социальной доктрине католицизма и о левых католиках, о «ледже-труффа». Так возникли три интермеццо: «Монтекатини», «Фиат», «Оливетти». Но теперь пора перейти к обстановке, сложившейся в Италии в начале пятидесятых годов, к фону, к той атмосфере, в которой утверждала себя идеология «трансформированного капитализма».

Известно, что именно в послевоенные годы в некоторых западноевропейских странах (а также в Японии) начала широко внедряться сверхсовременная новая техника. Достижения атомной физики, химии, автоматизации, относящиеся еще к десятилетию 1930—1940, не были реализованы из-за войны, и лишь в США, преимущественно в военной промышленности, они уже были с большим успехом использованы. После войны, в частности в связи с «планом Маршалла», в Италии на базе новой техники началось бурное экономическое развитие. Выступая на конференции в Институте Грамши, академик А. А. Арзуманян подчеркнул, что марксисты никогда не считали, будто современный капитализм утратил способность к расширенному воспроизводству и будто ускорение ритмов экономического развития капитализма в известные периоды невозможно. Затем он сказал, что на определенном этапе послевоенного развития наступил момент, когда правящие круги Италии должны были принять решение: либо совершить колоссальные усилия для радикальной трансформации структуры итальянской экономики, либо оставить все как было, смирившись априори с переходом Италии на положение Турции или Греции... Правящие круги Италии предпочли первый путь, и итальянская экономика вступила в период трансформации своей структуры.

Средства, полученные по «плану Маршалла», в огромной своей части пошли в рас-

поражение монополий, которым удалось произвести замену устаревшего оборудования сверхсовременным и благодаря этому добиться исключительно высокого роста производительности. Нашлись люди, которые пустили в ход броское название всему этому: «вторая промышленная революция».

Перед коммунистической партией встала насущная задача дать правильную оценку новым явлениям и тенденциям развития. С одной стороны, нужно было выступить против тех, кто считал, что «вторая промышленная революция» автоматически приведет к коренному улучшению жизненного уровня рабочих. С другой стороны, надо было дать отпор догматикам, которые отрицали значение и даже само существование новых, значительных сдвигов в технике и экономике. В июле 1955 года Институт Грамши созвал конференцию на тему: «Новое на итальянских заводах» — это послужило основой для выработки тезисов к VIII съезду ИКП.

В резолюции VIII съезда говорилось, что рабочий класс рассматривает технический прогресс как решающий фактор социального прогресса и улучшения условий жизни и труда рабочих. Рабочий класс будет поддерживать технический прогресс и рост производительности труда. Одновременно он будет вести борьбу против сил, которые пользуются техническим прогрессом только для увеличения капиталистических прибылей, для усиления монополий и еще большей эксплуатации трудящихся, для проведения политики патернализма и дискриминации.

Наряду с assignованиями по «плану Маршалла» в Европу в эти годы проникла новейшая американская техническая и социологическая литература. К тому времени, как уже упоминалось выше, все разновидности «менеджмента» были широко разработаны и, так сказать, опробованы в США, был накоплен богатый опыт. Здесь можно вспомнить то, что В. И. Ленин писал о системе Тейлора: она, «как и все прогрессы капитализма, соединяет в себе утонченное зверство буржуазной эксплуатации и ряд богатейших научных завоеваний»¹. Мне кажется, мы имеем право распространить это определение и на другие системы «неокапиталистических» взглядов.

Во Франции, в Англии, в ФРГ развернулись большие дискуссии. Во Франции они совпали с открытым и общепризнанным кризисом реформистской идеологии, в Англии — с утверждением неофабианства, в ФРГ — с попытками так называемого «обновления» научного социализма, предпринятого правосоциалистическими теоретиками. В Италии началось с обсуждения в довольно узких кругах специалистов проблем автоматизации и новой техники. Влияние людей, интересовавшихся этими вопросами, на политическую жизнь и на развитие национальной экономики было косвенным и сравнительно небольшим. Но уже в то время были высказаны некоторые взгляды, которые позднее, созревшие и развернутые, вошли как составная часть в идеологию господствующих групп.

Конечно, было бы наивным говорить об «экспорте идей» из США или из Франции — вполне очевидно, что в Италии в то время были необходимые объективные условия для того, чтобы эти идеи упали на благоприятную почву. Нельзя, в частности, не признать, что многие довольно лево настроенные представители не только технической, но и гуманитарной интеллигенции искренне и горячо заинтересовались новыми доктринами. Среди них было и немало людей, которые в великой борьбе идеологий, происходящей в мире, склонялись к поискам так называемого «третьего пути».

В это время в Италии были переведены и пользовались большой популярностью несколько программных произведений идеологов «неокапитализма» — среди них «Капиталистическая революция двадцатого века» Берли, о которой я упоминала, произведения теоретиков так называемой технократии², сторонников школы «человеческих отношений» и т. д. Многие из этих книг вышли в издательстве Комунита. Несмотря на разнородность всех этих теорий, в чем-то самом главном они сходились. Это самое главное заключалось в идее, что на базе новой техники, при помощи новой системы управления

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 27, изд. 4-е, стр. 229.

² Основная концепция идеологов технократии заключается в том, что отныне решающую роль в организации и управлении промышленностью должны играть не капиталисты, а технические специалисты, именно они представляют собой «генеральный штаб» индустрии, в то время как капиталисты «не компетентны» и заботятся лишь о своих прибылях. Эта теория возникла в США в двадцатых годах.

предприятиями (менеджмент), при иной повышенной системе оплаты труда и заинтересованности рабочих в результатах производства капитализм не только не исчезнет с исторической сцены, но, напротив, укрепится и полностью «трансформируется».

Разумеется, было бы наивным думать, будто идеи «трансформированного капитализма» в разных вариантах родились непосредственно в умах воротил промышленности или финансовой олигархии. Создателями и носителями различных течений современной буржуазной мысли были те культурные силы, которые органически включены в систему, но не являются ее верхушкой. Очень часто — это доказано и американским и европейским, в частности итальянским, опытом — та или иная новая идея, объективно (да и по замыслу тех, кто ее высказал) служащая интересам крупного капитала, первоначально наталкивалась на сопротивление и оппозицию, так как по природе своей «двисте семей» во всех странах обычно консервативны.

Другое дело — положение тех представителей средних слоев, которые непосредственно осмыслили и развили разнообразные доктрины «менеджмента». Для них «революция менеджеров», как и теория технократии, имеет не преходящее, не «инструментальное», но жизненно важное значение. Эти культурные силы, порожденные историческим кризисом мелкой буржуазии, эти техники, социологи, руководители производства, органически включившиеся в систему капиталистической индустрии и в то же время требующие для себя в рамках этой системы автономии, которая противоречит ее законам, — зачастую оказываются в драматическом положении. Вспомним пример Оливетти и движение Комунита, которое похоронило так много иллюзий...

Однако в Италии «неокапиталистическая» идеология утверждала себя несколько необычным путем. Своеобразие и сложность положения заключаются в том, что основным проводником доктрины «трансформированного капитализма» были все же не «миряне», не представители так называемой «светской» интеллигенции, но различные течения католической мысли.

Мы довольно много говорили о социальной доктрине католиков в начале века, о Мурри и Мильоли, о подлинно драматических формах, в которые порою выливалось столкновение различных групп внутри католического движения. В рядах Христианско-демократической партии эти столкновения были и остаются не менее острыми. Так, в сороковых годах группа левых католиков, объединившаяся вокруг журнала «Кронаке социале», сформулировала свою теорию о том, каковы должны быть взаимоотношения между различными социальными силами внутри капиталистической системы. Речь шла «о социальном контроле над всей экономической деятельностью», об участии трудящихся в прибылях и т. д. Лидером группы был Доссетти, который позднее, потерпев поражение в яростной схватке с Де Гаспери, ушел в монастырь. Группа распалась, но ее идеи живы и сейчас в некоторых левокатолических кругах.

В пятидесятых годах все итальянское католическое движение было охвачено дискуссией. Особенно важно то, что в это время создавалась и утверждала себя новая концепция профсоюза, католическое профсоюзное движение разрабатывало свою доктрину и начало применять ее в практической деятельности. ИКСП (Итальянская конфедерация свободных профсоюзов, объединяющая все католические профсоюзы) претендовала на то, что сможет разрешить все насущные проблемы рабочего движения на основании «договоров» с капиталистами — решительно во всех областях и на всех ступенях национальной жизни, начиная с предприятия. Это должно осуществляться путем полной «интеграции», иначе говоря — полного слияния рабочего с тем предприятием, где он работает. Возник так называемый ациендализм (по-итальянски «ациенда» значит предприятие); по существу это разновидность американского опыта. Нечто близкое ациендализму мы находим в программе «Комунита ди фаббрика» — профсоюза, созданного монополией «Оливетти», — вспомним: «Обновление всей национальной жизни должно идти, начиная с предприятия».

На конференции в Институте Грамши член ЦК Итальянской компартии Бруно Трентин дал блестящий анализ развития и внутренних противоречий католической идеологии. Он считает, что группа Доссетти находилась под влиянием американских «неокапиталистических» доктрин. Так, старый, чуть ли не столетней давности тезис об участии трудя-

щихся в прибылях сочетался с тезисом о социальном контроле над экономической деятельностью и с требованием проводить политику программирования (планового развития) при участии демократических институтов. Трентин говорил, что теперешняя идеология католических профсоюзов значительно отличается от примитивного корпоративизма традиционной социальной доктрины церкви и «белого» профдвижения. Сейчас выдвигается такой тезис: для рабочего предприятие, двери которого раскрылись перед ним, становится всем на свете. Включившись в этот мир, он живет отныне лишь его интересами: это его дом, его близкие, его вера, его университет. Процветание этого предприятия, рост прибылей — вот что должно быть отныне всем смыслом жизни рабочего. Пытаются создать культ производства, выступающего как самоцель. Разработана определенная система соответствия между заработной платой и эффективностью работы предприятия, рабочие как бы несут свою долю ответственности за экономические результаты. При всем том профсоюз сохраняет за собой роль посредника между трудом и капиталом. В поисках, как они выражаются, «необходимого и возможного совпадения» интересов трудящихся и капиталистов руководство католических профсоюзов очень далеко отошло от естественного понятия «классовый профсоюз».

Концепция ИКСП предусматривает также своеобразные тройственные консультации, переговоры и соглашения между профессиональными союзами, предпринимателями и государством, причем каждый из этих институтов полностью сохраняет свою, так сказать, индивидуальность, но в то же время ищет возможных «совпадений» точек зрения и выработки линии развития национальной экономики. Впрочем, в конкретных условиях Италии положение католических профсоюзов противоречиво и сложное. Ведь они существуют не изолированно, рядом — Всеобщая итальянская конфедерация труда, которая стоит на четких классовых позициях, отвергая мистификаторские иллюзии *human relations* и соединяя борьбу за конкретные экономические интересы рабочих с борьбой за политическую демократию.

Как уже говорилось, для итальянского пролетариата начало пятидесятых годов было трудным временем. Анализируя положение, сложившееся тогда в стране, коммунистическая партия признает, что не только «красные» профсоюзы, но и партии рабочего класса переживали политический и организационный кризис. В момент, когда «леджеруффа» провалился, коммунисты и социалисты не сумели использовать свою победу на выборах. Они не имели разработанной позитивной программы, которая отвечала бы требованиям, выдвинутым реконструкцией и начавшимся экономическим подъемом. Они проглядели маневры патрона, направленные на раскол рабочего класса, образование рабочей аристократии и отрыв ее от масс. Проглядели также и тот важнейший факт, что католические профсоюзы заняли позицию, которая во многом перекликалась, а то и просто смыкалась с идеологией «неокапитализма». Никто не отдавал себе ясного отчета в серьезности происшедших процессов. Но когда на выборах во внутривзаводские комиссии на предприятиях «Фиата» в 1955 году классовый профсоюз потерпел неожиданное поражение, это прозвучало как сигнал о бедствии. Коммунистическая партия и ВИКТ забили тревогу. В кругах профсоюзных деятелей, экономистов, социологов-марксистов состоялась большая дискуссия, которая вскрыла причины всего, что произошло. Именно в это время партия проявила мужество и политическую дальновидность, проанализировав новые явления, возникшие в связи с реконструкцией и обновлением производственного аппарата многих крупных итальянских предприятий. Весной 1956 года на IV Национальном конгрессе ВИКТ было прямо сказано и о тяжелых ошибках прошлого, и о том, как противостоять капиталистической реставрации.

Сила Итальянской коммунистической партии заключается в ее славных революционных традициях и в способности схватывать и анализировать действительность такой, какова она есть в своеобразных, исторически сложившихся условиях. Она заключается также в том, что итальянские товарищи проявляют смелость, присущую только революционной партии, когда надо признать ошибочность каких-либо политических акций или тактических установок. Это был 1956 год — год XX съезда КПСС. Для всего итальянского рабочего движения съезд сыграл роль, переоценить которую просто невозможно. По-

трясение было серьезное. Создалась драматически напряженная атмосфера; нелегко было осознать самим и разъяснить самым широким слоям рабочего класса и интеллигенции необходимость разрыва со всем комплексом понятий и традиций, которые годами связывались с именем Сталина. Но это было в то время самой важной, может быть, решающей задачей, не осуществив которую немислимо было идти вперед. Нет сомнения, что, только отбросив пути догматического мышления, осознав свои ошибки и решительно вернувшись к ленинским нормам партийной жизни и к лучшим своим традициям, партия, созданная Грамши и руководимая Тольятти, смогла сделать громадное творческое усилие и теоретически обосновать свою гибкую, умную, диалектическую программу.

Весной 1957 года после нескольких лет застоя возобновились крупные забастовки. С тех пор рабочее движение, оправившееся после некоторой деморализации, пережитой в годы массированного контрнаступления монополий, вступило в полосу нового мощного подъема. Особенно важным является то обстоятельство, что не только в экономической, но и в общеполитической борьбе уровень участия масс очень высок, и в этом смысле Италия достигла весьма значительной степени демократического развития.

Внутри Христианско-демократической партии все время происходит борьба различных течений. Партия эта претендует на то, что она имеет «надклассовый» или «межклассовый» характер. Это, разумеется, неверно. Правильно будет сказать, что это буржуазная партия, не только отражающая, но и защищающая интересы крупной буржуазии. Но поскольку эта партия уже много лет находится у власти в стране сильного и организованного рабочего движения, она вынуждена маневрировать и идти на определенные уступки. Итальянские коммунисты неизменно учитывают диалектическую противоречивость и игру сил внутри католического движения. Никто не проводит знак равенства между правительством Тамброни, которое в 1960 году было почти что готово допустить государственный переворот и превратить Италию в клерикальное государство типа франкистской Испании или салазаровской Португалии, и левоцентристским правительством Фанфани, которое (половинчато, ограничено, с бесконечными отступлениями, не по доброй воле, а под нажимом рабочего движения) все же провело национализацию электропромышленности и шло по пути некоторых реформ.

Сила организованных трудящихся масс оказывает серьезнейшее влияние на католическое движение как извне, так и изнутри этого движения. Многочисленные факты показывают, что наиболее динамичные группы католиков мучительно ищут сейчас какой-то новой концепции экономического и общественного развития. Попытки обновления идеологической базы католицизма отчетливо проявились на так называемом «идеологическом» конгрессе католиков, который состоялся в сентябре 1961 года в Сан Пеллегринно, когда во многих выступлениях как бы ожили идеи Доссетти. Это чрезвычайно важно, потому что в условиях Италии развитие крайне левого католического течения может превратиться в один из важнейших компонентов того единства трудящихся, к которому призывает коммунистическая партия.

Проблема единства трудящихся в большой мере зависит от взаимоотношений между коммунистами и социалистами. После того как семь лет тому назад социалисты разорвали пакт о политическом единстве действий, коммунисты и социалисты продолжали работать совместно в профсоюзах, муниципалитетах и многих массовых организациях. Это полностью отвечает нуждам и стремлениям рабочего класса и всех демократических сил. Однако внутри социалистической партии образовались течения, занимающие резко различные позиции по всем коренным вопросам внутренней и внешней политики. Лидер партии Пьетро Ненни возглавил правое крыло ИСП. Создалось очень серьезное положение, так как под угрозой находится сама программа, сам классовый характер социалистической партии. Социал-демократы — сарагатовцы несколько лет носились с идеей создания «унифицированной социалистической партии», рассчитывая таким образом увести социалистов в реформистский лагерь. Эта идея провалилась. Сейчас Альдо Моро удалось сформировать четырехпартийное правительство так называемого левого центра: христианские демократы, социалисты, социал-демократы и республиканцы. Это прои-

зошло при драматическом обострении противоречий внутри самой социалистической партии — между большинством правых во главе с Пьетро Ненни и очень сильным левым меньшинством. Ненни пошел на значительные уступки демохристианам как по вопросам внешней, так и по вопросам внутренней политики. Время покажет, какова будет судьба этого политического эксперимента. В одном можно не сомневаться: даже если Ненни поддастся соблазнам и пойдет на участие в блоке с ХДП, пожертвовав единством действий с коммунистами в массовых организациях, сами массы внесут поправку. Тяга к единству колоссальна. Забастовочное движение последних летних месяцев характеризуется все возрастающим и активным участием в забастовках людей различных политических убеждений и входящих в различные профессиональные организации. Это не только стихийный процесс — дело в высоком уровне классового самосознания итальянских трудящихся.

Мы говорили об «итальянском пути к социализму». Речь идет о том, какова реальная историческая перспектива борьбы за демократию и социализм в стране, находящейся на стадии монополистического капитализма, в стране пресловутого «экономического чуда». Рабочий класс и коммунистические партии капиталистических стран Западной Европы борются не с каким-то раз навсегда определенным и застывшим в неподвижности врагом. Диалектика борьбы требует постоянно ощущать пульс страны, видеть глубинные процессы, зреющие в сознании людей, смело ставить вопрос о союзниках рабочего класса, проводить и настойчиво добиваться осуществления конкретных требований в экономике, в социальном законодательстве, в школе, в органах местного самоуправления и так далее.

В Италии создались совершенно новые условия классовой борьбы. Теперь она происходит уже не в экономически отсталой, а в высокоразвитой стране, стране монополий, очень сильного государственного капитализма, стране «чуда». Порою рассуждают так: поскольку бурное экономическое развитие Италии произошло под руководством и к выгоде монополий — оно означает политическое усиление капитализма и создает большие трудности для революционной борьбы. Но это прямолинейное рассуждение грешит схематизмом, оно недооценивает революционную роль рабочего класса в высокоразвитых капиталистических странах.

Не забудем также своеобразия исторически сложившегося в Италии положения. Благодаря постоянному присутствию сильного, боевого и — вопреки всем расколам — унитарного в основе своей рабочего движения правящим классам приходится действовать на почве, чреватой опасностями и взрывами. Необходимость обновления всей национальной жизни очевидна для всех, кроме наиболее консервативных групп.

Итальянский опыт позволяет прийти к некоторым выводам, имеющим серьезное принципиальное значение. Он доказал, что экономическое развитие, происходившее под эгидой крупного капитала, но одновременно и под давлением сильного рабочего движения, не привело к политическому усилению буржуазии, к стабилизации капитализма. На конференции в Институте Грамши один из старейших итальянских коммунистов, член руководства Джорджо Амендола провел интересную параллель между развитием событий во Франции, в Западной Германии и в Италии. В то время как в первых двух странах «экономическое чудо» привело к серьезной политической инволюции — в Италии оно сопровождалось все усиливающимся народным движением и борьбой за демократическое развитие страны. Амендола говорил, что иностранцам, не знающим во всех подробностях итальянской специфики, трудно даже осознать этот бесспорный факт.

Итальянский опыт безусловно опроверг теорию, согласно которой классовые противоречия на крупных современных «неокапиталистических» предприятиях, где «менеджмент» перешел от собственников-акционеров к специалистам, якобы смягчаются. Идиллическая картина все возрастающего участия целой категории техников и высококвалифицированных рабочих в руководстве промышленностью оказалась мirageм.

Превратилась ли Италия в «государство благоденствия»? Нет, не превратилась. Созданы так называемые «островки», это правда. Правда, что на отдельных предприятиях и в некоторых городах, преимущественно Северной Италии, жизненный уровень населения значительно возрос, рабочие обзавелись телевизорами, холодильниками,

мотоциклами, о чем и не помышляли десять лет назад. Но привело ли это к обуржуазиванию рабочего класса, к реформизму? Нет, не привело. Итальянский опыт доказывает, что сознательность рабочего класса и его духовные интересы возрастают по мере того, как удовлетворяются самые элементарные жизненные потребности. Рабочие понимают, что «благодетельные монополии» разных мастей всего только бросают им подачку. А они хотят жить так, как этого требует достоинство человека и творца материальных ценностей. И хотят, чтобы так же жили их братья по классу. Отсюда такое явление, как забастовки солидарности, в которых принимают участие многие рабочие, находящиеся в сравнительно привилегированных условиях. Таким образом, все эти «островки благоденствия» — иллюзия, и мало кто сейчас уже верит в нее.

В состоянии ли буржуазия разрешить старые и новые противоречия внутри системы? Почти для всех ясно: не в состоянии. Верно ли, что монополии фактически являются главным препятствием для социального, политического и культурного прогресса? Да, это верно. А верно ли, что в 1963 году, когда общая экономическая конъюнктура в Италии несколько ухудшилась, правящие круги поторопились заявить, что виновато в этом повышение заработной платы? Верно и это. Никакие амулеты, никакие мечты об «омоложении» не помогут господствующим классам. Будущее Италии — не в призрачном «неокапиталистическом» раю.

Доказательства — факты повседневной, текущей политической и социальной борьбы. Доказательства — взрыв монополии «Фиат», приобщение рабочих «Фиата» к забастовочному движению после многих лет «духовного паралича». Доказательства — тяга к единству действий рабочего класса и трудящихся масс (в том числе католиков) вопреки политике раскола на новой, более высокой, более органичной базе. Доказательства — неоспоримый, огромный поворот страны влево, все более настойчивые требования обновления. Доказательства — позиция, занятая за последние два года широкими кругами демократической интеллигенции, которую газета «Джорнале д'Италия» горько упрекала недавно в том, что она, «быть может, не вполне отдавая себе в этом отчет... работала на руку коммунистической партии». Доказательства — последние парламентские выборы...

В начале этой статьи говорилось о яростной антикоммунистической кампании во времена «ледже-труффа». Прошло десять лет. Были горькие годы кризиса и застоя, но все это преодолено: возникли новые творческие силы, новая инициатива, рабочий класс и его партия выступают с конкретными, деловыми предложениями решительно по всем вопросам национальной жизни. Сколько раз за эти годы партию хоронили, сколько кричали о «раздирающем ее кризисе», о том, что она «сходит на нет», о «политической изоляции коммунистов». И сейчас, в 1963 году, в страхе перед неизбежным, неотвратимым торжеством тех сил, которым суждено осуществить настоящее, научно обоснованное, исторически неизбежное чудо, обреченные фанатики цепляются за мифы, за ту самую соломинку...

Мне хочется привести отрывки из одной очень интересной молитвы, которая распространялась в Сицилии духовенством накануне выборов, происходивших в апреле этого года. Я читала ее всю, но она немножко длиновата, и поэтому ограничиваюсь самым основным, опуская разные «красоты стиля».

«Молитва к пресвятой деве Марии

Во имя Отца и Сына и Духа святого. Да будет так.

В то время, как дети Сатаны объединяются, чтобы воспрепятствовать мирному Царствованию твоего божественного сына Иисуса, из глубины души мы обращаемся к тебе, Пресвятая Непорочная Дева, с мольбой о помощи и о спасении... Просвети дух наших избирателей и направь их волю к тому, чтобы избавить Сицилию от ужасов и плачевных последствий Коммунизма... Святая Агата, Святая Лючия, Святая Розалия, вы, которые так любили Сицилию при жизни и теперь покровительствуете ей с небес, спасите своим вмешательством нашу Сицилию от обмана коммунистов!»

Молитва, как видим, очень трогательная и убедительная, но ни святая Агата, ни святая Лючия, ни святая Розалия не откликнулись на нее с достаточной энергией:

результаты выборов в Сицилии (они там проводятся позднее, чем на материке) подтвердили блистательный успех коммунистов.

У меня хранится как одна из дорогих реликвий комплект журнала «Ло Стато Операйо» за 1932—1933 годы. Основатель Итальянской коммунистической партии Антонио Грамши уже много лет томится в фашистских тюрьмах, и столько товарищей разделяет его судьбу. Другие в эмиграции. «Ло Стато Операйо» издается в Париже тиражом в две с половиной тысячи экземпляров, он печатается на папиросной бумаге, чтобы легче было нелегально перевозить через границу. Перелистываю страницы, перечитываю некоторые статьи, корреспонденции из Италии: о фашистском терроре и фашистской демагогии, о вспыхивающих то там, то тут, несмотря на все репрессии, забастовках, о том, как женщины кричали: «Хлеба нашим детям или голову Муссолини!» И перепечатанные статьи Ленина, и хроника международного рабочего движения, и ясный, беспощадный анализ своих собственных слабостей и ошибок, и — вопреки всему — страстный, воинствующий социальный оптимизм, вера в революцию. И звучащие как лозунг слова из передовой: «Борьба за хлеб и заработок, борьба за свободу, борьба против фашизма и войны переплетаются и дополняют друг друга. Под политическим руководством коммунистической партии они должны слиться в единую борьбу». Это — сама История, и об этом надо было бы написать особо.

И я думаю о том, что сейчас тираж газеты «Унита» доходит до миллиона и каждый четвертый на выборах голосовал за коммунистов. Думаю о синем-синем римском небе, о желтой воде Тибра, об оливковых рощах, о том, как однажды при сильном ветре в маленькую речку в Сицилии попадало столько апельсинов и лимонов, что они образовали затор (я сама это видела, но не помню, как называлась речка). И думаю о том, какие чудесные люди живут в Италии — добрые, горячие, великодушные, веселые. Люди, пережившие двадцать лет фашистского позора и славные двадцать месяцев войны за освобождение. И мне слышится боевая, все громче звучащая мелодия итальянского рабочего гимна: «Аванти, пополо!»



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Ю. ЮЗОВСКИЙ

★

ГОРЬКИЙ И ЕГО СОБЕСЕДНИКИ

(По страницам переписки Горького с советскими писателями)*

Призванием Горького было разыскивать и поддерживать таланты. Он видел в этом не только свой общественный долг, который самоотверженно, не щадя сил, выполнял, но и свою личную потребность, удовольствие. «Какая еще есть радость, кроме любования талантом человека?» — говорил он. Пожалуй, только этим можно объяснить его воистину феноменальную, всех поражающую работоспособность. Для того, чтобы прочесть все полученные им рукописи и письма (в Архиве Горького хранится более тринадцати тысяч писем только от советских писателей), чтобы на них ответить — на это одно должна была уйти, казалось бы, целая человеческая жизнь.

«Писем получаю полсотни — в среднем, ежедневно...» — говорит он. «...Это письмо вам сегодня одиннадцатое», — пишет он Федину. «Читать — не успеваю. 32 книги молодых авторов лежат не прочитаны еще. Беда!» Это только книги, а сколько рукописей! И этого ему мало, он требует еще и еще. Он спрашивает, вышла ли книга Каверина — «Пошлите, пожалуйста». Чапыгину о книге «Разин Степан»: «Уже где-то объявлено об ее издании. Вы, сударь, мне первому пошлите ее». Пастернаку: «...Пожалуйста, пришлите ваши «Стихи», объявление о выходе которых напечатано на обложке 10-й книги «Красной нови». Ему достаточно прочесть название произведения, чтобы им заинтересоваться. «Что это за книга Неверова «Ташкент»?» — спраши-

вает он в одном письме, в другом: «...Напишите возможно подробно — кто такой ваш Байкалов — и передайте ему мой привет» (Байкалов — псевдоним Гладкова). В третьем письме: «...Кто такой Леонов, нет ли новых «начинающих» и т. д.»; в четвертом письме: «...С нетерпением жду книжку Зошченко»; в пятом: «Есть у Тихонова изданные стихи? Не пришлет ли он мне?»; в шестом: «Что это за книга Пантелеймона Романова «Русь»?» Уже составив мнение о книге, он готов возвратиться к ней. Написав Ольге Форш о Тынянове и Чапыгине, он добавляет: «А вы как думаете об этих книгах? Не лень — напишите». Ему не лень снова продумать эти книги. «С великим трепетом слежу, как растет на Руси новая литература...»

Это трепетное внимание и открывало ему сердца его корреспондентов — самые замкнутые, скрытные и недоверчивые — не только потому, что он сам был великий писатель, «сам умел писать», что так авторитетно для всякого пишущего, а потому, что умел понять другого, понять, что пишет другой, а не только он сам.

Бабель: «...Я... не забыл слов, сказанных вами мне в первый раз... Я не забыл их, Алексей Максимович. Они помогают мне в минуты неверия... И если я буду ошибаться, то прошу вас — не теряйте веры в меня». Гладков: «...Вы поддержали меня своим бодрым словом и заставили поверить в себя». Зошченко: «Ответьте мне хотя бы коротеньким письмом. Мне очень важно это обстоятельство». Каверин: «Спасибо вам сердечное за то, что... в меня верите» Леонов: «И почему-то все время такое чувство,

* «Литературное наследство», том 70. Горький и советские писатели. Неизданная переписка. Издательство Академии наук СССР. М 1963 736 стр.

словно совершил какую-то нечестность в отношении вас. Это, пожалуй, и хорошо. Должен всякий человек иметь в мире человека, перед которым бы он чувствовал такое». Пастернак: «Письмом вашим горжусь в строгом одиночестве, накрепко заключаю в сердце, буду черпать в нем поддержку, когда нравственно будет приходиться трудно». Тренев: «Спасибо вам за ласку! Отогрели вы человека». Чапыгин: «Ваши письма всегда вливают в меня... уверенность и бодрость». Федин: «В дни отчаяния чувствую я, как вот-вот готова рухнуть вера моя в себя — писателя... И я почему-то уверен... что вы можете помочь мне...» Шолохов: «Буду с большим нетерпением ждать от вас письмо или телеграмму. Изболелся я за эти 1½ года за свою работу...»

Характерный тон этих писем — удовлетворенность атмосферой доверия, климатом доверия, который Горький установил в своих письмах. И потому, что доверие это было оказано, — возражения Горького, его сомнения, настороженность, предостережения и критика в свою очередь принимались доверчиво. Об этой созидательной, творческой силе доверия можно бы сказать: есть доверие — есть литература. Конечно, при этом не исключаются ошибки, но их легко поправить, а при противоположной установке их неисчислимо больше, исправить их сложнее, а то и невозможно.

Многообразны потребности, продиктовавшие авторам их письма. Есть письма исповеднические, когда автор раскрывает свою душу со всеми ее сомнениями и горестями, довольный уж тем, что может сделать это («Дорогой Алексей Максимович, пишу грустное письмо, ибо не могу: устал и хочу выговориться» — Слонимский). И письма с настоящей нуждой в совете, и не только литературном («Думается мне, Алексей Максимович, что вопрос об отношении к среднему крестьянству еще долго будет стоять... Прошлогондя история с коллективизацией и перегибами, в какой-то мере аналогичными перегибам 1919 года, подтверждает это. Вот своевременно ли писать об этих вещах? У вас неизмеримо шире кругозор, и мне хотелось бы получить от вас ответ на все эти вопросы» — Шолохов). И письма с деловым, так называемым «профессиональным» разговором. В ответ на критику пьесы «Патент 119», которая показала Горькому «очень тяжелой, недостаточно действенной», а ее герой лишенным

«той черты пафоса, той «сумасшедшинки», которая вообще свойственна крупным изобретателям», автор пьесы пишет: «Когда я поразмыслил над вашим письмом. — то понял, что вы правы... пьесу в некоторых местах нужно сломать, лишить гладкой расчудочности — внести в нее «сумасшедшинку». Я это сделаю» (Алексей Толстой). И письма — творческие дискуссии (Горький: «Меня смущает в стихах ваших «шегольство» ассонансами... и прочие приемы, в которых я чувствую искусственность и не вижу искренности»). Елена Феррари: «...У меня это ни в коем случае не шегольство, а единственная возможная форма, так же, как и неточный ритм... я глубоко убеждена в жизненности неточной рифмы и больших ее преимуществах перед точной...» Горький: «Трудно мне согласиться с вами, Елена Константиновна! Я — поклонник стиха классического, стиха, который не поддается искажающим влияниям эпохи, капризам литературных настроений, деспотизму «моды» и «законам» декаданса...» Феррари: «Я знаю, что роль левого искусства вообще — неблагоприятная роль чернорабочего. Если — или когда — Пастернак будет писать классическим стихом, то это будет совершенно блестяще... Неужели вы думаете, что Хлебников был напрасно...?). И письма с претензиями к Горькому, к его творчеству: «Лучшие люди его (Льва Толстого. — Ю. Ю.) смиренники, а не хозяева жизни. Насчет хозяина — черед за вами. Вот дайте нам «своего» Человека до конца, по-хозяйски...» (Ольга Форш). И не только к творчеству: «Радостно чувствую напрасность страхов города (в частности ваши страхи), что деревня слопает революцию и город, потом отрыгнется азиатской деспотией. Не будет этого. Старое кончилось» (Вольнов).

Многообразные вопросы, затронутые в письмах Горького и его собеседников, для иных специалистов по эстетике могут стать источником если не диссертации, то уж обязательно «труда», не говоря уже о том, что они заинтересуют рядового читателя, — пусть он только поспешит ознакомиться с ними в самой Переписке, где они изложены в доступной для человека форме. Чтоб разобрать все эти вопросы, для этого никакого места не хватит, поэтому мы выборочно укажем на некоторые из них.

Например, вопросы психологии творчества. Анализируя реакцию читателей на его

роман, Федин обнаруживает «странную вещь»: все, что связано в романе с «чистым вымыслом», производит большее впечатление, чем, напротив, то, что опирается на реальный «опыт, наблюдения, на знания», это скорее «остаётся незамеченным», и Федин спрашивает, не значит ли это, что «знание только мешает художественной правде»? А в таком случае можно добавить: не возникнет ли опасность, что уход в чистый вымысел будет способствовать уходу от действительности? Горький, отвечая, прежде всего уточняет понятие «чистого вымысла» и, можно сказать, отделяет то, что «выдуманно», от того, что «надумано». В таком толковании «чистый вымысел» есть та же реальность, есть «та «вытяжка» из действительности», которая «получается в результате таинственной работы воображения художника», и, например, герой фединского романа («Города и годы») Лепендин — «пыль впечатлений», которая «слежалась в камень». Стало быть, как вытекает из мысли Горького, наблюдения, опыт, знания нужны художнику, но не для того, чтобы они скрывали, а, напротив, для того, чтобы они поощряли его, давая материал для «таинственной работы» воображения, которому надо довериться: «Дорогой мой — цените ваше воображение, не стесняйтесь ничем и никак его свободу».

Есть много вскользь брошенных замечаний, которые надолго задерживают наше внимание. В письме к Феррари Горький говорит: «Но в даровании вашем чувствуется мною некая острота, которую, я боюсь, вы потеряете в поисках формы». Остроту, которую обычно закрепляют изобретательностью формы, оказывается, можно потерять в поисках формы — стало быть, острота есть свойство содержания. Ее можно притупить как раз тем, чем ты ее хочешь заострить, то есть формой, и, значит, надо быть осторожнее с формой в интересах хотя бы самой формы.

А вот упрек Афиногенову. «В пьесе вашей Кулик остаётся ненаказанным за эту фразу», — говорится о фразе неверной, способной настроить мещанского зрителя против пролетариата. Мельком оброненное замечание Горького весьма содержательно. Горький предлагает не перечеркнуть «опасную» фразу, а ее дезавуировать — принципиально важный совет! Мы хорошо помним, как в свое время (да и сейчас бывает!) драматурги давали совет убрать неблагоприят-

ную реплику вместо совета противопоставить реплике реплику и правдой ударить ложь. Эти советы опирались даже на своего рода теорию о том, что нельзя-де давать в пьесе «трибуны врагу». Но если рассуждать так, то есть, проще говоря, не давать противнику высказаться, то это значит лишать его действия, ибо слово в драме — действие, и тогда бесцельным становится противодействие, превращающееся в чистейшую декларацию. Таким образом снимаются коллизии, конфликты пьесы, и вот перед вами «бесконфликтная драма» — таково ее происхождение, совсем незагадочное. Справься с врагом, одолей его, разбей перед лицом зрителя. Не умеешь этого делать — не берись, но не уходи трусливо в кусты: драматургия — это бой, и, если умеешь, действуй, тогда и будет драма, драматургия, а не та скучная канитель, которую мы, бываем, видим на сцене.

Если каждый из многочисленных корреспондентов выявляет собственную индивидуальность, то Горький учитывает все эти индивидуальности, стараясь, чтобы индивидуальность лучше поняла его. Но он касается также и вопросов, общих для всех его корреспондентов. При этом он имеет в виду и субъективную сторону дарования, поощряя неуверенного, придерживая самонадеянного («...Вы мало верите в свои силы... вам, думаю я, нужно прибавить веры в себя» — Федину; «Вам рано смотреть на себя как на писателя законченного, рано! И вам была бы крайне полезна некоторая доза сомнения в ваших силах, неуверенность в себе» — Пильняку). В не меньшей степени учитывал Горький и объективную сторону дарования: выходцам из буржуазной интеллигенции он рекомендует отвлекаться от книги ради жизни («Авторы смотрят на действительно сущее как бы сквозь бинокль книги... При этом иногда бинокль употребляют с того конца, который уменьшает предметы»), писателям же, вышедшим из низов, с их опытом жизни и практики — напротив, идти к книге («Я знал не одного, чья талантливость наполовину сократилась «некультурностью»»).

Интересно, кстати, что по этому вопросу на страницах Переписки как бы завязывается спор между отдельными ее участниками, даже не подозревающими об этом. Гладков: «Вся болтовня о некультурности так называемого пролетарского писателя... порядком уже надоела. Галиматья». Чапы-

гин: «Молодые писатели МАПа—ВАПа, ЦАПа и других ассоциаций густо невежественны, в этом их смерть... Самое худое, что некоторые из них знают, что учиться надо и усвоить многое надо, да уж больно долго идти... То-то будет... макулатуры! И так лежат битком набитыми подвалы госиздатов, все идет в перемол».

Обращает на себя внимание — и с каждым письмом все больше — тон писем самого Горького. Так и видишь его сосредоточенное, подчас напряженное лицо, и если его корреспонденты пишут как бы не задумываясь и не выбирая выражений, то Горький обдумывает буквально каждое слово, понимая, что оно значит для того, к кому оно обращено. Видишь лицо врача, погруженного в себя, размышляющего над диагнозом, не торопящегося, молчащего — как рискованно здесь ошибиться!

Чувство ответственности водило пером Горького — каждое письмо свидетельствует об этом, — ответственности, стократно усиленной сознанием своего положения, авторитета, того, что он — Горький. И при этом замечательно его стремление к тому, чтоб правильность письма определялась истинностью сказанного, а не авторитетом сказавшего. И в самом деле, ведь надо бы осторожнее, аккуратнее обращаться с авторитетом не только с чужим, но и со своим собственным — и вот Горький старается быть убедительным, опираясь на истину, а не на авторитет. Красной нитью проходят через его письма утверждения вроде следующего: «...Очень прошу понять мой ответ не как поучение литератора, а просто — как впечатление внимательного читателя, который любит литературу».

Еще одно сравнение позволим себе — с шахматистом, который долго обдумывает каждый ход и, даже поставив фигуру, как бы задерживает на ней руку, продолжая думать, а бывает, что, извинившись, берет фигуру обратно. «Может быть, я ошибаюсь? — пишет он Пастернаку по поводу своих замечаний, — тогда — извините ошибку». «Я пробовал вычеркивать кое-какие фразы, на мой взгляд — лишние, — пишет он Ген. Фишу о его рассказах, — но не чувствуя, что действую правильно, перестал вычеркивать. Прошу вас прочитать рукопись еще раз...» Тут «шахматная фигура» как бы повисает в воздухе, а эта позиция тоже не может ускользнуть от внимания партнера, возможно, на это она и рассчитана?

Впрочем, когда надо, Горький умел быть категоричным, но он всегда старался убеждать, а не принуждать своего корреспондента, и даже не столько его самого, сколько талант, в нем заключенный, ибо ведь бывает, что хотя автор и согласен, но талант не согласен — его-то и не упускал из виду Горький, сам художник!

Таков стиль Горького, стиль его руководства — пример всем нам, и в первую очередь критикам, но и редакторам, направляющим автора, и режиссерам, направляющим актера, и худрукам, направляющим режиссера, и т. д.

У Горького была слабость, которой он неохотно сопротивлялся, — слабость к таланту. Всякий, кто обнаруживал литературное дарование, влек его к себе, и он шел к нему навстречу, даже если это было в иных случаях дарование, чуждое его собственному. Для одоления такого своего рода творческого предубеждения тоже требовалась воля. Вопрос немаловажный.

Толстой не признавал драматургию Шекспира и Чехова как нечто противоположное тому, что он сам делал в искусстве. Он не находил у Шекспира морального пафоса, которым сам был преисполнен, поэтому отрицал за Шекспиром духовную роль в воспитании зрителя, так же как и за Чеховым, объявляя, что его пьесы лишены направленности. Толстой был очень решителен в своих взглядах. Но доводы Толстого освещают не столько творчество Шекспира и Чехова, сколько творчество самого Толстого — это своеобразная форма автохарактеристики. В этом их главная ценность. Ценность же этих ошибок в том, что они поучительны и для нашего современника, все равно — писателя или читателя, какой бы он ни был, этот писатель или читатель, ибо все мы не застрахованы от подобных ошибок.

Мы говорили о Толстом, но возьмем пример более близкий. Фадееву принадлежит статья «Долой Шиллера!», она не столько характеризует романтизм Шиллера, сколько реализм Фадеева. Фадеев укреплял свои творческие позиции в борьбе с декларативностью других авторов, открывая новую страницу в истории советской литературы. Поэтому его позиция была прогрессивной, но ее достоинства при продолжении обернулись, как это часто бывает, недостатком. Это, кстати, находит свое отражение в Переписке. Вишневский жалуется на «раппов-

скую критику, душившую за одно упоминание о романтике», на то, что энтузиасты РАППа ему «заявили после одного спектакля: «Голову ломаем...» Гладков негодует: «Долбят, что я — романтик и реакционный писатель».

Утверждение собственной творческой манеры, даже в форме полемики, естественно, если при этом утверждении стиля данного автора не отвергается стиль другого автора. Это закономерно в пределах единой социалистической литературы, как, например, в данном случае, когда романтическая приподнятость у одного художника не только не исключает, а, напротив, предполагает психологический анализ у другого. Но неестественно, когда автор объявляет манеру другого автора чуждой не только ему лично, но и литературе в целом, считая, что раз он так пишет, то и все должны так писать, провозглашая свой стиль монопольным, «единственно выражающим».

Этот взгляд стал теоретической предпосылкой явления, которое время от времени всплывает на поверхность (и это один из поучительных уроков Переписки). Мы имеем в виду явление «групповщины» или «групповизма». как выражается Гладков, который, впрочем, каждый раз, обрушиваясь на «групповизм», тут же довольно энергично сам его проявляет, так же как и Вишневский, который, будучи недоволен тем, что ему собираются «голову сломать», сам, как увидим, бывал не прочь наложить на ближнего свое вето.

При общем высоко принципиальном уровне Переписки, когда сопоставляешь письма разных авторов (при всем том, что мы отдаем им должное), создается впечатление взаимных наскоков и того, что Горький «разнимает» дерущихся. Он находил в этих спорах «оскорбленное самолюбие» — и в самом деле порой тут больше столкновения амбиций, чем взглядов. Старый писатель вправе был бы сказать словами чеховского Тригорина: «Всем хватит места... зачем толкаться?» Горький с его хозяйским отношением к литературе, с его принципом «Литературная работа в наши дни — работа государственного значения» — охранял творческую индивидуальность писателя не только от других, но и от самого себя. Горького, если почему-либо эта индивидуальность не приходилась ему по вкусу, сохранял объективность.

«Разногласия ваши очень сильно сму-

шают меня,— пишет он Чумандрину,— весьма часто мне кажется, что все вы ищите друг в друге именно разногласия и что стремление к единогласию меньше интересует вас». Он советовал искать не только у себя, но и другого писателя «коренное свое», что, не исключая разногласий, способствует тому, чтоб «найти в себе суть самого себя». Конечно, и другие участники Переписки придерживались такой позиции, однако наиболее полно, последовательно, сознательно, наиболее решительно проводил ее именно Горький.

Переписка, давая картину становления советской литературы, сама является оружием этого становления, утверждая принцип соревнования творческих индивидуальностей, принцип, который, несколько упрощая, можно выразить русской поговоркой: на вкус и цвет товарищей нет. Горький сам не навязывал своего вкуса и не заставлял из многокрасочной художественной палитры брать только данный цвет. Принцип, можно сказать, актуальный и даже международный.

Случалось, и Горький отклонялся от заданного им курса, но это были скорее исключения, и мы приведем их, чтоб лишний раз подчеркнуть правило. Л. И. Тимофеев во вступительной статье уже отметил моменты необъективности Горького к Гладкову. Сказалось это и в оценке «Цемент». Горький пишет Гладкову, что это «очень значительная, очень хорошая книга», что «в ней впервые за время революции крепко взята и ярко освещена наиболее значительная тема современности — труд», что «всяма удалась и характеры. Глеб вырезан четко и хотя и романтизирован, но это так и надо... Даша — тоже удалась», что «язык диалогов весьма жив, оригинален». Отметив, как мы видим, все признаки художественности и по отношению к роману в целом, к его характерам и даже к языку (хотя и с оговорками), одновременно с этим Горький утверждает, что гладковское «произведение не художественное в принятом смысле слова». И когда Гладков недоуменно спрашивает: «Как согласовать эти две оценки?» — то можно его понять, так же как нельзя не почувствовать горечи, с какой он замечает: «Вы все время в своих письмах избегаете драгоценного слова — «художественное»...»

Каково в самом деле писателю, которому отказывают в художественности?

Почему же Горький, который порой бывал даже слишком щедр в пользовании этим словом, в данном случае поскупился? Возможно, что тут был также своего рода психологический «педагогический» прием. Гладков (мы судим по его многочисленным письмам), задетый тем, что среди многих одобрительных слов «недополучил» одного, правда, драгоценного, — сам не обнаруживал чуткости, когда дело касалось другого писателя, вовсе отказывая ему в одобрительных словах, даже менее драгоценных. И Горький таким способом как бы намекает своему корреспонденту: ведь вот как бывает обидно, когда тебя недооценивают!

«Откуда у вас этот «аристократический» тон по отношению к начинающему писателю — «какой-то», — удивляется Горький. — Не заболели ли вы «комчванством?»» Гладков был невнимателен порой и к самому Горькому. Тут дело, конечно, не в том, что Горького нельзя-де критиковать, напротив, Горький сам ждет этой критики, благодарит за нее и соглашается с ней (в тех же письмах Гладкову), а в том, что эти суждения сплошь да рядом продиктованы очевидными капризами настроения.

«Родной мой Алексей Максимович! если бы вы знали, как я вас беспредельно люблю... ведь никто, решительно никто, кроме вас, не сросся так с моей душой...» «Вы — такой большой человек, что мне просто жутковато писать вам...» «Для меня же ваше творчество и ваш путь является примером великого значения». (Здесь на полях Горький пишет: «Ох!») Это с одной стороны. А вот с другой: «Очень вы много говорили и говорите о человеке, о любви к нему. А мне кажется, что вы не любите людей, презираете их и глумитесь над ними». И дальше: «Ядовитый червяк в мозгу, свойственный русскому мыслящему человеку, превращается у вас в змею». И после этих заявлений Гладков пишет: «Вы же мне дороги до невозможности» и «Вы единственная для меня художественная мудрость».

В одном письме Гладков заявляет: «...я не мог дочитать до конца вашей «Матери», а в другом письме — о том, как ему близка «упрямая, живучая, мятежная сила, которая изображена у вас в «Матери». Как согласовать эти две оценки?

Горький словно бы не вступает в спор по поводу своих произведений: «А «Мать» —

книга действительно плохая», — говорит он. Насчет «Клима Самгина», тоже раскрытого Гладковым, пишет: «И — увы! надо согласиться: книга-то скучновата» — и добавляет с юмором: «Хотя — может быть — это ей и приличествует как панихиде о русской интеллигенции».

В итоге переписки обиженным считает себя Гладков. «Какой вы «подозревающий» человек, Федор Васильевич!» — справедливо замечает по этому поводу Горький.

Какой урок следовало бы извлечь из этого случая? Вряд ли кто-либо, даже самый тщеславный из нас, надеется, что письмо, которое он пишет одному, прочтут все. Но так как подобный случай, как видим, не исключается, то первый вывод — это сказать себе: «Думай, когда пишешь!» Думай не только о том, что пишешь, но и о том, каков ты сам, пишущий, — обрати внимание не столько на письмо, сколько на себя, его автора, а если автор к тому же инженер человеческих душ и берется строить эти чужие души, то, может, кое-что перестроит и в своей собственной, пользуясь столь счастливой оказией?

Горький тепло встретил приход в литературу Вишневого, поздравил его с «Первой конной», но, на наш взгляд, недооценил «Оптимистическую трагедию», ее крупного новаторского значения, а она нуждалась по тому времени в авторитетной поддержке, обвинение же драматурга в «бойкости» в известной горьковской статье, нам кажется, было чрезмерным.

Наконец в числе адресатов Горького, среди которых встречаются имена, вовсе неизвестные и не оставившие следа в литературе, нет имени Маяковского, нет переписки с ним. Обидно.

Но, как было уже сказано, это исключения из общей позиции Горького, и мы привели их, чтоб подчеркнуть правило — правило активного и, можно сказать, страстного доброжелательства Алексея Максимовича к советскому писателю, к его таланту.

Но Горький проявлял зоркое внимание и к такому таланту, к которому, случается, присоединяют эпитет «чуждый». И тут есть различия. Бывает, что мы преждевременно и опрометчиво, хотя порой и обуреваемые лучшими намерениями, спешим произнести этот эпитет (впрочем, это давняя беда критики и встречается она на протяжении всей истории искусств) для того, чтоб по прошествии времени убедиться как раз в обрат-

ном. Тогда мы великодушно сменяем гнев на милость или потираем затылок, что случается обычно, когда автора уже больше нет, хоть остаются его произведения. Поэтому лозунг: «Осторожнее — талант!» — неизменно выдвигается Горьким («Нас во все не так много, чтобы мы могли беззаботно отталкивать от себя талантливых и полезных людей»). Не мешало бы нам — критикам — вывешивать где-нибудь на видном месте этот лозунг, чтоб время от времени поглядывать на него.

Но бывает, что мы безусловно правы, когда отмечаем чуждые тенденции у таланта, — вызываемые собственными пережитками автора или идущие из враждебного источника. Какой была здесь позиция Горького? Если талант — это правда, а правда нынешней эпохи — это гибель эксплуататорского мира и неизбежная победа коммунизма, — то это правда заявляет о себе через талант, благодаря таланту, часто помимо воли художника. Следовательно, в борьбе художника с самим собой мы должны принять активное участие. И этого рода участие было призванием Горького. Участие, которое опирается на твердую позицию марксистской мысли; мы в сотый раз напомним — и не считаем, что это будет лишним, — замечание Энгельса о творчестве Бальзака. Симпатиям Бальзака к свергаемым классам сопротивлялся его талант — важно учесть эту диалектику при оценке работы того или иного автора, поддерживать против него его собственный талант. Плодотворность этой позиции подтвердилась, когда выходцы из старого буржуазно-помещичьего мира, такие, как Брюсов или Блок, устремились к новому миру. Да и сейчас многих западных писателей талант — по известному горьковскому выражению — ставит «бокком к своему классу».

Естественно, что борьба за талант есть в то же время борьба за мировоззрение писателя. Ибо надежда на талант, рассматриваемый только как «интуиция», «инстинкт», который во всех случаях вывезет, рискованна — «инстинкт» не всегда вывезет, может и увести, подвести, не освещенный передовым сознанием, которое направляет талант. Известна роль, которую Горький придавал началу сознательности. Еще одно свидетельство этому — письма Горького и отклики на них. Стремление к осмыслению художественного творчества и самопознанию — примечательная черта Переписки.

После этих соображений, так сказать, на их фоне, мы обратимся к одному из узловых моментов Переписки. Речь пойдет уже не о тех случаях, когда одна «творческая индивидуальность» отрицала другую «творческую индивидуальность». Речь пойдет не о стилях, а о самой действительности, в спорах о которой иной автор утверждает, что только он подлинно освещает эту действительность, в то время как другие авторы ту же действительность изображают извращенно, что только он преподносит истину, а другие — ложь.

Вишневский послал Горькому свою пьесу «Первая конная» с несколько необычным посвящением (оно приводится в Переписке): «Максиму Горькому — рассказ бойца о подлинной Конармии на память». Poleмическая реплика насчет подлинности направлена против «Конармии» Бабеля, которую Горький одобрил, а Вишневский объявил неподлинной. В письме Горькому Вишневский утверждал, что Бабель «искривленно показал» Конармию, что Бабель «не боец», что он был «испуган», попав в Первую Конную, что в его книге отразилось «болезненное впечатление интеллигента», и заканчивал свое письмо обращением к Горькому: «Хочу верить, что вы все поняли». Не Горький писал это Вишневскому, а Вишневский Горькому.

Но Горький и раньше «все понял». «Читатель внимательный, — замечал он, — я не нахожу в книге Бабеля ничего «карикатурно-пасквильного», наоборот: его книга возбуждала у меня к бойцам «Конармии» и любовь, и уважение, показав мне их действительно героями, — бесстрашные, они глубоко чувствуют величие своей борьбы». Запомним, стало быть, что Горький, «внимательный читатель», увидел, что в изображении Бабеля бойцы Конармии действительно герои, что они воодушевлены борьбой, которую ведут, и что вызывают к себе любовь и уважение. Иными словами, они изображены такими, какими были в действительности; а стало быть, у Бабеля — подлинная Конармия, так же как подлинна она в изображении Вишневского, пьеса которого Горькому тоже «очень понравилась».

Больше того, Горький находит, что романтизм, который так воинственно отстаивает Вишневский от своих недругов, присущ также и Бабелю. «Первая конная» Вишневского, говорит Горький в том же письме, «написана в пышном, «героическом» то-

не, так же, как «Конармия» Бабеля». И в ответ на требование Вишневого, чтоб Горький «понял» Вишневого, Горький утверждает, что Вишневский не понял Бабеля. Бабеля «не поняли, вот в чем дело!».

Попутное замечание на случай, если у иного читателя возникнет впечатление о «пристрастии», «снисходительности» Горького к данному писателю. В Переписке помещено письмо Горького Бабелю, в котором он дает резкую оценку пьесе последнего «Мария» (после этого письма Бабель еще много работал над пьесой). Горький пишет: «Эта пьеса не оправдывает ожиданий, вами внушенных. Лично меня отталкивает она прежде всего Бодлеровым пристрастием к испорченному мясу». Жестче не скажешь! Мы приводим это суждение как свидетельство беспристрастного подхода писателя к писателю, в данном случае Горького к Бабелю. А сейчас вернемся к замечанию Горького о том, что «Конармию» Бабеля «не поняли».

Почему же не поняли? По мнению Горького, неверен самый метод оценки у Вишневого. «Такие вещи, как ваша «Первая конная» и «Конармия», нельзя критиковать с высоты коня». Как видим, Горький защищает не только Бабеля, но и Вишневого, защищает Вишневого от самого Вишневого, если он оценивает собственное произведение с упомянутой высоты. Не с «высоты коня», а с высоты государства — позиция, тут заключенная, весьма принципиальная.

В чем расхождение обоих корреспондентов — если подняться от конкретных фактов к обобщениям, подняться, так сказать, над «конем»? В то время как один отстаивает вульгарную точку зрения — определенная идейная позиция писателя предполагает одно-единственное художественное воплощение, — другой проявляет здесь диалектический подход, то есть при общей идейной позиции допускает разнообразие художественного видения мира, множественность решений единой задачи. Нападки Вишневого можно объяснить в данном случае его субъективизмом и авторской запальчивостью, но если эту субъективность объявить общеобязательной нормой — что, разумеется, не отвечно намерениям самого Вишневого, — то может случиться, что творчество одного автора окажется «на коне», а творчество другого «под конем». Да ведь так оно и случилось, и только возвращение к ленин-

ским нормам в нашей жизни вернуло Бабеля на книжную полку.

Догматическая концепция, не считавшаяся ни с индивидуальностью, ни с действительностью, визируя одно произведение как подлинное, тем самым отклоняла другое как неподлинное и дальше (концепция закономерно развивала свою логику) как искажающее действительность, более того, «карикатурно-пасквильное», и дальше — догма не могла остановиться, пока не исчерпывала себя — сам автор «клеветнического произведения» рассматривался как клеветник, следовательно — враг. Так дело шло к печальному финалу: сам Бабель оказался «под конем», погиб. Вот она, кривая развития, — от, казалось бы, отвлеченно-теоретического спора о точке зрения в Переписке до ее печальной развязки. Вот случай, когда теория оказалась связанной с жизнью, увы, с жизнью человека!

Со всей полнотой следует оценить курс, взятый партией на ее XX и XXII съездах. При установке, что данная задача, например театральная, может иметь лишь одно-единственное решение, неизбежно будет признаваем лишь одного типа театр (пусть и вполне художественный), ряд других театров, которые не соответствуют по образу и подобию этому, не подражают ему, неизбежно будут вызывать к себе подозрения.

Театр же, признанный единственно подлинным (в этом состоит трагикомизм ситуации), по этой же причине — единственности — стал бы терять то, что в нем на самом деле было подлинным. Выиграл ли бы этот театр от своего привилегированного положения и монополизма? Какой бы заботой ни окружали цветок, он начинает чахнуть, если другим цветам мешают цвести. Горький лишний раз напомнил нам об этом. Спасибо ему, хорошо, что опубликована эта не изданная до сих пор Переписка.

Какова была линия, которой руководствовался Горький? Непременно исходя из того, что составляет сущность дарования автора, его неповторимость, он направлял стрелку его компаса к тому, что составляло дело народа, революции.

Эту линию убедительнее можно проследить на диалогах в Переписке, которых, естественно, мы коснемся здесь только вскользь и только некоторых (а они почти все поучительны): если заняться всеми ими обстоятельно, может получиться в свою очередь целая книга.

Возьмем для примера таких собеседников Горького, как Каверин или Зошенко, Пастернак или Федин,— и обратим внимание, как направляет беседу Горький.

Читая Каверина, Горький, как он пишет, «всегда невольно вспоминает Гофмана». Зная об этом литературном пристрастии Каверина, Горький отнюдь не предлагает ему избрать себе какого-либо другого, более подходящего наставника. Жанр, развивавшийся Гофманом, известен в мировой литературе — понятно, что он мог найти отклик и у русского писателя. Если Каверин чахнет Гофмана себе родственным, пусть не стесняется этого, памятуя, впрочем, что ведь и среди родственников бывают различия. Горький пишет, что талант Каверина — «это цвет» оригинальной красоты, формы, я склонен думать, что впервые на почве литературы русской распускается столь странное и затейливое растение и что эта «странность» и «затейливость» есть «не каприз... а — нечто исключительное и — ценное» и что поэтому, хотя Каверин жалуется, что «критики преследовали» его «всю жизнь», Горький советует ему: «Наперекор всем и всему оставайтесь таким, как вы есть — и будьте уверены! — станут хвалить... Станут!» Поощрив в Каверине его «свое», Горький не спеша выправляет его перо, которое тот держит в своей еще не окрепшей («вы отчаянно молоды») руке, советует не отречься от Гофмана, но и не повторять его, пойти дальше — «так хочется, чтоб вы встали выше его!»

Горький ничуть не разделяет мнения критиков о том, что уход Каверина в фантастику есть «отрыв от действительности» или «надуманность». Однако же опасность заключается в том, чтоб выдумка из средства не превратилась в самоцель, ибо тогда получится, пишет Горький Каверину, что «вы... так сказать, играете в куклы с вашей выдумкой». Горький тонко нащупывает уязвимость позиции Каверина тех лет. Неясность свойственная фантастике и закономерная как литературный прием, незаметно для Каверина (при установке «на игру») может превратиться в неясность на деле: «Хотя неясность рассказа и нарочита, но в нем чувствуется нечто недоговоренное по существу темы. И кажется, что это уже неясность — невольная». И в другом письме: «Намеренная, озорниковатая неясность порою производит впечатление неясности намеренной», а тут, пожалуй, и возникает

«отрыв от жизни» и «надуманность» — она не в уходе в фантастику, а в неверном обращении с фантастикой, — становится «слишком силен запах литературы».

С этим тесно связан спор о роли быта. Каверин отрицает быт как нечто противопоставленное ему совершенно, да и принципиально, по его мнению, «приземляющее» литературу. В свою очередь Горький, называя себя «бытовиком», не навязывает собеседнику ни собственного «бытописательства», ни традиций других «бытовиков». Он ставит вопрос лишь о том, как именно «осваивать» быт именно этому писателю, Каверину. И вот ответ: быт надо рассматривать «как фон, на котором вы пишете картину, и, отчасти, как материал, с которым вы обращаетесь совершенно свободно».

Горький выражается очень осторожно: «отчасти, как материал» — и тут же спешит (предвидя опасения Каверина) добавить, что обращаться с ним он должен «совершенно свободно». В каком смысле свободно? Не подчиняться быту, но одолевая быт, а присущее Каверину свойство дарования способствует этому одолению... «У вас есть все задатки для того, чтоб легко превратить тяжелое «бытовое» в прекрасную фантазию. В конце концов — все великолепные храмы наши создаются нами из грязной земли». Не над грязной землей, как может получиться у Каверина, а из грязной земли, как у него тоже может — в это Горький верит — получиться. И Каверин, который опасался, что его направляют в лагерь «бытовиков», признается, что был «не вполне прав»: «С первого взгляда мне показалось, что вы зовете нас к Пришвину и Ценскому. Но ведь вы зовете состязаться с ними. Вы правы, конечно».

Закономерно возник и такой «шахматный ход». «Мне кажется,— замечает Горький,— что вам пора бы перенести ваше внимание из области и стран неведомых в русский, современный... быт». Так направлял Каверина Горький. Насколько это было успешно, свидетельствует дальнейший литературный путь Каверина.

Горький любил рассказы Зошенко и делился с другими своим удовольствием от них. «Некоторые здешние люди находят, что я неплохо читаю ваши бытовые миниатюры», — писал он Зошенко, и в другом письме ему же: «...Часто читаю вслух,— вечерами, после обеда — своей семье и гостям. Отличный язык...»

Горький находил, что Зошенко обладает собственным, «своим» юмором — не тем распространенным анонимным юмором, который ничего не приобретает оттого, что автор ставит впереди свое имя, а тем, о котором можно сказать: «зошенковский юмор», так же как говорят: «диккенсовский юмор», или «гоголевский», или «марктовеновский» — стало быть, юмор, выражающий и мировоззрение.

Поэтому Горький сразу придал юмору Зошенко принципиальное значение, говоря о его «социальной педагогике». Но поэтому же он считал, что этот юмор может быть направлен на более значительные мишени, чем те, к которым по преимуществу (например, осмеяние обывательщины) обращался Зошенко. Горький был убежден, что Зошенко способен перейти к «весьма крупной» книге. Предложение сделать подобный переход, «скачок» могло, естественно, вызвать (и в самом деле вызвало) недоверие, и, как бы предвидя это, Горький уверял своего корреспондента, что для него это нетрудно, «для этого вам очень немного надобно, только — переменить тему». Горький уверен в точности своего диагноза, решительно давая этот смелый совет «переменить тему», ибо считает, что сама тема поднимет юмор Зошенко на тот уровень, который он в себе потенциально содержит. Больше того, Горький сам предлагает тему действительно масштабную, «что-то вроде юмористической «Истории культуры», и, как бы видя озадаченный взгляд своего «визави», спешит добавить: «Это я говорю совершенно убежденно и серьезно».

Зошенко промолчал, никак не реагировал на это предложение. Но когда два года спустя он собирал для книжки свои рассказы и, чтоб связать их, сделал это, как он пишет, «при помощи истории», он вдруг вспомнил совет Горького, получивший такое внезапное подтверждение. «Я неожиданно натолкнулся на ту же самую тему, что вы мне предложили, после чего с уверенностью принялся за работу». Тогда, два года назад, «я весьма недоверчиво отнесся к вашей теме», а сейчас возникает «эта моя «Голубая книга», которую вы так удивительно предвидели...»

Горький, закрепившись, так сказать, на своей позиции, развивает свой стратегический успех. Он предлагает Зошенко новую тему, которая в собственном творчестве Горького является одной из самых значи-

тельных. Известно, что Горький воевал против психологии и философии страдальчества, которую, в частности, обнаруживал в творчестве Достоевского. Он видел большую социальную опасность в этом явлении — ибо человек, возлюбивший страдание, удовлетворившийся им и притерпевшийся к нему, уже покорно относится к тому, что причиняет страдание. Горький обнаруживал эту печальную мудрость в религии, порой — в искусстве, в философии. Он боролся против этих идей сам пером художника и публициста и сейчас, в письме, зовет Зошенко включиться в эту борьбу свойственным ему оружием юмора. «Эх, Михаил Михайлович, — пишет Горький, — как хорошо было бы, если б вы дали в такой же форме книгу на тему о страдании! Никогда и никто еще не решался осмеять страдание, которое для множества людей было и остается любимой их профессией». И тут же, предчувствуя неуверенность Зошенко, уточняет перед ним задачу применительно к его искусству бытовой новеллы: она, естественно, не выдержит большой философской нагрузки, однако способна нанести чувствительные и убийственные удары. Он приводит для наглядности конкретные «бытовые» примеры: «...Хорошее дело, дорогой Михаил Михайлович, высмеять человека, который, обнимая любимую женщину и уколов палец булавкой, уничтожает болью укола любовь свою... высмеять всех, кого идиотские мелочи и неудобства личной жизни настраивают враждебно к миру».

Это вистину большая цель, ибо страдальчество, опускаясь с философских высот в быт, в домашнюю обстановку, в семейную и личную жизнь, вербует там своих сторонников, горячих любителей помучить и помучиться. Это своего рода «достоевщина на дому», о которой остроумно сказал Лев Славин в своей пьесе «Интервенция»: «У Достоевского об этом читать интересно. В жизни это невыносимо». «Вы можете сделать это, — продолжает убеждать, можно сказать упрямивать, Горький. — вы отлично сделали бы эту работу. Мне кажется, что вы для нее и созданы», больше того, «вы.. к ней и — осторожно — идете. Слишком осторожно, пожалуй!» — терпеливо, с оттенком досады замечает Горький, подталкивая, поторапливая писателя. Действительно. Зошенко шел к этой теме не спеша, ведь он, как не раз признавался, рассчитывал на долгую жизнь.

К слову сказать, из каждого письма горь-

ковских корреспондентов (почти из каждого) виден его автор и не только его стиль, а весь он сам, все характерные черты его личности, даже внешности, так что в письме своем он похож на себя больше, чем на своей фотографии рядом. И те из нас, которые знали или знают их в жизни, сразу же узнают их по одному звуку их голоса, доносящегося из письма.

Я узнаю интеллигентность Афиногенова. Комсомольскую «боевитость» Киришона. Сердечный и застенчивый взгляд Бабеля. Вишневого с его ораторским жестом и императивностью, которая, видно, ему самому нравится. Зошенко, его печально-веселую, деликатную усмешку и всегда удивлявшее в нем сочетание скрытности и доверчивости. Вспоминаю Пришвина — из груди писем его как пахнет вдруг на вас землей, языческой плотью, как сверкнет вдруг его лукавый зрачок: нельзя ли-де попроще? (Узнав, что по приезде из-за границы Горький собирается объездить страну, чтоб все увидеть, он пишет Горькому: «Мне очень хочется пройтись с вами в Посад за баранками: по-моему, сразу все тут и увидите... Все без парада увидите, без автомобиля, только один раз пройдемся за баранками».) Вижу длинную, сутулую фигуру Тренева, его испытующий, долгий взгляд — все его прошлое старого учителя было в этом внимательном взгляде. Узнаем и Федина. Каверин пишет Горькому про Федина, что он «медленно, раздумчиво, осторожно кончает «Города и годы» — вот также он и проходит перед нами в своей переписке медленной, раздумчивой (точно сказано — не задумчивой, а раздумчивой), осторожной походкой. И Пастернак такой же, каким я его видел: этот внезапный порыв, полнота отдачи себя — сразу максимум, с какой он обычно открывался перед вами, кто бы вы ни были — взрослый или школьник, знаменитый человек или первый встречный, со всеми одинаково — бурная доверчивость, бурная наивность.

Письма Пастернака торопливы не от суеты, а от переизбытка, от извечной его потребности сказать сразу и все (отсюда ведь и концентрация его поэтической образности). Он пишет Горькому о «Климе Самгине», противопоставляя «Самгина» «Митинной любви» Бунина, столь им ценимого писателя. Но у Бунина он не находит «существа истории», того, что захватывает Пастернака в «Климе Самгине». Он называет пятую главу

первой части «Самгина» «гениальной главой» потому, что «существо истории, заключающееся в химическом перерождении каждого ее мига, схвачено тут, как нигде, и передано с насильственностью внушения». Он считает «Клима Самгина» высшим достижением Горького потому, что та же эпоха в свое время «прямо с природы изображалась именно вами и писателями близкой вам школы как бытовая современность», и отход от бытовой современности к существу истории выступает как «дореволюционный пролог под пореволюционным пером» — в этом, по суждению Пастернака, победа Горького. Он переводит «Самгина» (как и весь мир вне себя) на свой внутренний язык, когда формулирует обобщения «Самгина» как «поэтическую подоплеку прозы», как то, что роман подчинился «более широким и основным законам духа, нежели беллетристика бесспорная», и, как бы поясняя, «подверстывая» сюда свое собственное творчество, приводит такой «пастернаковский» аргумент: «Вдумываясь (просто для себя) в причины художественного превосходства повести, я нахожу, что ее достоинства прямо связаны с тем, что читать ее труднее, чем «Дело Артамоновых»...»

Как же в свою очередь Горький определяет Пастернака, которого он считал «талантом исключительного своеобразия»?

В Переписке впервые опубликовано предисловие Горького к повести Пастернака «Детство Люверс», в котором дается обшая характеристика творчества Пастернака. Горький пишет, что Пастернак «чувствует свое искусство более реальным, чем действительность, и с действительностью обращается как с «материалом», что «он чувствует себя живущим вне мира общезначимого и общепринятого», что «солнце — в нем, это — его дух, его душа», что задача Пастернака рассказать о том, «как он видит себя в мире», а видит он себя «центром мира, который оценивается им как мир его видений».

Так Горький объясняет Пастернака, а в оценке его опирается на знаменитые слова Гейне: «Каждый человек — целый мир, под каждым могильным камнем погребена всемирная история» (точнее у Гейне в «Путевых картинах» так: «Ведь каждый отдельный человек — целый мир... под каждым надгробным камнем — история целого мира»), и Горький заявляет, что эта «дерзкая оценка прекрасна и человек заслужил ее».

Иными словами, речь идет о внутреннем мире человека. о том, что человек имеет право на этот богатый внутренний мир и что Пастернак есть художник этого мира и, стало быть, его поэтическое призвание — будить «в каждом отдельном человеке» этот внутренний мир, поощрять его, обогащать.

Правда, такого художника подстерегают опасности, об этих опасностях и говорит Горький Пастернаку. Горький устанавливает «свое» у Пастернака, смело приветствует в нем это «свое», чтоб затем напряженно следить за движением «магнитной стрелки». Из всех «шахматных партий», которые Горький разыгрывает со своими партнерами в данной Переписке, «пастернаковская», пожалуй, самая сложная, почему мы и задержимся на ее разборе. Горький вступает в своего рода спор с Пастернаком — поучительный и по содержанию, и по методу его ведения.

Смысл горьковского предостережения, если изложить его кратко, состоит в том, что без солнца вовне нет и солнца внутри, что если оно не взойдет там, то закатится и здесь, что для того, чтоб увидеть себя в мире, надо увидеть мир в себе. Речь идет о взаимоотношениях этих двух миров, о пограничных инцидентах между ними, которые могут перейти в более серьезные столкновения с исходом, неблагоприятным для обеих сторон.

Начнем с того, что Пастернак посылает Горькому свою книгу «Девятьсот пятый год» с чувством опасения, что Горькому она не понравится. «Ваше недовольство ею, — писал он впоследствии, — представлялось мне легко вероятным». Поскольку от Горького не последовало никакого ответа, а Пастернак нетерпеливо ожидал его, поэт заключил, что его попытка «не удалась», и, когда затем прибывшее из Сорренто лицо передало «мне вскользь и ваше впечатление» от книги (впечатление якобы неблагоприятное), «мое предположение подтвердилось». Забегая вперед, скажем, что произошло недоразумение, книга Горькому понравилась, но сейчас остановимся на том, почему Пастернак заведомо ожидал отрицательного суждения Горького. Ради своей поэмы «Девятьсот пятый год», пишет Пастернак, «я покинул привычную мне область неотвязной субъективности: вы же прежде всего огромный художник, и, следовательно, неумеренный, неловко учтенный или плохо пережитый отход от нее (как бы частная форма этой

субъективности ни была вам далека) мог вас оттолкнуть как ложное в вообще творческое поползновение». Иными словами, он предполагал, что Горький как художник, независимо от того, по душе или не по душе ему характер субъективности Пастернака, мог найти его переход от субъективного к объективному неорганичным и эту натянутость осудить.

Не удивительно, что после этого письма Горький немедленно поспешил с ответом. Письмо Пастернака из Москвы датировано 13 октября (1927 года), ответ же Горького из Сорренто датирован 18 числом того же месяца. Горький решительно пишет: «Книга — отличная, из тех... которым суждена долгая жизнь... вы скупее и проще, вы — классичнее в этой книге, насыщенной пафосом... это — голос настоящего поэта, и — социального поэта, социального в лучшем и глубочайшем смысле понятия». Следовательно, опасения Пастернака насчет суждения Горького были неосновательны. «Значит, это не так, — пишет Пастернак в заключение, — и радости моей нет конца».

Горький спешит закрепить Пастернака на этой его позиции. В другом своем письме по поводу повести «Детство Люверс» он спрашивает, пишет ли он еще прозу, добавляя: «Очень хотелось бы этого...» (ведь проза по самому своему характеру способствует выходу из неотвязной субъективности). Однако намерение Горького заключалось не в том, чтоб поэта перетасовать в прозаики. Смысл «социальной педагогики» Горького и здесь был в том, что эти «вылазки» во внешний мир благоприятно воздействуют на мир внутренний.

Здесь возникает спор о простоте и ясности. Достоинством «Девятьсот пятого года» Горький считает то, что он написан «проще», Горький признается, что ему трудно «вместить капризную сложность... образов» Пастернака, понять «связи ваших образов». Горький ждет от Пастернака «только большей простоты».

Как реагирует на эти замечания Пастернак? Он выражает недоумение: «У вас обо мне ложное представление. Я всегда стремился к простоте и никогда к ней стремиться не перестану». Не только искренность, но и серьезность этого заявления Пастернака не подлежит сомнению. Подвергается ли в таком случае сомнению правота Горького? Нет. Горький прав. В чем же дело?

Вопрос о простоте на поверку оказывается довольно сложным. Смысл тут не в самой по себе «понятности» и «ясности», не в эмпирических впечатлениях. Бывает, что одному читателю стихи могут показаться более понятными, а другому менее, бывает и так, что сегодня они кажутся непонятными, а завтра становятся понятными. Это случается и с поэзией, и с музыкой (вспомним, например, Прокофьева).

Но у Горького вопрос стоит глубже. Вот его весьма примечательное высказывание. «Вообразить, — пишет он Пастернаку, — значит внести в хаос форму, образ. Иногда я горестно чувствую, что хаос мира одолевает силу вашего творчества и отражается в нем именно только как хаос, дисгармонично». Хаос мира и его одоление — вот постановка вопроса. И в самом деле, разве миссия человека, человеческой культуры, искусства и науки, да и всего человеческого труда не заключается в том, чтоб одолевать хаос, «внести в хаос форму»? А когда случается, что не ты одолевашь хаос, а хаос одолевает тебя, то это зрелище вызывает чувство, которое Горький так сильно назвал «горестным». И когда он в другом письме пишет Пастернаку: «Много изумляющего, но... утомляет ваша борьба с языком, со словом», то по сути дела он говорит об этом же одолении хаоса и об опасности, что хаос может взять верх, и отсюда возникающая «неясность» его «смущает».

Таким образом, это философский спор и на этом уровне следует рассматривать переписку Горького с Пастернаком. Во внутреннем творческом мире Пастернака шла борьба, и его заявление о том, что «я всегда стремился к простоте и никогда к ней стремиться не перестану», надо понимать именно в смысле «одоления хаоса», а не как стремление к элементарности, упрощенности — мотив одоления и самоодоления свойствен творчеству Пастернака.

Диалог Горький — Федин многолетний, затрагивающий многообразные вопросы жизни и литературы, и мы, чтоб отметить его значительность, коснемся одного его мотива — литературно-философского, спора о так называемых «рысаках» и «клячах».

«На замечательного, красивого, умного и, конечно, полезного рысака — например — я всегда немного досаую, — пишет Федин, — а забытая и никчемная кляча меня волнует

глубоко... я смирился перед неизбежностью до конца дней любить только жалкое и ненужное...»

Это, конечно, было смело — высказаться подобным образом именно перед лицом Горького, у которого, можно сказать, самым болезненным пунктом был этот пункт о болезненности. Для всего творчества Горького и художника и публициста характерно заявление, которое он сотни раз высказывал и еще раз сформулировал в письме к Федину: «Аз емь старый ненавистник страданий и физических и моральных», возбуждающих «негодование, брезгливость и даже злость». «Страдание необходимо ненавидеть...» — утверждает Горький. Федин же откровенно признается: «Я... неспособен действительно ненавидеть страдание, но только всегда сочувствую ему». Горький считает, что многие люди любят «быть несчастными», что они «страдают... с удовольствием» и что это отвратительно, Федин же пишет: «Несчастье привлекает меня неизменно», «я всегда почти «соболезную» несчастным».

Что касается «рысаков» и «кляч», то Горький предпочитает первых вторым. Горький: «Клячи» очень часто путают и ломают жизнь таких «рысаков», как Ломоносов, Пушкин, Толстой». Федин: «Клячи» же — право — трогают меня, художника, до слез, и мне нельзя не писать о них». Федин словно бы готов согласиться с точкой зрения Горького и признается, что если не поддерживает ее, то против своей воли, из-за характера своего творчества да из-за своих человеческих свойств. Ему не присуща сила, внушающая вражду ко всякому страданию. «Я завидую такой силе, потому что не обладаю ею». Он сожалеет, что именно таким видит мир, в этом «порок моего зрения, но лечиться у меня не хватает выдержки, а очков я не люблю».

Но порой он склонен поддержать свою точку зрения на страдание более принципиально. Горький: «Акакий Акакиевич, «станционный смотритель», Муму и все другие «униженные и оскорбленные» — застарелая болезнь русской литературы, о которой можно сказать, что в огромном большинстве она обучала людей прежде всего искусству быть несчастными». Федин: «Я думаю, что «Акакий Акакиевич» подлинно воспитал русского читателя...»

Как расценить этот спор?

Время, к которому относится Переписка, закрепляло в литературе те позиции, кото-

рые существовали и раньше, но которые с тех пор стали приобретать новую силу именно как горьковские традиции. Становилось очевидным, что на одном только сочувствии «клячам» далеко не уедешь, что пора «пересестъ» с «кляч» на «рысаков», что следует поощрять «рысаков», о чем энергично писал Горький в письме автору «Цемент»: «Ныне эпоха внушает: будьте деятелем! И — будут. Не отвертятся... Это и воспитает каких-то новых людей, не похожих на нас». Правильно. Однако надо сказать, что, при этой основной линии на «рысаков», на деятелей, нельзя не согласиться с «оговоркой», которую вносит Федин, защищающий Акакия Акакиевича от категорического отрицания. Ибо и Гоголь в «Шинели», и Пушкин в «Станционном смотрителе», и Тургенев в «Муму» воистину воспитывали русского читателя, воспитывали в нем человечность и не только сочувствие пострадавшему (что, к слову сказать, не ослабит иного деятеля, если он его проявит), но воспитывали и вражду к тому, что «рысаков» превращало в «кляч». Стало быть, сочувствие, сострадание к «клячам» не как унижающая жалость, а как стремление помочь, поддержать, выпрямить, — есть стремление, которое вмещается в неузкое понятие «чуткость к человеку». Так что оговорку возьмем на вооружение, к тому же добавим, что «реализация» ее в дальнейшем творчестве Федина, при общей верности горьковской традиции, не пошла во вред ни ему, ни читателю.

Кроме советов Горького писателям применительно к их индивидуальности, о чем мы говорили, были и советы, адресованные всем советским писателям. И здесь в первую очередь укажем на давнишнюю идею Горького, и сейчас весьма актуальную, — об отношении писателя к положительному и отрицательному в жизни. По мнению Горького, тут основа его эстетики — художник должен опираться на утверждающую тенденцию, что не приводит, впрочем, к игнорированию борьбы с отрицательным. «Нам надобно выучиться смотреть на прошлое и настоящее с высоты целей будущего», — пишет он Афиногенову. Иными словами, у художника должна быть перспектива, социалистическая перспектива истории, тогда он станет хозяином жизни, которую описывает, и это предохранит его от уклона к тому, что есть «очернительство», и к тому, что есть «лакировка».

Даже в своих дореволюционных высказываниях Горький рекомендует писателю искать «побеги нового», искать «хорошее» в людях и в жизни, ибо «дурное» и так бросается в глаза.

Сходные мысли звучат и в его послереволюционных высказываниях: «А о людях судить не по дурному в них, а — по хорошему. Не тем человек значителен, что он дурен, а тем, что, вопреки всему, может и умеет быть хорошим» (Всеволоду Иванову). «А главное, что восхищает меня, — это то, что Вы умеете измерять и ценить человека не по дурному, а по хорошему в нем» (Пришвину).

В Переписке продолжается та же тема: «Мы должны обращать внимание на хорошее в жизни, на то — чему расти и жить, дурное, злое — мы не пропустим мимо глаз, мы его отметим...» (Чапыгину). А в письме к начинающему писателю Новоселову Горький объясняет, почему «учиться надо не только на плохом, а и на хорошем», — потому что «люди до ужаса тонко умеют и делают, и понимать плохое, они учились этому веку», и «с трудом верят в хорошее — в то хорошее, которое они впервые за всю историю трудового народа сами начали делать». Веками приучены были смотреть дурно, в первые повернулись к хорошему — поэтому надо приучать людей к этой тенденции, формировать эту психологию — тут принципиальный у Горького вопрос. Эта установка на «хорошее» и в свете ее борьба с «плохим», понимаемая как революционное преобразование страны, составляет лейтмотив «социальной педагогики» Горького и основополагающий принцип метода социалистического реализма, плодотворность которого получает в Переписке свое знаменательное подтверждение.

Интересу, который вызывает том Переписки, немало способствовала редакция «Литературного наследства» (редакторы тома И. Зильберштейн и Е. Тагер, в редакционной подготовке тома участвовали Л. Розенблюм, С. Зими́на и Е. Коляда). С таким же вниманием, с каким Горький отнесся к отдельным письмам, редакция отнеслась к Переписке в целом. Сотрудники, готовившие публикации, словно бы следят за читателем, заглядывая, так сказать, из-за его плеча за ходом его чтения, чтоб в тот момент, когда на лице читающего отразится вопрос, поспешить ответить на него справкой, разъяснением, небольшим комментарием и таким

образом еще больше поощрить его чтение. Благодаря такому подходу мы реально, а не символически наследуем наследство, не запираем его в многоуважаемый шкаф, а держим у себя на столе среди свежих газет и журналов.

Особо отметим роль Архива А. М. Горького. Сокровища этого Архива, которые всячески «придерживались» в былые времена, сейчас, после XX съезда, становятся достоянием общественности, и творческая деятельность работников Архива вызывает искреннюю благодарность.

Свидетельством плодотворного сотрудничества «Литературного наследства» и Архива А. М. Горького является обсуждаемая книга. Она богата мыслями и творческими дискуссиями, касающимися разных сторон жизни и разных сторон литературы: ее теории, истории, ее жанров, литературы отечественной и зарубежной, эстетических проблем и так далее. В этом легко убедиться, взяв в руки горьковский том «Литературного наследства». Заинтересовать им читателя и было задачей настоящей статьи.



А. КАРАГАНОВ

★

МЕЖДУ ПРАВДОЙ И ЛОЖЬЮ

1

Со времени Третьего международного кинофестиваля в Москве прошло уже несколько месяцев. Однако мне представляется полезным вернуться к фестивальному фильмам и дискуссиям: в них проявились очень существенные тенденции современного кино, вызывающие неумолкаемые споры в кинематографических кругах, в прессе и среди зрителей.

Известно, что буржуазная идеология, вторгаясь в художественную культуру, вводит в нее немало ложных целей и отвлекающих от реальности мотивов. В наши дни эти цели и мотивы приобретают все большую изощренность.

Для того, чтобы представить — хотя бы в самой общей форме — пеструю панораму современного кино, надо иметь в виду, что в прокате на экране буржуазных стран (а мои «послефестивальные заметки» будут посвящены киноискусству буржуазных стран) преобладают так называемые коммерческие фильмы, хотя кинокритика и называет их безнадежно устарелыми. Об этих фильмах мало пишут в «серьезных» журналах (рекламная пресса — не в счет). О них не спорят на всякого рода дискуссиях... Впрочем, тут и спорить не о чем. У коммерческого кино нет каких-то сложных теорий, поучительных принципов — есть несколько расхожих идей.

«Ни одна из кинематографических стран, — говорится в рекламной брошюре Голливуда, — не должна извиняться за выпуск уголовных мелодрам; сюжеты, трактующие преступление и насилие, с незапамятных времен были излюбленными драматическими сюжетами — задолго до изобретения кино. Преступления и насилие

изобилуют, например, в древнегреческой трагедии, в Ветхом завете и у Шекспира».

О чем тут спорить?

А между тем именно такими незамысловатыми идейками, уравнивающими Гамлета с детективом, наполнены «массовые» издания, пропагандирующие фильмы об убийствах.

Примерно такого же уровня соображения можно найти и в статьях о сексуальных боевиках. Они, эти боевики, сродни стриптизу, сродни рекламным журналам и плакатам, на которых завлекательно улыбаются раздетые красотки: в них принижается, опошляется любовь, придается обыденность самому интимному. И все это трактуется «теоретиками» коммерческого кино как «человеческий аспект» в подходе к жизни, а иногда и как воплощение раскованности, свободы искусства, его стремления быть демократичным, отвечать на запросы и потребности массового зрителя.

Среди коммерческих фильмов, стиль которых сформирован Голливудом, часто встречаются псевдореалистические ленты, в которых внешнее правдоподобие служит приукрашиванию собственнического мира, буржуазного образа жизни. Обычно это слащавые киноповествования о том, как бедная девушка выходит замуж за благородного миллионера, а юноша из рабочей семьи делает блистательную карьеру парламентария...

Когда я говорю о голливудском стиле в кино, я имею в виду не только фильмы, сделанные в Голливуде. Речь идет именно о стиле «утешающей лжи», которая выступает в одеяниях правды, о стиле, получившем ныне распространение во многих капиталистических странах.

Федеративная Республика Германия приехала на московский кинофестиваль фильм Германа Тейтнера и Рудольфа Нусгрубера «Летучий клиппер». Это панорамное, цветное киноповествование о путешествии учеников мореходного училища на паруснике. Во время своего похода герои фильма (он продолжается около трех часов) посещают средиземноморское побережье Франции, Монако, Египет, Югославию, Испанию, Италию, Португалию, Турцию, Грецию, Кипр... И во всех этих местах камера старательно фиксирует красоты пейзажа, дворцы, замки, спортивные соревнования, праздничные шествия — и моментально «слепнет», как только путешествующие моряки сталкиваются с фактами и картинами реальной повседневности.

Киноповествование разворачивается вне сложностей и противоречий современного мира. Для создателей фильма словно бы не существует разницы между Францией и Югославией, Испанией и Египтом — всюду юные моряки находят одни только туристские радости. Фильм стремится внушить зрителю восхищение несущественными подробностями светской жизни, придавая им — самой манерой съемок, тоном киноповествования — повышенную значительность, каждый раз показывая их в наиболее выгоднейшем ракурсе и упрямо пренебрегая всем действительно важным и существенным, что определяет социальные и национальные особенности стран, увиденных юными моряками.

Только один раз западногерманские кинематографисты изменяют своей «туристской аполитичности» — при встрече «Летучего клиппера» с американским авианосцем. Даже голливудская кинозвезда Грейс Кейли, ставшая княгиней Монакской, не удостоилась в фильме такого внимания, какое отдано американскому авианосцу. Камера бесконечно крутится вокруг него — снимает с носа, с кормы, с правого и левого борта, кадрирует палубу, радиорубку, стремится запечатлеть взлет и посадку самолетов. Снова взлет... Снова посадка... Рев моторов... Слаженная работа команды... Фильм словно бы «остановился». Авианосец настолько заворожил авторов фильма, что они явно забыли о законах композиции: кадры, наполненные ревом самолетов и самозабвенной демонстрацией мощи корабля, занимают в фильме непропорционально большое место.

Господа, пославшие этот фильм на московский кинофестиваль, очевидно, рассчитывали, что он восхитит москвичей прелестями буржуазной жизни и одновременно устроит американской военной мощью... Насколько я заметил, в зале не было ни восхищенных, ни уstraшенных, а вот недоуменные вопросы были: почему на конкурс художественных фильмов попал туристский кинорепортаж, преследующий откровенно рекламные цели?

Черты голливудского стиля ощутимы и в датском фильме «Милое семейство», поставленном Эриком Баллингом по сценарию Арвида Мюллера, отлично снятом оператором Йоргеном Сквом.

Глава показанного в фильме «милого семейства» — богатый судовладелец. Обуреваемый желанием хорошо пристроить своих дочерей, он выдал старшую за богатого англичанина, среднюю — за шведского дворянина, а младшую хочет выдать за разорившегося графа: на этот раз титул привлекает его сильнее денег. Но Ида — так зовут героиню фильма — всячески сопротивляется планам отца: она влюблена в своего кузена, молодого флотского офицера. В конце концов она добивается отцовского согласия на брак с любимым.

Этот довольно банальный сюжет расцвечен комедийными приемами позавчерашней давности. Все сюжетные ситуации разрешаются без малейших осложнений, и даже там, где в жизни героев возникают драматические коллизии, авторы фильма проходят их «по касательной», ничем не нарушая атмосферы бездумной веселости.

«Милое семейство» — комедия, и, казалось бы, известная облегченность ситуаций — допустимое в этом жанре явление. Но в фильме смешными и милыми сделаны не только напыщенный дурак — муж старшей сестры, не только провинциальный донжуан — муж средней. Сам отец семейства показан как вполне добропорядочный старикан, хоть и с некоторыми странностями, — холодная расчетливость его, так драматично отозвавшаяся на судьбе старших дочерей, выглядит всего лишь милым недостатком. Да и драма проданных за деньги и титулы дочерей вроде бы уже и не драма: если молодые женщины и плачут от семейных неприятностей, так какими-то «киношными» слезами... Одним словом, в «Милом семействе» все, «как в кино», а не как в жизни.

Несколько особняком, но в этом же ряду стоит английский фильм «Сэмми отправляется на юг» (автор сценария Денис Кэннан, режиссер Александр Маккендрик). В нем есть и по-туристски, как в «Летучем клипере», снятые пейзажи Африки, и облегченность ситуаций — она predetermined самим сюжетом: после гибели родителей в Порт-Саиде десятилетний сирота Сэмми самостоятельно отправляется на юг Африки, в Дурбан — там живет его тетка, — и где пешком, где на пароходе, где на верблюде пересекает весь африканский континент, легко преодолев сотни опасностей и препятствий.

Но в английском фильме есть и другое: почти открытая тенденциозность, какую редко встретишь в обволакивающих, нарочито аполитичных фильмах голливудского стиля.

Начальные сцены фильма (идиллия в доме Сэмми, затем война, бомбежка, гибель дома и родителей) решены так, что каждым кадром нагнетают ощущение: какой ужас и жестокость принесли в Порт-Саид события 1956 года, как хорошо было бы, если бы все оставалось по-старому — добрые и благородные англичане владели бы Суэцким каналом, арабы работали на них и любили своих хозяев... Такое эмоциональное восприятие событий подкрепляется сценой встречи несчастного, осиротевшего Сэмми с пожилым арабом. Араб берет мальчика за руку и ведет его по улице: нашелся-таки добрый человек, который поможет бедняге... Однако далее все происходит не так, как подумалось зрителю в первый момент: араб заводит ребенка за угол и с криками «английская свинья» начинает избивать его.

Безымянный араб так и остается в памяти зрителей жестокосердным, вероломным — никакие другие встречи и приключения Сэмми не снимают этого воспоминания. Мотив национальной розни, колониалистского противопоставления благородных англичан жестокому, мрачному арабам остается одним из главных в фильме.

Путешествуя, Сэмми набирается жизненного опыта. Но среди приобретенных им знаний нет таких, которые помогли бы ему понять — естественно, в пределах и формах, доступных возрасту, — что происходит в Африке, почему возникла битва за Порт-Саид.

Зато авторы фильма то и дело ставят своего юного героя в такие обстоятельства,

которые приучают его превыше всего ценить деньги. Каждый, кто помогает сироте, делает это в расчете на заработок — ведь мальчик-то из состоятельной белой семьи... Сэмми не остается глух к урокам жизни: и в доме богатой покровительницы, которая его приютила, и убежав от нее, он прежде всего заботится о кошельке, который до этого вынул из кармана умершего в дороге спутника-сирийца.

Из всех людей, с кем свела его дорога, наибольшее впечатление произвел на Сэмми главарь шайки, которая занимается контрабандной добычей алмазов: он стал идеалом мальчика.

Пройдя «школу жизни», Сэмми становится маленьким бизнесменом. Добравшись наконец до тетки, он спешит сообщить ей, что, как только вырастет, он откроет свое алмазное «дело» и будет пить много виски...

Создатели фильма не гnevаются и даже не грустят, показывая такое «воспитание чувств», — они умиляются. Им нравится деловая хватка Сэмми, и они не замечают, как герой фильма (на его роль выбран очень милый паренек) постепенно теряет свое обаяние. Буржуазность мышления и поведения утверждается здесь как естественная норма жизни — и делается это откровенно, последовательно, без всякого желания приукрасить ее чем-нибудь «общечеловеческим».

В фильмах голливудского стиля ощущение реальности изображаемого чаще всего создается мелочами и деталями. Они бывают очень достоверными, натуральными, эти детали, но художественному воплощению правды не помогают. О них можно было бы сказать, перефразируя известную поговорку: это деревья, подобранные и расставленные с таким расчетом, чтобы за ними было не видно леса.

Той же цели служит и сюжетная структура фильма. В фильмах голливудского стиля обычно комбинируются правдоподобные, но исторически и социально бессодержательные коллизии; они не возбуждают, а успокаивают ищущую мысль — вместо реальных жизненных вопросов зрителю предлагаются готовые ответы, смысл которых не простирается дальше церковных заповедей или школьных прописей буржуазной морали.

Отвлекающие и утешающие фильмы голливудского стиля и по сей день широко

распространены. Они все еще собирают большие аудитории даже в странах высоко-развитой кинематографии (рядом с десятком «беспокойных» фильмов в Италии, например, ежегодно производится не менее сотни коммерческих лент; еще больше их в США). А на экранах многих отсталых стран такого рода фильмы господствуют безраздельно; хозяева проката завозят их туда, как в свое время колониальные купцы завозили бусы на африканский континент, сколачивая большие капиталы торговлей дешевыми, ярко раскрашенными стекляшками.

Но как бы ни был широк поглощающий их рынок, кинематографические бусы все больше падают в цене. Наиболее опытные и предусмотрительные прокатчики предсказывают близкий и катастрофический спад успеха коммерческих фильмов, а значит, и уменьшение прибылей. Мастера и теоретики кино все чаще говорят о кризисе коммерческого кинематографа с его традиционным сюжетосложением и шаблонными приемами. Они понимают, что киномифология голливудского стиля не может по-прежнему увлекать общественно выросшего зрителя, а изменения в зрительном зале, в психологии, вызванные современными социальными сдвигами, настолько разительны, что обнаруживаются и без специального изучения.

2

В прошлом году в американском журнале «Филм калчер» состоялась дискуссия о путях и судьбах нового поколения кинематографистов. В начавшей дискуссии статье редактора журнала Джонаса Мекаса подробно говорилось о том, как новые обстоятельства жизни и влияние зрителя отражаются на современном киноискусстве, меняя не только облик, привычки, язык кинематографического героя, но и стилистику фильма.

В статье приводятся любопытные рассуждения Симоны де Бовуар о человеческом типе, воплощаемом на экране актрисой Брижит Бардо: своим поведением ее героиня обычно не старается кого-то шокировать; у нее нет требований, она больше сознает свои права, нежели обязанности; она следует своим склонностям, ест, когда голодна, и предается любви с той же бесцеремонной простотой; желание и удовольствия для нее более убедительны, чем правила и условности...

В кинематографическом изображении людей такого психологического и нравственного склада Мекас видит бунт против стандартизации жизни и искусства, характерный и для творчества многих американских кинематографистов. «Для нового американского поколения,— пишет он,— непосредственность служит этической цели. Непосредственность как освобождение, как счастье, как избавление от моральных и социальных шаблонов, устаревших нравов, буржуазного образа жизни. Это результат той же этической ответственности, желание быть ближе к земле, веры только в сиюминутный опыт, в действие, которое, в иных формах, можно найти у Роб-Грийе в демистификации человека, в приближении к фактам».

По мысли автора статьи, непосредственность, освобождение от канонически добропорядочной буржуазности органически связаны с непосредственностью кинематографических изображений, самого языка кино. Сторонники непосредственности (Мекас имеет в виду прежде всего «независимых» режиссеров нью-йоркской группы, работающих вне Голливуда и в оппозиции к Голливуду) отвергают шаблонные, обесцененные временем голливудские сюжеты с неизменным «хэппи энд» и плоскими концепциями жизни, внушающими зрителю иллюзорные надежды.

«Независимые» яростно воюют против экранных «красивостей». Они «принципиально» отказываются от цвета, часто включают в свои грубоватые, черно-белые ленты документальные куски или игровые сцены, решенные в документальном стиле. На экран — только обыденное, узнаваемое, выхваченное из повседневной жизни — вот их лозунг. Используя самые различные изобразительные средства, они стремятся создать образ сегодняшнего, невыдуманного города с его пестрой толпой, ресторанами, дансингами, магазинами. Ради приближения к повседневности они нередко нарушают привычную структуру фильма, обращаются к импровизации, снимают актеров в реальной толпе, в «естественной» среде. В их фильмах то и дело встречаются «посторонние» детали, не имеющие прямого отношения к сюжету, но создающие определенное настроение, обогащающие фон, на котором происходит действие.

Ощущение «непреднамеренности» происходящего на экране создается и преобладает

нием так называемой длинной съемки, отказом от монтажных сокращений, от «театральности» кадра.

Было бы ошибкой видеть во всем этом лишь формальные эксперименты — плод «внутрикинематографической» полемики. Стилистика, о которой идет речь, отражает определенное мироощущение, взгляд на жизнь: «независимые» режиссеры стараются разрушить все «призмы», сбросить с глаз своих традиционные для Голливуда розовые очки, освободиться от предвзятости буржуазного мышления. Они хотят видеть и снимать все, как есть, «натурально».

Эстетически обосновывая эту манеру «непосредственного» изображения жизни, Ричард Ликок в том же журнале «Филм калчер» приводит слова Льва Толстого: «Необходимо, чтобы синемаграф запечатлевал русскую действительность в самых разнообразных ее проявлениях. Русская жизнь должна при этом воспроизводиться так, как она есть, не следует гоняться за выдуманными сюжетами».

Ричард Ликок добавляет: «независимые» молодые режиссеры как раз и делают это в отношении американской действительности.

В связи с высказываниями Ликока хочется сделать одно небольшое отступление. Из того факта, что зарубежные кинематографисты — будь это итальянские неореалисты или, как в данном случае, американские «независимые» — используют формулу о воспроизведении жизни как она есть, некоторые наши критики делают далеко идущие выводы об «объективизме» или «узости с а м о й ф о р м у л ы». Думаю, что они слишком нерасчетливо и неразумно растранижают понятия реалистической эстетики, отдавая оппонентам то, что принадлежит нам, нашему искусству.

Когда Ликок пишет о том, что «независимые» изображают жизнь такой, какова она есть на самом деле, он вкладывает в эти верные слова Льва Толстого весьма ограниченное содержание.

Известно, что подлинная правда дается далеко не всем, кто к ней стремится. Более того: в современном кино стремлениями к правде вымощены многие дороги в сторону лжи. Поиски правды ведут к открытиям, когда художник за фактами умеет разглядеть явления, за явлениями — процессы.

В данном же случае на поиски чаще всего идет художник, который бунтует против гол-

ливудских шаблонов кинематографического мышления, оставаясь в плену буржуазных представлений о жизни. Он хочет показать реальность, не умея постигнуть противоречия буржуазного общества, коренные закономерности его развития. Своим искусством он освещает то, что ему известно, перед неизвестным и сомнительным — пасует, останавливается, предпочитая фигуру умолчания исследованию и анализу. Поэтому факты, воспроизведенные им на экране, частичны и двойственны. Они не ведут мысль зрителя в глубины жизни.

Надо ли специально оговариваться, что это ограниченность не личная, а социальная. Ведь беспомощными в изображении и осмыслении происходящих в современном мире событий часто оказываются даже очень талантливые люди. Тут все решает жизненная позиция художника, его отношение к действительности.

«Кассавитису,— пишет Джонас Мекас в уже упомянутой мною статье,— не были ясны цели, он не сознавал своих художественных намерений. Достигнутое им — больше результат незнания, нежели знания».

Речь идет о Джоне Кассавитисе — постановщике фильма «Тени», наиболее рельефно выразившего поэтику и стилистику искусства молодых «независимых» режиссеров.

Кассавитис снимал «Тени» без заранее подготовленного сценария: были намечены только состав действующих лиц и основные линии развития фильма — все остальное создавалось в порядке импровизации уже в самом процессе съемок.

«Тени» — почти бессюжетный кинорассказ о негритянской девушке, ее брате, о юноше, ставшем ее любовником, их друзьях и товарищах. На экране непринужденно и естественно чередуются сцены в ресторане, уличные драки, любовные встречи... Внешне жизнь молодых героев фильма наполнена событиями, точнее — происшествиями. По сути же дела она показана вне коллизий, социально «проявляющих» мир, в котором живут эти люди.

Действие фильма, отношения его героев развиваются в «застывшей» социальной среде. Его фон, казалось бы, наполнен движением: человеческие фигуры мелькают и на втором, и на третьем плане, то и дело слышатся обрывки случайно подслушанных разговоров... Но, изображая это движение, создатели фильма не идут дальше сиюми-

нутых перемен самого случайного свойства: в них не отражается глубинное развитие жизни.

Импровизация здесь — не просто эксперимент. В ней по-своему проявилась та неясность цели, о которой пишет Мекас. В процессе импровизации часто возникают метко схваченные детали, достоверные подробности. Движущаяся вместе с толпой камера иногда наталкивается на сцены, действительно примечательные и впечатляющие. Но, не освещенные отчетливой идеей, концепцией жизни, они тонут в неосмысленных мелочах, остаются разрозненными, не вовлеченными в живой процесс реального взаимодействия.

Кассавитис и его товарищи хотели быть очень трезвыми, они хотели буднично показать буднично — без прикрас. И если созданной ими картине жизни не хватает подлинной реалистичности и социальной глубины, то это не потому, что намерения их были плохи: все дело, очевидно, в том, что молодой режиссер и его коллектив показывают реальность, не раскрывая, какое же место в ней занимают заснятые ими события, какова их взаимосвязь, каковы причины и возможные следствия.

Погоня за непосредственностью без проникновения в сущность изображаемого нередко становится, вопреки авторским намерениям, одной из форм искажения реальности. Мир правдоподобных, но незначительных подробностей может быть столь же нереален, как и мир туманных мечтаний. Изображением жизни, захваченной врасплох, такой художник навязывает зрителю свою беспомощность, свою неспособность раскрыть глубинное движение реальности. Показывая разрозненные факты, взятые вне исторического развития жизни, он, даже при критической оценке окружающего, почти неизбежно начинает демонстрировать «прочную буржуазность» бытия, становится послушником стародавней идеи о роковой неизменяемости мира.

Нетрудно заметить, что многие «независимые» не так уж независимы: при всем своем отвращении к буржуазному образу жизни они не становятся его непримиримыми противниками. Бунт против милых мещанскому сознанию голливудских шаблонов у них приобретает индивидуалистические формы. Происходит подмена одних буржуазных иллюзий другими — само буржуазное восприятие действительности остается.

Когда Рене Жильсон, отвечая на вопрос журнала «Синема — 62», пишет: «Манера излагать мысли обновляет то, что излагается, появляется новая свобода выражения», он считает, что ведет речь об освобождении кинематографа от сковывающих его шаблонов. Ему кажется, что он утверждает «современный стиль». На самом же деле он повторяет — может быть, в несколько обновленном словесном одеянии — то, что говорилось теоретиками модернизма еще в начале нашего века.

Замена сценария импровизацией, поверхностные эксперименты в области разрушения сюжета, выведение камеры из павильона на улицу ради изображения жизни, застигнутой врасплох, удлинение съемки, отказ от целенаправленного монтажа лент — все эти «новации» современного кино лишь тешат своих открывателей иллюзией современности и новой глубины искусства экрана. Сами по себе они никаких «истин века» не откроют, а вот отвлечь художника от кинематографического исследования реальности могут — стоит ему только вслед за Рене Жильсоном вообразить, что манера излагать мысли обновляет то, что излагается.

Французский кинокритик Анри Мартен, один из теоретиков «современного стиля» в западном кино, считает, что фильм, освобожденный от устаревших канонов сюжетосложения и снятый «свободной камерой», дает зрителю большие преимущества: на таком фильме зритель «является свидетелем событий, следит за ними с самого их возникновения, а не получает их пережеванными в готовом виде. События разворачиваются на глазах у зрителя. Кинематографист и его камера становятся как бы совершенно объективными, они сами по себе не вторгаются в ход действия, камера отныне перестала быть действующим лицом драмы» (из статьи Анри Мартена «Что такое современное кино?» в журнале «Синема — 62»).

При чтении подобных рассуждений неизбежно возникает вопрос: почему камера перестает быть «действующим лицом драмы»? Из доверия к зрителю, которому достаточно дать факты — и он все сам поймет, проанализирует? Или кинематографист отказывается от целенаправленности в работе, потому что сам не хочет оставаться «действующим лицом драмы» — не может предложить камере отчетливых целей?

Истинно реалистическое искусство умеет изображать жизнь, объясняя ее, и объяснять — изображая. А кинематографисты, отказывающиеся камере в праве быть «действующим лицом драмы», отделяют изображение от объяснения. Они хотят «только показывать». Они вполне искренне считают, что тем самым заботятся о зрителе, о самостоятельности его мышления. На самом же деле их эстетические концепции и приемы отражают ограниченность индивидуалистического сознания, беспомощность художника перед сложностями и противоречиями современной жизни.

Не случайно, что в их творчестве борьба против старомодных шаблонов сюжетосложения часто становится борьбой против самого принципа сюжетности — одной из форм так называемой дедраматизации фильма. Ведь сюжет требует определенной системы мышления, понимания связей человека со средой — того, как обстоятельства влияют на его поведение и мироощущение, как история времени входит в историю характера. И если такого понимания нет, кинематографист обращается к реальности фактически безоружным — без метода ее познания, без веры в ее поступательное движение.

3

Среди мастеров и теоретиков буржуазного искусства широко распространено убеждение: современный мир настолько сложен и трагичен, что перед ним бессилён «старый реализм» — тщетны его старания понять взаимосвязь человека и общества, историческую логику событий, движение человеческих мыслей и эмоций.

В этом смысле очень характерна недавняя статья Ричарда Рауда «Роман — романом, аллегория — аллегорией», опубликованная в журнале «Сайт энд саунд». Главная ее мысль такова: «Многие по сей день считают, что вершины искусства можно достичь тогда, когда то, что романист хочет сказать, находит выражение через железный сюжет, в котором действия и судьбы образов могут быть объяснены психологическими, экономическими и политическими причинами. Однако за последние двадцать или тридцать лет рационализм подвергся суровому нападению. мировые события подорвали веру многих людей в прогресс.

Экзистенциализм утверждает иррациональность человека».

«Многие» — это, очевидно, советские художники и те из западных художников, которые сохранили верность реализму. Ричард Рауд считает их отсталыми, а себя и своих единомышленников — более современными, поскольку они сумели «уловить» наступление иррационализма. Ричард Рауд и не замечает, очевидно, что, при всех претензиях на современность, он повторяет идеи, которые от частого употребления давно уже приобрели оттенок банальности, стали шаблонами буржуазного мышления. Сколько уже раз пророки от философии и искусства говорили о подрыве веры в прогресс, об иррациональности человека! И сколько раз история смеялась над ними, раскрывая новые проявления жизнетворящей силы народа, могущества человеческого разума!

Из какого же корня произрастают их сегодняшние пророчества? Почему Ричард Рауд и его единомышленники столь мрачно оценивают результаты последних двадцати—тридцати лет общественного развития?

Среди современных проповедников иррационализма имеется немало художников, которые своим искусством отражают пессимизм тех, кто страшится будущего, с тревогой встречая все новые признаки обреченности собственнического мира, кто был крайне недоволен победой Советского Союза в войне, кого в бешенство приводят успехи лагеря социализма.

Но на мировом экране сегодня мы встречаемся и с другими разновидностями пессимизма.

На Западе было множество людей, которые праздновали окончание войны с надеждой: теперь все переменится. Однако желанные перемены не приходили. Не успели недавние солдаты отдохнуть от атак и оправиться от ранений, как снова зазвучали речи, пугающие войнами. Не произошло перемен к лучшему и во внутренней жизни буржуазных стран. Осталось неравноправие людей, только подчеркиваемое пропагандистскими разглагольствованиями о равных возможностях и всяческих свободах в мире частной инициативы. Остались гонение на свободную мысль, национальная и расовая вражда...

Вот это состояние — бури пронесли над континентами, обещая перемены, а перемен нет — породило сильную волну пос-

левоенного разочарования и скептицизма среди тех, кто мыслит историю только в рамках буржуазного миропорядка.

Пессимистические настроения распространились и среди той части интеллигенции, которая во время войны и в первые послевоенные годы, на волне антифашистских настроений, устремилась в революционные партии, не обладая при этом достаточной идейной закалкой для длительной, упорной работы по собиранию и воспитанию сил, способных повернуть ход жизни в сторону социализма. В относительно ясные и сулящие быстрый успех периоды борьбы они выступали вместе со всеми, а иногда даже рассуждали и действовали с повышенной радикальностью, в которой легко угадывались оттенки мелкобуржуазного анархизма. Когда же на пути революционных партий возникали сложные ситуации, когда нужно было делать решительные и необычные повороты, осуждая во вчерашнем то, что могло помешать завтрашней победе, — среди этой части интеллигенции нередко появлялись колебания, неуверенность, смятение: неустойчивая революционность давала трещины, а то и вовсе рассыпалась.

Очень характерные в этом смысле суждения содержатся в докладе Фернальдо Ди Джамматео «Кино и прогресс», прочитанном на симпозиуме писателей и кинематографистов в Риме в 1962 году:

«До вчерашнего дня можно было думать, что буржуазный порядок «взлетит на воздух» при фронтальной атаке. Революционная перспектива не только входила в число реальных возможностей, но и была — для большинства — самой подходящей. Ныне мы уже не обладаем уверенностью, что такая перспектива не то чтобы стала неосуществимой, но является полезной».

Джамматео не уточняет, кого он имеет в виду, когда говорит «мы». А такое уточнение просто необходимо: ведь речь идет об Италии — стране, где около двух миллионов коммунистов не только хотят революционной перспективы, но и борются за нее, где партия, несмотря на ежедневно низвергаемые на нее потоки хорошо оплаченной лжи, остается большой политической силой (известно, что при последних парламентских выборах она улучшила свои позиции — а это говорит о многом). Но факт остается фактом: настроения, о которых говорит Джамматео, существуют и оказывают сильное влияние на искусство.

Прямым результатом этого влияния в современном кино Италии, Франции и других стран является широкое распространение экзистенциалистских концепций. Идеи экзистенциализма — в их кинематографическом преломлении — ведут к созданию фильмов, в которых человек выступает беспомощным существом, не способным найти взаимопонимание с себе подобными.

Характерна в этом смысле статья Габриэля Пирсона и Эрика Рауда «Кино образов», опубликованная в журнале «Сайт энд саунд». Пирсон и Рауд развивают в ней такую мысль: современный человек живет в мире, распавшемся на атомы, в котором все внешние проявления одинаково значительны. Человек, пишут они, «это ряд событий, между которыми нет видимой связи. Его прошлое и будущее — это действия, настоящее — пустота, которая только определится действиями. В этот период его нельзя рассматривать как стабильную единицу. В нем нет стержня, нет сущности. И другие люди также лишены сущности, так как все в них лишь внешние проявления и поэтому они остаются непонятными. Только объекты, то есть вещи, имеющие сущность, могут быть понятными. Люди остаются «тайной».

Пирсон и Рауд считают, что мир непонятных и разобренных индивидов лучше всего может быть воссоздан искусством, которое умело пользуется средствами усложненных инскажений. Они поднимают на щит такие фильмы, как «В прошлом году в Мариенбаде» Алена Рене.

Пожалуй, в современном киноискусстве нет другого произведения, где бы так резко прозвучала мысль о том, как трудно людям понять друг друга. Невнятный разговор героев фильма — разговор, состоящий из полупрамеков, обрывочных воспоминаний, смутных ассоциаций, — развивается как диалог глухих. Слово как бы перестает быть орудием общения. Оно может прозвучать с подчеркнутой многозначительностью, но за ним нет ни сближающих людей общих воспоминаний, ни понятных обоим переживаний. На протяжении всего фильма его главный герой объясняется в любви женщине, с которой уже встречался когда-то. И — не может объясниться. Любимая им женщина словно не понимает, о чем он говорит: его воспоминания, намеки на прошлое не вызывают ответных движений души, точно также как обещания завтрашнего счастья.

Появляется муж героини фильма. Он стреляет — она падает, сраженная пулей. А после этого снова — как во сне, сотканном из кошмаров, — она, «ожившая», опять слушает признания и мольбы героя, что-то отвечает, спрашивает... Однако все по-прежнему остается смутным... Это так и не состоявшееся объяснение превращается в многозначительный символ человеческих отношений: речь идет уже не только о несостоявшейся любви...

Герой и героиня фильма ходят, живут, движутся, говорят, как заводные куклы. Их окружает пустота, хоть она и наполнена такими же куклами, — нелюдимый мир разобщенных индивидов. Внешняя среда так же мертвенна, как люди. Деревья в парке, расставленные с холодной геометричностью, лишены тени. Помпезная архитектура фешенебельного санатория, в котором происходит действие, обозревается камерой, фиксируется в деталях, как музейный экспонат...

Произведения, подобные только что названному, проникнутые философией пессимизма, часто бывают оппозиционными, даже резко критическими по отношению к собственническому обществу. И тем не менее они обычно далеки от традиций критического реализма, а часто искажают эти традиции и даже прямо им противостоят. Являя современному зрителю смутный мир образов, рожденных ущербной и капризной фантазией, они обессиливают познающую мысль, возводят между искусством и жизнью, искусством и зрителем глухую стену.

Безграничный скептицизм, философия отчаяния разъедают гражданское начало в работе художника. В сегодняшнем буржуазном киноискусстве нередки случаи, когда, показывая драматическое одиночество человека, взаимное непонимание людей, художник не дает воли ни сожалению, ни гневу. Он мрачно спокоен, философичен и, в сущности, предлагает зрителю принять изображаемое им состояние мира как непреодолимую данность.

Разочарование в возможностях человека и равнодушие к его историческим судьбам рождают подрывающую реализм «избирательность» наблюдений. Скептически настроенный, во всем разуверившийся художник ищет и видит в человеке и его жизненном поведении лишь такие проявления, которые легко укладываются в схемы песси-

мистических концепций. Только слабости и сомнения грешного, беспомощного человека такой художник считает реальностью, все остальное в его глазах — романтические грезы, иллюзорные надежды.

В связи с проблемами искусства этого направления на кинематографических дискуссиях неизменно возникает имя Микеланджело Антониони (дискуссия на московском фестивале не была в этом смысле исключением).

Режиссерское творчество Антониони внешне близко неореализму — выбором героев и места действия, натуральным, без прикрас, изображением обыденной жизни. (Эта внешняя близость в свое время даже попутала некоторых критиков: они писали об Антониони как о неореалисте и из анализа его фильмов делали вывод о кризисе неореализма.) Однако по сути своей фильмы Антониони более близки фильму Алена Рене, нежели произведениям, последовательно воплощающим эстетику неореализма.

В одном из своих интервью Антониони специально подчеркнул, что он пришел в кино, когда кончалось первое цветение неореализма. «Мне показалось, — продолжал он, сравнивая свое творчество с произведениями неореалистов, — что гораздо важнее не столько анализировать взаимоотношения между героем и средой, сколько остановиться на самом герое, заглянуть в душу героя».

Как мы видим, уже здесь, кратко формулируя свою режиссерскую программу, Антониони довольно решительно противопоставляет ее неореализму. И противопоставляет в таком пункте, который является одним из самых важных для эстетики неореализма.

В лучших фильмах итальянского неореализма человек показан в реальной общественной среде, он черпает мотивы своих действий в жизненных обстоятельствах, которые его окружают и составляют действительность. Благодаря такому изображению человека через его характер и жизненное поведение многое можно узнать об обществе, о стране. Да и самого человека можно глубже и лучше понять, когда он изображается в реальных взаимодействиях с общественной средой.

Не случайно, что после таких фильмов, как «Похитители велосипедов», «Рим в одиннадцать часов», «Два гроша надежды», когда породивший их «исторический момент» стал вчерашним днем, их авторы вме-

сте с другими лучшими мастерами неореализма, включая пополняющую их ряды молодежь, остались на уровне высокой реалистической традиции. В условиях, когда некоторые из бед, терзавших героев ранних фильмов неореализма, остались позади, а буржуазная пропаганда стала кричать об «итальянском чуде», о «расцвете», о «всеобщем благоденствии», эти мастера не отреклись от своего демократического искусства. Они продолжали развенчивать иллюзии, распространяемые буржуазной пропагандой. И они не стали эпигонами самих себя, не пошли по пути тех своих коллег, для которых эстетика неореализма стала не более чем суммой приемов, «модой»: пусть в фильме будут грязные дворы, пусть на веревках, протянутых через улицу, сушится белье, пусть слышится ругань, а что таится за всем этим, для чего нужна эта натуральность — неважно...

Жизненность демократической традиции в итальянском неореализме проявляется сейчас не только в фильмах, посвященных повседневной жизни простых людей Италии, но и в новом обращении к недавней истории — к темам борьбы с фашизмом.

Эту линию развития неореализма красноречиво продемонстрировал на московском кинофестивале Нанни Лой — своим подлинно народным фильмом «Четыре дня в Неаполе». Оставаясь в пределах неореалистического изображения обыденного, он глубоко показал героизм и величие народа, поднявшегося на борьбу с фашизмом.

Поразительно, как Нанни Лой сплавляет воедино множество пестрых эпизодов, разнохарактерных деталей: каждая из них внешне малозаметна, но действительно помогает созданию общей впечатляющей картины народного восстания — рассказу о том, как сначала зарождаются маленькие ручейки непокорства и гнева, как затем из них образуется неуправляемый поток.

В новых фильмах неореалистов много общего с произведениями раннего неореализма. В них человек снова предстает в историческом потоке народной жизни. И даже в тех случаях, когда идейная концепция режиссера бывает недостаточно четкой, — правдивость, глубокая человечность фильмов покоряют.

Неореализм не является чем-то однородным, он не стал, не мог стать движением или школой единомышленников, объединяя

художников разных взглядов — от коммунистов до весьма умеренных либералов. Естественно, что разница жизненных позиций не могла не отразиться и на художественном творчестве. В этом смысле и сам термин «неореализм» несколько условен. Бывает, что он мешает конкретному анализу творчества неореалистов: того, как некоторые из них делают своими фильмами отчетливые шаги в сторону социалистического реализма, другие находят новые формы и пути развития традиций критического реализма, третьи подрывают силу и правду своих произведений обращением к модернистским мотивам и приемам...

Не так давно один наш драматург, выступая на репертуарном совещании, назвал итальянский неореализм сарагатовским искусством. Это — из области курьезов, рожденных незнанием предмета разговора. Но бывает, что и в более серьезных выступлениях сложные процессы и противоречивые явления неореализма (да и не только неореализма!) оцениваются с помощью однозначных определений, анализ заменяется приблизительными аналогиями: при встрече с новыми фактами используются вчерашние воспоминания.

В смутных концепциях такой критики кинематография буржуазных стран живописуется одной краской: то единым потоком устремляется к новым вершинам — в изображении неразборчивых ее почитателей, то таким же потоком низвергается в бездны упадка и разложения — в изображении тех, кто ограничивается полемикой с почитателями и уклоняется от изучения фактов. Первые — все окрашивают в тона бездумной восторженности. Вторые — ограничиваются гневными декларациями; и хотя они действуют, казалось бы, наступательно, настоящего наступления не получается: треск ругательных формул — это еще не идейная борьба.

Ясно, что и в том и в другом случае — при однокрасочном изображении кинематографии буржуазных стран — не остается места классовому подходу к ней, анализу современного развития «борьбы двух культур», выяснению того, какое место в борьбе занимает тот или иной фильм.

Но вернемся к отношениям Антониони и неореалистов.

При всех своих различиях, режиссеры неореализма, сохраняющие верность основ-

ным демократическим традициям этого течения, каждый по-своему стремится увидеть, понять, показать человека в его общественных связях, в его реальных жизненных заботах и стремлениях. В отличие от неореалистов Антониони изымает человека из исторического потока, из реальной общественной среды. Фильмы Антониони — будь то «Крик», «Ночь» или «Затмение» — сделаны мастерски, это произведения сильного и проникновенного таланта. Но их жизненное содержание сужено до исследования души отъединенного от общества человека.

Когда ученый, экспериментируя, лабораторно изымает какие-то элементы из естественной среды, он может достичь больших результатов в раздельном, изолированном исследовании этих элементов. В искусстве — иное. Изъятием человека из общественной среды ради исследования его души, его нравственных качеств или психологии — как замкнутого в себе мира внутренней жизни — неизбежно ослабляется познавательная сила искусства: на пути его проникновения в глубины жизни возникают дополнительные преграды, созданные самим методом исследования.

Антониони обычно ведет кинематографическое повествование как бы на одной ноте, подчеркнуто замедленно. Детализация психологических состояний доводится им до таких степеней, так упрямо теснит все остальное, что кинематографическое действие часто утрачивает напряженность, а то и вовсе затухает. Антониони возвращает действию живость, энергию только тогда, когда герои фильма вовлекаются в круговорот событий, выводящих их за пределы любовных переживаний. Такие моменты редки в фильмах Антониони, но они встречаются, нарушая характерную для его режиссуры монотонность киноповествования.

Героями фильмов Антониони чаще всего выступают люди, не находящие в жизни никакого существенного содержания, кроме любовных историй, да и эти истории не скрашивают их унылого существования, не наполняют его поэзией, не рожают энергии борьбы: душевный разлад, взаимное непонимание людей влияют и на любовь, делая ее какой-то сумеречной, безрадостной.

Героиня «Затмения» Виттория несколько лет жила с Рикардо, не испытывая полноты чувства любви. На бирже она встречает Пьеро, ей кажется, что она полюбила красивого юношу. Но и это увлечение не при-

носит ей ни радости, ни счастья. Пьеро — делец, эгоцентричный и холодный. Когда у него угнали машину и человек, ее угнавший, утонул вместе с машиной, Пьеро ни на минуту не задумывается над происшедшим — он больше всего беспокоится о машине, поврежденной попавшей в нее водой. Виттория видит это, ей неприятно. Но она все равно согласна пойти к Пьеро. Правда, на свидание они оба не приходят. И эта любовь «не состоялась».

Ощущение пустоты, иррациональности человеческого существования создается не только тем, что в любви героев фильма нет истинной любви, но и самой атмосферой фильма. Всеми возможными в рамках своей поэтики кинематографическими средствами Антониони подчеркивает, что непонимание друг друга, разобщенность, безысходная тоска — это не просто драма героев фильма: тщетные поиски Витторией счастья в любви представлены как драматическая невозможность любви. Частные драмы Антониони «обобщает» таким образом, что они предстают на экране как нечто неизбежное, роковое, всеобщее — непреодолимое состояние мира и человека.

Приняв это состояние за постоянную данность человеческого существования, Антониони скрупулезно и беспощадно исследует движение чувств, оттенки психологии. Его мало интересуют, если вообще интересуют, социальные обстоятельства, формирующие мысль и чувство человека.

В результате такого подхода к изображению жизни вся система взаимодействия человека и общественной среды оказывается искаженной: реально существующее влияние среды на человека замалчивается, если вообще не отрицается, человек действует вроде бы произвольно, черпая мотивы поступков в индивидуальных прихотях. Личные коллизии и судьбы часто разрешаются случайным стечением случайных обстоятельств — в них по-настоящему не участвует история. В свою очередь и человек, герой фильма, не участвует в истории. Влияние его на среду ничтожно. Всей своей художественной логикой фильм подводит зрителя к отчаянной мысли: человек бессилён.

Такой способ изображения человека сужает возможности режиссера даже в решении той частной задачи, которую он перед собой поставил. Ведь психологические и нравственные состояния, взятые вне породивших их причин, не могут быть глубоко

поняты. И даже изощренная детализация при их изображении не делает их исторически конкретными.

Через людей, населяющих фильмы Антониони, зритель не видит Италии в пестроте ее народной жизни. Хотя герои фильмов большую часть времени проводят на улицах, не чураясь толпы, эта толпа, их отношение к толпе и отношение толпы к ним не помогают узнать современную Италию.

Я не хочу быть неправильно понятым. Не о прямолинейной иллюстрации газетных заметок идет речь, а о таком изображении драм повседневной жизни, чтобы они выводили мысль зрителя за свои пределы, помогали глубже понять общество, в котором они произросли.

Итальянские кинокритики, осмысливая искания и поражения Антониони, неоднократно подчеркивали, что его фильмы — зеркальное отражение его личной неспособности осмыслить кризис общественного бытия, проблемы народной жизни. Свою неспособность что-то увидеть и понять за пределами сравнительно узкого мира, им изображаемого, отказ от изучения живых сил народа, безразличие к путям выхода из кризиса режиссер делает нормой эстетического отношения к действительности и даже нормой человеческой жизни.

Антониони не упивается, не кокетничает своей неспособностью познать народную жизнь, как это делают те буржуазные модернисты, которые манерным пессимизмом и загадочной многозначительностью пытаются придать себе дополнительную «интересность». Автор «Затмения» относится к изображаемому серьезно и драматично, его нельзя заподозрить в неискренности.

Антониони считает, что раз опустошенность человека и человеческих отношений — не выдумка, надо изучать ее, изучать упорно и последовательно, не предаваясь романтическим надеждам найти в этой жизни другой более приятный предмет для кинематографического исследования. В своем «антиромантизме» он доходит до холодного спокойствия и расчетливой беспощадности хирурга, рассекающего пораженную ткань организма.

«...Главное для него, — пишет Джамматео об Антониони, — это не суждение, а наблюдение. Если человеческие отношения сделались оболочкой без содержания (то есть приобрели столько смыслов, что утратили всякий смысл), значит нужно прежде всего

установить этот факт и выяснить его возможные причины. И, следовательно, принять эту пустоту, жить ею не как положительным фактором, разумеется, а как объективно существующей данностью».

По характеристике Анри Мартена, Антониони не стремится рассказать какую-то историю, его цель иная — показать эволюцию персонажей. Он сохраняет на экране и те моменты их жизни, когда ничего не происходит, поскольку они имеют значение, как и моменты, насыщенные событиями. Он стремится показать события в их реальной продолжительности — без кинематографического «сжатия», — чтобы зритель мог почувствовать, пережить реальное время их развития.

Мартен считает, что все эти особенности режиссерского искусства Антониони определяют его силу. На самом же деле они часто отталкивают зрителя, который монотонность фильма так и считает монотонностью, бессюжетностью — бессюжетностью. Мартен не учитывает, что изображение эволюции персонажей вне реальных событий жизни, вне истории времени неизбежно подрывает общественное значение искусства.

В спорах об Антониони часто возникает вопрос о направленности его искусства, об отношении художника к изображаемому им обществу. Вопрос этот непростой. Поклонники Антониони неоднократно писали о реализме его фильмов, о содержащейся в них критике буржуазного общества. В необъятной литературе об Антониони часто встречается и другая, прямо противоположная точка зрения... И в первом и во втором случае истина заменяется тем, что часть выдается за целое, одна из особенностей творчества Антониони превращается в его определяющее качество.

Конечно же, в творчестве Антониони отчетливо, а порой и очень сильно звучит критическая нота (гневно снятые сцены на бирже в «Затмении» — не единственный пример такого рода). Конечно же, искусство Антониони противостоит сладеньким, ласкающим глаз и слух фильмам, в которых рекламируется буржуазный образ жизни. Изображая драмы опустошенности, одиночества, оно тоже разрушает иллюзии о природе и характере буржуазных отношений.

Но критическая сила искусства Антониони подрывается его индивидуалистической ущербностью. И дело не только в том, что

в борьбе с иллюзиями «антиромантические» фильмы Антониони не доходят до глубин жизненной правды. Еще опаснее другое — бездумному, рекламному оптимизму противопоставляется такая мрачная безнадежность, которая не оставляет места стремлению человека выбраться из мрака, заранее обрекает его на поражение. В искусстве Антониони фактически утверждается концепция непреодолимости зла, реализм исторического мышления вытесняется идеей фатальной обреченности человека, ставящей непреодолимый барьер всем его попыткам и усилиям понять жизнь, пробиться к счастью, найти душевное понимание у окружающих.

Есть в этом смысле существенная разница между Антониони и Феллини, хотя в обзорах современного киноискусства их часто ставят рядом.

Феллини уже в начале своего режиссерского пути выступал как критик окружающей действительности, нередко доводя эту критику до сатирических заострений. Но он и тогда был несколько «романтичен» — в том смысле, что искал, за что «зацепиться», искал идеи, которые могли бы увлечь, внушить надежду...

На какое-то время он пришел к преклонению перед чистотой души и поискам спасения через неосознанную чистоту («Ночи Кабирии», «Сладкая жизнь»).

Демократическая итальянская кинокритика справедливо отмечала тогда, что содержащиеся в этих фильмах мотивы смирения и веры отчетливо перекликаются с устремлениями католицизма: показать человеку тщетность его земных усилий, если только они не служат «высшей цели», выходящей за рамки посюстороннего существования.

И в «Ночах Кабирии», и тем более в «Сладкой жизни» Феллини трезво, правдиво показывает жизнь собственнического общества. Но упрямо, с мужественной беспощадностью изучая и изображая реальный облик буржуазного мира со всеми его уродствами, разрушающими человеческое в человеке, Феллини фактически оставляет в стороне положительные аспекты народной жизни. Воссоздаваемые им картины действительности лишены исторической подвижности.

Казалось бы, этой особенностью своих фильмов Феллини сближается с Антониони. Однако, несмотря на существенную близость, различия остаются. И дело не только

в том, что Феллини более социален: он не вырывает героев «сладкой жизни» или виновников несчастий Кабирии из общественной среды, наоборот — живописует ее щедро и разносторонне. Главное отличие в том, что даже после мрака «Сладкой жизни» с ее опустошенными героями Феллини продолжает искать.

Он ищет пути к постижению «тайн» века, правды жизни, идеалов, которые могут увлечь... А когда не находит, он делает предметом искусства свою собственную драму — духовную драму художника, тщетно ищущего правду. Так рождается замысел фильма «Восемь с половиной».

Кинорежиссер Гвидо Ансельми, главный герой фильма, очень откровенно, с душевной болью говорит о своих поражениях: «Я хотел сделать честный фильм, без лжи, который был бы полезен всем, чтобы похоронить то, что сгнило в каждом из нас. Но в конце концов я оказался не способен похоронить что бы то ни было. Я хотел все сказать, но мне нечего сказать...»

У Гвидо есть свой Мефистофель — критик и советчик. «Вы поняли, на каком хрупком фундаменте покоится ваше здание, — откликается он на горькие признания Гвидо. — Будет лучше, если оно рухнет... Надо уйти в молчание... Я счастлив видеть, как вы гасите огонь. Вы избавляетесь таким образом от тягостной необходимости лицемерить груды бесполезного пепла. Гвидо, мой друг, это так прекрасно, так чисто — тишина, пропасть, небытие...»

Поиски той правды, которую Гвидо Ансельми хочет выразить своим новым фильмом, столь мучительны и столь бесплодны пока, что Гвидо был бы логичен, последовав совету друга и постоянного оппонента. Уйти в молчание — что может быть желаннее: в прошлом — одни только разочарования, сегодня — обломки разрушенных идолов, которым когда-то поклонялся, воспоминания об иллюзиях, какими утешался... А завтра?

Но Гвидо не сдастся... Он мучительно думает над фильмом о путешествии людей в космические дали, о земных драмах, породивших замысел фильма. А когда мучительные искания оказались тщетными, он находит какое-то подобие утешения в примирении со всеми, с кем встречался, работая над несостоявшимся фильмом, со всеми «героями» своих снов и кошмаров.

И тут возникает самый непонятный, ху-

дожественно не оправданный и смутный поворот в развитии фильма. Ведь фактически Гвидо ничего не нашел, на мучившие его вопросы не ответил, правды не открыл, а — ликует в хороводе со всеми. И с теми, кого ненавидел, и с теми, кого снисходительно презирал, и с теми, кого только терпел.. Мрачный получается хоровод: имитация «озарения» без открытия истины.

Все писавшие о фильме «Восемь с половиной» неизменно отмечали автобиографичность образа Гвидо Ансельми (да и сам Феллини не скрывает этого). «Восемь с половиной» — фильм исповеднический. Феллини исповедуется с откровенностью прямотаки поразительной. Он беспощаден не только по отношению к людям и обстоятельствам, его окружающим, но и по отношению к самому себе.

Среди многочисленных авторских характеристик фильма есть такая (с моей точки зрения наиболее точная): «Это нечто среднее между бессвязным психоаналитическим сеансом и беспорядочным судом над собственной совестью, происходящими в атмосфере преддверия ада».

Да, суд над собственной совестью действительно идет в преддверии ада. Для подобного «места действия» по-своему естественны, логичны кадры, где герой фильма задыхается в автомобиле, затертом в каком-то тоннеле, тщетно пытается выбраться из роскошной машины, ставшей похожей на душегубку, или хотя бы приоткрыть окно — глотнуть свежего воздуха... «Преддверие ада», «адские муки» художника запечатлены и во многих других эпизодах. Продюсер торопит режиссера — скорее, скорее, снимай, делай: он вложил деньги, ему нужна прибыль и ему плевать на мучения художника... Журналисты с холодно-профессиональным любопытством терзают Гвидо вопросами, не вникая в его переживания... Женщины откровенно предлагают себя режиссеру за роль в фильме, нахально рекламируя свою наигранную чувственность... Кардинал, от которого Гвидо ждал мудрых откровений, изрекает банальнейшие прописи, их беседа происходит в ванной комнате: клубы пара, голый, немощный старец, говорящий общезвестный вздор, — это все, что осталось от упований художника на церковь.

Феллини точен и в том случае, когда говорит о «бессвязном психоаналитическом

сеансе и беспорядочном суде над собственной совестью».

Гейне как-то говорил: «Ухабистую дорогу нельзя описывать ухабистыми стихами» «Ухабистость» стиха может быть плодом неопытности, неумелости. Но бывает и такая «ухабистость», которая создается мастером, изощренно имитирующим ухабистую дорогу самой фактурой стиха. В этом смысле афоризм Гейне приложим и к режиссуре фильма «Восемь с половиной».

Художественная логика фильма такова, что его реальным содержанием становится исповедь художника, переживающего духовную драму, мучающегося в тщетных исканиях. И сколько бы ни повторял Феллини, что фильм сделан ради финала, в котором всем и все простивший Гвидо по-детски отдается беспричинному веселью, — финал этот — еще одна иллюзия Феллини. Надолго ли?.. Нет, выход из драмы не найден!

Тщетность поисков рождает дисгармонию, разорванность сознания. Смятенность художника «повторяется» смятенностью фильма, болезнь воссоздается через бред больного. Для полноты картины не хватает анализирующей мысли врача, который учитывает все — и субъективные ощущения больного, его бред, и объективный ход болезни, ее реальные проявления, внешние и внутренние причины.

В фильме «Восемь с половиной» сильно показаны реальные муки, реальная драма художника. В их воплощении Феллини настойчиво экспериментирует. Он поистине неудержим в режиссерской выдумке и часто находит такие кинематографические решения, такие средства выражения, которые расширяют возможности экрана, придают многозначность подтексту, заставляют по-новому взглянуть на примелькавшееся, привычное. Многие кадры фильма удивительно живописны, импрессионистская неопределенность света и тени придает им настроенное, очень точно отвечающее общей тональности фильма.

Однако действенность киноязыка, используемого в фильме, ослабляется тем, что режиссерские ассоциации Феллини часто приобретают крайне субъективистский характер. Феллини то зашифровывает свою мысль, делая ее доступной лишь напряженному логическому исследованию (вытесняющему эмоциональное начало из процесса восприятия фильма), то олицетворяет рож-

денную болезненной фантазией идею с такой прямолинейностью, что в пору говорить о своеобразной «иллюстративности» кинематографических изображений.

В фильме Феллини, в самом его языке и стиле ощутимо влияние современного идеализма с его повышенным тяготением к иррациональности и мистике. Фильм развивается как монолог мятущегося сознания. Художественское «я» слишком сосредоточено на самом себе, чтобы стать «призмой», через которую отчетливо просвечивает реальность. Разговор о драме художника как бы замкнут «внутри» искусства: нужна определенная «профессиональная» настроенность на «волну» Феллини, чтобы разговор этот взволновал. Причудливое соединение реальности и сновидений, бреда и мечты, субъективистская усложненность, запутанность кинематографического языка мешают непосредственному восприятию драмы режиссера, о которой рассказывает фильм.

Не случайно, что и на московском фестивале, и, как свидетельствует кинопресса, на родине режиссера, да и в других странах фильм «Восемь с половиной» широкого зрительского успеха не завоевал. Режиссерская концепция и стилистика фильма таковы, что в данном случае проблема зрительской аудитории неизбежно приобретает особую остроту. Даже поклонники фильма «Восемь с половиной» с тревогой пишут, что на путях, на каких этот фильм создан, кинематограф может потерять духовный контакт с многомиллионной аудиторией.

Для самого Феллини фильм «Восемь с половиной» может стать важным рубежом. Создавая свой фильм, Феллини не ограничился утешениями, какими довольствовался в финале «Сладкой жизни», — он решительно расстается с иллюзиями и идолами вчерашнего дня. В этом смысле фильм знаменует определенные изменения во взглядах режиссера. Но изменения эти не получили развития в самом подходе к реальной действительности, в методах ее изображения. Более того, картина мира, развернутая в новом фильме Феллини, оказалась менее реалистичной, нежели в «Сладкой жизни» и «Ночах Кабирии».

Слишком строгая соотнесенность всех изображаемых ситуаций и лиц с исканиями Гвидо Ансельми часто лишает жизненные явления и характеры фильма их реальной сложности: они увиденны как бы в одном ракурсе и в одном моменте их бытия — вне

породивших их причин и вызванных ими следствий. Гвидо Ансельми и все те, с кем он встречается наяву, во сне и в бреду, показаны на фоне, который лишен жизненной многомерности. Внешне он, этот фон, наполнен движением не меньше, чем в предыдущих фильмах Феллини. Но режиссер, занятый метаниями своего героя, не исследует происходящее вокруг с необходимой заинтересованностью. А многое и вообще остается условным — как задник на театральной сцене.

В связи с фильмами Феллини мне хочется особо подчеркнуть одно обстоятельство, имеющее отношение не только к Феллини.

В одной из своих статей Р. Юренев приводит такую выдержку из официального заключения Католического центра по поводу фильма «Похитители велосипедов»: «Говоря с точки зрения морали, нельзя не заметить, что этот фильм проникнут чрезмерным пессимизмом».

И словно поддерживая этот вывод, Джулио Андреотти, один из лидеров Христианско-демократической партии Италии, пишет в открытом письме Витторно Де Сика:

«Мы призываем деятелей культуры осознать всю ответственность перед обществом. Эта ответственность не может ограничиться показом только пороков и нищеты... Если верно, что можно искоренить зло, грубо обнажив его самые ужасающие стороны, — и если поэтому весь мир будет ошибочно считать, что Италия, изображенная в «Умберто Д», есть подлинная Италия XX века, — значит, Де Сика оказал дурную услугу своей родине... Мы попросим его никогда не пренебрегать здоровым, конструктивным оптимизмом, помогающим людям идти вперед и надеяться».

Католические идеологи буржуазии, как мы видим, призывают художников к «здоровому, конструктивному оптимизму» и к сознанию ответственности перед обществом. Но в свои призывы они вкладывают такое содержание, которое по существу враждебно провозглашаемым ими лозунгам.

Когда итальянский художник, встречаясь с пороками и нищетой в буржуазном обществе, откажется под влиянием призывов, похожих на процитированные, от изображения этих пороков и нищеты; когда итальянский художник во имя «конструктивного оптимизма» и во имя того, чтобы его страна выглядела перед всем миром благопо-

лучно, откажется от критического освещения окружающей его действительности,— сохранит ли он в этом случае ответственность перед обществом? А ведь именно к этому призывают Католический центр и Андреотти,— не забудем, что в пессимизме и критической односторонности они обвиняют фильм «Похитители велосипедов» и создателя «Умберто Д» Витторио Де Сика! Клейма пессимизм, они бьют по реализму.

Эту борьбу вокруг понятия «пессимизм» обязательно надо иметь в виду, чтобы и тут не поступаться классовою точкой зрения.

И если мы говорим об ущербности фильма «Восемь с половиной», то не потому, что в нем мрачно показано «преддверие ада»,— другие краски тут просто не подошли бы. И не потому, что Феллини рисует внутреннюю драму буржуазного художника в полную меру ее истинного драматизма. Речь идет о другом: о сужении социального содержания сцен, изображающих «преддверие ада», об ослаблении критического начала фильма, подорванного болезненной изломанностью, смятенностью его художественной структуры.

4

Когда Нанни Лой показывает зверства фашистов и восставший народ Неаполя, он последовательно и отчетливо заявляет свою жизненную позицию. Художник знает не только с кем ему идти, в каком сражаться стане. Он знает и как надо сражаться, чтобы была победоносной борьба.

Такой ясности и определенности не хватает американскому фильму «Вест-Сайдская история» (сценарий Эрнеста Лемана, постановка Роберта Уайза и Джерома Робинса), показанному вне конкурса на московском фестивале. Тем не менее хочется поставить рядом эти очень непохожие фильмы.

В «Вест-Сайдской истории» рассказывает о том, как на окраине Нью-Йорка развертывается современная вариация трагедии Ромео и Джульетты. На этот раз влюбленные погибли не в результате родовых распрей, а — национальных, расовых. Эти распри стали проклятием современной Америки, ее болезнью, тем более опасной, что власти с нею не борются по-настоящему, а многие из капиталистических хозяев США поощряют ее (недавние события в штате Алабама, в Бирмингеме могут служить как бы комментарием к «Вест-Сайдской истории»; хотя в фильме идет речь о вражде белых и

пуэрториканцев, а в Бирмингеме убивают черных — в обоих случаях зверства рождены расовой враждой, распространением фашистских настроений в кичающейся своим демократизмом Америке).

В фильме слиты воедино изображение, слово, музыка, танец. Это редкостный случай, когда элементы музыкального театра, перенесенные на экран, не убили драму, а во многом усилили ее. Несколько раз по ходу фильма возникает такие сцены: камера панорамирует «марш» враждующих групп (хочется сказать — банд) молодежи по улицам города. Парни идут в танцевальном ритме, с вызывающим пощелкиванием пальцев, с отрепетированной согласованностью движений. Казалось бы, это «балетная условность». Но она очень органична в «Вест-Сайдской истории». Каждый такой «марш» усиливает ощущение тревоги и опасностей, какие таит в себе вражда молодых людей, живущих без идеалов и целей, признающих только закон джунглей, закон грубой силы.

Пожалуй, лишь в одном случае фильм несет художественные потери от соединения драмы с элементами музыкального театра: некоторые любовные сцены, лирические дуэты героя и героини фильма затянуты и от этого приобретают оттенок оперности. Но и эта слабость не подрывает эмоционального восприятия «Вест-Сайдской истории»: фильм не дает зрителю забыть о силе вражды, окружающей влюбленных и делающей их счастье хрупким.

Кровавая драма, завершающая фильм (смерть героев и нескольких парней из враждующих групп), с неотвратимостью вырастает из глубин кинематографического действия, рождена не сцеплением случайностей.

Может, для самих участников последней кровавой драки эта драма станет незабываемым уроком. Но она воспринимается не как единичный случай: фильм открывает больше, чем непосредственно в нем показано,— через события фильма, характеры и судьбы его героев «читаются» сложные и уродливые явления американской жизни, которые не могут не тревожить честных, демократически мыслящих художников.

Поставленные фильмом вопросы о национальной неприязни и вражде, о душевной опустошенности, разрушающей человеческое в человеке, глубоко драматичны. Ответы на них, правда, не даны. Однако сам факт открытой и сильной постановки этих вопро-

сов становится защитой человека в борьбе против бесчеловечных обстоятельств, рождающих в людях ожесточение, озверение.

Нравственной основой таких фильмов, фильмов-вопросов, является гражданская боль художника, переживающего беды окружающего его мира. Даже если художник еще не знает выхода из этих бед, страстное познание жизни, боль за человека придают его произведению жизненность, взволнованность, страстность.

«Вест-Сайдская история» решительно подтверждает, что кинематографист может быть современным, оставаясь целеустремленным, не лишая камеру права быть «действующим лицом драмы». Создатели фильма хотят потрясти зрителя и — потрясают. Самим построением «Вест-Сайдской истории» они **вольно или невольно** полемизируют против тех кинематографистов, которые увлекаются изображением потока жизни, увиденной в ее повседневной бесформенности, которые считают, что всякая концентрация жизненных противоречий в остром сюжете таит в себе опасность авторской предвзятости и насилия над воображением зрителя.

Очень интересен в этом смысле и новый фильм Стенли Крамера «Нюрнбергский процесс», тоже **показанный** внеконкурсно на московском фестивале.

В новой своей работе Крамер не боится повторения приемов, использованных им в «Пожнешь бурю». Опять — зал суда. Опять — **очень** подробно «изложение» хода процесса с воспроизведением реплик и речей сторон, вопросов судьи, ответов подсудимых... Выходы камеры на улицу редки, непродолжительны: приезд судьи и устройство его в гостинице (роль судьи Спенсер Трейси воплощает с поразительной проникновенностью и правдой), поиски нужного свидетеля, кадры документальной ленты о фашизме — приобретаемый к делу материал обвинения... И все.

Камера чаще всего останавливается на лицах и репликах участников процесса (на этот раз в Нюрнберге судят тех, кто «судил», точнее, палачествовал, «именем фюрера» — чиновников юстиции гитлеровского рейха).

Хотя фильм заключен в очень тесные рамки кинематографического отчета о процессе, Крамер ведет действие с непринужденностью и свободой, не герпящими тиранической власти «манеры», поклонения приему.

Если режиссеру нужна «длинная съемка» — она появляется. Рядом с ней — монтажные переходы такого стиля, что ретивый поклонник новаторства может легко объявить их реминисценциями монтажного кинематографа двадцатых годов... Крупные и общие планы... Куски без текста, когда все мысли и оттенки мыслей передаются только изображением... Диалоги, воспроизводимые без всяких кинематографических ухищрений — с одной точки, словно снимает их оператор-документалист, которому отведено лишь определенное место в зале для публики... И всюду — сосредоточенность камеры на главном: разобраться в деле, понять психологию, поведение людей, все, что стояло и стоит за подсудимыми и их защитником, — понять полнее, глубже, чтобы тем решительнее осудить фашизм, породивший вот **этих** палачей в судебных мантиях.

В этом смысле «Нюрнбергский процесс» выгодно отличается от такого фильма Крамера, как «На берегу».

Идея фильма «На берегу» глубока и общественно значительна: изображением возможных последствий термоядерной войны предостеречь людей — остановитесь, пока не поздно. Впечатляюще — как грозный урок и предупреждение — разворачиваются сцены, действие которых происходит в пустынном Сан-Франциско, где недавней войной уничтожено все живое... И как-то особенно диссонирующе, странно выглядит в этом фильме банальная, по голливудским шаблонам разыгранная любовная история — роман командира уцелевшей после войны подводной лодки. Эта история обнаруживала «остаточные связи» режиссера с коммерческим кино.

«Нюрнбергский процесс» — произведение более цельное, хотя, повторяю, здесь и нет недантической «верности стилю».

Когда кинематографический прием служит манере, манера — приему, при всей своей изощренности, искусство выдыхается. Когда приемы, манера не сковывают художника, а служат кинематографическому воплощению, раскрытию жизненной правды, искусство наполняется силой. Казалось бы, это так просто и общеизвестно. Однако вокруг столь простой истины в мировом кино идут сейчас сложные споры.

Новый фильм Крамера вторгается в эти споры убедительно и веско.

Значение фильма далеко выходит за рамки эстетические. «Нюрнбергский процесс»

кончается немногословной, очень деловой по тону справкой: сколько фашистских преступников было осуждено на процессах в Нюрнберге и через сколько лет они оказались на свободе. Простые слова надписи «монтируются» в сознании зрителя с напористыми репликами и речами защитника (одна из лучших ролей известного немецкого актера Максимилиана Шелла), который убежденно и страстно отстаивал на протяжении трехчасового фильма «правоту» фашистских судей. Нет, не только об уроках истории говорит «Нюрнбергский процесс» — о сегоднешнем идет в нем речь.

Как-то после очередного фестивального просмотра мы разговорились с Крамером о роли политики в киноискусстве.

— Тут мы с вами стоим на разных позициях, — сказал Крамер. — Вы допускаете вторжение политики в искусство и считаете это нормой. Я стою вне политики, я против того, чтобы политика отвлекала художника от познания человека. Главное для художника — ко всему на свете подходить с точки зрения человека и через человека, во всем искать «человеческий аспект».

Парадоксальность положения состоит в том, что в своих суждениях об искусстве режиссер отрешивается от политики, а лучшие его фильмы пронизаны политикой, посвящены острым и важным проблемам современности. Такой фильм, как «Нюрнбергский процесс», мог создать только худож-

ник, который, при всех своих несогласиях с защитниками демократической, социалистической политики, как и они, озабочен коренными проблемами мира и войны, как и они, борется против возрождения фашизма. Целеустремленность помогла ему глубже понять противника, сложность борьбы и оценить нравственную силу тех, кто отдал справедливому суду всю энергию мысли и страсти, не испугавшись натовских политиканов, которые увидели в бывших «наци» возможных союзников... Целеустремленность помогла правде.

Фильмы «Четыре дня в Неаполе», «Вест-Сайдская история», «Нюрнбергский процесс» каждый по-разному, но в чем-то и схоже противостоят и кинематографу, «бодро», «оптимистично» рекламирующему буржуазный образ жизни, и мрачным лентам, в которых изощренно и назойливо проводится мысль о том, как страшно в наше время быть человеком и какое это безнадежное дело — уповать на завтрашние перемены.

В этих трех фильмах (а я выделил их из других, на них похожих, только по одному признаку — они были показаны на московском фестивале) воплотились важные тенденции в современном киноискусстве Запада. Можно надеяться, что они будут расти по мере роста влияния демократических сил на искусство тех, кто и в буржуазном обществе умеет и смеет слышать голос народа.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

И. Питляр. Мать и сын.— Ю. Буртин. Обратный эффект.— Г. Трефилова. Подвиг любви.— М. Туровская. Профессия — искусство.— О. Михайлов. В борьбе с инерцией.— С. Ларин. Певец чистого течения.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Г. Батищев. Человек — труд — свобода.— С. Эпштейн. Против лженауки.— М. Нечкина, Е. Рудницкая, С. Микулинский. Лоции архивных морей.— С. Осокин. Биография Антарктиды.— Н. Болотников. Трагедия ихалмютов.— Сергей Львов. Неряшливая книга.

Литература и искусство

МАТЬ И СЫН

Александр Адамович. Сыновья уходят в бой. Роман. «Дружба народов», № 7, 8, 1963.

Новый роман Александра Адамовича «Сыновья уходят в бой» — вторая книга дилогии, посвященной изображению партизанского движения в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны.

Сейчас, когда произведение завершено и мы можем охватить его «одним взглядом», нам яснее становится проникающая его мысль, единство его замысла.

По существу у этой книги (и в первой ее части — «Война под крышами», и во второй — «Сыновья уходят в бой») два основных героя: Мать — Анна Михайловна Корзун, и Сын — Толя. Есть, разумеется, здесь и другие: старший сын Анны Михайловны Алеша, родственники Корзунов, их соседи, партизаны. И все они крупно и зримо, хотя и несколько эскизно, изображены автором. Но главных все же только двое: Мать и Сын — бойцы одного и того же партизанского отряда.

В первом романе Анна Михайловна и ее дети воевали, так сказать, «под своей крышей»: снабжали партизан медикаментами и

продуктами, живя в своей Лесной Селибе. Сейчас они в лесу, в большом партизанском отряде: Анна Михайловна здесь — сестрой в санчасти, Толя, которому только исполнилось шестнадцать лет, — боец этого отряда. Правда, бойцом он стал не сразу. Первое время его шадили, поручали разную работу по лагерю. Это жестоко оскорбляло Толю. Но вот уже вместе со всеми Толя ходит на задания, учится обращаться с оружием, стоит в дозоре, испытывает все трудности и все скромные радости партизанского быта. А Анна Михайловна ждет — все время ждет возвращения своих детей, из очередного похода, с очередного задания. А потом снова снаряжает их в путь и снова ждет с надеждой и страхом, страхом и надеждой: вернутся ли?

Роман написан «с точки зрения» Толи. Не от его лица, но в то же время как бы и от его лица, ибо на все происходящее автор смотрит глазами Толи. Сделано это своеобразно: повествование ведется будто бы в объективной манере, от третьего лица,

но где-то вдруг каждый раз происходит «переключение» — и мы уже чувствуем, что это речь Толи, его мысли и ощущения: «От печи на Толю подслеповато смотрит старуха. Или еще не старуха? Не разберешь... На голове у нее теплый платок, хотя ноги босые. Всматривается она долго. А чего, собственно, смотреть? Партизан как партизан...»

И оттого, что мир увиден глазами подростка, мир этот — прекрасен, чист и богат в самом высоком значении этих слов. На что бы ни смотрел Толя, о чем бы он ни думал, какие впечатления ни вбирал бы в свою широко открытую всему хорошему душу — мы все время чувствуем, что это **смотрит**, думает живой и своеобразный юноша, остро ощущающий красоту мира, людей и природы.

Вот Толя стоит в партизанском дозоре:

«Ему поручили смотреть, и он смотрит, хотя понимает, что это просто так. От него отделились, вспомнили, что в лагере мама. А сами будут впереди поджидать немцев.

Солнце уже поднялось. Острые лучи пронизывают кроны деревьев, наверное, достают до утренних холодных перышек птиц, проникают в пушок, добираются до тепленькой кожицы. Не оттого ли так возбуждены, так вспархивают скворцы, так заливаются рыжегрудые зорьки. На суку зазеленевшей березы пристроилась сойка, все вертится, вертится. Будто показывает: «А вот еще какой цвет у меня есть, голубой, белый и вот еще какой!» Здесь на солнышке и запахи сильнее: молодой папоротник, черемуха.

Юрий Герман уже писал в «Литературной газете» о том, как живописно и поэтично написан роман Адамовича. К этому отзыву можно присоединиться. Здесь же хочется подчеркнуть несколько иную грань авторского замысла.

В самом конце романа Толя погибает. Погибает нелепо и, в сущности, зря, если применительно к войне вообще можно говорить о целесообразности смерти... Тем не менее Толя Корзун, именно он, мог и не погибнуть: он уже перешел линию фронта, оказался у своих, по молодости лет был признан пока что непригодным к службе в армии; мог уехать в тыл, работать или учиться (а он так мечтал о «фи-ло-логическом» факультете!). Но какая-то сила потянула Толю назад — в партизанский отряд, к матери, к товарищам. И вот на этом обратном пути Толя погибает.

Гибель эта потрясает именно потому, что мы понимаем: вместе с этим мальчиком погиб целый мир — мир его представлений и желаний, мир прекрасный, яркий и неповторимый, мир неосуществившихся надежд и несостоявшегося счастья, мир, ставший для нас, читателей книги, близким и своим.

А Толе так не хотелось умирать. Он даже думать об этом не хотел. И, я знаю, многие читатели первой части романа в письмах к писателю просили его — никим образом не «подставлять Толю под пулю», сохранить ему жизнь... Не все ведь погибали на войне. Многие, даже шестнадцатилетние, неопытные и юные, выживали, и потом им было семнадцать, восемнадцать, двадцать шесть, и у них уже у самих рождались дети. А Толе Корзуну так навсегда и осталось «шестнадцать мальчишеских лет»...

Вероятно, писатель просто не мог поступить иначе. Именно потому не мог, что нельзя, чтобы погибали шестнадцатилетние, такие, как Толя. Это бесконечно несправедливо и тяжело, когда должны умирать шестнадцатилетние. Они **не должны умирать**, и мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы они не умирали.

Такова, как мне представляется, глубоко гуманная, современная мысль этого сурового и мужественного романа.

Матери Толи и Алексея — Анне Михайловне отведена в произведении особая роль. У нее своя «музыкальная тема», с другой стороны и по-другому раскрывающаяся все ту же главную мысль романа. «Тема» Анны Михайловны даже графически выделена — это курсив, не сливающийся с общим текстом, прямая и открытая — от первого лица — исповедь, свободно и из самого материнского сердца льющийся поток мыслей и чувств.

Конечно же, Анна Михайловна знает жизнь лучше Толи, она понимает неизбежность смерти и страданий на этой войне. Ведущейся за правое дело. Но примириться с этим она — мать — все равно не может и никогда не сможет. Не только о своих сыновьях думает при этом Анна Михайловна, не только о себе печалится: «Вот и у этого партизана, что один лежит под деревом, где-то кто-то есть. И не знают, что он уже лежит... Последнее время я часто вижу их — чужих матерей. Будто сижу я на вокзале, совсем-совсем ста-

рая, а Толя, Алеша совсем еще дети, и их нет возле меня. «Мы на перрон», — и убежали. Тихо, очень тихо, поезда за окнами проносятся странные, беззвучные. Надо позвать детей, а я не делаю этого, сижу и смотрю в окно, на перрон, на мчащиеся поезда. **А ко мне подходят женщины: «Моего сына не видели? Если увидите...»** И не договаривают. А я осматриваюсь, ищу чужих сыновей, думаю, куда это они убежали, а поезда проносятся мимо пустого перрона...»

Это лейтмотив Анны Михайловны, партизанской матери, которая все время ждет сыновей — своих и чужих сыновей, у которых тоже «где-то кто-то есть...»

Что это — страх, отсутствие мужества? Да, страх. Но пусть кто-нибудь посмеет обвинить в отсутствии мужества Мать, которая сама вкладывает винтовку в руки своего сына и благословляет его на святой и правый бой!

Внутренние монологи Анны Михайловны (их немного, но они значительны и необходимы для романа) нельзя читать без глубокого волнения и сочувствия, — так понятны переживания этой женщины, так хочется отвести от нее неизбежную беду.

Выделенные курсивом, эти монологи — еще и своеобразный лирический комментарий к тому, что происходит в книге и что показано нам преимущественно «Толиными глазами», комментарий, как бы углубляющий и обобщающий Толины представления о жизни. Анна Михайловна любит и понимает людей, умеет отличать в них доброе от дурного, видит она и то, что недоступно Толе, то, что среди партизан, сообща делающих свое трудное дело, есть разные люди — есть хорошие, а есть и плохие, вредящие этому делу.

Книга Адамовича в этом смысле противостоит тем книгам, в которых партизанская масса изображалась поверхностно и однолинейно.

У Адамовича партизаны в подавляющем большинстве своем хорошие и смелые люди — лучшие из тех, кому пришлось остаться на оккупированной врагом территории и кто добровольно принял на себя труднейшие обязанности бойцов в тылу врага. Но при всем том это люди, живые люди, а отнюдь не ангелы. И, как это присуще лю-

дям, они все очень разные — каждый со своим, ему одному свойственным характером, со своими малыми и большими недостатками и достоинствами, одни более, другие менее сознательные, одни дисциплинированные, другие анархичные, эдакие партизанские «ухари» и «герои» (в основном в собственных глазах), живущие по «своим законам» и подчас крепко вредящие общему делу. Были здесь и просто очень плохие люди. Таков, к примеру, Мохарь.

Толе Мохарь видится таким: «Он в военном кителе, в диагональных галифе, крепкие мужские складки на квадратном лице выбриты до синевы. С новеньким автоматом и с неизменным планшетом, свисающим почти к каблукам. Странные у этого человека глаза: очень спокойные, даже холодные, но такие прилипчивые. Бакенщиков как-то сказал: «профессиональные». Видимо, надо сознавать, что ты не просто человек, а еще что-то, чтобы смотреть на людей так, как Мохарь. Смотрит, будто страницы листаает не спеша, поплеывая на пальцы. И ты невольно подставляешь себя этим глазам и сам начинаешь заглядывать в самого себя. Человек этот настолько уверен в своем праве и даже обязанности засматривать в тебя, читать тебя, как книгу, что и ты охотно соглашаешься: да, именно он имеет право, и это очень хорошо. Потому хорошо, что ты знаешь: в тебе все на месте, как должно быть, ты свой. И верится, что Мохарю только это и надо, что он это видит, что это его тоже радует».

Но Анна Михайловна видит и понимает в Мохаре другое — видит, вернее чувствует, опасную сущность этого человека, его трусость, подозрительность, мстительную жестокость по отношению к тем, кто сумел его «раскусить». Мохарь гордится тем, что ему удалось «разоблачить» и расстрелять честнейшего Бакенщикова («Болтал, пока проболтался. Оказалось, из заключения бежал, бывший враг народа»), не задумываясь, стреляет в Сержу Коренного, который когда-то был свидетелем его трусости и подлости.

Сейчас мы понимаем, откуда брались такие Мохари с их «профессиональными» глазами и неумным стремлением властвовать и повелевать... Сейчас мы говорим о них: «порождение культа личности Сталина». Адамович не модернизирует отношения своих героев к Мохарю. Они не могли тогда понять того, что понимаем мы сейчас. Но

многое они, и в частности Анна Михайловна, чувствовали в нем верно...

Хороши и рельефны в романе образы партизан — шутивно-отважного Коваленка («Разванюши» — мы знали его и по первому роману Адамовича), старика Бобка, сильного духом Бакенщикова. Все они очерчены несколько эскизно и бегло, но это потому, что мы встречаемся с ними только тогда, когда они попадают в поле зрения Толи или в круг размышлений Анны Михайловны. «Самостоятельно», так сказать, они в книге не действуют. Но это не мешает им быть живыми.

Наверное, именно потому, что Адамович умеет делать самое главное — создавать

достоверные и живые образы разных и очень конкретных людей, мы так привязываемся к его героям и так трагически остро переживаем их гибель.

К бледным, бесплотным схемам невозможно привязаться душой, им нельзя сочувствовать, их нельзя любить...

Талантливый роман Адамовича органически входит в круг книг о войне, написанных советскими писателями в последние годы, книг, которые, повествуя о войне и смерти, в сущности, утверждают жизнь и мир. В этом кругу, думается, и следует его рассматривать.

И. ПИТЛЯР.

★

ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ

Николай Строковский. История одной ночи. Повесть. «Октябрь», № 9, 1963.

В повести Николая Строковского «История одной ночи» много говорят о литературе. Есть развернутые высказывания, например: «Даже с любимым человеком нельзя все время говорить о любви. Мы говорили обо всем: о жизни, книгах, кинокартинах, о стройке, о будущем. Говорили о нашем труде на площадке, хотя, помню, литкружковцы однажды издевались над писателем, у которого влюбленные говорили о производстве, при этом литкружковцы ссылались даже на критиков, чьи статьи публиковались в газетах и журналах. Мне трудно было с ними согласиться, то есть я вовсе не мог с ними согласиться, потому что это противоречит правде жизни».

Есть и просто беглые упоминания: «...горячую воду ТЭЦ подает круглосуточно, купайся, когда хочешь. можешь даже, если позволяет время, не выходить из ванны и читать журнал «Юность» про разных червячих мальчиков — никто не постучит в дверь...» Или: «...у кого-то на магнитофоне надрывно стонал под гитару уже всем надоевший эстрадный поэт:

Как много, представьте себе, доброты
В молчанье, в молчанье...»

Или (уже, очевидно, без какого-либо конкретного литературного адреса): «...Жена его несколько лет назад сбежала с одним кудлатым поэтом, чьи песенки о верности распевают на стройках и в разных городах».

Все это говорится в повести от лица ее

главного героя Вани Твердохлеба, девятнадцатилетнего рабочего-строителя. Столь же охотно высказываются на литературные темы и другие персонажи.

Один из центральных эпизодов повести — вечер в рабочем клубе с участием писателей. Писатели — «какие-то, говорят, нигилисты или модернисты» — выглядят здесь так: «Бригадир писателей... стал хвалить своих дружков и про себя не забывал: написал, мол, и он кое-что критическое, хотя мы не слышали. И еще сказал, будто до них литературы настоящей не было, а появилась вместе с ними.

...Затем выступил поэт... Он читал высоким голосом, как бы подвывая, и лицо у него белело, пятнилось, словно он поднимал балку, и кулаками грозился, и глаза наливались злостью. Потом — другой, с виду потише, но тоже по всему — завзятый, кулаками размахивал, как если б собирался встрять в драку. И был сильно напудрен. И у третьего лицо было напряженное, перекошенное, словно у расколльников, как их изображают на некоторых исторических картинах.

Рассказывали они про любовь, баклажаны, атомы, интегралы, кислую капусту и микропоры».

Потом говорят рабочие и инженеры — положительные герои повести.

«В жизни, понятно, есть недостатки, но больше хорошего... Пиши про хорошее и радуй людей своим рассказом».

«А «звездные мальчики» — шалопаи, бездельники, бесящиеся с жиру, и разные «абвгдеешники» — мусор в половеде».

«И дело не в манере, в стиле, в образной ткани. Дело в более глубоком: в идейной позиции».

Временами кажется, что «литературная» тема занимает в повести слишком большое место и что, пользуясь правом хозяина, Н. Строковский слишком обременяет героев излишним эстетических проблем.

В соответствии с литературной программой, столь широко представленной в повести, ее героями стали люди, представляющие, по мысли автора, «основную массу молодежи». Все они и работаши, и жизнерадостны, и романтичны, и окрылены, и влюблены:

«— Мечтатель!.. — шепчет Гася.

— Самая близкая...

— Улетим!

— Куда?

— Куда хочешь!

— К этим звездам?

— Это Близнецы. Наши звезды. Звезды любящих!

— Улетим к Близнецам!»

Герои Н. Строковского гордятся своей стройкой, любят ее руководителей, и, кроме грязи на дороге в школу, любовных неурядиц и писателей, никто и ничто не омрачает их жизнь.

Но странно: при всех своих достоинствах, они как-то не вызывают симпатии и знакомство с ними не доставляет особенной радости. В чем тут дело? Отчасти это можно объяснить тем обстоятельством, что автор слишком торопился написать свою повесть, насыщая ее злободневной литературной полемикой. Однако вряд ли причина лишь в этом. Пересматривая отдельные сцены, приглядываясь к отдельным персонажам, я должен был согласиться с Н. Строковским — «дело в более глубоком: в идейной позиции».

Вот, к примеру, один из героев повести — комсорг стройки Сережа Ласточкин. Читателю он представлен следующим образом: «Сережа — потрясающий парень! Мы его любим, уважаем и с ним считаемся как с товарищем, хотя он руководство». Как не поверить такой рекомендации, тем более еще раньше сообщалось, что во время одной авральной работы он всю ночь вместе с рядовыми строителями разгружал трюмы. Но вот Сережа в первый раз появляется перед

глазами читателя: он получил квартиру в новом доме и Ваня Твердохлеб помогает ему устроиться на новоселье.

«Мы с Сережей мотались целый день по Киеву, собирая книги, которые он роздал знакомым на сохранение».

Нагруженные пачками, мы раз двадцать взлетали через ступеньку на пятый этаж, обгоняя друг дружку, брали высоту одним махом, хохотали до упаду, только гул катился по лестнице.

Мы присмотрели в магазине два шкафа, небольшой шифоньер, кабинетную тахту с тремя пружинными подушками, письменный стол с одной тумбой: у парня, по всему, были на сберкнижке деньжата».

Уже здесь что-то немножко настораживает: то ли что пачки книг розданы Сережей «на сохранение», а не просто оставлены у знакомых, то ли что, выбирая с Ваней мебель, он не посвятил его в свои денежные дела...

«Когда все отвезли на квартиру, первым делом расставили книги, плотно, корешок к корешку, подписные издания, приложения к «Огоньку», политическую литературу. Письменный стол украсили перекидным календарем на пластмассовой доске, прибором с авторучкой, блокнотом на спиральке. Положили свежие номера «Комсомольской правды» и «Перца».

В том, что «Комсомольская правда» положена для украшения стола, опять есть что-то нехорошее, хотя ни Ваня, ни говорящий его устами автор этого совсем не замечают. Впрочем, пока это лишь какие-то случайные штрихи...

Когда все приведено было в порядок, Сережа предложил приятелю поселиться вместе с ним. Ответ Вани любопытен: «Нет, Сережа, к чему? Как-никак, ты хоть и свойский парень, но руководящий товарищ. Будешь на брандвахте («койка, низ тумбочки, два крючка вешалки». — Ю. Б.). Мне здорово повезло!»

Соображение, что «руководящему товарищу» не пристало жить в одной квартире с простым рабочим, не кажется Сереже странным, и он не настаивает: «Как знаешь. Я предложил. И предложил без всякого расчета на то, что ты откажешься».

Последних слов лучше было не говорить: они производят эффект, обратный желаемому. Так или иначе, он предложил, и совесть его спокойна. Больше того, одним этим предложением он сразу расплатился с Ваней за помощь и как бы даже сделал его немнож-

ко обязанным себе. Тот чувствует это и позднее, когда ему придет время уходить, растроганно скажет Сереже: «Прощай, друг! Спасибо!»

Но прежде между ними происходит еще один любопытный разговор. Говорит Сережа: «Да, Вань... Жизнь — это тебе не ридиска в сметане, хотя люди рождены для счастья, как птицы для полета! — сказал один мудрый человек. У людей от рождения красивая душа, но не каждому удается сохранить красоту на всю жизнь: прилипают к ней разные ракушки, слизь. Нам нужно освобождаться от гнили, которая досталась от прошлого. И от плесени, что набегает из чуждого нам мира... В дальнюю дорогу человек берет с собой самое необходимое, самое дорогое. Вот и мы в нашу дальнюю дорогу берем скромность, порядочность, честность, большую любовь к Отчизне, к народу, к человеку».

Выслушав эти верные, но предельно общие слова, эту риторику, не согретую живым чувством, его собеседник проникается к своему высокому другу все большей признью:

«— А тебе не скучно будет? — спросил я Сережу...»

— Чего там скучно! Во-первых, учеба. А во-вторых... Раз квартира есть, а ты отказываешься переезжать, женюсь, Вань. Обязательно. (Видимо, надо понимать так, что если бы Ваня согласился переехать, Сережа на всю жизнь остался бы холостяком.— Ю. Б.) Найду себе настоящего друга, человека хорошего, приятного. И чтоб, глядя на жену, не приходилось думать о загробной жизни. Само собой, пойдут детки...»

Квартира, решившая вопрос о женитьбе, приятная жена, которую предстоит найти, и наконец запланированные детки — это уже последние удары кисти. Если бы такая победа хоть в малой степени отвечала намерениям автора, его можно было бы поздравить: он создал по-своему законченный образ пошлака!

Но в том-то и дело, что все обстоит совсем наоборот. В повести Н. Строковского Сережа — положительный герой, стопроцентный, без каких-либо «выщербинков» и изъянов. Он деятелен, непримирим к «нигилистам или модернистам», внимателен к людям. С начала и до конца он так и остается в глазах Вани и всех других прекрасным товарищем, «нашим комсоргом», «нашим Сережей». То неприятие в нем, что открылось в рас-

смотренной сцене, нигде больше не всплывает наружу. Да и в этой-то сцене автор, вполне очевидно, вовсе и не думал «разоблачать» Сережу. Напротив: и обилие книг, и щедрое предложение, сделанное Ване, и высокие слова о порядочности и дальней дороге, и мелькнувшее упоминание об учебе, и намерение жениться — все это должно было лишь «утеплить» образ комсомольского вожака и расположить к нему читателя. И виноват ли Н. Строковский, если при этом он оказался не в состоянии уловить и должным образом оценить некоторые «оттенки» в поведении своего героя, и то, что было в его устах искренней похвалой, для читателя оборачивается подчас порицанием? Такова уж позиция писателя, такова ее нравственная высота.

Важное место в повести занимает Игорь Неделин, сосед Вани Твердохлеба по общежитию и руководитель его бригады. Он показан вполне определенно (своего соперника, например, ставит «на самую трудоемкую или малооплачиваемую работу»), и не понятно, почему автор при этом старается убедить читателя в том, что Игорь — «наш человек, вполне» и даже «положительный образ», хотя и с некоторыми недостатками.

Обратимся наконец к самому Ване. Это любимое детище Н. Строковского. Правда, любовь свою он не имеет возможности выразить прямо, ибо все повествование ведется от Ваниного лица, но зато щедро выражает косвенным образом: к Ване теплю и дружески относятся товарищи по стройке — и парни, и девушки, и рядовые, и начальство. «Хороший ты, Ваня! Ты прямой, честный парень!» — говорит ему Гася. А главное, доверив ему все освещение людей и событий, автор ни в чем, никакими находящимися в своем распоряжении способами не поправляет его оценок и мнений и если подчас как бы отодвигается от него на некоторое расстояние, то лишь затем, чтобы полюбоваться юношеской непосредственностью своего героя, прелестью его «молодежного» языка и т. д.

И опять та же беда — разительное противоречие между авторским пониманием героя и его действительным содержанием. Пока герой говорит о себе, пока его характеризуют другие, он — одно. Но стоит только писателю сделать попытку показать его в действии, как нам предстает нечто совсем другое.

Послушаем Ваню Твердохлеба, когда го-

ворит он, например, о своем отношении к людям: «Я верил людям... Мне хотелось, чтобы люди были лучше, правдивее, порядочнее, и я видел красоту людского поведения в реальной жизни, в натуре. Сам очистившись от грязи, я считал, что и другие стремятся к этому. Я шел в новое с чистой душой».

Не будем придирааться к тому, что звучит это немножко высокопарно и нескромно. Полистаем повесть, посмотрим, как выглядит все это «в реальной жизни» героя, «в натуре». Взять хоть то место, где Ваня рассказывает, как его бригада впервые получала зарплату без кассира. «Конечно, по первому новому случаю присутствуют Сережа Ласточкин и другие руководящие товарищи. Интересно, как наша бригада покажет пример сознательности... Стал ребятам подходить в затылок, чинно... Отыщет парень свою фамилию в ведомости, распишется и отсчитает положенное. А мы, актив, еще раньше сговорились, что ежели последнему не хватит, скинемся и — порядок!»

Ни Ваня, ни остальной «актив» не понимают, как должно быть обидно для других членов бригады их решение, как фальшива и оскорбительна сама эта сцена получения зарплат в присутствии «руководящих товарищей», какая бестактность и по сути дела недоверие к человеку сквозят в ней! Кстати, уже не в первый раз замечаем мы здесь, что герой Н. Строковского очень хорошо чувствует расстояние, разделяющее «рядовых» и «руководящих»: на первых он смотрит чуть свысока («мы, актив»), а на вторых почтительно снизу. Помните, как мотивировал он свой отказ переехать к Сереже? Он бегаёт за папиросами и ливерной колбасой для Игоря и моет ему посуду. Такой с начальством не заспорит. Он уже сейчас, едва достигнув совершеннолетия, впитал в себя достаточно «житейской мудрости» и, положим, о школьных своих успехах не без самодовольства рассказывает так: «Я... отвечал на исторические вопросы согласием с учительницей, и в журнале получались удовлетворительные оценки. Учиться можно!»

И так во всем. Он с пафосом заявляет о своем коллективизме и приходит в восторг от индивидуального звонка в квартиру Сережи: «Квартирка люкс! Отдельная, никто тебе ничего... Своя дверь, свой ключ, звонок — и никаких: к такому-то — один раз, а к такому-то — восемь».

А любовь! Она занимает в повести главное место. Сколько сказано о ней Ваней поэтических и вдохновенных слов! «Я верю в большую любовь. Она есть. Это — самое красивое чувство. И самое благородное» и т. д. и т. д. Однако с таких высот он легко сходит на землю, и в голосе его появляются совсем иные интонации: «Против разящей красоты Игоря бороться бесполезно. Сколько я передал ему приветов, записочек!.. Но он этим не злоупотребляет... Строго по потребности». Когда к Игорю должна прийти женщина, Ваня с готовностью уходит в кино.

«Возвратившись, я обычно спрашиваю:

— Ну, как?

— Порядок!

— Смотри, Игорь, будет у тебя плешь!.

— Плешь бывает от чужих подушек. У меня своя!»

А в школе, на уроке литературы, который ведет учительница, «шустрая, смешливая, моторная, хотя и не молодая, лет, может, под тридцать», рассеянно слушая про «лишних людей», Ваня соображает: «Кому-то досталась конфетка!» Такой застарелый, махровой пошлостью разит временами от этого юного активиста, что перед ним бледнеют и великодушный Игорь, и «наш комсорг» Сережа Ласточкин.

Главное место в повести занимает любовь Вани Твердохлеба к Гасе. В их отношениях бездна возвышенного (напомню приведенный ранее диалог о совместном полете к звездам). Как акт высокого благородства подается автором решение девятнадцатилетнего Вани жениться на разведенной двадцатичетырехлетней Гасе.

Может быть, мы и уверовали бы в благородство чувств героя, если бы не наблюдали ю временам их непосредственных проявлений. Здесь я имею в виду совсем не тот случай, когда, заподозрив измену, Ваня Твердохлеб «сорвался», ударил Гасю, — в повести этот якобы единственный срыв призван только подчеркнуть нравственную чистоту героя, его нетерпимость к лжи, указав одновременно перспективу дальнейшего его совершенствования. Интереснее взять детали, на которых автор и не думал задерживать нашего внимания.

Вот первое пробуждение робкого и трепетного чувства: «Я посмотрел вслед и снова поразился ладной ее фигуре. В комплекции ни одного лишнего грамма или недостачи, и ножки, словно балясинки на некоторых бал-

копах довоенного времени». Вот развитие этого чувства: «Сядешь рядом. Ногу нечаянно отставишь и чувствуешь, как тепло от нее идет, живое, радостное». Наконец — кульминация: «И настало такое, что днем и ночью в уме только она... Стоит перед глазами — черноокая, с косой, сбитая, плотная, жаркая». Что ж, Гася очень точно определила своего возлюбленного — мечтателя!

Вскоре их любовь становится взаимной, и тут герой обнаруживает не только пылкость, но и благоразумие. Он опасается, как бы Гася не предпочла ему пожилого мастера с деньгами и с положением. «У Гаси, — размышляет влюбленный Ваня, — могла появиться мысль, как у каждой (!) женщины, а тем более с ребенком, пристроиться (!) прочно, иметь свое гнездо». «...Чтобы обезопасить свой тыл (!), я стал уговаривать Гасю пойти в загс». Уговаривать пришлось не только Гасю, но и ее мать, однако и это удалось Ване с блеском.

Обращаясь к ней, он произносит патетически:

«—Мама! Я люблю Гасю... И вас прошу, мама, дать согласие на брак. Вы первая женщина, которой говорю святое слово ма а а...»

Кажется, подействовало... У матери заблестели слезы...»

Рассчитанный пафос употребления «святых слов» — этого, пожалуй, только и недоставало герою. Теперь перед нами уже вполне готовый портрет обывателя. И его-то вполне серьезно и даже несколько торжественно рекомендуют нам как «рабочего эпохи строительства коммунизма!» И ему-то в уста автор влагает свою литературно-общественную программу!

Споря с автором, я совсем не хочу сказать, будто загримированный под передового рабочего мешанин есть явление нежизненное и невероятное. Таких еще можно встретить, равно как и мешан-интеллигентов. И в жизни они бывают весьма похожи на Сережу, Игоря или Ваню: та же грубость чувств, та же корыстная избирательность «уважения» к людям, то же умение с пафосом говорить на любые высокие темы, всерьез интересуясь лишь собственной квартирой, тот же нерушимый «оптимизм» равнодушной и преуспевающей сытости. И литература наша, в ряду других своих дел, должна глубоко и тщательно исследовать этот социальный тип. Беда Н. Строчковского не в том, что он показал нам тип обывателя, а в том, что не разглядел в нем его сути и дюжинного пошляка выдал за положительного героя нашего времени.

Ю. БУРТИН.



ПОДВИГ ЛЮБВИ

Николай Чуковский. Избранное. «Московский рабочий». М. 1963. 558 стр.

Книга Н. Чуковского «Избранное» составилась естественно и неспешно. В одном ее томе сжато тридцать лет работы автора, представлено три поколения советских людей. Она копилась годами, и теперь нам яснее видно то, что сначала было в ней смутным стремлением, что искало своего русла и наконец пробило его.

В «Избранное» не вошло широко известное «Балтийское небо». Случайность это или умысел, но так легче, а может быть, и плодотворнее взглянуть на новую книгу совсем отдельно: тогда она и ее автор покажутся несколько иными, чем ожидалось; мотивы, притененные и затерянные в разных, то памятных, то забытых, рассказах, здесь слышатся весьма отчетливо.

Исторический принцип расположения написанного («Ярославль», «Пятый день», «Варя», «Сестра» — эпоха гражданской вой-

ны; «Бродяга», «Цветок» — начало тридцатых годов; «Двое», «Трудна любовь», «Суд» — война Отечественная; «Мост», «Неравный брак», «Последний разговор» — конец пятидесятых — начало шестидесятых годов) лишь подчеркивает внутреннюю цельность книги, не скрывая в ней того, чем и как обогатилось ее время.

Любимый жанр автора — протяженный, обстоятельный рассказ-хроника, нередко перерастающий в повесть и преимущественно одноплановый, за исключением «Ярославля», где главный герой отсутствует, а сюжет более разветвлен.

Построение этой самой ранней, наиболее хроникальной и громоздкой повести, как видно, доставило автору немало хлопот. В ней было много действующих лиц, из них большинство характеризовалось бегло, некоторые только назывались. Сюжетные ли-

нии, умело, впрочем, сплетенные и завершенные, были движимы не развитием или развертыванием характеров, а только ежедневным (заглавия: «Первый день», «Второй день и третий», «Шестнадцатый день») ходом событий, связанных с подавлением контрреволюционного восстания ткачами ярославской Большой Мануфактуры летом 1918 года. Некоторые, преимущественно «белогвардейские», сцены оказались очень наивны, другие — слишком надуманны или информационны. И все же, несмотря на трудности и просчеты, автор сумел — что было для него очень важно — передать драматизм столкновения сил революции и мятежа, обозначив также и другие темы, к которым еще будет возвращаться.

Уже в этой повести рассказчиком избрана та основная интонация, которой он не изменяет и позднее, лишь используя заложенные в ней возможности да осторожно обогащая ее некоторыми оттенками. «Ярославль» датирован 1937 годом и написан так:

«Кривая немощеная улица, покрытая мягкой остывшей за ночь пылью, оживала. В низких деревянных домах то тут, то там раскрывались окна, и из окон высовывались головы, прислушиваясь к вою гудка, который проникал всюду, во все каморки, чуланы и кухни. В соседнем доме распахнулись ворота, и оттуда выскочили двое с винтовками, застегивая на бегу рубахи. Не оборачиваясь, побежали к Большой Мануфактуре.

Ваня тоже спешил к Большой Мануфактуре, а Константин Федотыч свернул направо, к мосту через Которосль.

Настя пошла с Константином Федотычем.

— Куда ты? — спросил ее Ваня. — Тебе со мной.

— Я с Константином Федотычем, — ответила Настя.

В этом отрывке все бегут и спешат, но характерно: они спешат медленно, за ними нетрудно поспеть. Так и вся книга, располагающая к неторопливой и сосредоточенной серьезности. Эта эмоционально сдержанная, уравновешенная, в высшей степени предметная проза избегает разнообразных эффектов выразительности и только изредка допускает в свой плавный поток элемент некоторой торжественности или — еще реже — юмора.

Слустя двадцать пять лет после «Ярославля», в 1962 году, написан один из лучших рассказов Н. Чуковского «Неравный

брак». Героиня его, библиотекарь Вера Петровна, каждый день ездит на работу из пригорода. «Она привыкла к этим утренним поездкам в город и любила их. После ночи в маленькой душной комнате, где спала она вместе с матерью и дочкой, после керосинки, после улочек поселка, едва проходимых от весенней грязи, приятно было войти в светлый, чистый вагон с желтыми скамьями и широкими окнами. Вера Петровна садилась у окна, за которым мягко плыли влажные поля с бурой прошлогодней травой, с последними пятнами снега в ложбинах, и бродили туманные столбы солнечного света, пробивавшиеся сквозь промозги в тучах. Вера Петровна всегда ехала в третьем вагоне — такая у нее издавна установилась привычка, в которой не было никакого смысла, потому что этот вагон ничем не отличался от других. Но остальные пассажиры, едвигшие каждое утро этим поездом, имели такие же твердые привычки, и Вера Петровна всякий раз оказывалась среди тех же, уже виденных, лиц и от этого чувствовала себя в вагоне еще уютнее».

Мы приводим эти характерные для Н. Чуковского отрывки не как иллюстрацию каких-то небывалых художественных красот или, напротив, их отсутствия; было бы странно к ним обратиться, ничего еще не сказав о писателе и произведениях. Обычно это принято делать где-то в конце: при этом одни решили бы, что простота изложения, правдивость оценок и достоверность мельчайших деталей — несомненное достоинство. Другие, напротив, нашли бы авторскую манеру несколько монотонной, а обилие подробностей — чрезмерным и не идущим к делу: словно бы уверившись однажды, что сила его — не в «экспрессии», а в скрупулезной изобразительности, автор опасается опустить иную даже и второстепенную деталь. Словно бы он считает, что два определения или дополнения всегда надежнее, чем одно.

Надежнее — может быть. Лучше — едва ли. Однако нам важны сейчас не излишества или красоты, а определившиеся черты авторского стиля, всегда обусловленного отношением писателя к действительности. Это не значит, что автор проповедует это отношение как веру или агитирует за него как за программу. Но оно просвечивает через его художественную систему и составляет ее основу.

Какой бы из рассказов книги Н. Чуков-

ского ни был раскрыт, какие бы смятенные годы ни оказались в нем фоном — эпоха революций, годы нэпа, Отечественной войны, — всюду отмечаешь уверенное спокойствие авторского взгляда и голоса. Это спокойствие может быть то безмятежным, то грустным, иногда, пожалуй, тревожным, но нигде не «выходит из себя». Всегда и везде — точное соблюдение колорита места и времени, погружение в будничную повседневность, плотная среда житейского быта, в которой вырастают, формируются и раскрываются простые, понятные, основательные характеры современников автора.

Все те, кого он любит и знает, поставлены, как правило, в подчеркнута обыденные и нелегкие обстоятельства: в жизни народа, к которому они принадлежат, не было «легких» эпох, сама трудность стала поэтою обыденной. Константин Федотыч, Настя и Ваня в условиях контрреволюционного восстания и белого террора — в «Ярославле»; девушки и юноши петроградских красногвардейских отрядов 1919 года, истощенные до предела, в башмаках, подвязанных веревками, и все же бодрые, «казалось, не замечавшие всей тяжести своей доли» (рассказ «Варя»); Елена Андреевна Кудрявцева, инженер Завойко, да и все другие обитатели прифронтового аэродрома — в годы Отечественной войны («Трудна любовь»): «Да, немцы быют во нас здорово... Пристрелялись за год, — говорит здесь командир Гожев. — Ползком живем». Таковую уж не розовую жизнь предлагает история этим людям обыкновенных судеб и обыкновенных лиц — тоже, кстати, характерная черта; еще Настя в «Ярославле» «все огорчалась, что у нее такое обыкновенное лицо».

Сюжеты рассказов Н. Чуковского излагать трудно — сами по себе они мало о чем говорят. Нет ничего примечательного в том, что один человек попросил передать своей матери пакет с колбасой, а у того, кого об этом попросили — у рассказчика, — пакет кто-то украл. Эта маленькая дорожная неприятность могла бы быть скоро и прочно забыта или превращена в шуточный эпизод. Но по мере того, как мы знакомимся с особенностями характеров и отношений действующих лиц, и чем глубже погружаемся в атмосферу прифронтового блокадного Ленинграда — тем понятнее нам, как этот немудрящий сюжет становится основой тонкого психологического этюда, предполагаю-

щего в авторе несколько даже изощренную впечатлительность и обостренное нравственное зрение («Суд»).

Исторические обстоятельства в рассказах Н. Чуковского заполняют и определяют человеческую судьбу, а судьбы многих людей характеризуют эпоху. Поэтому тщательное воспроизведение колорита эпохи, обстановки действия — будь то роскошная, в двадцать семь комнат, квартира богачей Алексеевых, отданная в 1919 году под Дом просвещения, или груда припасов на прилавке торговца-нэпмана, или тот самый «третий вагон», в котором всегда ездила библиотекарь Вера Петровна, — для автора это не «роскошь», не избыток изобразительности, а неперемное условие воссоздания характера. Другое дело, что сквозь дебри подробностей автор иной раз ведет нас почти тем же путем, которым шел сам: тогда этот не столь уж краткий путь бывает утомителен и требует читательской выдержки.

Благодаря тому, что художественное пространство рассказов и повестей Н. Чуковского основательно заполнено житейски-обиходной материей, легко причислить его к легиону литераторов-бытописателей. По отношению к раннему творчеству это могло бы показаться в какой-то степени оправданным, но чем далее от «истоков», тем все менее. Будничная повседневность у него не рассыпается на бесчисленное количество разрозненных вещей, а представляет единое и нераздельное целое.

Мир для героев Н. Чуковского — осязаемая, осязаемая, непосредственно созерцаемая действительность вещей и событий, просветленная и очищенная революцией, которая внесла в общественное бытие свой справедливый закон, освободив и возвысив простого человека, человека труда. Установленный раз и навсегда, прочный и непреложный как историческая необходимость, этот закон заключил в себе смысл и красоту жизни, а все ее зловещие тени представил преходящими, низвел до уровня случайности.

Именно вследствие этого житейская «проза» у Н. Чуковского не враждебна людям. Она для него — та прочная основа, вне которой невозможны ни духовные взлеты, ни полнота человеческого существования. Это не значит, что она всегда одинаково необходима; в ее буднях — своя градация моральных величин и человеческих качеств, ее герои не однокрасочны. Они бедны или богаты, добродушны или суровы, умны или глупы,

легкомысленны или серьезные, равнодушны или восторженны, но на них можно положиться.

В рассказе «Сестра» много авторской симпатии отдано не только старому сормовскому рабочему Якову Ивановичу Потанину, все поступки которого «были тверды, последовательны и бескорыстны» (тот же типаж, что и Константин Федотыч в «Ярославле»), но и непутевому, лихому Сашке Воронову, хотя «весь он был полон горделивым, цветистым, как павлиний хвост, вздором» и легкомыслие чуть не погубило его. Сашкин вздор, хвастовство, удаль — всего только облетающая шелуха, и Сашка тоже целиком принят революционным законом, хоть и не дорос еще до его безусловных нравственных мерил.

Таковыми мерилами оказываются любовь, героизм, самопожертвование — «сокрытые двигатели» жизни, высшие и нетленные ценности бытия. Часто в книге Н. Чуковского они сливаются воедино как образ жертвенной и героической любви. Каждое ее явление, как бы оно ни было мимолетно или нестойко, и все равно — в мире ли общем или, напротив, сугубо интимном — предстает как новое торжество добра, как образ красоты. Этот образ — то высоко патетический, как в «Последнем разговоре», то нарочито сниженный, убогий («Цветок»), то несколько сентиментальный («Мост») — присутствует почти в каждом рассказе. Потому-то вся книга с ее солидным, положительным прозаизмом чужда холодности и трезвости: она как бы теплеет, отражая свет озаренного человеческого лица — лица любви.

И вот в эту понятную, потенциально-гармоническую реальность то и дело врываются какие-то посторонние ей, алогичные и разрушительные силы, которые стремятся опровергнуть ее устойчивость и смысл. Это силы авантюрные и обреченные, они не способны поколебать ее основы, но они наносят большой, часто невозместимый ущерб, столкновение с ними бывает неизбежным и становится источником драмы. Писатель потрясен непомерной ценой, которую приходится платить за их вмешательство в жизнь, и нет для него врага ненавистнее. Он открывает и метит этого врага неустанно, учит издали различать его, подобно тому как одной только пронизательностью добра отличил все же ведьму от панночки гоголевский казак Левко

Своеобразное «двуемирие» в нравственно-

философских представлениях порождает характерную для книги Н. Чуковского эстетическую двуплановость: образам любви как одного из высших смыслов реальности противостоят образы авантюры как покушение на эту реальность. (Заметим, что полярность того и другого начал особенно отчетлива в ранних, написанных в двадцатые—тридцатые годы, произведениях, и это печать эпохи: литературный традиционализм автора опирался в них на некоторые черты мировосприятия тех лет со свойственной ему четкостью контрастов: белое — красное, за — против, друг — враг.)

С тех пор как в повести «Ярославль» семнадцатилетняя Настя под влиянием необъяснимо сильного чувства доброй волей уходит за революционером Павлом Ивановичем в тюрьму, а потом в числе ста девяти смертников, жертв белого террора, попадает на полузатонувшую баржу, где он умирает от гангрены, — в любом почти сюжете книги Н. Чуковского этот мотив жертвенного героизма любви варьируется и развивается.

Писатель не скрывает чувственной природы любви, но, оставляя ее нашей «грешной земле», он, как и многие до него, стремится постигнуть ее духовное существо. Пожалуй, более всего он поражен ее близостью к подвигу: между ними нет грани, они сопутствуют друг другу. В «Ярославле» это еще требует деклараций; автор пишет о Насте: «Совершить подвиг доброты, любви, преданности ей было так просто, что она даже не подозревала о его величии». В «Последнем разговоре», где герои неизмеримо сложнее и человечески, как характеры, и художественно, как образы, — таких признаний уже нет, они излишни. Есть жизнь русской женщины-труженицы, искореженная войной, немецкой оккупацией, вдовством, сиротством, — и все же живая, отзывчивая на чужое горе, готовая к подвижничеству.

Героини Н. Чуковского: почти девочки — Настя и Варя, замороженные первым своим чувством; молодые женщины с трудной, неблагоприятной судьбой — потерявшая мужа и ребенка Елена Андреевна Кудрявцева, кокетка поневоле; словно мстящая любовью за любовь («Трудна любовь»), или Вера Петровна в «Неравном браке», после неудач и пережитых потрясений ранней молодости с таким трудом, но так ненадолго уверившая себя в том, что «счастья нет, а

есть покой и воля»; наконец, увядающие, жестоко истлестанные жизнью, с «тяжелыми и трагичными» биографиями военных лет «вдовы, разведки, старые девы, одинокие матери» в рассказах «Сестра», «Суд», «Последний разговор» — все они одарены талантом самоотверженной и деятельной любви, ничего не желающей для себя, кроме одного — быть кому-нибудь нужной. Всем им свойственны щедрость и «бесконечное смирение любящей души», которая одаряет любимого «самым прекрасным, что только может себе вообразить». И лицо каждой из этих женщин способно становиться не красивым, а именно прекрасным человеческим лицом.

Что, казалось бы, может быть подлее и чудовищнее, чем попрание такой любви, чем вероломство по отношению к ней? Но именно это — одно из первых и всего лишь частных, «попутных» действий тех ненавистных сил, которые предают не только любовь, но и самую жизнь. Загадка этих темных сил, искажающих лицо жизни гримасой ужаса или боли, долго не отпускает писателя. Он напрягается, чтобы увидеть их первопричину, докопаться до их корней, но ответ ему не дается. «Как они осмелились!» — восклицает он вместе со своим героем Ваней, когда тот думает о белых, поднявших мятеж. «Тучи низко висели над мостом. Смертельная тоска томила Ваню. «Как они смели? — мучительно удивлялся он и не мог понять. — Как они смели затеять такое дело?» Вот все, что он может сказать.

Четыре рассказа предворяют в книге повесть «Ярославль» или написаны одновременно с ней. Это «Цветок» (1931), «Бродяга» (1932), «Сестра» (1933) и «Пятый день» (1937). Во всех них притязает на господство подпольная, низменная стихия авантюризма и мятежа.

«Цветок» — это непретенциозный как будто, но достаточно ядовитый сатирический набросок характера маленького, прилизанного, хоть и несколько помятого тунеядца и злопыхателя эпохи нэпа — этакое таракана, родственного тем, что шуршали за обоями его жилья. Он способен лишь на самые мелкие и неопасные пакости, а живет за счет глупых, жалких, но любящих женщин, предавая их одну за другой и вымогая у них деньги их «кормильцев» — чиновников и торговцев. «Бродяга» Миша — аферист покрупней и поразнообразнее. Он чуть ли не с детства предприимчив и гадок,

его жизнь нестра, словно географическая карта, его бросает из России в Персию, оттуда в Палестину, потом в Грецию и так далее, но интересы Миши не идут дальше наживы. Другое дело — Валерьян Сергеевич Кудрявцев («Сестра»), отставной штабс-капитан Чекалин («Пятый день»), поручик Костаржицкий и полковник Перхуров («Ярославль»). Это уже военные заговорщики, политические авантюристы. Нельзя сказать, что писателю удается проникнуть в тайны их психологии. Напротив, она скрыта от него и он словно брезгает ею. Но ни одно ее внешнее проявление — жест, речь, поступок, мина, одежда, походка — от него не ускользает.

Какой любопытный и, в сущности, саморазоблачительный монолог произносит, например, замаскированный «под комиссара» проходимец Лева Кравец в рассказе «Варя»: «— Я не комнатный человек, я люблю, чтобы щеки мои обжигал ветер, чтобы в лицо мне била буря. Тебе случалось плавать по океану?»

Я смотрел на его полосатую матросскую тельняшку и вздыхал, потому что мне никогда не случалось плавать по океану.

— Я не комнатный человек, — повторял он, — я не сентиментален. Наша эпоха не терпит сентиментальности, она требует отваги и беспощадности. Скажи, юноша, тебе случалось убить человека?

Я смущенно молчал, потому что мне никогда не случалось убить человека.

— Наша эпоха требует умения повелевать людьми, — продолжал он. — Наша эпоха — эпоха безграничных возможностей для человека, умеющего повелевать людьми. Наука повелевать людьми заключается в том, чтобы заставлять людей делать не то, что они хотят, а то, чего ты хочешь... Тебе случалось бывать в Абиссинии?»

Наблюдательность автора делается мстительной, и каждой малостью он подтверждает, что злодеи редко бывают чудовищами, поражающими воображение. Чаще всего они стерты, бездарны, лишены индивидуальности. Иногда внешне шеголеваты или даже благообразны и благочестивы, как та серая монахиня, которая много дней подряд методически обстреливала голодных пленников, сидя у пулемета «по-женски удобно и деловито, как за швейной машинкой».

Для того, чтобы сделать подлость, предать, замучить, не надо быть особо отмеченным судьбой, стоит только прийти «в от-

чаянность». Велик не авантюризм, велико лишь творимое им зло. Когда он храбр, то как раз потому, что очень боится, и потому, что ему нечего терять. Его романтика — это шкурность, едва завуалированная натугой и попой; его поэзия — безнаказанность преступления: именно таков он и в новелле «Пятый день», и в повести «Ярославль».

События, предшествовавшие второй мировой войне, война Отечественная, особенно послевоенного общественного развития много изменяют в художественной концепции писателя. Вторжение авантюрных, враждебных жизни сил уже не сводится в представлении писателя к действиям какого-нибудь подтянутого штабс-капитана или лихого подпоручика, образы которых легко доступны непосредственному воплощению.

Литературный традиционализм автора поставлен теперь перед явлениями, прежде ему неизвестными и социально более масштабными — фашизмом, войной и т. п. Поэтому начиная с сороковых годов из рассказов Н. Чуковского надолго уходят характеры авантюристов, этих мелких посланцев больших и общих бед. Уходит мироощущение двадцатых годов и вместе с ними — их типы; уходят годы тридцатые, а с ними — и мнимо безмятежное спокойствие, и резкая прямолинейность оценок.

Психологический рисунок излюбленных характеров делается сложнее, появляется подтекст, в котором слышится тревога за любовь. Но сама любовь не исчезает; напротив, преодолевая все более грозные, все более драматические обстоятельства, она именно в последних рассказах становится главной темой.

Писатель подвергает своих героев все новым и новым испытаниям. В какие немислимо унижительные, не переносимые для тщеславия, кокетства, для самолюбия — для всех эрзацев чувства — положения ставит он любящих; он видит любовь обделенной именно тем, что как будто должно ей сопутствовать и способствовать — молодостью, физической красотой, здоровьем. В рассказах «Трудна любовь» и «Двое» его герои остаются лицом к лицу с войной, огнем, смертью — но ни в чем не изменяют себе. В одной из трех новелл рассказа «Суд» любовь двух пожилых, некрасивых людей смешна, нелепа, почти скандальна, но именно здесь она, может быть, сильнее всего поражает случайного зрителя. И на-

конец в «Последнем разговоре» автор художественно осознал источник этой неистребимой жизненной силы и своего преклонения перед ней. Писатель впервые так ясно видит в ней великую способность русского женского характера, видит неразрывную связь этого характера с исторически сложившимися, испытанными «огнем и мечом» национальными особенностями, с душевным складом своего народа. Именно поэтому, оставаясь, как всегда в рассказах Н. Чуковского, глубоко укорененным в реальных обстоятельствах нашей военной и послевоенной действительности, женский образ в «Последнем разговоре» приобретает черты эпической величавости и обобщенности. Это подчеркнуто и «безымянностью» героини.

Все глубоко личные и трагические коллизии ее жизни разделяют с ней, хоть малой толикой, миллионы ее сверстниц и современниц; ее судьба — это и судьбы ее народа, не обойденного «тридцатым годом, и сорок первым, и иным». В ней есть черты, которые беспокоят и возмущают автора. Ее не знающим предела самопожертвованием, ее безразличием к самой себе, ее бездонным терпением легко злоупотребить, потому что они безоглядно отданы всякому, кто попадает в беду и нуждается в сочувствии, равно достойному и недостойному. Но и эти черты не принадлежат ей одной.

Не потому ли писатель наделил ими и другую свою героиню — только еще вступающую в жизнь Варю в одноименном рассказе? Он не винит, он лишь жалеет и прощает ее за то, что ее героем оказался не кто иной, как красноречивый «комиссар» Лева Кравец. «Варя» — рассказ о том, как была обманута и предана любовь. Это история из времен революции, но, значит, уже в 1957 году писателю вновь надо было вернуться в ту далекую эпоху. Вот последние строки рассказа о наивной девушке, принявшей авантюриста и контрреволюционера за героя: «Ее обманули. Разве она виновата, что ее обманули? Она была очень молода и верила, что настоящему человеку свойственно быть отважным, прямым, честным, справедливым, и в этом, главном, она не обманулась. И революция была еще молода, и весь мир вокруг был еще очень молод, вся жизнь ее лежала впереди. Ее ожидало еще столько борьбы, труда, радости, боли, побед, любви — всего-всего». Такова одна из главных мыслей книги Н. Чуков-

ского, характерной своим не знающим сомнений оптимизмом.

Обо всех этих рассказах писали мало. Появившись когда-то, каждый из них не произвел сенсации; в общем потоке литературы находились другие — ярче, заметней. Но, как говорил один древний мыслитель,

«можно быть мудрым без блеска и зависти». Собранные вместе, рассказы — особенно последние — много выигрывают. Они воспринимаются как новая книга и потому, наверно, стали сейчас явлением приметным.

Г. ТРЕФИЛОВА.



ПРОФЕССИЯ — ИСКУССТВО

Сергей Юткевич. *Контрапункт режиссера. «Искусство»*. М. 1960. 448 стр.
Сергей Юткевич. *О киноискусстве. Избранное. Издательство Академии наук СССР*. М. 1962. 364 стр.

Если бы к двум книгам режиссера Сергея Юткевича, вышедшим в последние годы, составить один только указатель имен, упомянутых на их страницах, то в свою очередь получилась бы, наверное, маленькая книжечка (если даже не принимать во внимание сорок три фамилии французских деятелей кино, перечисленных в одной только сноске, на одной только 271 странице в одной из этих двух книг).

Там были бы рубрики: режиссеры кино — а) художественного, б) документального, режиссеры театра, художники, поэты, мимы, шекспироведы, политические деятели и еще многие другие.

Там были бы перечислены: учителя С. Юткевича и его ученики, друзья и противники (впрочем, иногда они совмещаются в одном лице).

Там встречались бы фамилии деятелей искусства: советских, французских, итальянских, шведских, испанских, аргентинских, американских, китайских.

В нем соседствовали бы: Шекспир, Маяковский, Чаплин, Пикассо, Гейне, Эйзенштейн, Кокто, Станиславский, Гриффиг, Пудовкин, Матисс и сотни других, менее великих или менее признанных, известных и менее известных и досадно мало известных нашему читателю имен, самые краткие комментарии к которым составили бы уже маленькую энциклопедию по вопросам текущего искусства.

Впрочем, С. Юткевич и сам по себе — как это случалось в его поколении и реже встречается теперь — явление энциклопедическое. На страницах своих книг он выступает как режиссер театра и кино, художник, педагог, историк и теоретик искусства — наконец просто как литератор. И даже в этом последнем своем качестве С. Юткевич тоже предстает в разнообразии ракурсов. Он — мемуарист,

когда вспоминает молодость советского кино и театра; он — журналист, когда пишет свои заметки члена жюри международных кинофестивалей; он — историк искусства, когда, анализируя Чаплина, сравнивает его с шекспировским Фальстафом; он — полемист в произнесенных и произнесенных речах так же, как теоретик в эпистолярном жанре и практик в своих беседах о кинорежиссуре.

Одним словом, если составить только реестр или опись двух книг Сергея Юткевича с разных точек зрения, это одно представит любопытнейшую и разнообразнейшую картину (в которой не отразится еще, допустим, что С. Юткевич — бессменный руководитель студенческого театра МГУ и сотрудник Института истории искусств, но это уже частности). Между тем жанр рецензии требует не только описи, как бы убедительна она ни была сама по себе, но и впечатлений более эмоционального свойства, а за самым кратким перечислением у меня, увы, осталось на это мало места.

Итак, первое впечатление — удивительной биографии, восходящей в своих истоках к временам, ставшим уже достоянием истории.

Встречаясь с людьми в быту, в повседневности, мы иногда теряем ощущение связи времен — прошлое поры «Броненосца «Потемкина» и других великих и памятных театров и кинодержаний кажется ушедшим влечь и уже почти легендарным. Книги Юткевича легко восстанавливают эту связь времени.

Уже сам по себе стал историей искусства знаменитый спор, разгоревшийся на рубеже тридцатых годов между кинематографом элитским, монтажным, и кинематографом актерским, психологическим, — спор между Эйзенштейном и Юткевичем (суть его из-

ложена в «Речи, которая не произнесена» и в статье «За большое киноискусство»), спор между эстетикой двадцатых и тридцатых годов. Но вот история о том, как два молодых человека, два начинающих театральных художника, два Сергея — Эйзенштейн и Юткевич — в начале двадцатых годов пришли обучаться в ГВВРМ¹ к Мейерхольду, как — на пару — они занимались пресловутой биомеханикой, а потом и акробатикой, пока кто-то из них чуть не сломал шею в очередном салто из-за рассеянности другого; как в поисках заработка они совместно оформляли спектакли в Мастфоре² — и исторические пласты сближены, сдвинуты вплотную, слились в одну пеструю картину, из которой лишь потом возникнут и выкристаллизуются течения и эстетические платформы...

Великие и знаменитые имена входят на страницы книг Юткевича чаще всего в этом интимном и часто неожиданным своим качестве, а не только в историко-культурном значении. Пикассо или Маяковский предстают здесь «без тайны», — так назвал Юткевич одну из своих статей. Матисс и Пикассо в свою очередь дружески набрасывают портреты автора, которыми открываются обе книги. Статьи «о творчестве» чаще всего начинаются, как мемуары — за кулисами или на импровизированной сцене миниатюрных театриков, где, скажем, Козинцев, «тогда еще» начинающий художник, вместе с автором, тогда тоже начинающим художником, оформляет спектакли и играет в пьеске собственного сочинения; где Илья Эренбург, «тогда еще» только поэт, фигурирует в качестве заведующего отделом художественного воспитания детей при Наробразе, а будущий и ныне уже маститый режиссер Борис Барнет — в качестве чемпиона по боксу. Личные встречи с Маяковским (правда, не «тогда еще», а «тогда уже» знаменитым поэтом) ясно определили направление одного из будущих пристрастий автора. И так и кажется, что рассказ о режиссерском плане фильма «Отелло» начнется с того, как Вильям Шекспир, «тогда уже» известный драматург, а может быть, еще неизвестный актер, заглянет за кулисы маленького театрика, где...

Но шутки в сторону — связь времен, проходящая сквозь книги Сергея Юткевича, не

просто помогает воссоздать живописные картины прошлого, но и придает своего рода историческую перспективу, «глубину кадра», стереоскопичность, как сказали бы в кино, этим книгам, всей своей сутью обращенным в наше сегодняшнее, в его поиски и проблемы.

Другое их свойство, если пользоваться терминологией того же кино, — «широкий экран». Личные впечатления, интересы, эрудиция автора так же широки в пространстве, как протяжены во времени. Древнее театральное искусство Китая и сегодняшнее прогрессивное документальное киноискусство Франции одинаково интересны и дороги ему. Уважение к чужой культуре и к культуре вообще свойственно книгам Юткевича в самом широком смысле — и в этом тоже их поучительность. Он много ездил на своем веку, много видел, со многими людьми был знаком, и он знает: ничто не возникает и не существует само по себе, явления культуры взаимосвязаны и преемственны. Поэтому статьи Юткевича полны ссылок и добросовестных экскурсов в историю вопроса — будь то шекспироведение или пантомима. Это не просто эрудиция, это убеждения.

Однако никакая эрудиция не мешает С. Юткевичу быть страстным полемистом в вопросах искусства: он не то чтобы необъективен, но он не объективен; напротив, он воинствен. Спор тоже идет не только «во времени», но и «в пространстве». Он обращается к французскому режиссеру Жаку Турнеру со страстной проповедью социального искусства (как некогда зывал к Эйзенштейну в защиту искусства психологического) и защищает позиции социалистического реализма на неделе марксистской мысли в Париже.

Впрочем, иногда Юткевич бывал и просто необъективен — так, необъективны его впечатления от встречи с Жаном Кокто в 1934 году; об этом стоит сказать, потому что Кокто недавно умер и потому что в постскрипуме 1960 года Юткевич сам признает эту несправедливость. В этом снова сказывается уважение к истории и к культуре: автор не хочет улучшать историю (в том числе и свою собственную), но не хочет и ухудшать культуру: в постскрипуме он признает значение Кокто, хотя не его творческий метод.

Итак, временные планы сталкиваются в книгах Юткевича так же, как пласты историко-культурные: в них много неожидан-

¹ Государственные высшие режиссерские мастерские.

² Мастерская Фореггера.

ных монтажных стыков, которые — в сопоставлении с практикой режиссера — создают своеобразную динамику повествования.

Между разными планами статей Юткевича, между его теорией и практикой сложные отношения: его воспоминания об Эйзенштейне кажутся интереснее искусствоведческого анализа «Броненосца», где обширная эрудиция подкрепляет, в общем-то, известное. Его режиссерская экспликация «Отелло» не отменяет спорность картины, но существует сама по себе: здесь Юткевич-литератор, на мой взгляд, оказывается подчас убедительней, чем Юткевич-постановщик.

Вообще его книги не успокоенные: они

существуют, как процесс, развивающийся во времени и пространстве. Они в чем-то не бесспорны (автор недаром страстный спорщик!), но всегда интересны. Еще один термин кино, который хочется к ним применить, — это панорама, широта обзора искусства. Но с этого, собственно, начиналась рецензия, которой пора кончиться, хотя в ней не затронуто и десятой части того, что собрано в этих двух книгах. Принимая во внимание равноправное множество авторских интересов Юткевича, статью хорошо бы назвать «Контрапункт режиссера». Но Юткевич сам уже назвал так одну из своих книг... Поэтому я охотно отсылаю читателя к самим книгам...

М. ТУРОВСКАЯ.



В БОРЕНИИ С ИНЕРЦИЕЙ

А. Волков. Творчество А. И. Куприна. «Советский писатель». М. 1962. 431 стр.
Ф. И. Кулешов. Творческий путь А. И. Куприна. Минск. 1963. 534 стр.

Среди русских писателей двадцатого века, традиционно именуемых в нашем литературоведении критическими реалистами, кажется, я один Куприн не обделен вниманием исследователей. В самом деле, если даже о творчестве Бунина у нас до сих пор нет ни одной общей монографии, а Леониду Андрееву посвящена лишь небольшая книжка Л. Афонина, выпущенная в Орле, то совершенно иная и, если говорить о количестве работ, отрадная картина с изучением Куприна. Рискаю утомить читателя изрядным списком, я все же напомним, что в 1956 году в Издательстве Академии наук СССР вышел критико-биографический очерк П. Беркова; в 1960 году — книжка В. Афанасьева и воспоминания М. Куприной-Иорданской; год спустя опубликованы в Пензе мемуары Н. Вержбицкого; в 1962 году — монография А. Волкова; наконец в двадцать пятую годовщину со дня кончины писателя в Минске появилось обширное исследование Ф. Кулешова. Две последние книги в этом ряду, безусловно, позволяют подвести некоторые итоги новейшему осмыслению купринского творчества.

Обе работы — А. Волкова и Ф. Кулешова — построены по хронологическому принципу, сюжетом каждой служит сама творческая биография Куприна. Оба литературоведа не прибегают к новшествам в изложении материала, очевидно, полагая, что

огромный читательский интерес к творчеству Куприна уже делает излишними поиски какого-то особого, своего способа подачи биографических фактов и разбора произведений. Переход от рассказа к рассказу, от произведения к произведению незаметен и, как правило, осуществляется с помощью чисто служебных «мостиков». Нельзя сказать, что обе эти работы отличаются оригинальностью общей концепции. Но в монографии Ф. Кулешова — и в этом ее основное достоинство — много свежих фактов, малоизвестных документов, полузабытых газетных свидетельств, накопленных исследователем. Трудолюбиво собирает он из архивов и газет интересные частности, с вездливой добросовестностью воскрешает затерянные заметки и высказывания Куприна.

Ф. Кулешов, скажем, не просто называет, как это делали писавшие о Куприне, преподавателя словесности М. И. Цуханова, разбившего в юном кадете любовь к литературе, но обнаруживает, что этот педагог был активным членом Артистического кружка, созданного А. Н. Островским. Если биограф упоминает о каком-либо факте, он подкрепляет его всякий раз точной справкой. Мимолетом сообщает он множество подробностей — каково по численности было население местечка Волочиск, когда там служил Куприн, и сколько платили ему за строчку в «киевский» период творчества; в каких

любительских спектаклях участвовал писатель, как возникла тайная слежка за ним и т. д. Все поездки молодого Куприна по стране, его метания и вынужденная смена профессий находят в монографии Ф. Кулешова документированное и сжатое освещение. С большим знанием дела рассказывает он и об истории написания купринских произведений. Об исправлениях и доработке, правке в корректуре повести «Поединок» и о ее сценической судьбе. О неосуществленных замыслах или неоконченных работах Куприна (таких, как роман «Нищие»). О работе писателя над «Суламифью», о творческой истории «Ямы» и т. д. Вся фактическая сторона монографии Ф. Кулешова, бесспорно, может служить положительным примером любому исследователю.

Как и другие книги А. Волкова, его очерк, посвященный творчеству Куприна, в основном систематизирует и дает в последовательности уже известные, отстоявшиеся взгляды и оценки. Даже многие литературные иллюстрации, которые приводятся в нем, неоднократно встречались ранее в других исследованиях и учебниках. Потому-то дефекты описательности у Волкова выступают резче, чем у Кулешова. В его книге появляются, правда, некоторые новые оттенки (полемика с несправедливым отзывом М. Горького о «Суламифи», спор с П. Берковым, любопытный разбор финала «Поединка»), но появляются лишь эпизодически.

Сравнивая Куприна-писателя, каким он предстает перед нами у А. Волкова и Ф. Кулешова, замечаешь одну любопытную особенность. Оба литературоведа — приверженцы социального анализа явлений литературы. Но у А. Волкова этот анализ проявляется ярче всего, так сказать, в негативном, отрицательном — он говорит чаще о том, чего не понял и до чего не поднялся Куприн, тогда как у Ф. Кулешова — в положительном, то есть в утверждении социальной зоркости писателя. Так, А. Волков требует уже от Куприна-кадета «системы» политических взглядов и огорчается, когда не находит ее. Напротив, минский исследователь, рассматривая ранние, очень несовершенные стихи подростка Куприна, заявляет, что они «осуждают общественный строй, держащийся на деспотизме». А. Волков односторонне считает, будто зрелый Куприн не имел «ни малейшего (!!) представления о подлинном герое времени» Ф. Кулешов утверждает обратное уже на основании по-

лудетских стихов «Дни проходят, годы мчатся», где, по его словам, «нетрудно видеть черты подлинного героя «эпохи безвременья». Так возникает у него общая, явно завышенная оценка подражательных опытов шестнадцатилетнего Куприна. Приведем строки фривольного, типично «юнкерского» стихотворения «Маша», Ф. Кулешов неоправданно заключает: «Легкость стиха и непринужденность разговорных интонаций, классический ритм ямба, свободная строфика, реалистическая точность языка — у Куприна все это идет от Пушкина». Это ли не преувеличение?

Если вдуматься, в методологии А. Волкова и Ф. Кулешова, при всем различии их подхода к купринским произведениям, есть и некий общий корень. Он обнаруживается в том, что авторы обеих книг едва ли не единственным критерием литературных явлений избирают их «обличительность».

Спору нет, сила обличительности имеет первостепенное значение при характеристике дореволюционного писателя, да еще критического реалиста. Однако подлинная обличительность возникает как бы в глубине произведения, порождается всем его образным строем. Можно написать острую статью, но нельзя переделать ее в обличительный рассказ. Для этого понадобится уже принципиально иное осмысление действительности, ее художественное преобразование. К сожалению, элементы упрощенного подхода к купринским произведениям в обеих работах видны отчетливо.

Есть, скажем, у Куприна аллегория «Собачке счастье», которую не отнесешь к его шедеврам. Но как раз она-то легче всего и отвечает искомой Ф. Кулешовым обличительности: «Господствующие в России социальное неравенство, гнет и насилие показаны в этом аллегорическом рассказе через восприятие собак... В словах, которыми обмениваются осужденные на смерть собаки, содержится едва замаскированный выпад не только против имущественного неравенства в классовом обществе, но и против политического бесправия». Не так ли и А. Волков разбирает один из лучших купринских рассказов для детей, тоже «про собак», — «Белый пудель»: «Уже появление нищего Лодыжкина и его спутников в саду богатой дачи создает впечатление резкого противопоставления двух миров». «Белый пудель» — замечательный рассказ. Однако его достоинства скорее в утверждении, чем

в отрицании. Куприн воспева**ет** честную бедность, солидарность «гуттаперчевого мальчика» Сережи, четвероногого артиста Арто и веселого, бескорыстного босяка — дедушки Лодыжкина, побеждающих в столкновении с перекормленными дачниками и их прислугой.

Издержки прямолинейного социологизма особенно сильны в книге А. Волкова. Подчас они приводят к тому, что литература под пером московского исследователя приобретает черты своего рода разновидисти публицистики, лишь приукрашенной «образами». Вот, например, как в его изложении выглядит работа Куприна над «Поединком»: «Разрабатывая образ Раисы Павловны, писатель особое внимание уделял лексике этого персонажа»; «Тема «интеллигенции и народа» разработана в «Поединке» так ярко...»; «Задача художника заключалась в том, чтобы показать воздействие армейско-окуровской среды на женщину, не столь заурядную, как Петерсон...»; «Для решения той задачи, которую поставил в рассказе Куприн... Куприну было необходимо «создать художественно значительный, монументальный тип» — это уже о рассказе «Анафема». Или в «Молохе»: «Образ доктора Гольдберга был необходим Куприну для идейного углубления основной темы повести» и т. д. Творческий процесс при таком его изображении теряет всякую сложность — писатель рассудочно конструирует нужные фигуры, исходя при этом из некоей суммы поставленных «задач».

Не по себе становится, когда представляешь, как Куприн — эта незаурядная, сжигаемая страстями личность, этот азартный и жадный до впечатлений художник, этот увлекающийся — охотой ли, воздухоплаванием или погружением в водолазном костюме на морское дно — человек; этот любимый нами талант, щедрый, разбрасывающийся, неровный, моментами впадающий в безвкусицу и уступающий «моде», но обычно здоровый, полнокровный, — как, повторяю, Куприн на глазах превращается в эдакого великопостного сухаря, решающего некий комплекс «проблем».

Я прошу понять меня правильно. Речь идет не просто о «живости изложения», «форме», а именно о существе подхода к тому едва ли не самому сложному продукту человеческого духа, который некогда красиво называли «изысканной словесностью». Важно выявить индивидуальный характер в про-

явлении всех тех «проблем» и «интересов», которые были характерны для писателя. А здесь на помощь, к примеру, может прийти личность художника, особенности его переживаний, его неповторимая индивидуальность. Вот один из путей конкретизации, углубления анализа творчества.

Известно, как рано формируется личность человека, а биография Куприна дает множество драгоценных фактов, показывающих, как «лепился» его характер. Сиротство во Вдовьем доме, где мальчику заменила отца властная и деспотичная мать — княжна Куланчакова; почти непрерывное семнадцатилетнее заточение во всякого рода казенных заведениях; необходимость жить в жестокой кадетско-юнкерской среде, в которой царил культ кулака, — вот что помогает понять «двуслойность» характера Куприна — человека и художника. Недаром своей беззащитной ранимостью, способностью остро переживать любую несправедливость, тонкостью душевной организации центральные герои автора «Поединка» напоминают нам не жизнерадостного, грубовато-здорового «взрослого» Куприна в традиционном описании современников, а чуткого к страданиям, мечтательного Куприна-ребенка.

Таким образом, детские и юношеские годы Куприна в известной мере дают материал для отыскания истоков его характерных особенностей как художника. Возможны и иные пути, но одно для меня неоспоримо: если вы не чувствуете личности писателя, вы не почувствуете и его художественной индивидуальности. Она будет условно обозначаться через другие явления, которые вам заведомо известны. Так, А. Волков стремится показать своеобразие Куприна при помощи сравнения его с Чеховым. Перечислив «эстетические принципы Куприна, сближающие его с Чеховым», он заключает: «Но у Куприна своя, только ему присущая манера воссоздания жизни на основе этих идей и принципов». Или: «При всей близости Куприна к Чехову они были все-таки (!) очень разными художниками». А. Волков не замечает того, что, стремясь облегчить задачу, он ее усложняет: вместо одного неизвестного в его книге появляются уже два.

Мало помогают и внешне глубокомысленные сопоставления. «В образе татарина Мухамета Байгузына есть нечто от чеховского «злоумышленника», — замечает, к примеру, А. Волков. Что же имеется в виду? «Чехов-

ский мужичок... не сознавал, что, отвинчивая гайки рельсов, он может вызвать крушение поезда. Кража голенищ татаринном Байгузиным не чревата такими последствиями (!), но поступки мужика и татарина порождены общими для них условиями жизни (!). Так можно сопоставить все что угодно с чем угодно — например, купринского Квашина с горьковским Маякиным — оба капиталисты (стр. 58), или Файбиша из рассказа «Трус» с Челкашом — оба контрабандисты (стр. 134), и т. п. Подобные сравнения нас ничем не обогащают: у них, так сказать, нулевая информация.

К сожалению, в работе А. Волкова не чувствуется того внутреннего жара, той личной заинтересованности и увлеченности, которые единственно и оправдывают все наши попытки поучать других через посредство книг и статей. Лев Толстой хорошо сказал в одном из писем 1887 года: «Одинаково, плохому, дурно и вредно писать безнравственные вещи, как и писать поучительные сочинения холодно...» В этом отношении следует отдать предпочтение книге Ф. Кулешова, в которой ощущается большая любовь автора к купринскому творчеству. Но все же и в ней самостоятельность Куприна временами досадно смазывается, когда, например, говорится про очерки Г. Успенского, что они «сослужили Куприну роль поучительного образца», или утверждается, что Куприн «во многом старался подражать Горькому».

Кстати, о взаимоотношениях Горького и Куприна. И А. Волков и Ф. Кулешов справедливо подчеркивают ту выдающуюся роль, какую сыграл в творческой судьбе Куприна великий пролетарский писатель в пору первой русской революции. В дальнейшем, как замечает Ф. Кулешов, Куприн «отдалился от идейной позиции А. М. Горького, во многом по-иному, чем Горький, стал смотреть на общественный долг и обязанность художника, сделался менее щепетильным и разборчивым в вопросах писательской этики». Все это так. Однако А. Волков, идя наперекор фактам, утверждает, будто в годы наступившей реакции Куприн не отошел от Горького. Он повторяет ту же мысль в статье «Правда и выдумка» («Литературная Россия», 23 августа 1963 года), полемизируя с приведенными выше словами Ф. Кулешова. Мне кажется, лучше всего отослать А. Волкова к странице 233 его собственной книги. Перечислив факты расхождения двух писателей, он затем пишет: «В годы подъема

революционного движения и первой русской революции Горький был для Куприна властителем дум. Но потерпев поражение революция, уехал Горький, и Куприн как будто почувствовал, что пала «власть» Горького над ним, сковывавшая его анархическое «я».

Так где же правда, а где выдумка?

Справедливости ради надо сказать, что монография А. Волкова о Куприне, при всех ее недостатках, выгодно отличается от ряда других работ этого автора значительно меньшим количеством фактических неточностей, более бережным обращением с цитатами и именами героев, минимумом языковых неряшества. В этом, вероятно, немаловажная заслуга и редактора книги Н. Жегалова. Но кое-что все же и по части сугубо фактической вызывает возражение. Например, в знаменитой цитате из статьи 1914 года «Возрождение реализма», напечатанной в большевистском «Пути правды», почему-то «выпали» имена Бунина, Шмелева, Сургучева, которых Волков произвольно занес в «и др.». На страницах 347—348 цитируется очерк Куприна военных лет, передающий переживания офицера: «...В серой седоватой папаше, с шашкой через плечо, он вел куда-то за собой отряд...» На самом деле «куда-то» ведет солдат сам Куприн и цитируется репортаж Вас. Регинина о писателе, призванном на военную службу. Не было у А. Волкова никаких оснований утверждать, что писатель-реалист И. Шмелев якобы в эмиграции «сменил реалистические одежды на символистские» или что Кнут Гамсун выступил «глашателем мистического искусства». Неверно, что в 1915 году Куприн мог относиться к войне как к «кровавой бойне»; также неверно, будто уже к 1921 году (памфлет «Холощенные души») «лагерь эмигрантов-отщепенцев начинает представляться Куприну в его истинном облике» и т. д.

Работа Ф. Кулешова почти безукоризненна в фактическом отношении (к сожалению, в ней довольно много стилистических и языковых неточностей), но и там встречаются некоторые «неувязки». Назвав замечательного русского художника Е. Лансере «одним из столпов декадентского «Мира искусства», исследователь так же невозмутимо через несколько страниц упоминает о нем как об одном из организаторов революционного сатирического журнала «Адская почта». Говорить о «едином фронте борьбы против реакционных теорий в эстетике, про-

тив субъективного идеализма» в девяностые годы, безоговорочно зачисляя туда А. В. Луначарского, — значит забывать, как В. И. Ленин и Г. В. Плеханов как раз в эту пору боролись с его идеалистическими заблуждениями и т. д.

Итак, прочитаны две книги о Куприне. Обе они поучительны в одном отношении: хотя и в разной степени, но в них сильна еще инерция прямолинейного социологизма,

внешней описательности. Преодолеть это до конца — значит действительно обогатить нашу науку о литературе. По отношению к купринскому наследству эта задача еще не выполнена и сегодня. Но при всем этом, что монография Ф. Кулешова заслуживает более высокой оценки, собранный в ней новый материал, безусловно, расширяет наше представление об одном из выдающихся писателей начала века.

О. МИХАЙЛОВ.

★

ПЕВЕЦ ЧИСТОГО ТЕЧЕНИЯ

Адольф Рудницкий. Чистое течение. Перевод с польского. Издательство иностранной литературы. М. 1963. 382 стр.

«Чистое течение» — название небольшого рассказа А. Рудницкого — справедливо вынесено в заглавие всего сборника избранных произведений этого выдающегося современного польского писателя. Несмотря на малый свой объем, он очень характерен для Рудницкого.

В нем рассказана грустная история двух любящих людей, чья любовь безнадежно и невосстановимо оборвана войною.

Но Рудницкий привлекает внимание читателя к этой истории вовсе не для того, чтобы поразить его еще одним из трагически неразрешимых конфликтов военных лет. Не спешит он и вынести свое суждение о героях, определить, кто виноват в гибели их любви. Его волнует другое — не их прошлое, но будущее: как им строить жизнь на развалинах? Достанет ли у них для этого сил?

Тема верности, преданности человека избранным им идеалам перед лицом жесточайших испытаний — одна из основных в творчестве послевоенного Рудницкого, на чей жизненный опыт наложили свой неизгладимый отпечаток война, оккупация. Проблема верности и в этой камерной новелле выходит за пределы чисто любовной истории. Не случайно рассказ, словно взятый в скорбную рамку, вписан в пейзаж послевоенной, стертой гитлеровскими вандалами с лица земли польской столицы и недаром вопрос о разрыве с любимой переплетается в сознании героя с мыслью об эмиграции. Ему кажется, что ничто уже не связывает теперь его с истерзанной страной, с Варшавой (этим «мертвым морем!»), от которой, как и от его любви, остались одни руины...

И примечательно, что понятие верности неотделимо здесь для автора от другого слова: «надежда». Утрата надежды убивает любовь. Утрата надежды рождает и опрометчивое решение героя об отъезде за границу, толкает его на малодушное бегство от самого себя.

К теме верности Рудницкий возвращается в послевоенные годы снова и снова. В повести «Живое и мертвое море» (1951) разговор о любви и преданности перерастает в развернутый спор персонажей о жизни, о завтрашнем дне. Герой произведения Эммануэль, переживший кошмар оккупации, агонию Варшавского гетто, но принадлежащий к тем сильным натурам, которые сумели перейти через мертвое море, чтобы начать новую жизнь ради своего будущего и будущего своих детей, — спорит долго и непримиримо с матерью своего приятеля Юзефа. Их спор — это столкновение двух различных взглядов, двух точек зрения на жизнь и на мир.

Мать Юзефа вся погружена в прошлое. Узкая ограниченность ее старых националистических пережитков, погруженность в свои горькие воспоминания мешают ей по-новому взглянуть на вещи, на окружающий мир, встающий из развалин, увидеть все то, к чему жадно тянется ее юный сын. Все это новое для нее — чужое. Для того, чтобы принять это новое, нужно, по ее словам, «стальное сердце», нужны силы, которых у нее нет.

Преданность и верность — великое дело, как бы говорит писатель. Но подчас абстрактно понимаемые, эти идеалы тянут человека в прошлое, мешают ему правиль-

но понять окружающее, верно оценить происходящее.

Острота, с какой ставит эти проблемы Рудницкий в послевоенных произведениях, не случайна. Мучительные поиски своего места в жизни посреди военного урагана, путь к обретению родины, которая поднимается из руин навстречу новой судьбе,— все эти жизненные испытания, выпавшие на долю его героев, не чужды были и самому писателю.

В послесловии к одной из своих ранних вещей, переизданных после войны, Рудницкий писал, что когда в сентябре 1939 года старый, привычный мир рухнул, словно карточный домик, то почти каждый из людей его поколения «почувствовал себя одиноким, как в минуту смерти». Приходилось, по его словам, «самым мучительным образом открывать наново правду истории».

Не случайно, что эту новую правду истории столь же трудно и мучительно познают и герои его книг. В те дни национальной катастрофы, когда Рудницкий с волной беженцев оказался во Львове, куда вступили советские войска, он в период короткого затишья тоже начал наново познавать эту новую для себя правду.

Как раз тогда он пишет две новеллы «Юзефув» и «Конь», героями которых являются новые для автора люди, не замеченные, не распознанные им прежде. Эти рассказы являются своеобразным мостиком к послевоенному творчеству Рудницкого.

...В маленьком дачном поселке Юзефув, который с таким мастерством и едкостью рисует писатель, в Юзефове, с его безобразными домишками, «смахивающими на сараи», куда летом «съезжается вся Варшава» и словно по волшебству «дух стяжательства превращает пустовавшие магазины в павильоны с газированной водой, в читальни, в танцевальные залы с пронзительным джазом», где по вечерам неистовствуют «тощие музыканты с землистыми лицами, в белых костюмах»,— в этом Юзефове, необычно тихом и пустынном в зимнее время, умирает от скоротечной чахотки юноша-коммунист, только что вырвавшийся из тюрьмы. Однако думы умирающего не о себе: всеми своими помыслами он в Испании, где на полях сражений решается судьба республики.

Последние слова героя рассказа обращены к защитникам Мадрида. «Послушай,—

прохрипел он,— я умираю. Я шлю свой привет борющемуся пролетариату Испании. Слышишь? Последний привет от Иоэля Филюта, товарища из Польши...»

Примечательна для понимания эволюции Рудницкого в те годы эта фигура Иоэля, умирающего в польском местечке, но как бы освещенного заревом пылающей Испании и сливающегося «с той частью человечества, что вела борьбу за свободу». Прикованный к постели, он продолжает жить большими тревогами эпохи, улавливая гул далеких, но неотвратимо надвигающихся событий.

Все это — новые для писателя интонации. Не случайно здесь и авторское предостережение тем, кто еще не понимает, что наступает «новая фаза истории». Сам он уже предчувствует ее.

Мотив прозрения, ломки прежних представлений, помогающий обрести иные взгляды на жизнь, на роль и предназначение человека, отчетливо звучит в рассказе той же поры — «Конь». Трагическая фигура старика портного, чей единственный сын-революционер гибнет от полицейской пули, в конце рассказа вырастает в образ поразительной силы и мужества.

В этих рассказах автор, постигая новую правду истории, уже не рассматривает конфликты изолированно, вне связи с обществом и с временем, как то бывало у раннего Рудницкого, например, в повести «Нелюбимая», где и автора, и его персонажей не интересовало ничего, кроме личных судеб и отношений. Теперь проблемы «человек и общество», «человек и время» рассматриваются писателем в нерасторжимой связи со всем, чем жив человек, что связывает его с миром,— исследует ли Рудницкий самые интимные человеческие чувства, как в «Чистом течении», рассказывает ли о судьбе поэта, определяющего для себя место в грозовой час борьбы с фашизмом,— «Автопортрет с двумя килограммами золота».

Герой этого произведения, мечтавший вначале служить людям своим высоким искусством, затянут обстоятельствами оккупационного времени в водоворот торговых сделок, рискованных спекуляций. Но когда голос старого друга напомнил поэту о высоких идеалах, призвав его стать в ряды борцов с фашизмом, тот нашел в себе силы и мужество, необходимые для такого шага...

Резко контрастна в сопоставлении с ним фигура другого поэта — Марека Карманьского из повести «Золотые окна», которая, к сожалению, не вошла в настоящий сборник. Страх смерти надламывает Марека, превращает в предателя. Анализируя причины этого предательства, главный герой «Золотых окон» Юзеф думает о Карманьском: «В дни испытаний выяснилось, что понятие красоты жизни заключалось для него в покинутой им комнате с лежанкой. После долгой жизни в одиночестве в нем уже не осталось сил для борьбы... Он был одинок, а одиночество — это болезнь. Чтобы остаться человеком в час испытаний, необходимо любить. Он же никогда никого не любил».

Итак, проблемы любви, верности Рудницкий в своем послевоенном творчестве связывает с поисками настоящих жизненных идеалов. Без этого все высокие понятия превращаются в фикцию и лишь мешают человеку найти свое место в жизни, понять, что происходит вокруг.

В последние годы претерпела значительные изменения и сама манера авторского повествования Рудницкого. В ранних его вещах углубленный психологический анализ, скрупулезное исследование тончайших движений души героев не всегда вели к синтезу, к обобщению — к тому, чтобы из отдельных штрихов складывался законченный образ. Этому подчас мешала и известная ограниченность авторского видения.

Теперь в наиболее удачных и значительных вещах свое пристальное внимание к внутреннему миру персонажа художник сочетает со стремлением глубоко осмыслить жизненные обстоятельства и явления, формирующие этот внутренний мир.

Странно, что эти новые тенденции в творчестве Рудницкого подчас не замечает польская критика. В новых его вещах иногда склонны видеть лишь повторение писателем своих былых достижений. Критик Вл. Мацёнг недавно так и озаглавил свою статью об одном из последних сборников Рудницкого — «Попытка повторения самого себя». Говоря о новом рассказе Рудницкого «Белая», Мацёнг называет его «убогой версией» прежней «Нелюбимой». Между тем, на мой взгляд, в последней новелле писатель по-новому ставит постоянно занимающие его проблемы.

В ранней повести Рудницкого «Нелюби-

мая» трагедия героев — это трагедия взаимного непонимания, духовной отчужденности, постепенно убивающей их чувства. В «Белой» перед нами драма совершенно иного порядка.

Героиня рассказа Флора тоже своеобразная жертва войны: ее детство прошло в маленьком польском городке подле огромного лагеря смерти, где день и ночь гитлеровцы жгли человеческие трупы и сладковатый запах гари вместе с черным дымом постоянно висел над городом. С тех пор Флора не может освободиться от этого тягостного призрака и мечтает о чистоте, к которой инстинктивно тянется все ее существо. Однако в ее собственной жизни все складывается отнюдь не так безоблачно-светло и чисто.

Условности, ложные представления и опасения, путаница божественного существования мешают ей ответить на встретившееся ей большое и чистое чувство. Она все больше запутывается, начиная то лихорадочно «прожигать жизнь», то стремясь сделаться добродетельной супругой, внушая себе и нелюбимому мужу, что любит его. Наступает трагический финал: Флора, не вынеся самообмана, чувствуя себя «за тысячу километров от этой своей белизны», — кончает с собой.

В рассказе «Белая» невольно угадывается известная переключка с «Чистым течением»: повторяется тот же мотив чистоты человеческих чувств, преданности человека высоким нравственным идеалам, которые надо отстаивать, за которые стоит бороться, ибо без них нет ощущения полноты жизни, нет самой жизни...

Сам Рудницкий, пройдя через ад фашистской оккупации, сохранил веру в высокое человеческое предназначение, в то, что в настоящем человеке, несмотря ни на что, все-таки торжествует «чистое течение».

Как художник Рудницкий находится под значительным воздействием Достоевского. К этому его как будто склоняет еще и сам жизненный материал, весь его горький опыт поры оккупации. Вместе с тем для автора «Живого и мертвого моря», потрясенного созерцанием неисчислимых человеческих страданий своего народа в дни гитлеровского нашествия, неприемлема проповедь смирения и покорности. Недаром многие картины, рассуждения и выводы писателя воспринимаются как прямая полемика, как

непрекращающийся страстный спор с Достоевским.

Гуманизм Рудницкого, обогащенный опытом освободительной борьбы народа с германским фашизмом, приобрел новые черты, сделался более активным и действенным. Художник глубоко потрясен увиденным и пережитым в годы войны. Он ни на минуту не может забыть о миллионах невинных жертв, павших от руки нацистских убийц. В его душе набатным колоколом продолжают звучать рыдания матерей и детей, разлученных перед газовыми каме-

рами Освенцима и Трешлипки. И тут ему бесконечно дорог призыв Достоевского, чтоб ни одна слеза ребенка не была забыта.

Но — и в этом автор «Чистого течения» расходится с Достоевским — смирения нет в его душе. Право на улыбку ребенка, на чистоту человеческих чувств нередко приходится отстаивать, завоевывать в борьбе — таков вывод Рудницкого, подсказанный художнику всем нелегким жизненным опытом.

С. ЛАРИН.

★

Политика и наука

ЧЕЛОВЕК — ТРУД — СВОБОДА

Ю. Н. Давыдов. Труд и свобода. Издательство «Высшая школа». 1962. 132 стр.

Буржуазные философы и идеологи нередко утверждают, будто марксизм не создал и не может создать «философии человека», будто он проходит мимо собственно человеческих проблем, в особенности проблемы личности. Но марксистская философия — вопреки ее вульгарнаторским толкованиям — и есть наиболее последовательная «философия человека». Она раскрывает человеческую сущность, человеческие общественные отношения и их проявления там, где другие философы видели и видят лишь абстрактные «силы», якобы ничем не обязанные живой человеческой деятельности, — от наделенного мнимой самостоятельностью «мира» техники и социальных институтов и до оторванных от человека и поставленных над ним его же собственных духовных способностей. Нет, решительно никто так высоко не ставит человека, его творческую мощь, как философия марксизма!

Именно марксизм, и только марксизм, понял все (даже стоящие над человеком) силы как продукт отчуждения самой человеческой деятельности. В труде он увидел не просто фактор производства «вещей», но прежде всего человеческую деятельность, ткающую всю ткань общественных связей и отношений, в том числе и таких, которые в определенных условиях могут оказаться целями для своего создателя. Человек, и только человек, — творец своих общественных отношений и, значит, своей социальной сущности. И именно потому освободи-

телем человека может быть только сам человек — «ни бог, ни царь и не герой». Для марксиста это не фраза, не доброе пожелание, не утопический идеал, а строго научная истина, сознательно положенная в основание всего мировоззрения.

Рецензируемая книга как раз и посвящена доказательству того, что это так. Эта книга заставляет читателя всерьез задуматься и критически отнестись к таким вопросам, которые могли показаться слишком общеизвестными, чтобы к ним имело смысл возвращаться. Автор ее — Ю. Н. Давыдов — обращается к живому человеку с его сегодняшними проблемами, взывает к ответственности его за решение этих проблем и стремится помочь практическому делу оружием марксистской теории. Коммунистическая перделка мира — это и есть наиболее полное развитие подлинной свободы, вернее — завоевание ее каждым. Каким же образом практическое завоевание «царства свободы» соотносится с трудом, с деятельностью человека?

Чтобы подвести читателя к марксистскому пониманию свободы, автор сначала подвергает критике обывательское представление о свободе, как «свободе от...», как о чем-то чисто негативном. Позитивная свобода, напротив, есть не что иное, как развертывание всех возможностей человека. Это утверждение человеком своей социальной сущности путем творческой деятельности — вместе с другими и ради других, ради «разви-

тия человеческих сил, которое является самоцелью» (Маркс).

Именно в труде как в процессе созидания человеком мира материальной и духовной культуры коренится человеческая свобода. Поэтому, как убедительно показывает Ю. Н. Давыдов, свобода вовсе не сводится к каким-то состояниям сознания или простой осведомленности о необходимом ходе событий. Люди всегда лишь настолько свободны, насколько они сами себя освободили — не в своем сознании, а в реальной деятельности, в ее развитии, если они при этом овладели теми общественными силами, которые выступали как существующие вне их и над ними. Заслуга автора в том, что он не скользит по поверхности явлений, но стремится раскрыть социальные процессы как деяние человека, как осуществление человеческих «я».

Но что же такое общество помимо составляющих его индивидов в их взаимных отношениях? По Марксу, это фикция. Ведь, говоря словами автора, «общество» в более конкретном его понимании — это общественное содержание каждого индивида. «Противопоставлять индивида обществу все равно, что противопоставлять общество — самому себе». Никакого отдельного и самостоятельного общества помимо человека, конечно, нет и быть не может. Отдельное «общество-лицо» (в духе Прудона) столь же нелепо, как и «общество», сведенное к простой сумме индивидов-робинзонов.

При таком последовательно марксистском понимании общества становится возможным объяснить, как и почему труд превращается из способа осуществления господства над природой в способ порабощения трудящегося индивида, порабощения классов экономическими отношениями. Разделение труда — первейший момент этого процесса. Разделение труда в строгом смысле — это не простое различие между сосуществующими техническими операциями производства, но социальное отношение. Именно с этой проблемой неразрывно связана другая проблема, издавна занимающая философов всех направлений, — проблема целостно развитой личности. Ведь как раз в разделении труда лежат истоки превращения свободы, заложенной в самой сущности человеческой деятельности, в ее прямую противоположность — в несвободу. А это и есть не что иное, как процесс отчуж-

дения человеческой деятельности, общественных отношений, всей культуры. Говоря об этом, Ю. Давыдов ведет верный и острый спор с теоретиками экзистенциализма — Кьеркегором и Хайдеггером.

Ю. Н. Давыдов всесторонне и конкретно расшифровывает содержание процесса отчуждения и выявляет его последствия. Одной из сторон этой проблемы оказывается взаимоотношение техники и человека. «Чтобы человек мог «конкурировать» (удачно или не удачно — другой вопрос) с роботом, он сам должен предварительно превратиться в нечто близкое к этому роботу. И до тех пор, пока человек будет оставаться односторонним, несвободным, нетворческим, ему не выиграть в конкуренции с роботом. Ибо его преимущества — совсем в другом: в его цельности, свободе, способности к бесконечному творчеству». Резюмируя это рассуждение, автор формулирует альтернативу: либо «машинизация» человека, либо «очеловечивание» машины. Если при этом понимать, что «очеловечивание» машины может быть только следствием и проявлением «очеловечивания» самого человека (превращения его из безответственного «винтика» — в реально ответственного, целостного субъекта), то такая альтернатива — хорошая формулировка проблемы.

Коммунистическая переделка мира состоит вовсе не в изменении «порядка вещей» вне и без человека и точно также вовсе не в воспитании такой «личности», которая была бы «сама себе общество». Ибо человек лишь настолько богат (как субъект культуры), насколько богаты его взаимные отношения с другими людьми. Вот почему звучат как меткий афоризм слова автора о том, что при коммунизме знания, способности каждого «другого» станут для человека «не границей, а продолжением» его собственных способностей и знаний. И можно бы сказать: человек должен быть не границей, а продолжением другого...

Отстаивая этот тезис, Ю. Н. Давыдов остро критикует прудонистский «идеал» всесторонности. Этот мелкобуржуазный идеал оживает в новом варианте в виде модных мечтаний интеллигента-индивидуалиста об универсальной эрудиции, добываемой в результате «личного» присвоения культуры путем аккумуляции ее как груды «ценностей». Критика подобных пред-

ставлений о всесторонности играет роль «очистительной» работы, без которой нельзя понять, что такое коммунистический целостный человек.

Проблема целостности человека — это прежде всего проблема ответственности каждого человека за все, что творится сегодня. Анализ проблемы ответственности особенно ценен и интересен в рецензируемой книге. Дело не в том, чтобы просто предъявить к каждому моральное требование «взять на себя ответственность». Это было бы требование лишь к сознанию индивида, оставляющее неизменной реальную действительность. Автор книги показывает всю фальшь такого требования. Надо, чтобы человек реально включил в свою деятельность и решал на деле все так называемые общесоциальные вопросы, будто бы его «не касающиеся». Надо, чтобы он не возлагал ни на какие кажущиеся безликими социальные институты ни одной доли своей ответственности. Надо, чтобы он жил не как обыватель — не «по шпаргалке», чтобы он не относился даже к свободе как к еще одному варианту существования по «подсказанным» нормам, но чтобы он сам — вместе со всеми другими — вырабатывал все и всяческие нормы жизни.

Недаром книга начинается пересказом мудрой старой притчи о человеке, в чью внутренность проникла змея и целиком подчинила себе все его существование. «Человек уже не принадлежал себе. Он не мог совершить ни одного самостоятельного поступка». Чужая недобрая воля начисто вытеснила его свободное волеизъявление. Но вот однажды человек почувствовал, что змеи больше нет. Она уползла, человек снова свободен и волен делать все, что захочет. И тут вдруг оказалось: привыкнув подчиняться змее, он не знает теперь, что ему делать? Вместо свободы он обрел пустоту. «Очевидно, — заключает эту притчу Ю. Давыдов, — для того чтобы стать действительно свободным, наш герой должен был вернуть своей жизни ее прежнее — человеческое! — содержание. Он снова должен был обрести властную потребность в деятельном развертывании этого — человеческого! — содержания».

Однако порою Ю. Н. Давыдов все же отстает от последовательного понимания человека как творца. И всякий раз эти от-

ступления приводят к неразрешимым для него противоречиям.

Обращаясь к проблеме целостности коммунистического человека, автор показывает, что сначала надо понять, каким образом универсальность человека, развивающаяся в качестве свойства общества в целом, может оказаться отнятой у общественных классов и тем более у отдельных индивидов (так что культура прогрессирует антагонистически — ценой «расщепления», уродования и измельчения индивида). Однако автор не удерживается на точке зрения, обязывающей рассматривать социальную необходимость как внутреннюю для человеческой деятельности, а не как регулирующую ее извне. И тогда перед нами предстает «человек-следствие», которого формируют извне «надчеловеческие» силы.

Верно, конечно, что путь преодоления «расщепленности» человека — это путь изменения социальных отношений. Посредством формально-собственнического присвоения ценностей культуры достигнуть такого преодоления невозможно. Однако этот тезис изложен у Ю. Н. Давыдова противоречиво.

Еще более противоречиво Ю. Н. Давыдов в проблеме так называемого свободного времени. С одной стороны, в книге показано, что человек коммунистического общества преодолевает разрыв между деятельностью и свободой и утверждает свободу в самом процессе общественного производства. Но, с другой стороны, он так толкует слова Маркса, что подлинное царство свободы начинается лишь по ту сторону собственно материального производства, что получается, будто царство свободы — это сфера... свободного времени. Но тогда остается только уповать на сокращение рабочего времени и чисто количественное увеличение времени «свободного»... Здесь у автора позитивная свобода («свобода для...») оборачивается ограниченной и потому, увы, лишь негативной «свободой от...». А ведь свобода неделима! Положительно свободным может быть только целостный человек, для которого время его самостоятельности потому именно свободное, что оно поглотило в себе «рабочее» время и не ограничено им (Маркс называл это «снятием» противоположности между рабочим и свободным временем). Только во всеохватывающей

коммунистической самостоятельности глубочайшая характеристика всего человеческого — способность быть реальным, материальным гворцом — превратится из присущей лишь обществу в целом в непосредственную характеристику личности.

Книга Ю. Н. Давыдова не создает иллюзии, будто в марксистской науке нет новых проблем, а со старыми уже нечего

делать. Более того, она помогает выявить ту границу, за которой открываются новые горизонты для поисков. Эта книга займет свое место среди наиболее интересных и содержательных работ по марксистской философии, изданных за последнее время.

Г. БАТИЩЕВ.

★

ПРОТИВ ЛЖЕНАУКИ

С. А. Далин, А. В. Аникин, Ю. Я. Ольсевич, Я. Н. Гузеватый. Критика теорий современных буржуазных экономистов. Экономиздат. М. 1963. 212 стр.

Спрос на продукцию буржуазных экономистов обратно пропорционален темпам экономики капиталистических стран. Как с конвейера, сыплются новые рецепты экономической политики, патентованные средства для безболезненного хода хозяйственного развития, доводы против социализма, аргументы в пользу монополий. Грани между наукой и публицистикой стерлись. Приспособленная к уровню публики, которая не читает ученых книг, политическая экономия поступает на массовый рынок через печать, парламенты, телевидение. Радио Вашингтона, Лондона, Бонна изо дня в день рисует идиллию «государства благоденствия», твердит о «революции в доходах», о гармонии уравнивающих сил, о том, как богачи беднеют, а бедные их догоняют.

Оружие критики принадлежит важнейшая роль в борьбе против лженаучных теорий апологетов империализма. Этой цели служит и новая коллективная работа Института мировой экономики и международных отношений.

Особенность книги состоит прежде всего в походе к решению задачи. До сих пор в нашей литературе было принято критиковать отдельные направления или школы буржуазной экономической науки. На этот раз критикуются выступления отдельных экономистов. При таком подходе можно более глубоко проследить систему взглядов данного автора со всеми его пороками.

Авторы, критикуемые в книге, не кабинетные ученые, а практические деятели, связанные с деловым миром и правительством. Например, Дж. Голбрейс (ему посвящена статья С. Далина) — автор теории «общества изобилия» — руководил после войны Управ-

лением экономической политики госдепартамента, а после избрания Кеннеди стал послом США в Индии. А. Берли (о нем пишет А. Аникин), сочинивший теорию «управленческой революции» («капитализм без капиталистов»), — видная фигура в американской политической жизни последнего тридцатилетия. Это ученый, бизнесмен, дипломат и политик. Неомальтузианец У. Томпсон долгое время был консультантом американского правительства.

Нет единой буржуазной политической экономии. Доводы в защиту исторически обреченного строя возникают, как известно, в «свободной игре идей». Наиболее общие приемы — это, как указывает в предисловии А. Арзуманян, софизмы и подтасовывание фактов, односторонний подбор статистических данных и их методически неправильная группировка, игра на мелкобуржуазных предрассудках и неправильное истолкование явлений, выступающих на поверхности капиталистической действительности, использование старых, давно опровергнутых вульгарных теорий и изобретение прямых мифов. Теперешняя буржуазная политическая экономия еще больше искажает действительность, чем вульгарная политическая экономия девятнадцатого столетия.

При всем разнообразии и взаимной противоречивости высказываний буржуазных экономистов, многое роднит их:

1. Это прежде всего антикоммунизм. Те из них, кто выступает против холодной войны, за мирное соревнование двух систем, понимают, что разрешить проблему «капитализм или коммунизм» путем войны уже нельзя. «Альтернативой военного соревнования», — пишет Дж. Голбрейс, — как это обычно принято считать, должно

быть экономическое соревнование. Так как первое стало слишком неприемлемым, мы повернулись лицом к другой весьма неприятной вещи».

2. Как правило, они доказывают, что нынешний капитализм уже «не тот», он лучше прежнего. По Голбрейсу, например, капитализм трансформировался в «общество изобилия», где исчезают классы и классовая борьба и где противоположные интересы (с помощью возвышающегося над всеми арбитра — государства) в конце концов счастливо уравниваются. Каковы бы ни были ее бьющие в глаза недостатки и язвы, эта система хороша — «в глазах буржуазных профессоров, которым платят за подкрашивание капиталистического рабства» (В. И. Ленин). Подкрашивание капитализма стало теперь профессией громадного и все растущего числа людей — экономистов и неэкономистов.

Не жалко и самого термина, если он становится обузой. Известный американский политик Гарриман прямо заявил: «Слово «капитализм» скомпрометировано в глазах народов мира. На континентах Азии, Африки и Южной Америки слово «капитализм» слишком породнилось со словами «колониализм» и «империализм». Поэтому мы должны от такого термина отказаться. Нынешний строй в США — не тот общественный строй, который описывал Маркс в 19 веке». После выхода книги Голбрейса журнал «Мэгэзин оф Уолл-стрит» договорился до того, что «сегодня США являются величайшим социалистическим государством в мире!»

3. И в то же время большинство соглашается, что «в царстве Датском что-то гнило». Капитализм нездоров. Спорят о диагнозе и лекарствах. При этом лечение направляют не на основные причины болезни, а на устранение ее признаков (например, безработицы, кризисов, инфляции и т. п.). Критикуют не монополии, а их «эксцессы». Почти все согласны, что капитализм потерял «классический механизм саморегулирования», и в большей или меньшей степени надеются на вмешательство государства. Крайне волнует буржуазных экономистов потеря темпов развития хозяйства в ряде капиталистических стран, особенно — в США. Время от времени тот или иной экономист провозглашает «оптимальный» процент ежегодного роста промышленной продукции или национального дохода. Но при частной собственности на средства произ-

водства такого рода директива никого не обязывает.

В последнее время воскрешают старую теорию «больших циклов конъюнктуры» (о новом ее варианте, принадлежащем англичанину К. Кларку, пишет Ю. Ольсевич). Согласно этой теории примерно каждые четверть века на смену большому циклу «капиталоголодания» (периоду усиленных капиталовложений) неумолимо приходит цикл упадка («капиталонасыщения»). Таков «закон» — и тут уж ничего не поделаешь! Концепция «больших циклов» должна затухать своеобразие эпохи империализма и особенно эпохи всеобщего кризиса капитализма.

Журнал «Бизнес уик» (16 февраля 1963 года) в статье «Не объясняется ли отсутствие нашего роста большими циклами?» объявил, что группа американских экономистов «вдохнула новую жизнь» в старую теорию (при этом журнал вспомнил изобретателя этой теории русского буржуазного профессора Кондратьева, выступившего с «большими циклами» сорок лет назад). По мнению одного из этой группы, Б. Хикмана, очередной период понижения начался в середине пятидесятых годов. Он проявляется в недостатке денег, хронической безработице, ухудшении платежного баланса, упадке жилищного строительства и замедлении роста населения. Но Б. Хикман оптимист. «Я верю, — заявил он, — что когда-нибудь большой цикл снова возвратится, если мыждемся новой волны изобретений или роста населения в конце шестидесятых годов...»

Я. Гузеватый разбирает новую книгу немальтузианца У. Томпсона «Народонаселение и прогресс на Дальнем Востоке». По Томпсону, в отсталости и нищете восточных стран виноват не империализм, а избыток населения. Освобождение от колониального господства, доказывает он, не сможет улучшить жизненные условия этих народов по крайней мере в течение двух-трех десятилетий, более того — делает их агрессивными. Вместо индустриализации Томпсон предлагает ограничение рождаемости. Такого рода рассуждения выгодны империалистам, которые не желают поделиться со слаборазвитыми странами хотя бы частью награбленных у них же богатств.

Вполне в духе Томпсона конгресс Социалистического интернационала в сентябре текущего года тоже высказался за «планы контроля над рождаемостью» в отсталых

странах. Я. Гузеватый показывает вздорность этих теорий. Он приводит данные, в частности цифры ООН, из которых видно, что обширные земельные площади в этих странах не обрабатываются, хотя крестьяне страдают от безземелья и малоземелья, урожайность остается исключительно низкой.

Новые теории буржуазных экономистов — это не только новые ухищрения буржуазной пропаганды. Они отражают новые черты в экономике и политике самого капитализма, который изменяется, оставаясь в основных чертах самим собой.

Рецензируемая книга окажет помощь тем, кто хочет углубить свои представления

о сегодняшней буржуазной науке. Но значение ее выходит за рамки «просветительства». Отживающий класс всеми силами стремится увести человечество с правильной дороги. Правые социалисты, открыто отступившие от марксизма, приспособили для своих целей теории Голбрейса, Берли, Кларка, Томпсона. Все это предъясняет к марксистской общественной науке повышенные требования. Она призвана вскрывать подлинную суть лженаучных теорий буржуазных экономистов, как бы они ни маскировали всевластие бизнеса.

С. ЭПШТЕИН.

★

ЛОЦИИ АРХИВНЫХ МОРЕЙ

Личные архивные фонды в государственных хранилищах СССР.

Указатель. Том I. А — М. 478 стр. Том II. Н — Я. 502 стр. М. 1963.

Главное архивное управление при Совете Министров СССР. Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина. Архив Академии наук СССР.

Составители: Э. В. Колосова, А. А. Ходак, В. В. Цаплин, Ю. И. Герасимова, С. В. Житомирская, М. Н. Кузьминская, Е. П. Маматова, Н. Е. Новикова, И. Ф. Петровская.

Успех научной работы исследователя — историка, литературоведа, историка науки и искусства — во многом зависит от полноты разведанного архивного материала. Моря, а иногда прямо-таки океаны архивов расстилаются перед ним, грозя бедами, а иной раз и гибелью при неподготовленном плавании. Архивные описи, справочники, указатели — своеобразные лоции этих морей и океанов. Без них нельзя пускаться в плавание. Вот почему с такой радостью встретили исследователи выпуск двухтомника «Личные архивные фонды в государственных хранилищах СССР», который создан по инициативе Рукописного отдела Библиотеки имени В. И. Ленина, с участием Главного архивного управления при Совете Министров СССР и Архива Академии наук СССР.

Ученые, работающие над историей классовой борьбы, общественного и революционного движения, государства, исследователи истории, математики, естествознания, гуманитарных дисциплин, литературы, музыки, живописи, зодчества, театра, других искусств, — непременно разыскивают личные архивные фонды. В личном фонде революционера, политического и государственного деятеля, поэта, писателя, музыканта, художника, актера откладывается ценнейший материал, отражающий историю его формирования и развития, характер работы, круг

людей, с которыми он связан, замыслы, свершения, настроения... Никакой другой материал не отразит так полно и точно внутренний мир деятеля и его творческую историю, ускользающую, как правило, от официальных документов.

Богатства личных архивов огромны. Возьмем, например, личные фонды А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Лишь один фонд № 69, хранящийся в Государственной библиотеке имени В. И. Ленина, содержит 1963 единицы архивного хранения! Он отражает неразрывную связь двух выдающихся деятелей русской демократической культуры и революционного движения. Начало образования этого фонда относится к девяностым годам прошлого века, когда в «комнату людей 40-х годов» Румянцевского музея стали поступать большими партиями от сына Герцена — профессора зоологии Бернского университета А. А. Герцена — литературные и биографические материалы Герцена и Огарева, а также их обширнейшая переписка эмигрантских лет. Дальнейшие поступления (которые не прекращаются до настоящего времени) связаны главным образом с выявлением советскими исследователями рукописей Герцена и Огарева не только в пределах нашей страны, но и за рубежом; они превратили этот фонд библиотеки Ленина в крупнейшее собрание аз-

тографов Герцена и Огарева. Последнее письмо Огарева, адресованное смертельно больному другу, датировано 15 января 1870 года. В фонд вошло и значительное количество писем Герцена и Огарева разным лицам. Среди их адресатов — крупнейшие деятели русского общественного движения. Письма Герцена и Огарева — богатейший источник не только для истории их собственной жизни, творчества и революционной деятельности. Это ярчайшие страницы истории общественной мысли и характеристики эпохи.

В указатель вошли также имена фондообразователей, которых можно условно назвать «окружением» Герцена и Огарева. Многих безусловно заинтересует хранящийся в филиале Центрального государственного исторического архива УССР в Харькове фонд Пассеков, один из которых — Вадим Пассек — был членом студенческого кружка Герцена и Огарева. А помещенный во втором томе именной указатель поможет исследователям найти, кроме того, документы, принадлежащие лицам, которые не являются сами фондообразователями. Так, например, в фонде В. И. Герье исследователь найдет упоминание об имеющихся здесь материалах Н. В. Станкевича. Правда, описание не раскрывает до конца всех документов личных фондов, тяготеющих к интересующей нас проблеме. Так, хотя в фонде Огарева имеется много его писем к Н. Х. Кетчеру, часть их вошла в состав так называемого Музейного собрания, куда включены материалы и самого Кетчера.

Имеющиеся в фонде № 69 сорок тетрадей и записных книжек Огарева, на многих из которых дарственные надписи Герцена, таят в себе наряду с многочисленными автографами стихотворений, записями философского, научного характера документы революционно-подпольного характера. Это уже не только и не столько материалы лично Огарева. Они относятся к истории первой «Земли и воли», ее организации и деятельности. Фонд Герцена и Огарева в Библиотеке имени Ленина дополняется материалами каждого из них,сосредоточенными в Центральном государственном архиве литературы и искусства (фонд Герцена — № 129, фонд Огарева — № 359). Сотни единиц хранения этих фондов в своей подавляющей массе составляют отколовшуюся часть их заграничного архива, ту именно часть, которую А. А. Герцен не счел воз-

можным передать в царскую Россию. Наряду с рукописями литературных произведений здесь переписка Герцена и Огарева с деятелями русского и международного революционно-демократического движения, а также революционно-конспиративные материалы, документально свидетельствующие о руководящей роли Герцена и Огарева в организации общедемократического натиска на самодержавие в период революционной ситуации конца пятидесятых — начала шестидесятых годов.

За этими двумя номерами описания — автографы писем В. Г. Белинского, Т. Н. Грановского, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, М. А. Маркович (Марко Вовчок), деятелей революционного движения шестидесятых годов Н. А. и А. А. Серно-Соловьевичей, Н. Н. Обручева, Н. Я. Николадзе, Н. И. Утина, В. О. Ковалевского... корреспонденция «Колокола» и другие материалы, без которых не может обойтись исследователь русского революционного движения прошлого века и его международных связей.

Живой облик эпохи отражается иногда в материалах личных фондов с такой полнотой, что с ними не могут поспорить другие архивы. Правда, иной раз личный архив не «завучит» без помощи множества документов другого рода, но вот вспыхивают в нем золотые искры, выявляется неведомый ранее яркий биографический штрих, слышится живой голос современника, становится известным нигде ранее не отраженный факт творчества этого человека, его личная позиция в большом событии, ускользавшая прежде от внимания исследователя, узнаются драгоценные данные, так необходимые исследователю. И совсем по-другому начинает выглядеть восстанавливаемая историком действительность.

С личными фондами было раньше особенно трудно. Они рассыпаны в великом множестве архивохранилищ, часто неожиданных, не всегда известных. Свести их воедино, точно указать их номера, хронологические рамки, число единиц хранения — это огромнейшая работа. Составители получили сведения из шестнадцати тысяч фондов, отобрали материал более чем из десяти тысяч личных, семейных и родовых архивов! Эти данные сами говорят за себя. Один список государственных архивохранилищ, фонды которых названы в указателе, занимает тринадцать страниц. Кроме широко известных центральных государственных архивов, тут

крупнейшие хранилища национальных республик, а также хранилища Томска и Львова, Ульяновска и Нежина, Вологды и Харькова, Казани и Якутска — невозможно все их перечислить.

Пожалуй, не менее историков обрадуются и литературоведы, особенно историки литературы: имена писателей встретятся им на семистах с лишним страницах. На нескольких сотнях страниц встретятся им также имена критиков, публицистов, журналистов, переводчиков, редакторов и издателей. Не только исследователи творчества А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова, А. С. Грибоедова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. П. Чехова, А. А. Блока и других классиков первой величины увидят концентрированный перечень их архивных фондов. Писатели менее известные, но заслуживающие изучения — В. Слепцов, В. Помяловский и множество других — теперь освещены указателем. Здесь названы также фонды советских писателей — В. В. Маяковского, Н. С. Тихонова, А. Т. Твардовского, М. В. Исаковского, Э. Г. Багрицкого, С. Я. Маршак и многих других, рассеянные в разных архивах СССР.

Выпуск указателя значительно облегчит использование богатейших и интереснейших материалов по истории науки, просвещения, культуры. Он будет способствовать введению в научный оборот множества новых фактов, помогающих глубже понять и осветить развитие науки и культуры в нашей стране. Выявление этих материалов, при отсутствии указателя, часто представляло не только для начинающих, но и для опытных исследователей серьезные трудности и требовало большой затраты времени.

Достаточно сказать, что в указателе сообщается о наличии в архивах более 14 300 единиц хранения личных материалов Д. И. Менделеева, 6156 — К. А. Тимирязева, 1125 — И. В. Мичурина, более 1240 — И. И. Мечникова, 514 единиц хранения материалов С. И. Вавилова и о большом числе документов многих других деятелей русской науки, чтобы понять, какое ценнейшее подспорье получили исследователи.

Личный фонд ученого — это не только совершенно необходимый источник для освещения его биографии. Значение этого фонда шире. Дело в том, что книги ученого содержат лишь аргументацию и выводы автора, но редко восстанавливают творческую

историю труда. Между тем исследователю истории науки надо также знать, каким путем ученый или изобретатель пришел к своему открытию или изобретению. Именно личные фонды могут стать незаменимым материалом для изучения закономерностей научного творчества, истории и логики научных открытий и изобретений. А это иногда имеет для науки не меньший интерес, чем конечный результат работы ученого. Материалы личного фонда дают возможность проникнуть в лабораторию научнотехнического творчества. Они дают возможность на основании конкретных фактов изучать влияние на ученого общественной атмосферы, социальных и политических условий, философских взглядов и т. п.

Думается в связи с этим, что для развития исследований в этих направлениях было бы очень важно, чтобы по аналогии с Центральным государственным архивом литературы и искусства был создан архив науки, техники и просвещения.

Следует приветствовать включение в книгу указаний на личные фонды передовиков социалистического строительства, Героев Социалистического Труда. Эти фонды, как правильно отмечено в предисловии, имеют большое значение для изучения истории советского общества.

Помещенные в конце второго тома указатели облегчают пользование двухтомником. Но было бы удобнее, если бы составители пронумеровали все упоминаемые им фонды и в указателе дали бы ссылки не на страницы томов, а на номера фондов.

Следовало бы все же кратко аннотировать фонды или хотя бы указать на характер содержащихся в них документов — неопубликованные рукописи, варианты, переписка и т. д. Очевидно, составители отказались от этого, чтобы избежать частого повторения определений. Напрасно. Ведь не для сплошного чтения предназначен указатель. И еще одно попутное замечание. В тех случаях, когда указанные в двухтомнике фонды уже описаны в путеводителях каких-либо архивов, отсылка к этим изданиям была бы очень полезной. Не менее полезными были бы сведения о капитальных монографиях, посвященных данному деятелю, в которых использованы архивные материалы и даны их описание или перечень.

Указатель иногда отсылает к другим фондам. Это очень нужно и полезно. Однако еще не все здесь учтено. Например, указав

личный фонд К. Ф. Рулье в Московском обществе испытателей природы при МГУ, а чрезвычайно ценные, неопубликованные или опубликованные только частично и только в последние годы рукописи К. Ф. Рулье, содержащиеся в фонде Н. М. Кулагина, не упомянуты. Можно указать и на другие упущения. Не отражены, например, неопубликованные рукописи К. М. Бэра (см. «Вестник Академии наук СССР», № 3, 1960), хранящиеся в Тарту. Вовсе не учтен фонд известного исследователя ракетной техники Цандера, биолога восемнадцатого века А. М. Шумлянского, хранящийся в Отделе рукописей Библиотеки имени В. И. Ленина.

Начата огромная работа, и она, бесспорно, требует продолжения. Еще не все архивохранилища просмотрены, а ведь некоторые из них очень богаты (например, архив Института марксизма-ленинизма). Личные фонды пополняются, число их увеличивается. Научная жизнь страны идет вперед, выявляются новые сокровища. Следовательно, необходимость продолжения начатой работы ясна сама собой.

Но кое-что можно доделать и в области уже зарегистрированного и освещенного. В таком большом деле, конечно, неизбежны недосмотры. Однако они не так уж значительны и не могут умалить огромного значения увидавшего свет драгоценного пособия. Хочется надеяться, что в следующих изданиях пробелы будут восполнены. Несомненно, будет составлен полный именной указатель, в который войдут фамилии всех фондообразователей. Такой указатель очень нужен, ибо только он и дает возможность быстрого ориентировочного обозрения материала, избавив от необходимости перелистывать для этого одну за другой всю добрую тысячу страниц издания. Очень хотелось бы обогатить перечень фондов примечанием, содержащим — хотя бы в важнейших случаях — указание на дела судебно-следственного характера, если они существуют и выявлены. Едва ли можно считать исчерпывающим, скажем, описание фондов декабриста Артамона Муравьева или Сер-

гея Трубецкого, если отсутствует указание на их личные следственные дела.

Необходимо также общее оглавление издания, которое явно забыто составителями. Может быть, им казалось, что его возьмет алфавитный порядок имен. Но, во-первых, этот порядок и должен отразиться в оглавлении (см., например, указатели к Сочинениям В. И. Ленина), а во-вторых, как быть с дополнениями и с подсобными указателями? В издании помещены: 1) список государственных хранилищ, фонды которых тут названы; 2) указатель фондообразователей по роду их деятельности; 3) указатель имен, которые встречаются в тексте описаний; 4) географический указатель; 5) указатель учреждений, организаций и предприятий; 6) указатель периодических изданий, ежегодников и альманахов. Все это надо быстро находить, знать, что где расположено. Вот почему необходимо оглавление.

Список сокращенных названий архивов надо бы, не скупясь, поместить в обоих томах, а то для прочтения текстов в первом томе приходится нередко открывать второй, где они находятся, не все же сотни сокращенных исследований исследователь помнит наизусть.

Но все это частные замечания. Важно, что указатель уже есть. Работа теперь пойдет во многих случаях по-иному: легче, экономнее, веселее. Расширится круг источников исследования, а это — самое главное.

Когда-то старый библиофил назвал библиографию лодиями книжных морей. Но сколь суровее и труднее для исследователя архивные моря и океаны с их рифами и скалами, сковывающей темнотой неизмеримых пространств, молчанием глубин... Теперь два тома лодий для моря личных фондов лежат у исследователя на столе. За это — наше большое спасибо трудолюбивому коллективу составителей.

Академик
М. НЕЧКИНА,
кандидат исторических наук
Е. РУДНИЦКАЯ,
доктор биологических наук
С. МИКУЛИНСКИЙ.

БИОГРАФИЯ АНТАРКТИДЫ

А. Ф. Трешников. История открытия и исследования Антарктиды. Географгиз. М. 1963. 432 стр.

За последние годы у нас вышло много книг, посвященных Антарктиде. Это и понятно: советский народ проявляет большой интерес к ледовому матерiku, открытому сто сорок четыре года назад русской экспедицией Ф. Ф. Беллинсгаузена — М. П. Лазарева. В наши дни этот материк стал первым континентом мирного сотрудничества ученых многих стран. Труд известного советского полярника, директора Арктического и Антарктического института гидрометеослужбы А. Ф. Трешникова содержит интересный и разносторонний материал. Книга входит в издающуюся Географгизом серию «Открытие земли», которая включает описания открытий и исследований материков Земли.

Известно, что Антарктида до сих пор остается наименее изученным и освоенным континентом на нашей планете. Тем более привлекает внимание новый материал книги — о суровой природе ледового материка. Труд этот ценен еще и потому, что написан не только на основе многочисленных отечественных и зарубежных исследований, в том числе и отчетов самых последних экспедиций, но и на основе личных впечатлений автора: экспедиция под его руководством совершила ряд исключительно трудных походов и полетов во внутренние районы ледяной пустыни, куда до того никогда не ступала нога человека.

За плечами Героя Социалистического Труда Алексея Федоровича Трешникова многолетняя работа в Арктике: проводки сквозь льды кораблей, полеты на ледовые разведки, зимовки на островах и дрейфующих льдинах в Северном Ледовитом океане. Одним словом, книга написана не кабинетным ученым, а исследователем, лабораторией которого были необозримые просторы суровых полярных областей нашей планеты.

А. Ф. Трешникову и его товарищам повезло первым проникнуть к Южному геомагнитному полюсу и создать там научную обсерваторию «Восток». Как впоследствии выяснилось, район обсерватории «Восток», от которого до ближайшего берега более одной тысячи четырехсот километров ледяной пустыни, — полюс холода Земли. В августе 1960 года здесь была от-

мечена самая низкая температура, которая когда-либо наблюдалась на поверхности Земли, — минус 88,3 градуса. Это почти на двадцать градусов ниже самой низкой температуры, зарегистрированной на «сибирском полюсе холода» — в районе Верхоянска.

В книге рассказывается о всех важных этапах и экспедициях, связанных с изучением шестого материка. Но основное внимание уделено открытию Антарктиды (1820—1837) и последующему ее изучению, особенно в период Международного геофизического года и в последующее время. Впервые к ледяному матерiku европейцы подошли 15 (27) января 1820 года. Это были русские моряки на кораблях «Восток» и «Мирный». В этот день свершилось историческое событие — был открыт последний неизвестный континент нашей планеты — Антарктида. В последующем экспедиция Беллинсгаузена — Лазарева еще несколько раз подходила к ледяному матерiku и обошла вокруг него. Участники русской экспедиции впервые дали физико-географическое описание открытого континента.

Оценивая результаты первой русской антарктической экспедиции и ее руководителя, известный немецкий географ Петерман писал: «За эту заслугу имя Беллинсгаузена можно прямо поставить наряду с именем Колумба, Магеллана и Джемса Росса, с именами тех людей, которые не отступали перед трудностями и воображаемыми невозможностями, которые шли своим самостоятельным путем и поэтому были разрушителями преград к открытиям, которыми обозначаются эпохи».

Экспедицией Беллинсгаузена — Лазарева было положено начало новому этапу изучения Антарктиды. Но прошедшие десятилетия, прежде чем нога человека ступила на землю Южного материка. Это произошло на стыке прошлого и нынешнего столетий. А в конце 1911 года Руаль Амундсен достиг Южного полюса.

Русские люди всегда принимали активное участие в изучении этой суровой области. Вместе с Амундсеном на «Фраме» работал русский океанограф А. С. Кучин. В составе экспедиции английского полярного исследователя Р. Скотта, направивше-

гося к Южному полюсу, находились русские — Дмитрий Горев и Антон Омельченко.

Но наибольших успехов в изучении Южнополярного бассейна наша страна добилась в годы советской власти. В декабре 1946 года по постановлению Советского правительства была создана антарктическая китобойная флотилия «Слава». Наряду с китобойным промыслом на флотилии систематически ведется большая научно-исследовательская работа.

Продолжая славные традиции первооткрывателей шестого континента, советские ученые принимают активное участие в изучении Антарктиды. В 1955 году, в связи с участием Советского Союза в проведении Международного геофизического года, была создана комплексная антарктическая экспедиция.

Тринадцатого февраля 1956 года, в канун открытия XX съезда КПСС, на берегу моря Дейвиса взвился алый стяг нашей родины, возвестивший о создании первой советской обсерватории на ледяном континенте. С тех пор советские полярники рука об руку с исследователями одиннадцати стран ведут, как сказал Н. С. Хрущев, «героический, благородный труд во имя науки», который «вызывает искреннее восхищение всего человечества».

В результате дружеского сотрудничества ученых многих стран человечество за последние восемь лет узнало о шестом континенте больше, чем за всю предшествующую историю исследования Антарктиды. После окончания Международного геофизического года ученые пришли к мнению о необходимости дальнейших коллективных усилий в изучении природы Антарктики.

Первого декабря 1959 года был подписан Договор об Антарктике, который установил, что она может использоваться только в мирных целях. Она не должна быть ареной или предметом споров. В Южнополярной области «запрещаются, в частности, любые мероприятия военного характера, такие, как создание военных баз и укреплений, проведение военных маневров, а также испытания любых видов оружия». Этот примечательный документ привлекает внимание народов всех стран. В Договоре заложены и частично реализованы многие важные проблемы, стоящие перед всем миром.

Антарктика стала первой зоной мира на

нашей планете. На самом холодном материке установились теплые и сердечные отношения между учеными с различными мировоззрениями, между представителями государств с различными социальными системами.

Обращаясь к участникам антарктических экспедиций всех государств, Н. С. Хрущев высказал уверенность, что «дружные совместные усилия, направленные на раскрытие тайн Антарктики, позволят успешнее использовать силы природы на благо людей».

Книга А. Ф. Трешникова дает представление о природе Антарктиды — этого самого сурового континента нашей планеты.

Сейчас окончательно установлено, что главная особенность антарктического континента, площадь которого вместе с плавающими, или, как их называют, шельфовыми, ледниками составляет около четырнадцати миллионов квадратных километров, — почти целиком покрывающий его огромный ледяной панцирь. Благодаря работам исследователей многих стран, в том числе и советских, наши знания об этом ледяном панцире значительно расширились. Так, стало известно, что в среднем его толщина — около двух тысяч двухсот метров, а в районе станции Пионерская — более четырех километров. Нетрудно подсчитать, какое огромное количество льда сосредоточено в этом холодильнике Земли, и представить, что произошло бы на нашей планете, если бы весь этот лед растаял: вода затопила бы большую часть приморских городов мира.

Еще недавно считалось, что сильно охлажденный континент вызывает образование своеобразной «шапки» высокого давления, которая образует гигантский «ветровой барьер» вокруг Антарктиды и изолирует таким образом атмосферу шестого материка от остальной. Новейшие наблюдения показали, что такого барьера нет. Холодные массы антарктического воздуха, проникая далеко на север, оказывают серьезное влияние на погоду и климат значительной части Земли, в том числе и Северного полушария.

Многочисленные наблюдения последнего времени позволили произвести первые приближенные подсчеты баланса льдов в Антарктиде. Установлено, что в среднем за год от ледяных берегов континента откалываются айсберги, в которых содержится семьсот тридцать кубических километров

воды. За этот же срок на ледяной континент принесится тысяча восемьсот тридцать кубических километров воды в виде осадков. Отсюда видно, что ледяной щит ежегодно увеличивается примерно на тысячу сто кубических километров.

Выяснилось, что на поверхности Антарктиды имеются участки «отогретой земли» — своеобразные «оазисы», свободные ото льда. Общая площадь таких оазисов составляет примерно семьсот тысяч квадратных километров. Имеется много доказательств того, что в далеком прошлом Антарктида вместе с Южной Америкой, Африкой, Индией и Австралией составляла единый Гондванский континент. А раз так, то в недрах Антарктиды должны быть многие ценные полезные ископаемые, которыми так богаты другие части древнего континента.

И действительно, в ряде мест материка найдены пласты каменного угля, указывающие на наличие огромных запасов этого ценного топлива. Высказываются предположения, что недра шестого континента богаты нефтью. Разностороннее познание природы ледяного континента приближает время его хозяйственного использования.

Читатель найдет в книге и много других весьма интересных сведений. Добавлю к этому, что написана она хорошим языком, увлекает романтикой борьбы с суровыми силами природы, показывает благие плоды мирного сотрудничества.

С. ОСОКИН,

действительный член Географического общества СССР.



ТРАГЕДИЯ ИХАЛМЮТОВ

Фарли Моуэт. Люди оленьего края. Перевод с английского Г. Смирнова.

Издательство иностранной литературы. М. 1963. 316 стр.

Фарли Моуэт. Отчаявшийся народ. Перевод с английского Л. Н. Карпова,

И. А. Тихомирова. Издательство иностранной литературы. М. 1963. 256 стр.

Вы, читатель, можете быть, впервые прочли слово «ихалмюты». Возможно, вы никогда и не слышали бы об этом древнем племени эскимосов, обитавших в тундровых просторах Северной Канады... История племени так и была бы, наверно, похоронена в томах научных трудов и в архивах, доступных лишь ограниченному кругу специалистов, если бы не подвиг одного человека. Этот человек — прогрессивный канадский писатель и путешественник Фарли Мак-Гилл Моуэт. Он рассказал миру об ихалмютах, поведал их скорбную историю.

Пятнадцатилетним юношей Фарли Моуэт впервые попал в тундры Севера. Он возвратился оттуда обогащенный множеством ярких впечатлений. Он учился, странствовал по прериям и лесам, стал солдатом, воевал в Европе с фашистами, а мысль о Севере не покидала его. Но особо обострилась эта тяга в годы войны.

«...Я видел, — пишет Фарли Моуэт, — как разрушаются большие города, а под их обломками гибнут люди, и не мог постичь, для чего это делается. Я познал тошнотворный, разъедающий душу страх, порожденный стихийным возмущением и протестом против людей, которые одни из всех живых

существ на земле смогли намеренно свергнуть мир в жесточайшую бойню». И когда кончилась она, «мне хотелось, — рассказывает автор в другой книге, — бежать от воспоминаний о пяти годах войны и найти таких людей, которые не внушали бы мне ни презрения, ни страха». И Моуэт нашел таких людей. Это были ихалмюты, почти неизвестное науке племя. Автор рассказывает подробности необычайного знакомства с ними, совместного житья, кочевков, охоты на карибу и о многом другом. Он изучил язык аборигенов, стал их настоящим другом, разделял с ними тяготы жизни.

Рецензируемые книги потрясают своей беспощадной откровенностью, своим безысходным трагизмом. С горечью повествует Моуэт о том, как хладнокровно, расчетливо уничтожен целый народ ихалмютов — сотни отважных, умных, чистых сердцем охотников на олений карибу.

Просто не верится, что это происходило в наши дни и в столь богатой, экономически развитой стране, как Канада. От голода и болезней гибнет целый народ! Непостижимо, но факт. Фарли Моуэт ничего не преувеличивает. Он рассказывает о том, что видел собственными глазами и слышал соб-

ственными ушами. Он приводит даты, документы, свидетельства других очевидцев этой страшной трагедии.

Испокон веков эскимосы страны Барренс (географическая область Северной Канады) и их соседи — северные индейцы занимались охотой на карибу. Олени давали им пищу, кров, одежду. Ихалмюты и северные индейцы были независимы. Так длилось до начала нынешнего столетия, пока в их краях не появились «белые». Фактористы — агенты торговых компаний снабдили северян усовершенствованным огнестрельным оружием. Охота на оленей облегчилась. Началось массовое истребление карибу. Численность оленьих стад катастрофически падала. Торговым компаниям это было выгодно. Им важно было подорвать экономическую основу жизни ихалмютов, закабалить их, заставить добывать песка, шкурки которого пользовались тогда на мировом рынке большим спросом. И ради этого торговцы шли на чудовищную подлость.

«Еще в 1920 году, — рассказывает Фарли Моуэт, — одна из факторий торговой фирмы, пользующейся мировой известностью, сбывала баснословное количество боеприпасов, объявив северным индейцам, что будет закупать у них в неограниченном количестве олени языки. Много тысяч сушеных языков прошло через факторию, многие тысячи туш убитых карибу были оставлены на месте охоты и начинали гнить, как только наступала весенняя оттепель. Не думаю, что в этом следует винить индейцев».

Уничтожая стада карибу, простодушные северяне не подозревали, что обрекают себя на самоуничтожение. Доверчивые, они верили в доброту и порядочность «белых». Да и песцовый промысел казался им выгодней. За шкурки песка они получали на факториях боеприпасы, муку, ляд, консервы. Им не надо было думать о будущем, заботиться о запасах на зиму: на факториях имелось все нужное. Так длилось несколько десятков лет... Но когда на мировом рынке резко упал спрос на песцовый мех, торговцы покинули тундру. Они бросили ихалмютов на произвол судьбы без продовольствия и, главное — без боеприпасов, лишив их возможности добывать оленей. А древние охотничьи навыки успели к тому времени забыться. И страна Барренс превратилась в страну ужаса. Голод и дары «белых» — болезни: туберкулез, полиомиелит, грипп, корь

уносили в могилу целые стойбища ихалмютов...

Нельзя без волнения читать перипетии этой драмы, описываемой Фарли Моуэтом. Трагические эпизоды следуют один за другим. Автор прослеживает жизнь нескольких семейств. С глубоким пониманием и уважением относится он к их верованиям, обычаям, законам, овеянным веками. Да и нельзя не уважать людей, кодекс жизни которых так же прост и ясен, как и их души. Он жидется на двух главных законах Первый: «То, что делает человек, священо, и никто не имеет права вмешиваться в его дела, за исключением лишь таких случаев, когда действия одного человека могут представлять опасность для остальных членов общества». Второй закон страны Барренс гласил: «Пока хоть в одном жилище имеется еда, снаряжение или человек, обладающий физической силой, никто в стойбище не должен испытывать нужды в этом».

Столетия жили ихалмюты по своим мудрым неписаным законам, пока не столкнулись с пресловутой цивилизацией «белых». Она, эта цивилизация, предстала перед ними в образе трех владык — вершителей их судеб — «Компании Гудзонова залива», церкви и канадской конной полиции.

«Компания Гудзонова залива» стремилась к одной цели — lucrальному прибылей, не стесняясь в средствах и методах. Души эскимосов, а отнюдь не их материальное благополучие заботило монахов-миссионеров. Фарли Моуэт приводит циничные слова одного американского миссионера, который сказал, что для эскимоса «попасть на небо важнее, чем излечиться от туберкулеза». Полиция же не вмешивалась ни в дела торговцев, ни в дела церкви, разделяя мнение колонизаторов, что «туземцев» (этот термин, подчеркивает Фарли Моуэт, до настоящего времени в ходу у полицейских) «нужно всеми силами защищать от заражения идеями общества белых людей».

Владыки канадского Севера, конечно, не были заинтересованы в том, чтобы мир знал об их деяниях. Моуэт подробно рассказывает, как гасились тревожные сигналы о бедствиях ихалмютов, время от времени подававшиеся честными людьми. Лишь в 1958 году страшная действительность начала вырисовываться во всех подробностях. Обнаружилось, что средняя продолжительность жизни эскимосов немногим более

двадцати четырех лет. Каждый восьмой из них болен туберкулезом. Более семидесяти пяти процентов канадских эскимосов страдают от хронического недоедания.

Уцелевшие семьи ихалмютов были принудительно переселены на непригодные для охоты, а следовательно, и для жизни людей, уголья и погибали. Выжили лишь единицы, превратившись в попрошайек, ютящихся на помойных ямах поселений «белых».

Таков финал истории свободного племени ихалмютов.

Читаешь эти скорбные повествования Фарли Моуэта, и еще сильнее разгорается чувство ненависти к капитализму с его звериным законом «человек человеку — волк».

Моуэт мастерски описывает северную природу. Но с еще большей силой писательский талант его проявляется в лепке человеческих характеров. Перед вами проходит галерея простодушных и мужественных ихалмютов — мужчин, женщин, детей, с их самобытной психологией, неповторимой индивидуальностью.

А до каких вершин драматизма подымается Фарли Моуэт в описании трагических судеб ихалмютов! С каким публицистическим накалом раскрывает он преступления колонизаторов! Вот, например, глава «Мытарства Кижик» («Отчаявшийся народ»). В ней автор рисует сцену суда над несчастной женщиной-ихалмюткой. В этой сцене как бы сфокусированы вся подлость, вся мерзость и лицемерное ханжество общественного строя, рядящегося в тогу демократии.

«Ихалмюты дали мне свои глаза, дабы я смог увидеть то, что скрыто от взоров «белых» людей. Теперь я в свою очередь отдал им свой голос, чтобы «белые» смогли услышать слова, которых ихалмюты не могут сказать сами о себе.

И вот их рассказ окончен. Должно быть, я заговорил слишком поздно и поэтому только напомнил своей книгой о великих днях народа, который ныне мертв. И все же история ихалмютов — это не только их собственная история, ведь большую часть того, что я написал, можно отнести и к мно-

гим тысячам индейцев и эскимосов, живущих на Крайнем Севере континента, где ощущается холодное дыхание Арктики. Так пишет Фарли Моуэт и ставит вопрос: что можно и должно сделать, чтобы спасти еще уцелевшие народности Крайнего Севера? И тут же излагает свою программу: создание в канадской гундре промыслового оленеводства, трудоустройство аборигенов на предприятия горнодобывающей промышленности...

Г. Агранат в предисловии к книге «Отчаявшийся народ» и Ю. Волков — автор послесловия к книге «Люди оленьего края» достаточно полно объясняют, в чем прав и в чем не прав Фарли Моуэт, но вместе с ними невольно удивляешься тому, как он мог умолчать о том, что сделано на нашем Севере за годы советской власти. Лишь в заключительной главе книги «Люди оленьего края» Моуэт вкось бросает фразу: «Но наступает время больших перемен, время, когда мы — как это уже сделали на своем Севере русские — будем жить, работать и увеличивать наши богатства в этой единственной оставшейся у нас пограничной области». Аналогичная мысль высказана и в конце другой книги. Простим Фарли Моуэту его наивность. Советский опыт нельзя копировать частично. Нельзя забывать, что огромные социальные, политические и экономические преобразования в жизни Советской Арктики стали возможны лишь благодаря деятельности Коммунистической партии и Советского правительства, положивших конец бесправию, расовой дискриминации, вовлекших все — и большие и малые — народы нашей отчизны в борьбу за построение самого совершенного человеческого общества на земле.

Об этом на примере народов Чукотки очень хорошо, умно, убедительно рассказал писатель-чукча Рытхэу в очерке «У мертвых нет песен», помещенном как предисловие к книге «Люди оленьего края».

Издательство иностранной литературы сделало доброе дело, познакомив советского читателя с Фарли Моуэтом и его правдивыми книгами.

Н. БОЛОТНИКОВ.

НЕРЯШЛИВАЯ КНИГА

А. П. К о в а л е в. Путеводитель по Москве. Издательство Министерства коммунального хозяйства РСФСР. М. 1963. 432 стр.

Не знаю, следовало ли Издательству Министерства коммунального хозяйства РСФСР браться за издание этой книги, рассчитанной отнюдь не на специалистов по коммунальному хозяйству, а на гостей Москвы и на москвичей? Но раз уж это издательство взялось за такую работу, то нужно было прежде всего осознать, как она сложна и ответственна, каких обширных познаний требует. Недаром путеводители по Ленинграду, да и по многим другим большим городам составляют коллективы авторов — специалистов разных областей знаний.

Новый путеводитель по Москве написан А. П. Ковалевым. Не переоценил ли автор свои возможности, когда взялся за эту огромную тему? Прежде всего он не в ладах со стилистикой и грамматикой. Книга о Москве, колыбели русской культуры, книга о городе Пушкина, Толстого, Чехова должна быть написана хорошим языком. Слог же этого путеводителя вял и сер, а местами просто коряв.

Вот как пишется, например, об одном из новых спортивных сооружений столицы: «В центре зала предусматривается устройство демонстрационной площадки, окруженной... трибунами, вместимость которых может быть доведена до 3500 сидячих мест».

В другом месте читаем: «Градостроительным началом идеи реконструкции этой старейшей части центра столицы является строительство несколько не совсем обычного здания гостиницы в Зарядье». Даже и не сосчитаешь сразу, сколько слов в родительном падеже привешено одно к другому. А чего стоит это определение: «несколько не совсем обычное здание!»

Особенно не повезло в путеводителе памятникам. «Сидящая фигура ученого в парике и камзоле, с рукописью на коленях покоится на постаменте, обработанном в стиле, близком эпохе, в которую жил Ломоносов». Сидящая фигура покоится!

А вот как описан памятник П. И. Чайковскому: «Трехметровая бронзовая фигура творца изумительной музыки дана в момент вдохновенного творчества». Фигура, которая дана в момент творчества! Трехметровая фигура творца музыки! Да что же это такое?

Там, где автор вступает в единобор-

ство с деепричастными оборотами, он терпит полное поражение: «Полным ходом идет застройка центральной части, где, в частности, проектируется создание экспериментальной промышленной зоны, не входя в противоречие с новыми принципами советского градостроительства».

Недостаток книги не только в том, что она написана так неряшливо,— в ней нет определенного взгляда на проблемы архитектуры и искусства. Чтобы рассказать об архитектуре современной Москвы, о ее успехах и ошибках, о ее движении и развитии, нужно иметь определенную эстетическую позицию. Как же можно в одной и той же книге то радоваться тому, как разумно и экономно проектируются новые станции метро, то умиляться тому, как пышна лепка на старых станциях? А ведь именно так у автора и получается. В характеристиках старых станций он явственно следует за описаниями, которые были сделаны в годы, когда эти станции строились,— следует за теми, кто упивался драгоценностью отделочных материалов и сложностью украшений, обходя молчанием вопросы стоимости, целесообразности и художественной ценности этого пышного декора. Там же, где речь идет о новых станциях, автор столь же убежденно говорит о преимуществе строгих и экономных конструктивных решений и простых отделочных материалов. Все это звучит так, словно автор пытается свести воедино пересказ чужих описаний, появившихся в разное время.

Особенно странно это противоестественное сочетание выглядит в пределах одной фразы: «Два ряда стройных колонн, облицованных мрамором, лепные узоры потолка, мозаичный мраморный ковер пола, лепные орнаменты капителей, стенная облицовка из разноцветных пород мрамора — все это придает станции яркий, красочный колорит юга, при всей ее чрезмерной декоративности».

Улицы, площади, переулки Москвы неразрывно связаны с историей отечественной литературы. Автору путеводителя приходится рассказывать о домах, где создавались великие произведения, о памятниках, поставленных в честь писателей, а значит, касаться больших и сложных явлений литературы и искусства.

Вот отрывок, посвященный дому № 7 по Суворовскому бульвару, где провел последние годы жизни Н. В. Гоголь: «В этом доме мучительно угасала жизнь создателя бессмертных произведений. Здесь он продолжал лихорадочно работать над поэмой «Мертвые души». Охваченный приступами мистицизма, сомневаясь в ценности своего труда, он вторично сжег вторую часть «Мертвых душ». Это трагическое событие произошло в ночь на 12 февраля 1852 г., а 21 февраля утром Гоголь умер... Во дворе здания стоит памятник Н. В. Гоголю, выполненный скульптором Н. А. Андреевым в 1909 г. Скорбная фигура писателя, зябко кутающаяся в шинель, полна опустошенности и мучительных терзаний. Этот образ как-то не вяжется с духовной сущностью творца произведений, полных жизни, неувядаемого юмора, злой и умной сатиры».

Памятник работы Н. А. Андреева в 1952 году был снят с Гоголевского бульвара, где он стоял, и заменен памятником работы Н. В. Томского Оправдана ли была такая замена — это вопрос спорный, и, может быть, не следовало затрагивать его в путеводителе, ограничившись простым описанием обоих памятников. Но если уж автор решил заговорить об этом, то зачем же понадобилось ему произносить осудительные слова о скульптуре Андреева теперь, когда она перенесена во двор дома, который связан с духовной и физической смертью Гоголя? Почему бы не сказать по справедливости, что памятник этот, не выражая всей сущности жизни и творчества Гоголя, глубоко и талантливо передает ту трагедию, которая произошла в стенах этого дома?

Все дело в том, что у оценок А. П. Ковалева нет твердой основы. С одной стороны, памятник работы Андреева стоит — значит, нужно его описать; с другой стороны, этот памятник в свое время с бульвара перенесли на другое место...

Но, быть может, неудачны только описания памятников, зато хороши сравнительно более легкие справки об улицах? Вот одна наудачу. Речь идет о Кропоткинской улице, бывшей Пречистенке. «Раньше мы сказали, что с развитием капиталистических отношений изменилось лицо Пречистенки. Эти изменения коснулись прежде всего облика до-

мов. Рядом с описанными выше особняками вот бывший доходный дом Исакова (дом № 28), построенный в 1911 г. архитектором Л. И. Кекушевым — одним из видных представителей московского «модерна» — нового стиля, выраженного в изломанных линиях, асимметрии, нарочитой декоративности и предвзятой оригинальности. Следует отметить дом № 32, сохранивший в общем свои ампирные черты, хотя трижды он переделывался». Тот же стиль, тот же язык. В книге множество мест, производящих впечатление сырого и небрежного черновика.

Когда для описания какого-нибудь эпизода из истории Москвы или какого-нибудь значительного события современности у автора не хватает собственных сил, он прибегает к цитатам из романов, очерков, исторических трудов. И даже если эта цитата из не бог уж вещь какого яркого сочинения (ну хоть из «Китай-города» Боборыкина), дойдя до нее, отдыхаешь от того слога, которым написана книга. Отдыхаешь и на некоторых раскавыченных цитатах. Далеко не все работы, использованные в этой книге как источник для компилирования, указаны в примечаниях. Остается добавить, что в книге много опечаток и что оформление ее (бумага и шрифт, обложка, заставки, печать) невыразительно и провинциально.

Москвича, родившегося и выросшего в Москве, гостя столицы, который хочет узнать наш великий город — всех, кто любит Москву, не может не задеть то равнодушно-неуважительное отношение к большой и дорогой теме, которое проявило издательство, выпустив эту серую и неряшливую книгу. Конечно, в ней можно найти полезные справочные сведения и, продравшись сквозь невыносимый слог, узнать разнообразные факты из прошлого, настоящего и будущего Москвы. Но разве таким должен быть настоящий путеводитель по Москве? И разве нет по-настоящему влюбленных в родной город — в его историю и современность — ученых, писателей, художников, которые могли бы создать такой путеводитель, где все — от точности и весомости слога до выразительности иллюстраций и четкости печати — отвечало бы теме? Конечно, есть. Путеводитель по Москве не может быть холодной, ремесленной поделкой.

Сергей ЛЬВОВ.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

Г. А. ТРУКАН. Ян Рудзутак. Госполитиздат. М. 1963. 96 стр. Цена 11 к.

За последние годы Госполитиздат выпустил серию книг, посвященных выдающимся деятелям партии и Советского государства, невинно погибшим в период культа личности. Эти книги призваны выполнить благородную задачу — восстановить светлые образы бойцов старой ленинской гвардии. Одна из них — небольшая книжка, посвященная Яну Эрнестовичу Рудзутaku.

Живо написанные страницы раскрывают перед читателями обаятельный образ одного из верных ленинцев. От пастуха в латвийском хуторе Цауни до выдающегося политического и государственного деятеля первого в мире социалистического государства — таков жизненный путь Яна Эрнестовича Рудзутака.

В первые годы становления Советского государства Ян Эрнестович — на советской и профсоюзной работе. В. И. Ленин высоко оценил этот этап деятельности Рудзутака: «Нам всем, цекнистам, — говорил Владимир Ильич, — не работавшим многие годы в профдвижении, надо бы поучиться у т. Рудзутака...»

Разнообразна и многогранна деятельность Я. Э. Рудзутака на различных участках народного хозяйства и в центральных органах партии и государства. Председатель Центротекстиля, член президиума ВСНХ, председатель Главвода, председатель Туркестанского, а затем Среднеазиатского бюро ЦК РКП(б), народный комиссар путей сообщения...

В 1926 году Я. Э. Рудзутак назначается на пост заместителя председателя Совнаркома и Совета Труда и Оборона СССР и избирается членом Политбюро ЦК.

Как председатель Комитета по химизации народного хозяйства Ян Эрнестович много сделал для создания первенцев химической промышленности страны. В своем выступлении на XI съезде КП Украины Ян Эрнестович говорил: «...нет ни одной отрасли народного хозяйства, в которой химия в настоящее время не выявила бы новых методов и принципов как в отношении обработки сырья и полуфабрикатов, так и в отношении производственных процессов».

Перед читателем предстает высокоодаренный, разносторонне образованный человек, чуткий к товарищам, требовательный к себе.

Жизнь Яна Эрнестовича Рудзутака — пример беззаветного служения народу.

В. Васильева.

★

ПОД ОДНИМ ЗНАМЕНЕМ. Редакторы-составители А. В. Белановский, С. М. Борзунов. Госполитиздат. М. 1963. 368 стр. Цена 74 к.

Широкую известность приобрели имена Федора Полетаева (Поетана), Василия Слеплогозаова, Мехти, Алексея Емельянова (Пугачева) и других советских людей, участвовавших в движении Сопротивления в Европе. Подобно тому, как советские граждане пополняли ряды бойцов Сопротивления, тысячи иностранцев, насильно мобилизованных в гитлеровскую армию и отправленных на Восточный фронт, переходили к советским партизанам и вместе с ними громили врага.

О самоотверженной борьбе партизан-интернационалистов и рассказывается в книге «Под одним знаменем». Ее создали свыше двадцати авторов.

Очерки этого сборника ярко и убедительно показывают интернациональную солидарность и братское содружество людей разных национальностей в дни тяжелейших испытаний. Под одним знаменем с советскими людьми воевали против фашистских поработителей чехи и словаки, поляки и венгры, немцы и французы, сербы и болгары, австрийцы и голландцы... В некоторых партизанских отрядах и соединениях были сформированы из иностранцев целые подразделения.

Героически воевали на Украине словацкое подразделение под командованием Яна Налепки (очерк А. Н. Сабурова «Таинственный капитан»), польский отряд Юзефа Собесяка на Ровенщине (очерк А. П. Бринского «Встреча с Максом») и многие другие. Солдаты-словаки, перешедшие в 1943 году к партизанам Белоруссии, писали: «Мы убедились, что чехам и словакам с фашистами не по пути. Мы не хотим помогать им жечь деревни и расстреливать невинных детей, женщин и стариков. Как сыны великой семьи славянских народов, мы перешли на сторону партизан и вместе с ними в глубоком тылу бьем гитлеровцев, помогаем Красной Армии уничтожать фашистских захват-

чиков. Здесь, в Белоруссии, мы боремся за освобождение славян от фашистского рабства, за свободную и независимую Чехословакию».

Примеров мужества и героизма антифашистов в книге приведено множество. В очерке «Они сражались вместе с нами» Ю. А. Колесников рассказывает о боевых делах комиссара батальона венгра Тоута, о разведчиках-французах Легре и де Шарроне. Многие интернационалисты погибли. С глубокой признательностью и любовью охраняются могилы этих мужественных людей.

Книга «Под одним знаменем» лишь на первый взгляд может показаться повествованием историческим. В действительности же, как любой правдивый рассказ о людях с чистой совестью, свято выполнивших свой долг перед Родиной, перед народом, она обращена не только в прошлое, но и в будущее.

Предисловие к книге написал прославленный партизанский генерал дважды Герой Советского Союза С. А. Ковпак.

А. Иглицкий.



БОРИС СМІРНОВ. Испанский ветер. Записки летчика. «Советский писатель». М. 1963. 308 стр. Цена 57 к.

«Уже немало лет прошло с тех пор, как я расстался... с моими самыми большими друзьями — испанскими летчиками. Но и сейчас я вижу их так ясно и близко, как будто только что простился с ними, только что пожал им руку», — пишет автор книги — советский летчик, ныне генерал-майор в отставке, который в дни своей молодости сражался добровольцем в рядах республиканской армии Испании.

Кто из читателей этой книги не разделит с автором чувства близости с героями описываемых им событий? Вспомним, как в те годы звучала для нас рожденная вскоре после гражданской войны светловская «Гренада». За тысячи километров от наших границ происходила борьба, но она была нам так же близка, как воспеты в песнях Перекоп и Каховка.

Рассказывая в своих записках о воздушных схватках над Мадридом и Барселоной, в которых русские летчики-добровольцы сражались против фашистов бок о бок с летчиками республиканской Испании, автор хорошо передал чувство интернационализма, сплотившее советских людей в одну дружную боевую семью с испанскими бойцами.

Борис Смирнов рассказывает только о том, что он видел и пережил как непосредственный участник событий, но его записки, воспроизводя отдельные героические эпизоды, в то же время дают представление и об общей картине жестокой борьбы в небе Испании. Знакомят они читателя и с героями этой борьбы — советскими летчиками и их испанскими братьями по оружию.

Если о чем можно пожалеть, то разве только о том, что книга несколько скуповата в тех подробностях, деталях обстановки и действия, которые придадут воспоминаниям особую ценность.

Насколько я знаю, «Испанский ветер» — первая книга воспоминаний о событиях 1936—1938 годов, написанная советским добровольцем, непосредственным участником боев. Опубликованная в 1957 году в «Новом мире», эта книга вышла теперь в дополненном и расширенном виде.

Е. Герасимов.



ИСААК БОРИСОВ. Добрый час. Стихи и поэмы. Авторизованный перевод с еврейского. «Советский писатель». М. 1962. 152 стр. Цена 16 к.

В 1940 году семнадцатилетний учитель Исаак Борисов написал стихотворение «Мой дед». Оно начиналось строкой: «Он от рожденья был слепым», а кончалось так:

И он ушел — угрюм и тих —
Из тьмы одной во тьму другую...
Я — внук его,

на мир гляжу я
Всем нетерпеньем глаз своих!

Мне надо видеть за двоих.

Прошло без малого четверть века. Борисов издал свою первую переведенную на русский язык книгу. Читатель встретился со стихами недюжинного еврейского поэта.

Книга делалась неспешно, с дружеской тщательностью. Поэты Петровых, Мориц, Казакова, Лиснянская, Нейман, Безыменский, Френкель, Самойлов, Корнилов, Вл. Соколов, Демин, Ваншенкин, Левитанский, Гребнев, Хелемский, Межиров, Аким, Сорин, Гуревич помогли Борисову. Большинству из них пришлось работать не с подлинными текстами, а с подстрочниками. Но несмотря на длинный список переводчиков, книга получилась единая. Воссоздан очень похожий портрет поэзии Борисова — человечной, сдержанной, немногословной.

Итак, девяносто одно стихотворение (почти все — в восемь, двенадцать, шестнадцать строк), две маленькие поэмы.

Почти все стихи датированы. Когда в стихотворении всего двадцать или тридцать слов, дата входит в него важным, иногда необходимым слагаемым. Самая ранняя дата — 1940 год. Большой раздел «Тепло костра» — стихи военных лет. Несколько стихотворений 1946, 1947, 1948 годов. Вся остальная книга помечена 1961 и 1962 годами.

Поэт начал счастливо. В пятнадцать лет опубликовал первый журнальный цикл. В восемнадцать лет — первую книгу стихов. Потом — война. Всю войну он провел на фронте. Сначала солдатом — потом офицером-связистом.

Жизнь стиливала Борисова с замечательными людьми. Долголетней дружбой дарил его поэт Галкин — крупнейший ма-

стер еврейского стиха, учеником которого является Борисов. На войне Борисов был начальником радиостанции генерала Ватутина — вплоть до дня гибели этого полководца.

О чем пишет Борисов? Пересказывать стихи всегда трудно, лучше процитировать.

Ты видел ли падающую звезду?
Ей — отпылать и в травы прахом лечь.
Она летит и чертит борозду,
Похожую на занесенный меч.

Когда, сгорая, падает звезда,
Мне хочется кричать, будить людей:
Вставайте поскорей!

Стряслась беда!
Еще на каплю света мир темней!

Я выписываю только одно стихотворение Борисова, но характерное для манеры последних лет его работы — емкой и лаконичной. Стихи этих лет объединены названием «Времени дары», и название это не случайно: Борисов умеет слушать голос своего времени и принимать его дары, когда нужно — мужественно, когда можно — радостно.

Борис Слуцкий.

★

ЭРИХ КОШ. Великий Маг и рассказы. Перевод с сербохорватского. Издательство иностранной литературы. М. 1963. 216 стр. Цена 55 к.

Едва книга появилась на прилавках магазинов, как на нее тотчас обратили внимание. И не потому, что на ее обложке помещен веселый рисунок Е. Ведерникова, и не только потому, что имя автора впервые встретилось советскому читателю, а прежде всего потому, что, бросив даже беглый взгляд на страницы этой книги, вы заметите здесь и разнообразие тем, и простоту изложения, и реалистические картины, и сатирические зарисовки.

Речь идет о недавно вышедшей книге югославского писателя Эриха Коша «Великий Маг». Имя Коша хорошо известно в Югославии. Это автор многих рассказов, романов и очерков, с которыми, надо полагать, со временем познакомится наш читатель. Но уже и эта небольшая книга многое расскажет о писателе. Книга составлена так, чтобы показать различные стороны дарования Коша. Здесь и полный драматизма рассказ из времен оккупации Югославии немецкими и итальянскими фашистами — «Ребенок», и рассказы о становлении нового человека в социалистической Югославии — «Эта маленькая Йоша Маркова», и «Запись о Любмире», и психологические рассказы «Лучшие годы» и «Безопасность», и бытовые зарисовки «Маглай» и «Скорость», и остросатирический роман «Великий Маг», направленный против мешанства, обывательщины и снобизма. В этом романе, как и в других своих сатирических романах, Эрих Кош успешно продолжает традиции замечательных югославских писателей-сатириков Б. Нушича и

Р. Домановича. Можно также согласиться с теми югославскими критиками, которые, сравнивая «Великого Мага» с «Историей города Глупова», отмечали и влияние сатиры Салтыкова-Щедрина.

В заключение несколько слов о переводах. В основном переводы сделаны добротной и с любовью. Вызывает возражение перевод самого названия романа «Великий Маг». У автора кит, с которым связаны невероятные события романа, имеет прозвище Великий Маг, и не было надобности переводить его как Маг, тем более что «маг» по-сербски и по-русски имеет одно и то же значение — волшебник, что в данном случае к делу не идет. Но это частности, а в целом переводчики сделали хороший подарок советским читателям.

В. Шулифкер.

★

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ. Записные книжки (1813—1848). Издание подготовила В. С. Нечаева. Издательство Академии наук СССР. М. 1963. 508 стр. Цена 2 р. 36 к.

Открыв эту книгу, вы прочтете:

«Хитрость — ум мелких умов. Лев сокрушает; лисица хитрит»;

«И овцы целы и волки сыты — было в первый раз сказано лукавым волком или подлою овцою»;

«Ум любит простор, — а не ценсуру»;

«Не довольно иметь хорошее ружье, порох и свинец. Нужно еще искусство стрелять и метко попадать в цель. Не довольно автору иметь ум, мысли и сведения, нужно еще искусство писать. Писатель без слога — стрелок, не попадающий в цель»;

«Неисправимая рифма, как разноцветная заплатка, рябит в глазах. Рифма и так уже вставка; так, по крайней мере, подберите оттенку к оттенку».

Этот пестрый калейдоскоп афоризмов, острот, литературных советов, моральных максим напоминает нам о жанровой традиции, идущей от замечательных французских писателей-философов XVI—XVII века — Лабрюйера, Монтеня, Ларошфуко. Но родилось все это на русской почве, под пером человека, о котором Пушкин сказал как о счастливом баловне судьбы, соединившем «богатство, знатный род — с возвышенным умом и простодушие с язвительной улыбкой».

В «Записных книжках» Павла Андреевича Вяземского среди морально-философских рассуждений и салонных «мо» мы найдем и злободневные литературные и политические характеристики, исторические анекдоты, отзывы о прочитанных книгах, интересные заметки о Пушкине и его окружении. Мы проведем несколько часов, непринужденно разговаривая на самые разные темы с необыкновенно живым собеседником, немного по-старомодному учтивым и остроумным без злости, — и, конечно, не пожалеем об этом.

Друг декабристов, ненавистник деспотического самодержавия и квасного патриотизма (кстати, им и было изобретено это

язвительное слово), князь Вяземский к концу долгой своей жизни сильно поправел, поступил на службу старшим цензором, примирился с самодержавием и ура-патриотизмом. Может быть, оттого записные книжки стали ему менее нужны: он высказывался теперь больше в речах, резолюциях, докладных записках и торжественных стихах.

Таким образом, то, что публикация «Записных книжек» Вяземского обрывается на 1848 году, в значительной мере оправдано. Следует отметить к тому же, что в избранных хронологических рамках «Записные книжки» в новом издании опубликованы более исправно, точно и полно, чем когда бы то ни было ранее, и сопровождаются содержательной статьей В. С. Нечаевой и солидным комментарием, приличествующим академическому изданию.

В заключение позволим себе привести еще одну выдержку из «Записных книжек»: «Сколько книг, которые прочитаешь один раз для очистки совести, чтобы при случае сказать: я читал эту книгу! Как делаешь иные годовые посещения, чтобы визитная твоя карточка была внесена в список приворотника. Не все книги, не все знакомства по сердцу. Как в тех, так и в других имеем много шляпочных знакомств».

Нет, книга Вяземского прочитана не ради «шляпочного» знакомства: это и замечательный памятник русской литературы, и просто любопытное чтение.

В. Л.

★

Г. МУНБЛИТ. Рассказы о писателях. Издательство «Знание». М. 1962. 48 стр. Цена 9 к.

Эта небольшая книжка состоит из рассказов о четырех писателях: Эдуарде Багрицком, Илье Ильфе, Евгении Петрове и А. С. Макаренко.

В героях своих невыдуманных рассказов автор стремится подчеркнуть не только «неподражательную странность», оригинальность их психического склада, но и ту «гражданскую доминанту», которая определяла направление и характер их творческих поисков.

Вот Багрицкий — с его юношеской романтической открытостью, «с его нерасчетливым чистосердечием, с его любовью к литературе, любовью, вытеснившей из его помыслов все другие житейские побуждения, с его способностью жить вблизи так, как другие живут стремлением преуспеть, выдвинуться, прославиться».

Вот Ильф — скромный, бесконечно требовательный к себе и другим человек. «Как всякий настоящий человек, в нашем советском понимании этого слова, он был инстинктивным преобразователем мира, — пишет о нем Мунблит. — Чувство гражданственности было свойственно этому человеку в необычайных размерах. Все касалось его. Форма садовых скамеек в парке культуры и отдыха, посевы колосовых, способы производства автомобилей, преподавание истории в школе, структура Союза писателей и

многое, многое другое заставляло его серьезно и подолгу задумываться...»

В отличие от Ильфа Евгений Петров «был громогласным, горячим, порывистым, восторженным человеком». Но так же, как и Ильфу, ему было свойственно неумемое стремление «во все вмешаться, все переделывать своими руками».

В облике Макаренко автор подчеркивает его необыкновенную трудоспособность, строгость, молчаливость. И в то же время — страстность и горячность во всем, где дело шло о необходимости восстановить справедливость, здраво и конкретно разобраться в сущности человеческих поступков.

Хорошо запомнившаяся чужая шутка, острое слово, неповторимый жест или интонация, наконец собственное свободное владение оружием юмора помогают автору «Рассказов о писателях» дополнить знакомые и дорогие нам образы достоверными чертами.

И. П.

★

Ю. КАГАРЛИЦКИЙ. Герберт Уэллс. Очерк жизни и творчества. Гослитиздат. М. 1963. 279 стр. Цена 66 к.

Книга Ю. Кагарлицкого «Герберт Уэллс» написана легко и спокойно, без нажима, без дешевых приемов внешней беллетризации. Главное оружие автора поначалу — хороший язык, современный, искренний, глубоко человеческий. Затем вступает в свои права логика исследования, и «Очерк жизни и творчества» превращается в драму, где сцена — наш век, а главный герой — мироощущение Уэллса, и мы напряженно следим за всеми перипетиями этой интеллектуальной драмы.

Занимательность, идущая изнутри, от самой сути дела, есть главное преимущество книги Ю. Кагарлицкого в ряду произведений популярного литературоведения. Кстати сказать, слово «популярный», и, доныне произносимое некоторыми со снисходительной улыбкой, должно — в подлинном своем значении — звучать для автора похвалой. Оно означает лишь одно — что труд его принят и оценен многими, но отнюдь не ограничивает и не уменьшает научной ценности или новизны труда. Круг идей, которыми оперирует Ю. Кагарлицкий, и развитие, которое они получают в его книге, — надежный тому свидетель. Здесь глубокая характеристика раннего английского империализма в его связи с будущей идеологией фашизма, раздумья над судьбами научно-фантастического романа, генезис образа ученого в современной литературе, соотношение Уэллса-социолога и Уэллса-фантаста, точный и впечатляющий анализ многих романов (на мой взгляд, наиболее удачен разбор «Острова доктора Моро»), громадная и необычная роль времени в романах Уэллса...

Судя Ю. Кагарлицкого по законам избранным им жанра, я готов сделать ему лишь один серьезный упрек: недостаточно четко показана природа богостроитель-

ства Уэллса, ни истоки этого кризиса, ни разрешение его не выписаны с необходимой ясностью.

В книге об Уэллсе перед нами вырастает образ мыслителя, осаждаемого тысячами неуловимых вопросов и обязанного отвечать на все без изъятия, и действительно отвечающего со всем мужеством и честностью, которые дали ему имя великого англичанина.

Ф. Протасов.

★

ЛЕВ ЛЮБИМОВ. Великая живопись Нидерландов. Очерк. Детгиз. М. 1963. 159 стр. Цена 69 к.

В недавние годы популярные книги об искусстве нередко критиковали за убогий словарь, унылую назидательность изложения. Теперь, пожалуй, чаще встречаются крайности иного типа — претенциозная цветистость стиля, всякого рода развлекательные эффекты, которые заслоняют (а то и вовсе подменяют) суть дела. Причиной этого в обоих случаях является недоверие к массовому читателю, ветхозаветные представления о «публике», до которой-де «не дойдет» серьезное профессиональное изложение, требующее известного напряжения ума.

Выпущенная Детгизом и предназначенная для старших школьников, книга Л. Любимова «Великая живопись Нидерландов» подкупает прежде всего именно серьезностью разговора, глубоким убеждением, что можно добиться подлинной простоты и понятности, не сползая в примитивность, не разукрасивая текст вынужденными занятиями анекдотов, не обедняя рассказ об искусстве прошлого «общедоступными» переложениями.

Но вместе с тем в книге нет и чинной, строгой академичности. Она напоминает не лекцию, а скорее живую, непринужденную беседу. Слово бы автор стоит с нами перед знаменитыми полотнами нидерландских залов Эрмитажа, вспоминая, когда это необходимо, и картины других музеев, и особенности исторического развития Фландрии и Голландии, и примечательные факты биографий знаменитых художников. В беседе порой возникают, и это вполне естественно, ассоциации с искусством других стран и эпох, иногда очень меткие и уместные, а в некоторых случаях, пожалуй, слишком уж вольные и приблизительные (например, сопоставления Пушкина с Яном ван Эйком и Лукой Лейденским). Но самый принцип таких свободных сравнений, неожиданных, острых поворотов разговора очень интересен и плодотворен.

Главная задача книги состоит не в том, чтобы сообщить читателю основные сведения об истории нидерландской живописи, сколько в стремлении, разбирая лучшие ее образцы, развивать понимание изобразительного искусства, вкус и любовь к нему. Когда автор на какой-то момент забывает об этой задаче и сбивается на распылчатое «культурагерство», изложение заметно

тускнеет. Но, к счастью, такого рода отступления редки. В большинстве случаев Л. Любимов подолгу задерживается у знаменитых картин, увлеченно говорит об их образном богатстве, их поэзии, и его увлечение передается читателю.

Автор хорошо знает, любит и понимает живопись. Но он не является профессионалом-искусствоведом. И, несомненно, более строгая, придирчивая искусствоведческая редакция пошла бы только на пользу книге. В ней встречаются иногда и неточности определений, и недостаточные глубокими характеристике (особенно творчества Рембрандта).

Но в целом эта книга — добрая удача в труднейшем жанре популяризации искусства. Доверие к читателю, убежденность в том, что ему нужна не поверхностная корка истории искусств, а глубины ее содержания, принесли автору успех.

А. К.

★

ОЛЕГ РИСС. Дозорные печатного слова. «Искусство». М. 1963. 159 стр. Цена 45 к.

В каждом деле есть свои фанатики и поэты. У автора книги — профессия скромная, пожалуй, скучная: корректор. Даже странно: неужели о ней можно написать целую книгу? Да еще с картинками?

Но вот они перед нами — легкие, с юмором рисунки Е. Смирнова, в которых отразились увлекательность, своеобразие и даже разнообразие, казалось бы, узкой темы книги. Древнегреческий писец, несущий бережно очищенную от ошибок рукопись на хранение в Акрополь, как государственную ценность. Веселые тюремщики средневековья, ловко толкующие приказ королевы, где пропущенная запятая становится кровавым убийцей. Толстый монах-переписчик и его «корректор» — хвостатый бесенок, с нетерпением подстерегающий ошибки, чтобы уловить грешную душу. И — будущий «полиграфический робот», которому только заложил в череп рукопись — книга отредактирована, откорректирована и отпечатана.

Автор не просто собирает в книге «веселые опечатки» и курьезы, когда случайная ошибка надолго закреплялась в литературе, географии, истории. Он показывает, как неожиданны и многолики ошибки и возможные причины их появления. Тут и характерные описки в рукописях Пушкина, когда рука не поспевает за вдохновением, и хитроумный прием, которым Леонардо да Винчи зашифровывал свои научные труды и который спустя четыре с половиной века наделал переполох в типографии, так как был принят корректором за техническую ошибку.

Узкие в наших глазах рамки скромной профессии раздвигаются, когда нам рассказывают о том, как корректор своей чуткостью к безупречной фразе, к малейшей фальши вынуждал журналиста придирчивее оценить свой стиль, а случалось, благодаря широкой культуре и дотошному умению докопаться до истины поправлял ошибку в трудах литературоведа.

Даже совсем далеким от книжного дела человек почувствует всю сложность войны за точность печатного слова, увлечется азартом выслеживания коварных, подчас хитро замаскированных «врагов точности». Может быть, он даже сам ненадолго как бы почувствует себя корректором. И уж наверняка каждый читатель этой книги с благодарным уважением подумает о силе точного печатного слова и его дозорных.

Э. Кузьмина.

★

Г. А. ШЕЛЮТО. Русское ударение. Часть первая (Пособие для студентов-филологов заочных отделений). Ужгород. 1962. 272 стр. Цена 85 к.

Забота о высокой культуре речи вызывается не только внутренними потребностями общения русских людей, но и тем, что русский язык становится все более необходимым для всех народов нашей страны. «Происходящий в жизни процесс добровольного изучения, наряду с родным языком, русского языка,—говорится в Программе КПСС,— имеет положительное значение, так как это содействует взаимному обмену опытом и приобщению каждой нации и народности к культурным достижениям всех других народов СССР и к мировой культуре. Русский язык фактически стал общим языком межнационального общения и сотрудничества всех народов СССР».

На происходившем недавно в Софии Международном съезде славистов большинство делегатов произносили речи на русском языке, который понятен всем славянским народам в силу родства и который стал известен также и представителям неславянских народов. Это свидетельствует о возросшем престиже нашей страны на международной арене.

Жизнь заставляет более активно заниматься проблемами нормализации и унификации как письменной, так и устной речи. Особое значение приобретает акцентология, то есть система ударения. Этому и посвящена книга Г. А. Шелюто «Русское ударение», выпущенная Ужгородским государственным университетом как пособие для студентов-филологов. Однако она выходит за рамки такого пособия и, несомненно, привлечет внимание всех культурных людей, в частности литераторов.

Работа Г. А. Шелюто содержит изложение вопроса об ударении существительных, местоимений и прилагательных в современном русском языке. Автор прослеживает случаи разноместных ударений, вскрывает причину этого явления. На большом и интересном материале он показывает, как менялось ударение в словах на протяжении последнего столетия, сравнивая ударения, указанные в грамматике Востокова, и ударения на этих же группах слов в настоящее время. Он убедительно доказывает, что процесс отмирания старых и возникновения новых ударений продолжается и в наше время.

Автор отметил очень интересные закономерности в изменении акцентологической системы в русском языке: возрастание случая неподвижного ударения, а также ограничения в количестве слов с ударением на предлоге. Очень интересны сравнительные таблицы ударений в одинаковых слогах в русском, украинском и белорусском языках, в которых когда-то была общая акцентологическая система.

Работа Г. А. Шелюто очень полезна как в познавательном отношении, так и в практических целях — для повышения культуры речи.

Проф. Е. Галкина-Федорук,
доктор филологических наук.

★

Э. А. АСРАТЯН, П. В. СИМОНОВ. Надежность мозга. Издательство Академии наук СССР. М. 1963. 136 стр. Цена 21 к.

С тех пор как человек создал современные электронные вычислительные машины, перед творцами новой техники и исследователями открылись поистине фантастические перспективы. По быстроте и точности работы эти новые саморегулирующиеся автоматы намного превосходят возможности человеческого мозга. За час-два электронная машина выполняет вычислительную работу, на которую человек должен был бы затратить месяцы и годы, и притом она делает это без всяких ошибок!

И все же любая, самая совершенная машина по своей надежности намного уступает человеческому мозгу. Выход из строя хотя бы одного из сотен тысяч элементов или нарушение одного из множества контактов сразу же выводит машину из строя. А как ведет себя в этом отношении мозг? В «живой управляющей машине» человеческого организма всю жизнь без отказа работают миллиарды «реле» — нервных клеток. Днем и ночью человеческий мозг бесперебойно регулирует функции органов, работу сердца, циркуляцию крови, «вентиляцию» легких. Мозг не выходит из строя, даже когда на центральную нервную систему воздействуют разрушительные силы, когда случаются повреждения нервных путей или когда в результате травмы человек лишается глаз, ног, рук... При самых тяжелых травмах «пульт управления» человеческого организма обеспечивает его жизнедеятельность.

Эта высокая надежность центральной нервной системы, ее компенсаторные возможности в конечном счете и позволили слепой и глухой от рождения Ольге Скорородовой достигнуть высот культуры, пораженному тяжелым недугом Николаю Островскому заниматься литературным творчеством, а лишившемуся ног летчику Алексею Маресьеву вести воздушные бои на скоростном истребителе.

Своей поразительной организацией мозг интересует не только физиологов и медиков. «Механизм» работы мозга глубоко изучают конструкторы и инженеры, специалисты по

автоматическому управлению. Нельзя ли удивительные принципы его надежности, разработанные живой природой, перенести в технику? В известной мере навстречу этим стремлениям и пошли специалисты в области высшей нервной деятельности Э. А. Асратян и П. В. Симонов. Правда, они предупреждают читателя: «...трудно заранее решить, что именно окажется полезным для конструктора, рационализатора, инженера. Мы расскажем о явлениях компенсации так, как они предстают взору исследователя-физиолога. Пусть читатель сам определит то, что может быть использовано в смежных науках».

Написанная живо и доступно, книжка дает представление о строении и деятельности головного мозга, об основных принципах его биологической защиты от вредных воздействий, о том, как высокая специализация нервных центров сочетается с их способностью быстро перестраивать свои функции. В разделе «Учась у природы» авторы совершают «пробный экскурс физиологов» в область технического моделирования. Высказывается ряд интересных предположений об искусственном воспроизведении процессов головного мозга.

С. Смуглый.

★

И. НОВИК. Кибернетика. Философские и социологические проблемы. Госполитиздат. М. 1963. 208 стр. Цена 24 к.

Лет тридцать тому назад толковые ребята из технических кружков делали детекторные приемники (ламповые были многим не под силу). Теперь же школьники старших классов создают транзисторные системы, разбираются в сложнейших электронных схемах, конструируют совершенные кибернетические устройства. И это вполне закономерно: вслед за величайшей научно-технической революцией все более существенные изменения происходят и в содержании знаний современного человека, которые составляют, если можно так выразиться, необходимый культурный минимум нашего времени.

Этот минимум включает в себя не только вопросы политики, литературы и искусства, но также — и все в большей степени — проблемы науки. Следовательно, нужны интересные и содержательные научные книги, доступные широкому кругу читателей. К числу таких книг по праву относится работа И. Новика — философа по образованию, уже в течение нескольких лет успешно выступающего по общим и специальным проблемам кибернетики. Книга научна и вместе с этим популярна. Правда, в ней есть и спорные положения, но это не недостаток, а необходимая черта оригинального исследования.

Несомненный интерес представляет глава о соотношении человека и кибернетической машины. Четкая методологическая позиция помогает автору дать убедительный анализ проблемы, исключить элементы сенсацион-

ности, порой бытующие среди некоторых специалистов и популяризаторов. Простой вывод — «машина не конкурент человека, а его спутник» — результат всестороннего исследования и сопоставления различных точек зрения.

Объективно оценивая достижения крупных зарубежных ученых, И. Новик по-деловому критикует непоследовательность и слабость их философских позиций. Автор показывает, что правда на стороне марксистско-ленинской философии — единственной и последовательной союзницы настоящей науки.

С. Михайлов.

★

В. В. БЕЛОУСОВ. Земля, ее строение и развитие. Издательство Академии наук СССР. М. 1963. 152 стр. Цена 23 к.

Глубоко в тьму времен проникает острый луч прожектора науки... Но время образования нашей планеты безмерно далеко. Луч слабнет, дрожит и колеблется... Горячая или холодная была вначале Земля? Сжимается или расширяется земной шар или объем его остается неизменным? Образовались океаны одновременно с земной корой или родились с большим запозданием? Увеличивается общее количество воды на Земле или уменьшается? В чью пользу клонится извечная борьба суши с морем: растет ли суша за счет океана или океан медленно, но верно наступает на сушу?

К сожалению, многие из этих геофизических проблем не могут быть предметом прямых исследований. Их решение относится пока к области предположений, гипотез. Одни гипотезы с течением времени отмирают, уступая место другим. А бывает иногда и так, что диаметрально противоположные гипотезы «сосуществуют», хотя и не всегда «мирно».

В. В. Белоусов рассматривает, правда в сжатом виде, все главнейшие гипотезы, касающиеся строения и развития земной коры. Он убежденный сторонник гипотезы «холодного» образования Земли из роя обломков, летавших в космическом пространстве. Внутреннее тепло планеты — результат радиоактивных процессов, а земная кора образовалась вследствие всплытия на поверхность более легких гранитных пород. Такой была первая стадия образования земной коры. Вслед за ней началась вторая — базальтовая. Выплавленные горячие базальты, поднимаясь из недр Земли, стали «разъедать» гранитную земную кору. Вновь образовавшаяся базальтовая кора после остывания, как более тяжелая, начала опускаться. Возникли глубоководные океанские бассейны.

Книга В. В. Белоусова затрагивает серьезные проблемы, и написана она так, что любой читатель, перелистав ее, приобретет общие физические познания, необходимые для культурного человека.

Н. Горский.

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЭЛЕМЕНТОВ. Составители Л. Власов и Д. Трифонов. «Молодая гвардия». М. 1963. 308 стр. Цена 75 к.

Это не повесть о географических открытиях и не роман о неведомом континенте. Это сборник очерков о наиболее примечательных химических элементах, нашедших широкое применение в разных отраслях народного хозяйства. Читатель, подобно путешественнику, знакомится с происхождением и характерами обитателей этой замечательной, но далеко еще не исследованной «страны».

Химия, владея сказочной силой превращения одних веществ в другие, сводя и разъединяя элементы, создает могущество современной техники. Ведь без химии не смогли бы двигаться автомобили, взлетать в космические пространства ракеты, работать атомные котлы. А фотоэлементы, солнечные батареи, радиоприемники со спичечную коробку и крошечные телевизоры — разве они своим существованием не обязаны пришельцам из той чудесной страны, о которой так увлекательно рассказывают авторы этого сборника В. Василевский, Ю. Романьков, Г. Ложилов и другие.

Если еще в начале нашего века лишь небольшая часть из обитателей страны элементов участвовала в развитии технического прогресса, то сейчас почти все они нашли себе полезное применение. Литий,

который в микроскопических количествах встречается в морской воде, в лютике и некоторых других растениях, применяется в качестве теплоносителя в атомных реакторах. С помощью фотоэлемента с цезиевым катодом можно «увидеть» в темноте любой предмет. Такие фотоэлементы очень чувствительны к инфракрасным и ультрафиолетовым лучам. Много тысяч лет верно служат строителям известняк, известь, гипс. Трудно себе представить современное строительство без бетона и цемента. Все эти строительные материалы обязаны своей прочностью кальцию. Элемент-строитель играет также важнейшую роль и в жизни различных живых организмов. Животные обязаны ему прочностью своих костей, моллюски — раковин, черепахи — панциря.

О многих новых и старых профессиях элементов рассказывается в очерках сборника. Один из них посвящен краткой характеристике периодической системы элементов, называемой авторами в соответствии с названием книги — картой страны элементов. В заключительном очерке рассматривается не решенная еще проблема — есть ли предел таблице Д. И. Менделеева?

Из этой живо написанной и хорошо иллюстрированной книги читатель узнает много интересного о «кирпичах мироздания».

Б. Розен,
кандидат химических наук.



ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Считаю своим долгом принести извинения перед читателями «Нового мира», что не мог в истекшем году предоставить второй книге своего романа «Костер» для напечатания в журнале. О таком же извинении я должен просить и редакцию журнала, по согласованию со мной обещавшую подписчикам опубликовать роман в 1963 году. Этот год, по не зависевшим от меня причинам и — прежде всего — из-за моего нездоровья, сложился весьма неблагоприятно для моей работы над «Костром». Я хотел бы своим письмом отвести от журнала нарекания и взять ответ за неопубликованное романа на одного себя.

Конст. Федин.

Ноябрь, 1963.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТЗДАТ

Н. С. Хрущев. Создать устойчивую базу для получения высоких гарантированных урожаев. Речь на совещании работников сельского хозяйства Северного Кавказа в г. Краснодаре 26 сентября 1963 года. 48 стр. Цена 5 к.

Е. Бугаев. Наша ленинская партия. 144 стр. Цена 17 к.

И. Викторов. Подпольщик, воин, чекист (М. С. Кедров). 80 стр. Цена 11 к.

Иоганн Коллениг. Избранные произведения (1924—1962 годы). Перевод с немецкого. 372 стр. Цена 75 к.

Б. Лейбзон. Ленинское учение о партии и современное коммунистическое движение. 384 стр. Цена 80 к.

Партия большевиков в годы первой мировой войны. Свержение монархии в России. 263 стр. Цена 40 к.

З. Сердюк. О требовательности и чуткости (Из практики рассмотрения персональных дел коммунистов). 62 стр. Цена 7 к.

Э. Струков. Взаимное и гармоническое развитие личности. 238 стр. Цена 28 к.

С. Стыкалин, И. Кременская. Советская сатирическая печать. 1917—1963. 484 стр. Цена 1 р. 35 к.

Лео Таксиль. Забавное евангелие, или Жизнь Иисуса. Перевод с французского. 429 стр. Цена 88 к.

П. Филонович. О коммунистической морали. Популярный очерк. 255 стр. Цена 51 к.

Философский словарь. Под редакцией М. М. Розенталя и П. Ф. Юдина. 544 стр. Цена 1 р. 68 к.

СОЦЭКГИЗ

Африка в цифрах (Статистический справочник). 567 стр. Цена 86 к.

Д. И. Валентей. Реакционные теории народонаселения периода общего кризиса капитализма. 270 стр. Цена 82 к.

А. И. Иойрыш, М. И. Лазарев. Договор, оздоравливающий атмосферу... (О запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой). 63 стр. Цена 8 к.

П. Кабанов, Р. Ерман, Н. Кузнецов, А. Ушаков. Очерки истории российского пролетариата (1861—1917). 389 стр. Цена 66 к.

Д. Д. Кондрашев. Цена и стоимость в социалистическом хозяйстве. 391 стр. Цена 1 р. 37 к.

А. Коротева. Гаагский конгресс I Интернационала. 184 стр. Цена 40 к.

В. Лопаткин, Г. Харахашьян, П. Хлебников. Политическая экономика. 392 стр. Цена 57 к.

Н. Е. Овчаренко. Август Бебель. Краткий очерк жизни и деятельности 207 стр. Цена 29 к.

В. В. Песчанский. Современное рабочее движение в Англии. 384 стр. Цена 96 к.

Степа Чернеа. Против буржуазных измышлений о классах. 144 стр. Цена 29 к.

А. С. Шакир-заде. Эпикур. 223 стр. Цена 22 к.

В. Шильдрут. Проблемы цен мирового капиталистического рынка. 319 стр. Цена 1 р. 9 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

П. Дорошко. Думы мои Стихотворения. Перевод с украинского. 107 стр. Цена 19 к.

Г. Ефимов. Короткие ночи. Стихи и поэма. Перевод с чувашского. 120 стр. Цена 16 к.

Ю. Жуков. Эти семнадцать лет... Записки журналиста. 568 стр. Цена 1 р. 5 к.

И. Индрани. Зыбкие мостки. Роман. Перевод с латышского. 368 стр. Цена 71 к.

В. Карпенко. Такая моя планета. Стихи. 140 стр. Цена 15 к.

М. Кочнев. Волжские были (В стихах). 192 стр. Цена 40 к.

А. Малдонис. Высокие ноты. Стихи. Перевод с литовского. 80 стр. Цена 9 к.

А. Марнуш. Мараморшские рассказы. Перевод с украинского. 352 стр. Цена 45 к.

Н. Михайлов, З. Косенко. Японцы. Путевая повесть. 316 стр. Цена 48 к.

В. Огнев. Книга про стихи. Заметки. Наблюдения. Выводы. 480 стр. Цена 75 к.

З. Паперный. Самое трудное. Статьи. Рецензии. Фельетоны. 468 стр. Цена 80 к.

Ю. Помозов. Верхневолжье. Рассказы. Очерки. Стихи. Повести. Зарисовки. Выли. Дневники. 351 стр. Цена 47 к.

Пути в неизвестное. Писатели рассказывают о науке Сборник третий. 633 стр. Цена 1 р. 38 к.

Д. Самойлов. Второй перевал. Стихи. 124 стр. Цена 14 к.

Б. Чичибабин. Молодость. Стихи. 92 стр. Цена 10 к.

Ю. Чумандрин. Четвертая категория трудности. Повесть. 210 стр. Цена 39 к.

А. Якубов. Золотое колечко. Повести и рассказы. Перевод с узбекского. 164 стр. Цена 29 к.

ГОСЛИТЗДАТ

Альберто Блест Гана. Мартин Ривас. Роман. Перевод с испанского. 416 стр. Цена 73 к.

Христо Ботев. Избранное. Перевод с болгарского. 216 стр. Цена 30 к.

С. Бочаров. Роман Л. Толстого «Война и мир». 143 стр. Цена 22 к.

Сирило Вильверде. Сесилия Вальдес, или Холм Ангела. Роман. Перевод с испанского. 583 стр. Цена 1 р.

Мануэль Гальвач. Энрикилью. Роман. Перевод с испанского. 480 стр. Цена 83 к.

Элизабет Гаскелл. Мэри Бартон. Манчестерская повесть. Перевод с английского. 472 стр. Цена 83 к.

Павел Железнов. Стихотворения и поэмы. 178 стр. Цена 42 к.

Винцас Криве. Колдун. Рассказы и повесть. Перевод с литовского. 376 стр. Цена 54 к.

А. Лебеденко. Первая министерская. Повесть.— Лицом к лицу Роман. 839 стр. Цена 1 р. 47 к.

Михаил Луконин. Признание в любви. Поэма. 264 стр. Цена 50 к.

Г. Макогоненко. Роман Пушкина «Евгений Онегин». 147 стр. Цена 22 к.

Д. Ф. Марнвнд. Г. М. Пулэм. эксвайр. Роман. Перевод с английского. 452 стр. Цена 1 р. 35 к.

Ф. Наркирьер. Роже Мартен дю Гар. Критико-биографический очерк. 231 стр. Цена 52 к.

Т. Пассек. Из дальних лет. Воспоминания. Том I. 520 стр. Цена 94 к. Том II. 791 стр. Цена 1 р. 35 к.

Е. Покусавев. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина. 471 стр. Цена 1 р. 22 к.

Васко Пратолини. Квартал. Роман. Перевод с итальянского. 152 стр. Цена 39 к.

Лилли Промет. Акварели одного лета. Перевод с эстонского. 47 стр. Цена 4 к.

Саят-Нова. Лирика. Перевод с армянского, грузинского, азербайджанского. 280 стр. Цена 50 к.

Эльза Триоле. Анна-Мария. Роман. Перевод с французского. 424 стр. Цена 1 р. 35 к.

Армас Эиния. Стихотворения. Перевод с финского. 224 стр. Цена 43 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Ахмедхан Абу-Банар. Даргинские девушки. Повести и рассказы. Перевод с даргинского. 400 стр. Цена 73 к.

А. Батури. Схватка в джунглях. Очерки. 176 стр. Цена 20 к.

В кольцо фронтов. Молодежь в годы гражданской войны. Сборник документов. 416 стр. Цена 65 к.

Юрий Жуков. Один «МИГ» из тысячи. Документальная повесть о трижды Герое Советского Союза А. И. Покрышкине. 288 стр. Цена 64 к.

Н. Задонский. Внук декабриста. 96 стр. Цена 16 к.

Юрий Иванов. Атлантический рейс. 224 стр. Цена 50 к.

М. Криничный. Откочевники. Роман. 432 стр. Цена 83 к.

Мих. Львов. Эти годы. Стихи. 112 стр. Цена 30 к.

Анатолій Маркуша. Плюс мечта, или Повесть о том, как мы не стали путешественниками. 200 стр. Цена 45 к.

А. Меркулов. Разведчики призрачных островов (Очерки романтики тревожного века). 269 стр. Цена 56 к.

Молодые поэты Кубы. Сборник. Перевод с испанского. 104 стр. Цена 21 к.

Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц. Сказка. Перевод с французского. 96 стр. Цена 33 к.

А. Толмачев. Калинин (Жизнь замечательных людей). 272 стр. Цена 57 к.

И. Халифман. Муравьи. 304 стр. Цена 84 к.

Х. Херсонский. Вахтангов (Жизнь замечательных людей). 360 стр. Цена 71 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

М. С. Беленький. Что такое Талмуд. 144 стр. Цена 22 к.

А. Г. Вологдин. Земля и жизнь. Эволюция среды и жизни на Земле. 175 стр. Цена 27 к.

География сельского хозяйства капиталистических стран (США, Италия, Канада, Финляндия). 160 стр. Цена 73 к.

И. И. Горбачевский. Записки, письма. 355 стр. Цена 1 р. 58 к.

Н. А. Добротин. Космические лучи. 128 стр. Цена 19 к.

А. П. Ермаков, А. Г. Сырмай. Атомная энергия и транспорт. 152 стр. Цена 23 к.

З. И. Журбицкий. Физиологические и агрохимические основы применения удобрений. 295 стр. Цена 1 р. 60 к.

Западная Сибирь. Природные условия и естественные ресурсы СССР. 488 стр. Цена 3 р. 46 к.

Конституционное право социалистических стран. Сборник статей. 328 стр. Цена 1 р. 32 к.

А. А. Леонтьев. Возникновение и первоначальное развитие языка. 140 стр. Цена 22 к.

Е. Н. Мишустин, Л. А. Трисвятский. Микробы и зерно. 292 стр. Цена 44 к.

Научные основы защиты урожая. Сборник статей. 248 стр. Цена 1 р. 63 к.

В. Е. Невлер (Вилин). Эхо гарибальдийских сражений. 124 стр. Цена 18 к.

Новая и новейшая история Румынии. 288 стр. Цена 94 к.

Об особенностях империализма в России. Сборник статей. 440 стр. Цена 1 р. 95 к.

Проблемы Севера (Природа). Вып. 7. 248 стр. Цена 1 р. 45 к.

Русско-польские революционные связи. В двух томах. Том I. 584 стр. Цена 1 р. 65 к. Том II. 796 стр. Цена 1 р. 90 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

М. Александров. Экономическая экспансия США в Индии (1947—1961). 128 стр. Цена 40 к.

Л. Р. Гордон-Полонская. Мусульманские течения в общественной мысли Индии и Пакистана. 325 стр. Цена 1 р. 30 к.

Заяц в башмаках. Сказки племени ирак. Собраны Л. Коль-Ларсеном. Перевод с немецкого. 160 стр. Цена 40 к.

Л. А. Корнеев. Образование Мальгашской Республики. 209 стр. Цена 60 к.

И. В. Самыловский. Научные и культурные связи СССР со странами Азии и Африки. 67 стр. Цена 20 к.

И. Серебряков. Пенджабская литература. Краткий очерк. 192 стр. Цена 36 к.

Н. А. Халфин. Борьба за Курдистан. 170 стр. Цена 42 к.

Хрестоматия по истории Древнего Востока. 543 стр. Цена 1 р. 65 к.

Н. К. Чеканов. Восстание няньцзюней в Китае (1853—1868). 170 стр. Цена 60 к.

Г. Эберс. Уарда. Роман из жизни древнего Египта. Перевод с немецкого. 480 стр. Цена 1 р. 50 к.

«ИСКУССТВО»

А. Власов, А. Млодин. Герои Шолохова на экране. 264 стр. Цена 62 к.

В. Кеменов. Историческая живопись В. И. Сурикова. 508 стр. Цена 6 р.

Перепица В. В. Верещагина и П. М. Третьякова. 1874—1898 140 стр. Цена 65 к.

Современный английский театр. Сборник. 256 стр. Цена 1 р. 16 к.

КЕМЕРОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

А. Волошин. Дороги зовут (Товарищи мои. Восток пламенеет). Сибирские повести. 247 стр. Цена 55 к.

А. Соболев. «Везумству храбрых...» Повесть. 138 стр. Цена 25 к.

ПЕНЗЕНСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Г. Вьюнов. Сказ о родном городе (В стихах). 45 стр. Цена 8 к.

И. Миксон. Дом у моста. Рассказы. 132 стр. Цена 14 к.

ХАРЬКОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Я. Донской, В. Г. Короленко. Очерк полтавского периода жизни и деятельности писателя. 1900—1921 гг. 216 стр. Цена 49 к.

А. Искин. Ковалевская черемуха. Повесть. 132 стр. Цена 30 к.



СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1963 ГОД



Высокая идейность и художественное мастерство — великая сила советской литературы и искусства. Речь товарища Н. С. Хрущева на встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства 8 марта 1963 года. III—3.

За идейность и социалистический реализм. IV—3.

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

Чингиз Айтматов. Материнское поле. Повесть. С киргизского перевел автор. V—6.
В. Александров. Фронтовые рукописи. II—3.

Владимир Войнович. Два рассказа: Хочу быть честным; Расстояние в полкилометра. II—150.

Леонид Волинский. Сквозь ночь (К истории одной безымянной могилы). I—113.— Краски Закавказья. Путевые заметки. IX—78; X—119.

Константин Воробьев. Убиты под Москвой. Повесть. II—46.

М. Галлай. Испытано в небе. Вторая книга записок летчика-испытателя. IV—50; V—65.

Е. Герасимов. Семья Алешинных (Из рассказов о старых товарищах). IX—7.

Хуан Гойтисоло. Чанка. Перевел с испанского А. Макаров. IV—119.

И. Грекова. Дамский мастер. Рассказ. XI—89.

Вас. Гроссман. Несколько печальных дней. Рассказ. XII—45.

Николай Дубов. Мальчик у моря. Повесть. VI—6.

И. Зыков. В лесах Севера. XII—3.

И. Исаков. Конец одной «девятки» (Из невыдуманных рассказов). III—142.

В. Истлейк. Прощай, крокодил. Рассказ. Перевели с английского Ю. Жукова, Б. Рубальский. V—177.

Виктор Кин. Лилль. Из неоконченного романа о первой мировой войне. I—144.

А. Ковтун. Севастопольские дневники. VIII—75.

Евгений Кондратьев. На китобойце (Из записок новичка). V—148.

В. Липатов. Черный Яр. Повесть. III—34.

Виктор Лихоносов. Брянские. Рассказ. XI—142.

Антонио Малларди. Левантаццо. Перевел с итальянского Л. Вершинин. VII—127.

Н. Мельников. Строится мост (Из записок корреспондента). VII—94.

С. Мотовилова. Минувшее. XII—75.

Уолтер Мэккин. Бог создал воскресенье. Повесть. Перевела с английского М. Миронова. IX—113.

Виктор Некрасов. Новичок. Рассказ. Из блокнота. XI—123.

И. Орлов. Жарким летом (Из путевых тетрадей). VI—53.

Константин Паустовский. Третье свидание. VI—93.— Книга скитаний. X—63; XI—33.

А. Солженицын. Два рассказа: Случай на станции Кречетовка; Матренин двор. I—9.— Для пользы дела. Рассказ. VII—58.

Джон Стейнбек. Три рассказа: Молли Морган; Сбруя; Акула Виск. Перевели с английского Е. Короткова и Н. Темчина. XII—128.

Дж. Д. Сэлинджер. Голубой период лэ Домье-Смита. Рассказ. Перевела с английского Ю. Жукова. XI—149.

В. Тендряков. Рассказы радиста: Солнышко; Письмо, запоздавшее на двадцать лет. IX—50.

Г. Троепольский. В камышах (Из тетрадей охотника). IV—11; X—3.

Димитрис Хадзис. Детектив. Рассказ. Перевела с новогреческого Н. Подземская. III—161.

Георгий Федоров. Рассказы археолога. XII—63.

Михаил Шитов. Березовские повертки. Рассказ. VIII—43.

И. Шмелев. Русская песня. Рассказ. X—153.

В. Шукшин. Они с Катуня: Игнаха приехал; Одни; Гринька Малюгин; Классный водитель. Рассказы. II—76.

Марк Щеглов. Студенческие тетради. Из литературных заметок (С послесловием В. Лакшина: Несколько слов об авторе). VI—118.

И. Эренбург. Люди, годы, жизнь. Книга пятая. I—67; II—107; III—116.

СТИХИ

Маргарита Алигер. Японские заметки. Стихи: Япония для туристов; Искусство составлять букеты; Театр Но. VII—91.— Два стихотворения: Умный-умный, а дурак!..; Несчастной любви не бывает!.. X—61.

Анна Ахматова. Из новых стихов: Родная земля; Последняя роза; Два четверостишия; Царскосельская ода (Девяностые годы). I—64.

Петрус Бровка. Из новых стихов: Труби, мой бор; Да, мы живем в такое время...; Кажался веком день весенний...; Лопочут клены у дорог... Авторизованный перевод с белорусского Якова Хелемского. VI—3.

Е. Винокуров. Память. Стихотворение. V—64.

Расул Гамзатов. Новые стихи: Строфы о собраниях; Песня, которую поет мать своему больному сыну; Моим редакторам; Опять нас разлучили расстоянья...; Я порой один бреду по свету...; Горит очаг...; — Вон человек...; Время мое не щадило героев...; Вновь часы пробили на стене...; Все-знающих людей на свете нет...; — Ты мне ответь...; Я не ложусь один...; Если ты андеец, друг...; Плод бессонниц моих и забот... Перевел с аварского Н. Гребнев. II—144.— Из лирики: Мой возраст; Горцам, переселяющимся на равнину. Авторизованный перевод с аварского Н. Гребнева. V—3.— Звезда Дагестана. Перевел с аварского Н. Гребнев. IX—3.

Ахмед Ерикеев. Два стихотворения: Где тонут березы...; Дворец, что стал искусством сосредоточьем... Перевел с татарского Семена Липкин. VIII—156.

Карло Каладзе. А Прометей, сын наших гор...; Ночь во время сбора винограда; Фреска; Осень; Зимняя ночь в деревне; О, дня сиянье голубое... Стихи. Перевели с грузинского Вл. Корнилов, Э. Котляр, Вл. Соколов. IV—109.

Морис Карем. Возвращение короля; Горь; Флейта в саду; В королевстве трюфовом. Стихи. Перевел с французского М. Кудинов. XI—146.

Мустай Карим. Три стихотворения: Невеселый рассказ о друге; Я вчера под хмельком похвалил молодого поэта...; В дальний путь седлают непременно... Перевела с башкирского Ирина Снегова. VI—50.

Рэмон Кено. Искусство поэзии (Из стихов современных французских поэтов). Перевел М. Кудинов. II—199.

Леонид Киселев. Первые стихи: Еще мальчишкой удивлялся дико...; Все изменчиво!...; Я воспитывался в очередях...; Яблоню, что растет на улице...; Вы не пытались проследить... III—159.

Давид Кугультинов. Слово к человеческому слову; Никто не помнит своего рождения... (С. Я Маршаку); Я помню прошлое...; Приму ли ошибку за истину...; Мне нынче друг во сне явился...; Ты счастье мне пророчишь — взглядом...; Скончался мой друг...; Фанерными щитами прикрываясь... Стихи. Перевели с калмыцкого Ю. Нейман и Новелла Матвеева. XII—41.

Кайсын Кулиев. Из новой книги стихов: Я вижу, мама, день весенний...; Жить, удивляясь; Кремень — кремень и только...; Бешмет; Сжимаю в пальцах влажный ком земли...; Не я ль ревел подранком-туром... Перевел с балкарского Н. Гребнев. X—150.

Михаил Кульчицкий. Бессмертие (Из незавершенной поэмы). V—145.

Михаил Луконин. Минуты века. Стихи: Обелиск; Про это; В полете; Осень; Спите, люди. I—3.

Николай Майоров. Нам не дано спокойно сгнить в могиле. V—147.

Петрус Макаль. Яблоня; Не хитрость... Стихи. Авторизованный перевод с белорусского Бориса Ирнинна. XI—32.

Робер Маллэ. Одним ударом (Из стихов современных французских поэтов). Перевел М. Кудинов. II—200.

Новелла Матвеева. Новые стихи: Мосты; Созвучия; Медленная весна; Меч и шит. IX—75.— Два стихотворения: Песня в песне; Водопад. XII—60.

Анри Мишо. Тихий человек (Из стихов современных французских поэтов). Перевел М. Кудинов. II—200.

Хириси Нуяма. Стихи из тюрьмы: Пылающий снег; Зимнее небо; Тюремные стены. Перевел с японского Анатолий Мамонов. III—171.

Огден Нэш. Стихи разных лет: Банкиры — такие же люди, только побогаче; Артезианская находчивость; Ужасные люди; Портрет художника в преждевременной старости; Правды в мешке не утаишь!; Как мистер Баркалоу не выдержал; Меморандум для внутреннего пользования. Перевела с английского И. Комарова. I—153.

Николай Отрада. Футбол. V—146.

В. Радкевич. Трактористка. Стихотворение. IV—155.

Д. Самойлов. Два стихотворения: Странно стариться...; Дом-музей. III—140.

Юрий Смирнов. Из первых стихов: Коломенское; Звезды; Не каркай, ворона...; Я изучаю микромир...; Видать, сегодня подморозило... IV—115.

Дмитрий Сухарев. Прощание с Молдавией. Стихотворение. VI—117.

Максим Танк. Из новой книги стихов: Когда покидаешь Отчизну...; Космонавт; Топится баня; Таблица умножения; Сушатся сети рыбацкие...; Подряд листаю старые святцы я...; Солнце, которое ты видишь. У пирса; Во Флоренции. Авторизованный перевод с белорусского Я. Хелемского. VII—53.

Жан Гардьё. Лояльный гражданин Вселенной. (Из стихов современных французских поэтов). Перевел М. Кудинов. II—199.

А. Твардовский. Теркин на том свете. VIII—3.

Юлиан Тувим. Цветы Польши. Из поэмы: Лодзь в Рио-де-Жанейро; Отчизне; Поэзия; Из эпилога. Перевел с польского Николай Чуковский. VI—87.

Андре Френо. Мой дом (Из стихов современных французских поэтов). Перевел М. Кудинов. II—198.

Вадим Шефнер. Под Лугой Стихотворение. VII—126.— Рисовавший на скалах; Погребение радуги; Бессонница. Стихи. XI—121.

Степан Шипачев. Ночью. Стихотворение. II—149.— Я знаю ее. Стихотворение. IV—118.— Два стихотворения: Поэзия; О жизни и смерти V—62.

Александр Яшин. Огонек; После снегопада; Песня без слов. Стихи. III—114.

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

М. Белкина. В яблоневом саду. IX—155.
Леонид Гурунц. Карабах, край родной. VI—192.

И. Осипов. Вперед — море. IV—172.— Спасатели. X—155.

Владимир Сергеев. Снова на Чукотке. II—202.

ПУБЛИЦИСТИКА

Начало пути. Автобиографические высказывания В. И. Ленина (1886—1893). Обзор составлен Б. Яковлевым. IV—156.

В канун рождения партии. Автобиографические высказывания В. И. Ленина (1893—1900). Обзор составлен Б. Яковлевым. VI—158.

Годы «Искры». Автобиографические высказывания В. И. Ленина (1900—1903). Обзор составлен Б. Яковлевым. VII—186.

От Февраля к Октябрю. Автобиографические высказывания В. И. Ленина (Март—Октябрь 1917 года). Обзор составлен Б. Яковлевым. XI—3.

Говорят партийные работники

П. Давыдов, секретарь Щелковского горкома КПСС. Уменьше убеждать. VII—43.

В. Загорский, секретарь парткома Рузавского производственного управления Кокчетавской области. Рузавские огни. VII—28.

К. Катушев, секретарь парткома Горьковского автомобильного завода. По Ильичу VII—39.

А. Козлов, секретарь парткома Коломенского тепловозостроительного завода имени В. В. Куйбышева. Воспитывать нового человека! VII—35.

М. Сергеев, секретарь Свердловского промышленного обкома КПСС. Главное условие VII—48.

В. Азерников. Химия и плодородие, как об этом рассказал академик С. И. Вольфович. XI—167.

А. Бовин. Истина против догмы. X—174.

Лев Безыменский. Приговор окончательный. V—192.

Н. Берховский. Совхозные будни. V—211.

П. Волин. Полимеры в станкостроении, как об этом рассказал главный конструктор Московского завода «Красный пролетарий» Ю. М. Жедь. XI—171.

Г. Волков. Эра роботов или эра человека? IX—176.

О. Горчаков. Группа «Максим». VIII—170.

Е. Драпкина. Удивительные люди. VII—3.

И. Ермашев. Вечный огонь. VII—173.

К. Жуков. кандидат архитектуры. Большое новоселье и большие задачи (Заметки о крупнопанельном домостроении). II—230.

Леонид Иванов. В родных местах. III—174.

Цецилия Кин. Итальянский вариант. XII—178.

И. Пешкин. Операция «ХЛ». I—185.

В. Смолянский, комментатор Агентства печати Новости. Экономика и идеология. XI—178.

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Е. Гнедин. На Западе — перемены. Новые черты стаечной борьбы в странах «Общего рынка» VII—208.

С. Эпштейн. Трагедия обманутого народа. VI—213.

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

По страницам иностранных литературных журналов

В. Гривнин, кандидат филологических наук Боевой год Японии «Бунка хёрон» («Культурное обозрение»). Ежемесячный журнал по вопросам идеологии и культуры. Январь — сентябрь 1962. I—245.

Р. Орлова. Что значит жить в шестидесятые годы? США «Тайм» («Время») — еженедельный иллюстрированный журнал новостей и обозрения. Февраль — март 1963 года. V—230.

В МИРЕ НАУКИ

И. Забелин. Человек коммунизма, природа и наука. I—160.

С. Иванов. Труд, техника, эстетика. IV—186.

А. Кондратов. Люди и знаки. IV—202.

А. Чижевский, проф. «Эффект Цюлковского» III—201.

А. Шаров. Противовирусная битва. VIII—187.

А. Штейнгауз. Инженер и природа. IX—194.

В МИРЕ ИСКУССТВА

Татьяна Бачелис. Режиссер Станиславский (К 100-летию со дня рождения). I—199.

Н. Любимов. Игорь Ильинский. XII—161.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Ефим Дорош. Художник и книга. VII—222.

Н. Рыленков. Ветер времени. VIII—157.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Л. Арутюнов. Саят-Нова. К 250-летию со дня рождения X—228.

Ф. Бирюков. «Железный поток» и его комментаторы (К 100-летию со дня рождения А. С. Серафимовича). I—236.

Александр Гладков. В прекрасном и яростном мире (О рассказах Андрея Платонова) XI—227.

Н. Гудзий. Что считать «каноническим» текстом «Войны и мира»? IV—234.

А. Деметьев. В. И. Ленин и литературно-журналистика. V—235.

Наталья Ильина. К вопросу о традиции и новаторстве в жанре «дамской повести» (Опыт литературоведческого анализа). III—224.

А. Караганов. Между правдой и ложью. XII—215.

М. Кузнецов. Социалистический реализм и модернизм. VIII—220.

Ю. Манн. Художественная условность и время (К вопросу о современном сгиле). I—218.

Т. Мотылева. В спорах о романе. XI—206.

З. Паперный. Романтика человечности (К 60-летию со дня рождения М. А. Светлова). VI—243.

Е. Полякова. После первой книги. IV—221.

И. Сац. О взглядах А. В. Луначарского на изобразительное искусство. VI—230.

В. Сурвилло. Ответственность таланта. III—208.— В единое слово. X—237.

Е. В. Тарле, академик. Пушкин как историк. IX—211.

С. Тураев. Всесильно, потому что верно. VI—224.

М. Чудакова, А. Чудаков. Искусство целого (Заметки о современном рассказе). II—239.

Ю. Юзовский. Горький и его собеседники (По страницам переписки Горького с советскими писателями). XII—200.

К 80-летию со дня рождения Демьяна Бедного

Демьян Бедный. «Писать правду жизни...» Публикация А. П. Антоненковой. IV—216.

*К 70-летию со дня рождения
В. В. Маяковского*

В. Гоффеншефер. Два разговора. VII—239.

Б. Лавренев. 1913-й, 1918-й... VII—230.

П. Незнамов. Там, где жил Маяковский. VII—234.

Современники о Маяковском. VII—229.

Я. Черняк. В незабываемые дни. VII—231.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Полина Виноградская. Последний рейс (Воспоминания о Я. М. Свердлове). VIII—208.

Е. Ратманова-Кольцова. Судьба книги (Из книги «Путешествие в прожитые годы»). V—185.

Об Артеме Веселом:
Анатолий Глебов. Молодой Артем. XI—191.

О. Миненко-Орловская. Мандат Артема Веселого. XI—196.

И. И. Подвойский. Он верил в народ. XI—199.

М. О. Пантюхов. Из воспоминаний. XI—201.

А. Костерин. «Слово должно сверкать». XI—203.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

А. М. Горький в экспертной комиссии Наркомвнешторга. Публикация С. Белякова. IV—247.

Неопубликованные письма Льва Толстого (Сообщение Л. Любимова, примечания Э. Зайденшнур). Забытое интервью с **Львом Толстым** (Сообщение В. Л.). III—231.

Письма Ларисы Рейснер. Публикация А. Наумовой. X—203.

Н. Полякова. Каким был Гайдар? V—277.

Евгения Таратута. Э. Л. Войнич и департамент полиции. XI—268.

Трибуна Читателя

Продолжаем обсуждать вопросы школы

Н. Гаген-Торн. Воспитывать детей гармонически. IX—270.

Б. Голованов, директор средней школы. Что нас волнует, что нам мешает. IX—259.

О. Иванова. Учить чувствовать и думать. IX—265.

А. Кельман, преподаватель школы рабочей молодежи. Новые задачи — новые формы. IX—266.

Ал. Корчагин, доцент. Обучать по-новому. IX—273.

Б. Петелин, учитель. В плену ложной позиции. IX—268.

М. Штармин, профессор. Только ли школа виновата? IX—271.

Д. Элькин, профессор. Еще раз о том, как учить и учиться. IX—272.

*О рассказе А. Солженицына
«Для пользы дела»*

Е. Ямпольская, И. Окунева, М. Гольдберг. Удача автора. X—193.

Л. Резников, доцент Петрозаводского университета. Открытое письмо Ю. Барабашу. X—194.

В. Шейнис, Р. Цимерин. «Так надо?» X—197.

Эр. Ханпира, языковед. О словаре языка Ленина. X—191.

А. Годорский, генерал-лейтенант запаса. Мое мнение. X—199.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство

А. Абрамов. Деловито, честно, всерьез (Анатолий Жигулин. Рельсы. Стихи). X—252.

А. Анастасьев. На прочной основе фактов (Мирослав Миколашек. Пути развития советской комедии 1925—1934 годов). XI—251.

Л. Арутюнов. Открытие правды (Аксель, Бакунц. Повести и рассказы. Перевод с армянского). II—255.

А. Берзер. Из лучших побуждений... (Вадим Очеретин. «Сирена». Роман). I—257.— Победил человек (В. Максимов. Жив человек. Повесть). IV—253.

М. Блинкова. Филолог на стройке (Григорий Свирский. Ленинский проспект. Роман). V—258.

М. Бойко. Новая книга о Достоевском (М. Гус. Идеи и образы Ф. М. Достоевского). X—259.

Ю. Буртин. Беллетристика и публицистика (Вячеслав Пальман. Схватка. Повесть). VIII—248.— Обратный эффект (Николай Строковский. История одной ночи. Повесть). XII—236.

Эд. Вальдман. О «кибернетических» повестях Геннадия Гора (Геннадий Гор. Докучливый собеседник. Научно-фантастическая повесть. Геннадий Гор. Странник и время. Фантастическая повесть). VII—253.

И. Виноградов. Право на доверие (Леонид Жуховицкий. Я сын твой, Москва. Повесть). VI—258.

В. Гаевский. О Дорошевиче и его фельетонах (В. М. Дорошевич. Избранные рассказы и очерки). I—260.

В. Герасимова. Звезды Севера (Вэйне Линна. Здесь, под северной звездой... Роман. Перевод с финского В. Богачева). XI—249.

Ал. Гладков. На арене цирка (Эдуард Басс. Цирк Умберто. Перевод с чешского И. Иванова и В. Савицкого). IX—236.

Александр Дейч. Об эстетике А. В. Луначарского (А. А. Лебедев. Эстетические взгляды А. В. Луначарского. Очерки). II—255.

Р. Зернова. Внимательный взгляд (Оскар Хавкин. Время скажет. Повесть). VII—246.

Б. Зингерман. Книга историка и критика (Н. Я. Берковский. Статьи о литературе). I—262

М. Злобина. Герои Стейнбека (Джон Стейнбек. Зима тревоги нашей. Роман. Перевод с английского Н. Волжиной и Е. Калашниковой. Джон Стейнбек. Жемчужина. Перевод Н. Волжиной. Квартал Торталья-Флет. Перевод И. Гуровой). X—262.

С. Кайдаш. Две книги о Лесе Украинке (А. Дейч. Ломикамень. Спогади про Лесю Українку). VIII—254.

А. Каменский. Трудности жанра (В. Смирнова-Ракитина. Валентин Серов. Михаил Герман. Домье). IX—229.

А. Кондратович. Две повести (Владимир Федоров. Чистый Колодезь. Повести). II—261.

Л. Копелев. Месть доброго человека (Гюнтер Вейзенборн. Преследователь. Роман. Перевод с немецкого Н. Касаткиной и И. Татариновой). VIII—265.

Н. Коржавин. Лирика Маршяка (С. Маршак. Избранная лирика). III—239.— Об-

раз Тютчева (К. Пигарев. Жизнь и творчество Тютчева). XI—246.

П. Краснов, В. Шевелев. Книги возвра-

щаются в строй (Сергей Третьяков. Дэн Ши-хуа. Люди одного костра. Страна-перекресток). II—264.

Л. Лазарев. Глазами солдата (Василь Быков. Журавлиный крик. Повесть и рассказы. Перевод с белорусского. Василь Быков. Третья ракета. Повесть и рассказы. Перевод с белорусского). VI—254.

В. Лакшин. Две биографии (Стефан Цвейг. Бальзак. Перевод с немецкого А. Голембы. М. Булгаков. Жизнь господина де Мольера). III—250.

С. Ларин. Певец чистого течения (Адольф Рудницкий. Чистое течение. Перевод с польского). XII—252.

Л. Лебедева. Рахманкулов боится здоровых людей... (Аскад Мухтар. Рождение. Роман. Авторизованный перевод с узбекского Алексея Пантиелева). XI—240.

И. Левидова. Атикус Финч и его дети (Харпер Ли. Убить пересмешника... Роман. Перевод с английского Н. Галь и Р. Облонской). VI—264.

О. Михайлов. Читатель не верит на слово... (Н. Почивалин. Летят наши годы. Роман). VIII—251.— В борении с инерцией (А. Волков. Творчество А. И. Куприна. Ф. И. Кулешов. Творческий путь А. И. Куприна). XII—248.

Т. Мотылева. Перечитывая Бехера (Иоганнес Р. Бехер. Избранные сочинения. Перевод с немецкого). III—257.— Новое о Томасе Манне (Thomas Mann. Briefe 1889—1936. Томас Манн. Письма 1889—1936). VII—257.

В. Непомнящий. Подвиг Пушкина (Ник. Смирнов-Сокольский. Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина, о книгах других авторов, им изданных, о его журнале «Современник», о первом посмертном собрании сочинений, а также о всех газетах, журналах, альманахах, сборниках, хрестоматиях и песенниках, в которых печатались произведения поэта в 1814—1837 годах). V—253.

Д. Николаев. Режиссеры о комедии (Н. Акимов. О театре. Валентин Плучек. На сцене — Маяковский). VIII—260

Л. Николаева. Новое слово о Тургеневе (Г. Бялый. Тургенев и русский реализм). IX—234.

Владимир Огнев. «...Мой век — в стихе моем» (С. Галкин. Стихи последних лет. Перевод с еврейского). IV—256.

З. Паперный. Устная книга (Ираклий Андроников. Я хочу рассказать вам... Рассказы, портреты, очерки, статьи). III—247.

И. Питляр. Поэтичная проза (Ион Друцэ. Степные баллады. Роман. Кн. I. С молдавского. Перевод автора). V—255.— Мать и сын (Александр Адамович. Сыновья уходят в бой. Роман). XII—233.

Е. Полякова. «Пером быстрым и пламенным...» (Надежда Дурова. Записки кавалерист-девицы). II—268.

В. Портнов. По былинам сего времени (Виктор Соснора. Январский ливень. Стихи). II—258.— Жар непосредственности (Олжас Сулейменов. Солнечные ночи. Стихи). IX—227.

Ст. Рассадин. Надо ли любить литературу? (Ю. А. Андреев. Русский советский исторический роман 20—30-е годы). XI—243.

М. Рошин. В испытанном жанре (Лев Овалов. Секретное оружие. Роман). III—244.— Преодолевая банальное (Владимир Краковский. Возвращение к горизонту. Повесть). X—254.

Ф. Светов. На Энской атомной... (Илья Зверев. Государственные и обыкновенные соображения Саши Синева. Непридуманные рассказы). V—249.— В поисках трудностей и напастей (Евгений Карпов. Синие ветры. Повесть). VII—248.— Утоление жажды (Юрий Трифонов. Утоление жажды. Роман). XI—235.

И. Соловьева. Материал и прием (Анатолий Гладилин. Вечная командировка. Повесть). IV—258.— Федосеев и Иван Федосеевич (Е. Дорош. Мой друг Федосеев). VI—250.

Е. Старикова. Прощание с юностью (Борис Балтер. До свидания, мальчики! Повесть) I—249.

Арсений Тарковский. Печать современности (Р.асул Рза. Весна во мне). VI—262.

Г. Трефилова. Подвиг любви (Николай Чуковский. Избранное). XII—240.

А. Турков. По долгу справедливости (С. С. Смирнов. Рассказы о неизвестных героях). VII—244.— Золотой список золотых людей (Александр Бруштейн. Вечерние огни). IX—221.

М. Туровская. Профессия — искусство (Сергей Юткевич. Контрапункт режиссера. Сергей Юткевич. О киноискусстве. Избранное). XII—246.

В. Тушнова. Зрелость таланта (Расул Гамзатов. Высокие звезды. Стихи и поэма. Авторизованный перевод с аварского Н. Гребнева и Я. Козловского). IV—251.

З. Файнбург. Желанное и трудное будущее (Станислав Лем. Солярис. Фантастическая повесть). IV—262.

Л. Фейгина. Поэт и его переводчики (Гурген Маари. Огни Наирри. Стихи. Перевод с армянского). VIII—246.

О. Чайковская. Рассказы молодого писателя (Илья Крупник. Снежный заряд). I—253.

Корней Чуковский. В защиту Бернса (Роберт Бернс. Песни и стихи. Перевод с английского Виктора Федотова). IX—224.

Д. Шестаков. Два романа Чарльза Сноу (Чарльз Сноу. Дело. Роман. Перевод с английского В. Ефановой. Чарльз П. Сноу. Пора надежд. Роман. Перевод с английского Н. Васильева и Т. Кудрявцевой). V—262.

С. Штут. Поэзия критики (Е. Старикова. Поэзия прозы. Статья). VIII—257.

Б. Яранцев. Уроки «Карманной школы» (Ф. Кривин. Карманная школа). X—257.

Политика и наука

В. Азерников. Эмоции и факты (С. Лубан. Чудеса входят в жизнь. Л. П. Страхова. Химия и технический прогресс). X—273.

Г. Анисимов, кандидат экономических наук. Важный принцип строительства коммунизма (М. Н. Лаптин. В. И. Ленин о материальных и моральных стимулах к труду). IV—268.

Г. Батищев. Человек — труд — свобода (Ю. Н. Давыдов. Труд и свобода). XII—255.

А. Бельская. Манифест Уильяма Дугласа (William Douglas. Manifest of democracy. Уильям Дуглас. Манифест демократии). I—278.

Н. Болотников. Трагедия ихалмютов (Фарли Моуэт. Люди оленьего края. Перевод с английского Г. Смирнова. Фарли Моуэт. Отчаявшийся народ. Перевод с английского Л. Н. Карлова, И. А. Тихомирова). XII—266.

Я. Борисов. Языком фактов и документов (Дружба великая, вечная. Составитель Б. Жучков). VII—264.

Ю. Бочкарев. Острая проблема (Аграрный вопрос и национально-освободительное движение. Материалы обмена мнениями марксистов-аграрников, состоявшегося в июле — сентябре 1960 г. в Гаване и Бухаресте). VIII—270.

М. Васильев. Хорошее начало (Наука и человечество. Ежегодник). IV—271.

Софья Виноградская. Сестра Ильича (Д. А. Ершов. Мария Ильинична Ульянова). XI—257.

Валерия Герасимова. Расти умом и сердцем (Мораль как ее понимают коммунисты. Сборник). VII—267.

Д. Горин, председатель колхоза «Подгорное». Малополезный сборник (Резервы и пути повышения производительности труда в сельском хозяйстве СССР). III—267.

П. Горностаев. Большая жизнь (С. М. Левидова, С. А. Павлоцкая. Надежда Константиновна Крупская). III—265.

М. Гутин, кандидат исторических наук. Это и есть подвиг (Г. Г. Морехина. Рабочий класс — фронт). I—273.— Вехи борьбы и побед (К П С С. Справочник). IX—242.

В. Дмитриев, кандидат исторических наук, **Е. Перовский.** Парламент революционной Балтики (Протоколы и постановления Центрального комитета Балтийского флота. 1917—1918). XI—254.

Б. Дубровин. Молодые воины Советской Армии (Лев Экономов. Часовые неба. Майор С. Немец. Крепче брони. Ведущий огонек. Сборник. А. Киселев. Их девиз — дерзать!). V—265.

И. Ермашев. Джентльмены с «Золотого Олимпа» (Вал. Зорин. Некоронованные короли Америки). III—278.— Мечтатели нашей эпохи (Мир через 20 лет. 1000 писем о будущем). X—267.

Л. Зак, кандидат исторических наук. Единство и многообразие (Развитие социалистической культуры в союзных республиках. Сборник статей). VI—278.— Летопись современности (Имени Владимира Ильича. Составители В. Ф. Богдановский и А. К. Добринская). XI—260.

Л. Зенкевич, член-корреспондент Академии наук СССР. Удивительные животные (И. Акимовский. Приматы моря). VIII—275.

И. Иноземцев. Первооткрыватели (Академик Л. С. Берг. История русских географических открытий). II—277.

А. Кадишев. Люди легендарной эпохи (Этапы большого пути. Воспоминания о гражданской войне). II—269.

А. Карамышев. Книга об отце В. И. Ленина (А. Иванский. Илья Николаевич Ульянов. По воспоминаниям современников и документам). V—268.

Г. Кассиль, профессор. Они рисковали жизнью (Гуго Глязер. Драматическая медицина. Опыт врача на себе. Перевод с немецкого В. Хорохордина. Предисловие и научная редакция Б. Д. Петрова). I—275.

Л. Клецкий, кандидат исторических наук. Свет правды и туман фальсификации (Х. Ш. Инояттов. Ответ фальсификаторам истории Советской Средней Азии и Казахстана. К Новоселов. Против буржуазных фальсификаторов истории Средней Азии. Д. Рзаев. О фальсификаторах истории Советской Средней Азии). VII—271.

М. Кораллов. Сквозь строй (Л. М. Добровольский. Запрещенная книга в России. 1825—1904. Архивно-библиографические разыскания). V—271.

Г. Кублицкий. Замаскированная нищета (М. Харрингтон. Другая Америка. Перевод с английского). IX—254.

О. Лацис. Красноречивые цифры (СССР в цифрах в 1962 году. Краткий статистический сборник). VII—269.

Л. Лопатников. На подступах к новой науке (В. Ганштак, И. Розенберг. Пути совершенствования управления промышленным предприятием). I—269.

Сергей Львов. Документы великой дружбы (Народы СССР и Кубы навеки вместе. Документы советско-кубинской дружбы. Вива Куба! Визит Фиделя Кастро Рус в Советский Союз). VIII—273.— Неряшливая книга (А. П. Ковалев. Путеводитель по Москве). XII—269.

К. Майданик, кандидат исторических наук. Мемуары дипломата (Академик И. М. Майский. Испанские тетради. Академик И. М. Майский. Кто помогал Гитлеру (Из воспоминаний советского посла). III—273.

В. Матвеев. Распространители отравы (Б. Спиру. Отравители. К истории развития современной буржуазной журналистики. Перевод с немецкого). IV—277.

И. Миндлин, кандидат исторических наук. Вместо науки (А. И. Арнольдов. Социализм и культура. Культурная революция в европейских странах народной демократии). VII—274.

И. Миц, академик. Ленин и внешняя политика СССР (М. И. Труш. Внешнеполитическая деятельность В. И. Ленина. 1917—1920. День за днем). IX—238.

Ю. Моралевич, научный обозреватель АПН. Океан тысячи тайн (Е. Руденко, П. Таубе. Пятый океан). IV—274.

М. Нечкина, академик, **Е. Рудницкая,** кандидат исторических наук, **С. Микулинский,** доктор биологических наук. Лоции архивных морей (Личные архивные фонды в государственных хранилищах СССР. Указатель. Том I. Том II). XII—260.

Л. Новикова. Много ли мы знаем о Латинской Америке? (Карэн Хачатуров. Уругвай сегодня. В. Листов. На краю света. Путевые очерки. А. Аглин. Будни и битвы Бразилии). VIII—278.

К. Оболенский, доктор экономических наук. Боевое оружие строителей коммунизма (Н. С. Хрущев. Строительство коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства. В семи томах). VIII—268.

С. Окунь, доктор исторических наук. Ценный сборник (М. Ф. Орлов. Капитуляция Парижа. Политические сочинения. Письма). XI—261.

С. Осокин, действительный член Географического общества СССР. Биография Антарктиды (А. Ф. Трешников. История открытия и исследования Антарктиды). XII—264.

Ф. Петров, Герой Социалистического Труда, профессор. Образ великого революционера (А. Манфред. Марат). II—280.

Павел Подляшук. Нами зажжено! (У истоков партии. Рассказы о соратниках В. И. Ленина. Составитель Л. Давыдов). VI—268.

В. Попов. Открытие континента (Африка. Энциклопедический справочник, т. 1). XI—265.

Е. Примаков, кандидат экономических наук. Помощь друга (В. В. Рыбалов. СССР и экономически слаборазвитые страны). VI—271.

Лев Разгон. Драгоценные находки (Р. Пересветов. Поиски бесценного наследия (О судьбе некоторых рукописей В. И. Ленина). IV—265.— Погулярные — значит народные. (Книжная летопись. Указатель серийных изданий 1961). VI—274.

Ю. Рубинский, кандидат исторических наук. Судьбы французской демократии (Жак Дюкло. Будущее демократии. Перевод с французского Б. С. Вайсмана и С. И. Долгошлюбова). X—270.

И. Селинов, доктор физико-математических наук. Жизнь во Вселенной

(И. С. Шкловский. Вселенная, жизнь, разум). V—274.

В. Смолянский, кандидат экономических наук Соревнование и сосуществование (В. М. Шамберг. О буржуазных концепциях экономического соревнования двух систем (Критический очерк). Фриц Бааде. Соревнование к 2000 году. Наше будущее: рай на земле или самоуничтожение человечества. Сокращенный перевод с немецкого). III—262.

С. Смуглый. Просто о сложном (М. Васильев. И реки вспять потекут... И. Адабашев. Подземный океан. А. Б. Авакян и Е. Г. Ромашков. Приливы на службу человеку. Я. Голованов. Штурм бездны). IX—251.

Я. Тавров. Коллектив и его судьба (Тульский комбайновый. Рассказы о прошлом, настоящем и будущем завода. Дважды рожденный. Очерки по истории Лиепайского пробочно-линолеумного завода. М. Сударев. Страницы истории. 175 лет Мулловской суконной фабрики. В. Маркелов, И. Козин. Слава Златоуста). IX—245.

В. Твардовская. Петрашевский и петрашевцы (В. Прокофьев. Петрашевский). III—270.— Исторические концепции революционных демократов (В. Е. Иллерицкий. История России в освещении революционеро-демократов). IX—249.

Эр. Ханпира. Книга, нужная всем (Правильность русской речи. Трудные случаи современного словоупотребления. Опыт словаря-справочника). III—276.

А. Черняк. Путь к чудесам техники (А. А. Зворыкин, Н. И. Осьмова,

В. И. Чернышев, С. В. Шухардин. История техники). II—274.

Ю. Шаратов. Жизнь, отданная революции (И. К. Гамбург, П. Е. Хорошилов, Г. А. Санович, М. Э. Струве, Г. А. Брагилевский. М. В. Фрунзе. Жизнь и деятельность). II—272.— Живые ленинские черты (О Владимире Ильиче Ленине. Воспоминания. 1900—1922 годы). VII—262.

С. Эпштейн. Против лженауки (С. А. Далин, А. В. Аникин, Ю. Я. Ольсевич, Я. Н. Гузеватый. Критика теорий современных буржуазных экономистов). XII—258.

А. Яковлев. Население нашей страны (Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. СССР (Сводный том). I—267.

Ю. Яхонтов. Неопровержимые цифры (Милитаризм. Разоружение. Справочник). X—275.

Коротко о книгах: I—281; II—282; III—282; IV—280; V—283; VI—282; VII—279; VIII—281; IX—280; X—277; XI—279; XII—271.

Книжные новинки: I—287; II—287; III—287; IV—285; V—287; VI—287; VII—286; VIII—287; IX—287; X—283; XI—286; XII—279.

Петр Петрович Вершигора | IV—287.

Платон Воронько. Человек с чистой совестью. IV—287.

К. Паустовский. В редакцию «Нового мира». IX—279.

От редакции. «Новый мир» в 1964 году. X—285.

Конст. Федин. Письмо в редакцию. XII—278.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Зак** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).

Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 5/XI 1963 г.

Объем 18 п. л. Подписано к печати 12/XII 1963 г.

Формат бумаги 70×108^{1/8}.

9 бум. л.—24,66 печ. л.

А 07098

Зак. 2070.

Тираж 113.000.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Выписывайте научно-популярные брошюры

«Новое в жизни, науке, технике»

Двенадцать серий брошюр, объединенных под названием «Новое в жизни, науке, технике», призваны нести в народ самое новое и самое интересное в важнейших областях знаний.

Новое в развитии марксистско-ленинской теории и в практике коммунистического строительства, новое в экономике, литературе и искусстве, международных событиях, жизни молодежи, новое в естественных и точных науках — так широк и многообразен предмет брошюр.

Читатель побывает в лабораториях ученых, на заводах и фабриках, на стройках и трассах, в колхозах и совхозах, в коллективах коммунистического труда; совершит путешествие и в другие страны, узнает о многом, что делается на свете.

Авторы брошюр — ведущие ученые, общественные и политические деятели, специалисты народного хозяйства и передовики труда, мастера искусства, писатели и журналисты.

Брошюры написаны занимательно и ярко, выпускаются в красочных обложках.

Предназначаются брошюры для лекторов, пропагандистов, агитаторов, для работников различных отраслей народного хозяйства. Они также рассчитаны на самый широкий круг читателей.

По сериям «История», «Философия», «Экономика», «Техника», «Сельское хозяйство», «Литература и искусство», «Международная», «Биология и медицина», «Физика, математика, астрономия», «Молодежная» выходит по две брошюры в месяц средним объемом 2,5 печатных листа.

Подписная цена на одну из этих серий:

На год	1 р. 80 к.
« полугодие	90 к.
« квартал	45 к.
« месяц	15 к.

По сериям «Химия», «Естествознание и религия» выходит по одной брошюре в месяц объемом по 3 печатных листа.

Подписная цена:

На год	1 р. 8 к.
« полугодие	54 к.
« квартал	27 к.
« месяц	9 к.

Подписка на все серии принимается с любого очередного месяца в пунктах подписки «Союзпечати», почтамтах, городских, районных узлах и отделениях связи, а также общественными распространителями печати на заводах, фабриках, шахтах, промыслах и стройках, в колхозах, совхозах, в учебных заведениях и учреждениях.

В «Прейскуранте подписных цен на советские газеты и журналы» брошюры «Новое в жизни, науке, технике» помещены под индексами 72921—72932.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗНАНИЕ».